

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ОТДЕЛЕНИЕ  
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ТРУДЫ  
ОТДЕЛЕНИЯ  
ИСТОРИКО-  
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ  
НАУК

---

2015

---

Ответственный редактор  
Н.В. ТАРАСОВА



МОСКВА НАУКА 2016

УДК 930+80  
ББК 63+81  
Т78

Издание основано в 2003 году

Редакционная коллегия:

В.И. ВАСИЛЬЕВ, Н.А. МАКАРОВ, А.М. МОЛДОВАН,  
Н.В. ТАРАСОВА (составитель),  
В.А. ТИШКОВ (ответственный редактор), В.Б. ЧЕРКАССКИЙ

Рецензенты:

доктор исторических наук, профессор Е.С. ДАНИЛКО,  
доктор филологических наук, профессор Ф.Б. УСПЕНСКИЙ

**Труды Отделения историко-филологических наук РАН / Отд-ние**  
ист.-филол. наук РАН. – М. : Наука, 2003 –  
**2015** / отв. ред. В.А. Тишков ; [сост. Н.В. Тарасова]. – 2016. –  
ISBN 978-5-02-039211-3 (в пер.).

В очередном выпуске трудов Отделения историко-филологических наук РАН публикуются материалы научных сессий общих собраний Отделения, посвященных актуальным проблемам в современной филологической науке (23 марта 2015 г.), междисциплинарным исследованиям в современном гуманитарном знании (15 декабря 2015 г.), а также научные сообщения на заседаниях бюро ОИФН РАН и семинара «Гуманитарные чтения». Авторы дают представление о новейших академических разработках в области языкознания, в том числе корпусной лингвистики, литературоведения, российской и всеобщей истории, антропологии, образования; рассматривают другие важные вопросы гуманитарных наук.

Для историков, филологов, искусствоведов, широкого круга читателей.

По сети «Академкнига»

ISBN 978-5-02-039211-3

© Отделение историко-филологических наук РАН, 2016  
© Тарасова Н.В., составление, 2016  
© Редакционно-издательское оформление  
ФГУП «Академиздатцентр «Наука»,  
2016

---

## Часть 1

# НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОИФН РАН «СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ» (23 марта 2015 г.)

---

## СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ И РУСИСТИКА

*А.М. Молдован*

Проблематика филологических дисциплин образует единое междисциплинарное пространство со всем комплексом историко-филологических исследований, поэтому ее развитие возможно лишь при сохранении всего их комплекса. Так, работы по археологии и истории формируют основание, на котором строит свои выводы история культуры, и без этого фундамента невозможно, например, построение истории языка, а без этой последней, в свою очередь, невозможна работа по определению актуальных языковых норм современного русского языка. Ярким примером такого взаимодействия является описание менталитета различных этнических и социальных групп в их взаимодействии и историческом развитии. Со второй половины XX в. это направление стало одним из важнейших в гуманитарных науках. В настоящее время в этой области вырабатываются специфические методы и приемы исследования, накоплен большой теоретический потенциал (от Школы Анналов до работ по Begriffsgeschichte Р. Козеллека), созданы фундаментальные описания ряда культурных традиций Средневековья и Нового времени. Исследования этого рода занимают сегодня существенное место и в российской гуманитарной науке, причем особое внимание уделяется в ней проблеме категорий культуры (времени, пространства, старого и нового, своего и чужого, православного и инославного) в их исторической и национально-специфической реализации. В эту работу вовлечены специалисты из различных областей гуманитарного знания, поскольку категории культуры воплощаются в широком спектре явлений

языка, литературы, ритуала, верований и культурных практик, сдвигов в восприятии национальной, культурной и религиозной идентичности, в отношениях власти и представлениях о власти.

Если говорить о традиционной филологической тематике, то здесь в последние десятилетия наблюдается гигантский скачок в области лингвистики, который оказал и продолжает оказывать значительное влияние на родственные дисциплины. Важнейшим фактором стала революция в области документации и автоматической обработки текстов, которая произошла благодаря появлению компьютерных технологий. Остановлюсь на наиболее значительных, на мой взгляд, направлениях языкознания, прежде всего русистики.

Если сопоставить нынешнюю ситуацию с тем, что было пятьдесят лет назад, можно сказать, что облик русского языкознания радикально изменился. Немалую роль в этом сыграло широкое взаимодействие со смежными дисциплинами: не только с такими традиционно близкими языкознанию областями, как история, философия, археология, литературоведение, но и с математикой, биологией, нейрофизиологией, психологией и т.д. Раньше гуманитарное знание было очень резко отделено от точных наук и их технических приложений. Теперь, благодаря развитию информационных технологий, происходит их сближение.

Особенно это заметно в синхронном русском языкознании, где сегодня успешно развиваются такие направления, как когнитивная и корпусная лингвистика, семантико-семасиологические исследования, функциональная грамматика, исследования социальной стратификации в языке, изучение дискурсивных стратегий и другие.

Когнитивная лингвистика не только исследует, как при помощи языка осуществляется коммуникация и формируется самосознание отдельной личности и социальных групп, но и занимается выяснением вопроса о том, как структурируется знание и формируется мыслительный процесс. Явления, которые присутствуют во всех языках (так называемые языковые универсалии), свидетельствуют о единстве человеческого сознания, о том, что *homo sapiens* представляет собой опознаваемый единый субъект, а не разрозненное множество не похожих друг на друга существ. Вместе с тем языки обнаруживают существенные несходства как в своей грамматической, так и в своей семантической организации, эти различия языков соотносятся с определенными чертами присущей тому или иному языковому коллективу ментальности. Они описываются понятием языковой картины мира или «наивной» языковой картины мира. Русская языковая картина мира в последнее время

исследовалась в разных аспектах, и эти исследования были весьма плодотворны.

С одной стороны, в рамках большого проекта члена-корреспондента РАН Н.Д. Арутюновой «Логический анализ языка» (нашедшем отражение в одноименном многотомном издании) было подробно изучено языковое выражение таких фундаментальных областей человеческой деятельности, как модели действия, ментальные действия, речевые действия, ориентация человеческой культуры в пространстве и времени, хаосе и космосе, этические параметры, прагматика смеха и т.д. Исследования основывались на представлении о том, что в образовании высказывания действуют разнородные факторы: ментальные категории и знания о мире, ценностные системы, «житейская логика», целеполагание высказывания и иные его прагматические аспекты. Исследования языка в этих ракурсах сближает языкознание с философией, психологией, антропологией и указывает на смещение интересов лингвистики от чисто структурных к общегуманитарным, связанным с представлением о языке как феномене культуры. В этом же русле развивалось и исследование концептов русской культуры.

В несколько другом направлении располагаются исследования Московской семантической школы, возглавляемой академиком Ю.Д. Апресяном. Изучая русскую языковую картину мира, эта школа исходит из идей системной лексикографии, в которой лексическая система включается в интегральное описание языка, а языковая картина мира восстанавливается на основе словаря в целом – в большей степени, чем на основе отдельных концептов. Такой подход позволяет выделить универсальные и этноспецифичные элементы языка; последние понимаются как отражающие особый способ мировидения, присущий данному языку, культурно значимый для него и отличающий его от каких-то других языков. Исследователи этого направления подчеркивают, что картина мира, отражающаяся в языке, отличается от научной картины мира и поэтому может рассматриваться как «наивная» картина мира.

Исследования языковой картины мира являются для школы Ю.Д. Апресяна частью более общей программы семантических штудий, которые в своей совокупности вывели семантико-семасиологические исследования на принципиально новый уровень. В этой связи нельзя не упомянуть фундаментальные «Объяснительный словарь синонимов русского языка» и «Активный словарь», описывающий лексические единицы, которые особенно часто используются в речи, причем в связи с наиболее существенными реалиями, понятиями и ситуациями.

Современная семантика апеллирует не к абстрактным понятиям семантической правильности и внутреннему чувству лингвиста – носителя исследуемого языка, а к засвидетельствованному в устных и письменных текстах употреблению. Это употребление отнюдь не всегда последовательно, и одна из задач, поставленных современным языкознанием, – объяснить природу, а при возможности и причины этой непоследовательности. Эта общая тенденция современного языкознания привела к возникновению корпусной лингвистики.

Корпусная лингвистика ориентирована на реальное употребление языка и создает уникальные инструменты для анализа этого употребления. Построенный под руководством члена-корреспондента РАН В.А. Плуменя Национальный корпус русского языка в настоящее время насчитывает более 500 млн словоупотреблений и содержит целый ряд модулей, отражающих разные формы и периоды существования русского языка, начиная от первых письменных памятников древнерусской эпохи и заканчивая современной прессой, научной и художественной литературой, образцами устной речи и многими другими подкорпусами.

Начинающие не первыми получают специфические преимущества: надо отметить, что сегодня Национальный корпус русского языка является одним из наиболее крупных и едва ли не самым совершенным из существующих в мире корпусов с наиболее полной и продуманной разметкой и разнообразными возможностями поиска, пользующимся спросом у лингвистов во всем мире. В настоящее время практически ни одно серьезное исследование русского языка (как в России, так и за рубежом) не обходится без обращения к данным этого корпуса.

В связи с этим нужно сказать, что в последние годы в России были начаты масштабные работы по созданию корпусов языков народов России и сопредельных стран. В ходе этой работы удалось внедрить целый ряд принципиально новых технических решений, позволяющих автоматически обрабатывать тексты на языках сложной грамматической структуры и имеющих нестандартные типы письменности. Среди важнейших достижений последних лет можно назвать создание общедоступных корпусов таких языков, как осетинский, лезгинский, калмыцкий, татарский, башкирский, армянский, новогреческий, албанский, корпуса целого ряда малых и исчезающих языков Крайнего Севера, Сибири и Кавказа. Эта работа имеет огромное значение как для теоретической лингвистики, так и для сохранения языкового разнообразия человечества, документации языков России и Евразии современными научными методами.

Больших успехов достигла за последние десятилетия функциональная грамматика русского языка – категориальная грамматика, направленная на описание системы семантических категорий языка. Это направление, развиваемое преимущественно петербургской лингвистической школой под руководством члена-корреспондента РАН А.В. Бондарко, ориентировано на построение грамматики «от семантики к средствам ее выражения»; функциональная грамматика находится в отношении взаимной дополнителности с коммуникативной грамматикой.

Социальные сдвиги, имевшие место в последние два десятилетия, обусловили повышенный интерес к проблемам социальной и нормативной дифференциации языковых средств. Это сделало весьма актуальными социолингвистические исследования русского языка, в ходе которых удалось уточнить понятие нормативности в языке, полнее определить социальную базу носителей нормативного языка и описать социальную функцию нормативной разновидности.

Перечисленные направления не исчерпывают те области изучения современного русского языка, в которых наблюдается плодотворная динамика. В последние годы активно развивалось исследование дискурсивных стратегий говорящего и пишущего, в частности, в рамках коммуникативной грамматики русского языка и в рамках изучения стилистики художественной речи. Язык поэзии, а отчасти и художественной прозы представляет собой своего рода полигон, на котором испытывается дискурсивный (риторический) инструментарий языка, и в этом плане анализ поэтической речи имеет существенное значение для общей лингвистики и понимания механизмов функционирования современного языка.

Успехами в описании современного русского литературного и диалектного языка отмечена в последние десятилетия академическая лексикография. Близятся к завершению третье издание «Большого академического словаря русского языка» в 30 томах и многотомный «Словарь русских народных говоров»; большой популярностью пользуется однотомный «Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов», созданный под руководством академика Н.Ю. Шведовой.

Фундаментальные инновации характеризуют и русское историческое языкознание. Настоящий переворот в этой области был вызван открытием и изучением берестяных грамот. По мере накопления объема сохранившихся на бересте текстов (в настоящее время их число перевалило за тысячу) грамоты стали осмысляться как особый источник по истории русского языка, раскрывающий то, что остается скрытым в других памятниках древней письмен-

ности: они в неизмеримо большей степени отражают разговорный язык прошлого, чем произведения религиозной литературы или деловые документы, дошедшие до нас из русского средневековья. Исследование берестяных грамот привело к пересмотру ряда положений традиционной истории русского языка, по-другому стала выглядеть картина древнейшего диалектного членения восточно-славянского ареала, а отсюда изменились и представления о взаимодействии русских диалектов, приведшем к выбору диалектной основы современного русского языка. Фундаментальное значение имели здесь труды академика А.А. Зализняка – в особенности его монография «Древненовгородский диалект» и труды по древнерусской акцентологии.

Важнейшей задачей для разработки истории русского языка остается лингвистическое исследование и издание памятников письменности. В последние годы в этой традиционной области русской филологии у нас были заметные достижения: проведены масштабные текстологические исследования и изданы тексты, обладающие первостепенной важностью для истории русского языка (такие как «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Житие Андрея Юродивого», древнерусская «Пчела», Типографский устав, Ильина книга, «Изборник 1076 г.», «Славяно-русский Пролог», «Вести-Куранты» и многие другие). Одновременно создаются электронные корпуса и базы данных по памятникам древней и средневековой славяно-русской письменности, позволяющие осуществлять морфологический и синтаксический поиск и выводящие анализ историческо-лингвистических процессов в памятниках русской письменности на принципиально новый уровень.

Одним из факторов, негативно влиявших на изучение истории русского языка, еще недавно была недостаточность лексикографического описания памятников, отсутствие полных и составленных на должном профессиональном уровне исторических словарей русского языка. Этот фундаментальный недостаток успешно преодолевается. Продолжают издаваться Словарь русского языка XI–XVII вв. (вышло 29 томов), Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. (вышло 10 томов), Словарь русского языка XVIII в. (вышло 20 томов), Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв. Можно сказать, что на сегодняшний день завершение этих основополагающих трудов уже не за горами. Эти словари важны не только для истории слов, т.е. для исторической семантики русского языка, но и для историко-грамматических исследований, поскольку они содержат упорядоченный и доступный для обобщения грамматический материал. И на этой основе на-



чала создаваться новая Историческая грамматика русского языка (вышли четыре тома под редакцией В.Б. Крысько).

Уход из жизни выдающихся деятелей сравнительно-исторического языкознания В.М. Иллича-Свитыча, В.Н. Топорова, О.Н. Трубачева, Е.А. Хелимского, С.А. Старостина, В.М. Орла нанес заметный ущерб развитию этой области, составлявшей гордость русской науки. Тем не менее, работа в этом направлении не прекращается и имеет новые достижения в трудах академиков Вяч.Вс. Иванова, В.А. Дыбо и Н.Н. Казанского, членов-корреспондентов РАН Т.М. Николаевой, А.В. Дыбо, В.В. Напольских, д.ф.н. С.Л. Николаева, к.ф.н. Г.С. Старостина и др.; в продолжающемся издании «Этимологического словаря славянских языков», представляющего уникальную реконструкцию праславянского лексического фонда (опубликовано уже 39 выпусков). Если говорить о собственно русской этимологии, то здесь в течение долгого времени образцом был знаменитый «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера. В последние годы, однако, ситуация коренным образом изменилась, и сейчас на базе созданной в Институте русского языка современной этимологической картотеки членом-корреспондентом РАН А.Е. Аникиным осуществляется издание фундаментального «Русского этимологического словаря» (опубликовано девять выпусков).

Выдающимся событием стало издание «Сравнительно-исторической грамматики тюркских языков» в шести томах под редакцией членов-корреспондентов РАН Э.Р. Тенишева и А.В. Дыбо, в котором впервые осуществлена сравнительно-историческая реконструкция языковых уровней тюркских языков. Всестороннее описание всех известных ныне иранских языков представлено в семитомном издании «Основы иранского языкознания».

Крупнейшими достижениями в области русской топонимии и антропонимии мы обязаны уральской ономастической школе (руководитель Е.Л. Березович), продолжающей дело члена-корреспондента РАН А.К. Матвеева, выступающей общероссийским организационным центром экспедиционных и лексикографических работ в этой области.

Исследования произведений русской словесности от древности до наших дней дали новый импульс осмыслению проблем письменного языка и исторической динамики языковых норм. В рамках идущих от академика В.В. Виноградова традиций активно развивается история русского литературного языка или, в иной терминологии, история языка русской письменности. Здесь важнейшие достижения связаны, с одной стороны, с установлением лингвистических параметров переводческих традиций

в домонгольской Руси (работы А.А. Пичхадзе), с достижениями в изучении текстологической истории Повести временных лет, Новгородской первой летописи и других текстов (работы члена-корреспондента РАН А.А. Гиппиуса); с другой – с анализом процессов формирования языковой нормы в русском языке XVIII в. В работах В.М. Живова был показан переломный характер языкового употребления в эпоху Петра Великого – когда прерываются линии преемственности в морфологических и синтаксических навыках русских авторов. И эта же эпоха стала начальным этапом для переосмысления множества базовых концептов, имеющих философское, этическое и политическое значение; эти процессы сегодня плодотворно изучаются исторической семантикой русского языка.

Для понимания традиционной культуры русского общества, а отсюда и истории русского языка как феномена культуры важнейшее значение имеют этнолингвистические исследования. Они позволяют воссоздать архаические пласты традиционного мировосприятия и проследить, каким преобразованием подверглась эта архаика при видоизменениях народного быта. В 1960-е годы этой проблематикой начал заниматься академик Н.И. Толстой. Эти штудии весьма плодотворно продолжают под руководством С.М. Толстой. Они нашли отражение в ряде монографий, посвященных разным областям народного быта, и в итоговой форме представлены в пятитомном «Словаре славянских древностей». В рамках этого же направления изучается диалектическое взаимодействие понятий народной религиозной культуры и высокой культуры элитарных групп общества.

Осмысление истории языкознания, особенно русского, является важнейшим условием его дальнейшего развития. Важные достижения в этой области связаны с циклом работ члена-корреспондента РАН В.М. Алпатово по истории лингвистических учений и судьбах отечественных славистов и тюркологов.

## НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИКИ В РОССИИ

*В.М. Алпатов*

За последние десятилетия наука о языке в мире, в том числе в нашей стране, стала заметно иной. Структурный подход к языку уступил место функциональному.

Еще сравнительно недавно развитие мировой лингвистики определял структурализм, стремившийся к автономии науки о языке, к выделению чисто лингвистической проблематики и отвлечению от всего иного. Это четко формулировали ведущие структуралисты. Л. Блумфилд писал в 1936 г., что предмет изучения в лингвистике – «шум, производимый органами речи» (цит. по: [Белый: 14]). Л. Ельмслев: «Лингвистика должна попытаться охватить язык не как конгломерат внеязыковых (т.е. физических, физиологических, психологических, логических, социологических) явлений, но как самодовлеющее целое, структуру *sui generis*» [Ельмслев: 32]. Границы между лингвистикой и «не лингвистикой» казались чем-то раз и навсегда заданным.

Преобладающей тенденцией было стремление к максимальной точности, лингвисты широко использовали математические методы. Казалось, что еще немного, и функции исследования языка можно будет передать машине, а роль лингвиста будет сводиться к составлению программ. Этот «романтический» период нашел даже отражение в художественной литературе. В повести А. и Б. Стругацких «Попытка к бегству» (1962) лингвист из коммунистического общества XXIII в., попадая на незнакомую планету, быстро налаживает автоматическую дешифровку языка инопланетян и систему автоматического перевода; см. об этом [Вельмезова: 337–382]. Предполагалось, что и через триста лет лингвисты будут работать на основе структуралистских принципов, только то, что в 1960-е годы было программой исследований, уже станет реальностью.

Язык понимался структуралистами как жесткая система отношений между элементами, независимая от человека, который пользуется ей в том виде, в каком она ему задана. «Язык не деятельность говорящего. Язык – это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим» [Соссюр: 52]. Введенное еще в начале XX в. Ф. де Соссюром разграничение языка и речи позволяло все функционирование языка отнести к сфере речи, которая могла оставаться в стороне и выводиться за пределы лингвистики.

Язык рассматривался таким же образом, как рассматриваются объекты исследования в естественных науках, т.е. исключительно с позиции извне; учет интуиции и интроспекция как метод не признавались. Такой подход иногда называют системоцентричным в отличие от исконно свойственного науке о языке антропоцентрического подхода [*Рахилина*]. Впрочем, на деле системоцентризм в чистом виде означал замену интуиции и интроспекции исследователя интуицией и интроспекцией другого человека – информанта.

Разумеется, лингвистика значительной части XX в., в том числе и у нас, не сводилась к структурализму. Существовали обособленные лингвистические дисциплины, сформировавшиеся еще в предыдущем веке: сравнительно-историческое языкознание, экспериментальная фонетика. И в области описания современных языков немалое число языковедов работало на основе традиционных методов. И все же развитие мировой науки о языке около полувека определялось структурализмом, представители которого обычно высоко относились к ученым, работавшим не в их парадигме. А те, полемизируя со структуралистами, иногда высказывали существенные идеи. Здесь надо отметить выдающегося лингвиста В.И. Абаева, он представлялся структуралистам как ретроград, но он писал, например: «В языке переплетаются две системы: познавательная и знаковая. Элементы первой соотносимы с элементами объективной действительности и отражают, в конечном счете, структуру последней. Вторая (знаковая) система определяется внутриязыковыми корреляциями. В первой системе элементами структуры являются значения, во второй – чистые отношения. Лексика есть преимущественная сфера первых, фонетика – вторых. Промежуточное положение между этими двумя полюсами занимают морфология и синтаксис» [*Абаев*: 103].

Действительно, наибольших успехов структурная лингвистика достигла в области фонологии, которая в это время была «бумажной» дисциплиной, не нуждавшейся в опоре на данные экспериментальной фонетики, находившейся тогда на периферии языкознания. И В.И. Абаев был прав, говоря о том, что игнорирующий «познавательную систему» мог иметь здесь успехи в отличие от семантики. Попытки создания структурной семантики были, но мало что дали, в основном сводясь к сведению значения морфем и слов к сумме не связанных между собой компонентов.

Окончание структурного этапа в лингвистике обычно связывают с именем Н. Хомского, обратившегося на новом уровне к

изучению языковой интуиции, что поначалу казалось структуралистам недостатком. Хомский назвал лингвистику «особой ветвью психологии познания» [Хомский 1972: 12] и обратился к изучению освоения языка человеком. В то же время критики хомскианства отмечают, что в нем формальный аппарат часто заслоняет содержательную сторону, многие также не согласны с его идеей о синтаксисе как центральной области языка, более важной, чем семантика. В нашей стране хомскианство, в отличие от США, не стало господствующим направлением лингвистики.

У нас в последние десятилетия, когда отход от структурализма стал уже общепринятым (показательна совместная статья российского и зарубежного авторов [Живов, Тимберлейк] с симптоматичным названием «Расставаясь со структурализмом»), получила распространение иная лингвистика, которую иногда называют функциональной, иногда когнитивной (познавательной); ср. «познавательную систему» у В.И. Абаева. Представляется, что понятие функциональной лингвистики шире; могут быть дисциплины, не связанные непосредственно с познанием, но изучающие функционирование языка, например, социолингвистика. Функциональная лингвистика не ограничивается изучением языковой структуры, составляющим фундамент исследования языка, но не затрагивающим в языке самое главное.

Пожалуй, впервые принципы функциональной лингвистики у нас изложил более тридцати лет назад А.Е. Кибрик в работе «Лингвистические постулаты». Впервые она была изложена в Тарту в 1982 г. и вызвала возражения со стороны структуралистов, но время подтвердило верность ее постулатов (далее цитируется ее переработанный вариант 1992 г.). Часть их направлена против структурализма, другая часть – против Хомского, снижавшего значение семантики. «Адекватная модель языка должна объяснять, как он устроен “на самом деле”» [Кибрик: 19]. «Все, что имеет отношение к существованию и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики» [Кибрик: 20]. «Как содержательные, так и формальные свойства синтаксиса в значительной степени предопределены семантическим уровнем» [Кибрик: 21]. «Исходными объектами лингвистического описания следует считать значения» [Кибрик: 24]. «Устройство грамматической формы отражает тем или иным образом суть смысла» [Кибрик: 25]. «То, что считается “не лингвистикой” на одном этапе, включается в нее на следующем. Этот процесс лингвистической экспансии нельзя считать законченным» [Кибрик: 20].

Нельзя сказать, что вопросы функционирования языка ранее совсем не изучались. Но часто они исследовались вне основных интересов лингвистики. Пример – пионерские исследования А.Р. Лурии по речевым расстройствам, начавшиеся еще в 1940-е годы и давшие уникальный материал о процессах, происходящих в мозгу. Теперь очень активно изучается все, что происходит «на самом деле». Активно разворачиваются прямые исследования речевых механизмов мозга, в том числе в нашей стране. Особенно надо отметить петербургский коллектив во главе с Т.В. Черниговской. Им уже накоплен немалый материал. Изучение механизмов мозга – «не лингвистика» с точки зрения научных взглядов недавнего прошлого, когда считали важным учитывать лишь «шум, производимый органами речи» и не заходили в «черный ящик». Но в современной науке приоритеты изменились.

В настоящее время ведутся комплексные исследования пограничных вопросов. Один из примеров – коллективная книга [Язык и мысль], выполненная в Институте языкознания РАН под редакцией группы ученых во главе с А.А. Кибриком; среди авторов отечественные и зарубежные специалисты, не только лингвисты, но и физиологи, психологи, исследователи коммуникации. В ней рассматриваются такие проблемы, как коммуникативные стратегии, эмоции говорящего, патология речи, усвоение языка, жестикуляция. Все авторы подчеркивают необходимость отказа от замкнутости и связи с соседними науками.

Отказ от замкнутости свойствен многим направлениям современной лингвистики, в том числе таким, казалось бы, давно сложившимся, как фонетика. «В современную эпоху традиционные фонологические модели, ориентированные на классификационные задачи описательного языкознания, оказываются недостаточными. На первый план выдвигается моделирование реальных процессов производства и восприятия звуковой речи. Многие из них получают естественное переосмысление в прикладных разработках, связанных с компьютерной имитацией звуковых процессов – синтезом и распознаванием речи» [Кодзасов, Кривнова: 15].

Преодолевается и когда-то полезное, но ограничивающее научные подходы представление о непреодолимом различии синхронии и диахронии в той жесткой форме, которую придал ей Ф. де Соссюр. Возвращается идея о том, что пониманию современных явлений могут помогать данные исторической лингвистики. Об этом еще более полувека назад говорил Р. Якобсон: «Статичная синхрония – это абстракция, необходимая лингвисту для определенных целей,

а согласованное с фактами, исчерпывающее синхронное описание должно последовательно учитывать его динамику» [Якобсон: 399]. «С исторической точки зрения сомнительно наличие в языке немотивированных связей между значением и формой; кажущееся отсутствие мотивации следует объяснять тем, что эта связь стерта, демотивирована, и необходимо найти исходное мотивированное состояние» (Кибрик: 130).

В последние 20–30 лет стала активно развиваться семантика, по сути, впервые она стала предметом систематического анализа. Современная функциональная лингвистика отстаивает главную роль значения в языке. При переходе к структурализму стала особенно активно развиваться и типология. Ей мало занимались и в большинстве направлений классического структурализма, и в генеративизме, интересующемся вечными, универсальными свойствами языка. Сама типология стала во многом иной, чем раньше: «На смену безраздельного господства... КАК-типологии приходит *объяснительная* ПОЧЕМУ-типология, призванная ответить не только на вопросы о существовании, но и о причинах существования/несуществования тех или иных явлений» [Кибрик: 29].

В составе общего процесса развития функционального подхода к языку не всегда рассматривается социолингвистика. Однако несомненно, эта дисциплина, также игнорировавшаяся в структурной лингвистике, сейчас начала развиваться интенсивнее, чем раньше, о чем свидетельствует подготавливаемая сейчас в Институте языкознания РАН масштабная энциклопедия «Язык и общество».

Активно изучаются такие сравнительно новые дисциплины, как теория речевых актов, прагматика, дискурсный анализ, теория речевых жанров. Широко распространилось исследование языковых картин мира, о которых писали еще В. фон Гумбольдт и Б. Уорф. В России это изучение интенсивно ведется не только в Москве и Петербурге, но и в ряде других научных центров: Воронеже, Саратове, Волгограде, Красноярске и др. В целом функциональная лингвистика у нас, безусловно, находится на мировом уровне, в какой-то степени ее развитию помогает отсутствие перекоса в сторону хомскианства, наблюдаемого в США и некоторых других странах.

Сделано уже немало, но немало и проблем. Функциональная теория и соответствующие методы находятся еще в стадии становления. Для многих процессов пока что имеются лишь более или менее правдоподобные гипотезы и догадки. Вот что пишет

саратовский лингвист: «поле, на котором выделяются... с одной стороны, ряд нетривиальных, содержательных, *красивых* теоретических моделей, с другой – определенное множество образцов... прокомментированного материала» [Дементьев: 31]. «Самыми оригинальными и интересными... оказываются, как правило, чисто дедуктивные, постулатные модели, которые могут быть очень красивы сами по себе, но при этом не имеют большого отношения к особенностям конкретного материала и возможностям его непротиворечивой оценки» [Дементьев: 42].

Еще несколько десятилетий назад казалось, что лингвистика приближается по степени строгости и математизированности к естественным наукам, и полностью формализованная теория языка – дело близкого будущего. Через какое-то время наметилась противоположная крайность: лингвистика, особенно в нашей стране, начинает напоминать далекие от какой-либо строгости гуманитарные дисциплины; для верификации построений языковедов мы не имеем никакой базы, кроме проверки их нашей интуицией, которая у разных людей может и не совпадать.

И, тем не менее, современная лингвистика продвигается в сторону познания наиболее существенных и наиболее сложных вопросов. Как сказано в одной из наиболее интересных книг последнего времени по функциональной семантике, «в языке, очевидно, есть дискретное и градуальное, воспроизводимое и порождаемое, объективно-системное и субъективно-поэтическое» [Зализняк: 17]. Структурная лингвистика была сосредоточена на дискретном, воспроизводимом и объективно-системном, добившись здесь определенных успехов. Теперь пришло время идти дальше.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Абаев В.И.* Об историзме в описательном языкознании // Абаев В.И. Статьи по теории и истории языкознания. М.: Наука, 2006.
- Белый В.* Леонард Блумфилд. Арад, 2012.
- Вельмезова Е.В.* История лингвистики в истории литературы. М., 2014.
- Дементьев В.В.* Коммуникативные ценности русской культуры. Категория личности в лексике и прагматике. М., 2013.
- Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка. М., 2006.
- Живов В.М., Тимберлейк А.* Расставаясь со структурализмом // Вопр. языкознания. 1997. № 3.
- Зализняк А.А.* Русская семантика в типологической перспективе. М., 2013.
- Кибрик А.Е.* Лингвистические постулаты // Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.



*Кибрик А.Е.* Типология: таксономическая и объяснительная, статическая или динамическая? // Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.

*Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф.* Общая фонетика. М., 2001.

*Рахилина Е.В.* О концептуальном анализе в лексикографии А. Вежбицкой // Язык и когнитивная деятельность / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. М.: Институт русского языка, 1989. С. 46–51.

*Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 31–273.

*Хомский Н.* Язык и мышление. М., 1972.

Язык и мысль. Современная когнитивная лингвистика. М., 2015.

*Якобсон Р.* Выступление на Первом Международном симпозиуме «Знак и система языка» // *Звегинцев В.А.* История языкознания XIX–XX вв. В очерках и извлечениях. 3-е. изд. Ч. 2. М., 1965. С. 395–402.

## ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА: ЧТО И ЗАЧЕМ ИЗУЧАЕМ?

*М.Л. Андреев*

Тема институционального кризиса филологии в последние годы стала уже общим местом. Сам кризис – явление общемировое. В США он сказался, в частности, массовым закрытием соответствующих кафедр. По словам американского профессора, «мы уже наблюдаем начало конца. И если названия наших наук и кафедр меняются медленно, то социальные функции, приведшие к их появлению, и интеллектуальные предпосылки, обусловившие их развитие на протяжении первых ста лет, уже почти исчезли» [*Гумбрехт*]. По словам российского профессора, «на филологических факультетах царит нарастающая деморализация – мы плохо понимаем, кого и для чего воспроизводим» [*Венедиктова*]. Причин у этого явления много, одна из них – отсутствие в последние десятилетия «больших теорий», охватывающих всю сферу литературоведения; они заменяются либо разнообразными «поворотами» (последний по времени – антропологический), либо квази-теориями (вроде «нового историзма»); как правило же, практическое литературоведение вообще обходится без какой-либо теоретической рефлексии. На нашей филологии сказывается изоляция от мировой – изоляция традиционная, одно время ослабевшая, в последнее время возросшая (которая, однако, парадоксально сочетается с трансляцией в административную сферу методов контроля и экспертизы, заимствованных на Западе), но причины кризиса в основном те же – изменение статуса и функций филологии в составе социальных и гуманитарных наук.

Положение филологии (точнее, литературоведения), имеющей своим предметом иностранные литературы (в просторечии – «зарубежки») – пожалуй, самое тревожное. Она, по определению, лишена двух главных алиби, которые могут предъявить для своего оправдания национальные филологии, а именно: работ по подготовке канонического текста и по регламентации свода образцовых памятников (у нас в нынешних условиях последняя задача, поставленная под сомнение на Западе, имеет все шансы укрепиться, поскольку может быть понята и поддержана как вклад в идеологическую легитимизацию нации-государства). В советское время существование этой отрасли литературоведения поддерживалось и оправдывалось установкой на идеологическое освоение и в какой-то степени присвоение зарубежных литератур, что может

быть сопоставлено со второй задачей национальных филологий, с обслуживанием канона – создавался альтернативный канон, в котором поэты Парижской коммуны могли занимать более почетное место, чем Бодлер или Верлен, а мировая литература выстраиваться по линии роста народности и революционности. В настоящее время эта задача ни в какой форме не может быть реанимирована.

Исчезла или существенно умалилась и задача по филологическому (вернее, также идеологическому) сопровождению переводческих практик: сейчас издательства, формируя свой портфель переводимых произведений, ориентируются не на филологическую экспертизу, а на рейтинги продаж на Западе и окончательно отказались от обычая сопровождать издания филологическими комментариями в виде предисловий и послесловий. В прежние времена под видом критики западных теорий порой происходила их трансляция в отечественное гуманитарное пространство: сейчас эта задача также отпала – трансляция может происходить в прямой форме (другое дело, что отечественная филология к этим идеям и подходам, как правило, мало восприимчива). Наконец, остаются задачи педагогические: в стране добрая сотня филфаков, на большинстве читаются курсы зарубежной литературы и существуют соответствующие кафедры, для этих курсов требуется сопроводительная литература на русском языке, и «зарубежка» обслуживает эти потребности. Однако неизбежно возникает вопрос, какова потребность в этих потребностях: для филолога знакомство с Эсхилом, Данте и Расином в высшей степени желательно, однако с филологией выпускники филологических факультетов связывают свою жизнь в единичных случаях, для всех остальных это знакомство – роскошь и часто излишняя. Трудно отделаться от впечатления, что эта часть филологического образования сохраняется только по инерции, сила которой с каждым годом все больше ослабевает (интересно в этой связи проанализировать недавние сокращения на филфаке МГУ: по моим данным, они больше всего ударили по преподавателям восточноевропейских литератур). В общем получается замкнутая на себя система: от учебного процесса к научному и обратно, без выхода за ее пределы. Не знаю, как обстоит дело на этих кафедрах (особенно провинциальных) с воспроизводством кадров, но то, что в данной области это большой вопрос, известно всем, кто к этой области причастен.

Посмотрим, что в данной предметной области в последние годы происходит. Символическим жестом, обозначившим границу между двумя эпохами, стало решение руководства ИМЛИ не выпускать в свет полностью готовый заключительный том «Ис-

тории всемирной литературы», посвященный XX веку, – было ясно, что его надо почти целиком переписывать (таким образом, издание оборвалось на восьмом томе, вышедшем в 1994 г.). С тех пор проектов такого масштаба (в которых зарубежная литература играла бы центральную роль) не предпринималось. Проекты менее масштабные, но сходные по типу (т.е. истории национальных литератур, в том числе таких крупных, как североамериканская, латиноамериканская, итальянская), имелись и даже в изобилии. В постсоветское время их было написано, или дописано, или начато больше, чем за весь советский период (кроме перечисленных – еще австрийская, швейцарская, дополнение к немецкой). Более или менее общей чертой этих трудов является отсутствие или ослабленность сквозного исторического нарратива, что внешне проявляется в подавляющем преобладании медальонного принципа организации материала (например, в первом томе «Швейцарской литературы» на двадцать четыре главы приходится всего четыре, посвященные общим вопросам, остальные рассказывают об отдельных писателях; во втором томе таких глав чуть больше – шесть из двадцати; последний том «Латинской Америки» состоит только из портретных глав). Подобный тип структурирования в пределе приближается к словарно-энциклопедическому, который в постсоветские годы также стал одной из форм коллективизации научных усилий: можно вспомнить «Словарь сюрреализма» (2007), «Словарь экспрессионизма» (2008), «Западное литературоведение XX века» (2004), «Шекспировскую энциклопедию» (готовую к выходу), значительным было участие филологов в «Словаре средневековой культуры» (2003) и в «Энциклопедии Возрождения» (2007–2011). На исходе советской эпохи призывы к филологам переключиться на создание справочных изданий звучали от многих авторитетных ученых (в частности, от Д.С. Лихачева), в чем, разумеется, сказались усталость от идеологии, усталость от теории вообще, а усталость приводит к остановке. Никто не отрицает практическую ценность справочных изданий, но как бы они ни были хороши, они представляют собой форму каталогизации уже наработанного, а не наработку нового. Новое же нарабатывается только во взаимодействии между практикой и теорией; даже в советские времена такой взаимообмен худо-бедно происходил: теория не только диктовала правила игры практике, но и в некоторых случаях направлялась ею (можно вспомнить, как под давлением практики нормативная теория несмотря на свою принципиальную ригидность приоткрывала в себе доступ для семиотики и исторической поэтики).

В настоящее время в практике (оставляя в стороне практику рутинную по всем, даже внешним, показателям) некоторые новации можно отметить. Первым делом бросаются в глаза попытки переключиться на регистры, не связанные с традиционной номенклатурой направлений, стилей и течений<sup>1</sup>: появляются работы, скажем, о культе как феномене литературного процесса (Култ как феномен литературного процесса. М.: ИМЛИ, 2011), о готическом в литературе (Заломкина Г.В. Поэтика пространства и времени в готическом сюжете. Самара, 2006; Она же. Готический миф. Самара, 2010), о фантастическом в романе (Гопман В.Л. Золотая пыль: Фантастическое в английском романе. М., 2012), даже о кошмаре (Хапаева Д. Кошмар: Литература и жизнь. М., 2010), о телесности (Уракова А.П. Поэтика тела в рассказах По. М.: ИМЛИ, 2009), о гендере (Матченя С.Р. Поэтика английского романа XVI–XVIII веков: Гендерный аспект. Псков, 2009). Они разные по качеству, и некоторым из них, ввиду своей явной вторичности в отношении интеллектуальной моды, трудно избавиться от примет научного провинциализма. Возникновение наиболее заметных явлений в зарубежной филологии последних лет сопряжено с двумя обстоятельствами. Во-первых, появились исследователи, которые, не утрачивая качества «вненаходимости» (предоставляемые им принадлежностью к отечественной филологической традиции), располагают всеми данными, необходимыми, чтобы включиться в филологическую работу над зарубежным материалом на тех же правах и основаниях, что и представители национальных филологий (в том числе и потому, что некоторые из них завершали или пополняли свою профессиональную подготовку на Западе): среди работ такого уровня можно назвать последние монографии Е.А. Гуревич (Древнескандинавская новелла. Поэтика «прядей об исландцах». М.: Наука, 2004) и Л.В. Евдокимовой (От смысла к форме. Перевод во Франции XIX века: Опыт типологии. М.: ИМЛИ, 2011). Во-вторых, стали появляться исследования, в которых междисциплинарность выступает не в качестве внешнего оформления, а в качестве внутреннего стержня, не только как экспансия в филологию методов антропологии, социологии, истории, но и как расширение филологической предметности за ее границы в традиционном понимании. Так, Т.Д. Венедиктова (Разговор по-американски. Дискурс торго в литературной традиции США 19 века. М., 2003) исследует литературную коммуникацию

---

<sup>1</sup> Ср. призыв Марка Липовецкого отказаться от системы понятий, описывающих литературные направления, и строить историю литературы как историю дискурсов: мистика, фантазмагория, смешное и слезное, непристойное и возвышенное, насилие, телесность, визуальность [Липовецкий].

в контексте американской культуры XIX в. Е.Д. Гальцова (Сюрреализм и театр. К вопросу о театральности эстетике французского сюрреализма. М., 2012) – театральность французского сюрреализма и как категорию мышления, и как форму осмысления мира, и как эстетическую характеристику. С.Н. Зенкин (Небожественное сакральное. Теория и художественная практика. М., 2012) – литературу с точки зрения интеллектуальной истории. Надо при этом учитывать, что если для исследований современности и недавней истории выход за пределы дисциплинарного поля – своего рода достижение, то для филологии, обращенной к прошлому отдаленному – данность и необходимость: и Фруассар, и Кретьен де Труа – в равной степени литература, других «медиа» в Средние века не было. Однако если при взгляде на отдаленный объект филологические подходы получают преимущество (по словам американского санскритолога Шелдона Поллока, «филология растет в изгнании; чем дальше вы находитесь в пространстве и времени от языка, тем более интенсивно ваше филологическое внимание») [Поллок], то теория любит располагаться поблизости от современности (так это было уже для Аристотеля).

Две эти группы явлений возвращают надежду на обретение зарубежной филологией своего лица и возвращение своего места: высокий профессионализм, с одной стороны, избавляющий эту область исследований от вторичности и компилятивности, которым она была особенно подвержена в позднесоветские годы, и открытость, с другой стороны, к методологическим новациям. Важно и то и другое: и лицо, и место. Практика показывает, что большие национальные филологии неизбежно сопровождаются экспансией за свои национальные границы. Наличие исследований зарубежной литературы выступает словно бы в качестве маркера их величины и веса. Но дело не только в престиже: это и самое надежное противоядие против автаркии и застоя, подстерегающих филологии малые.

#### ЛИТЕРАТУРА

*Венедиктова Т.* Осенняя эстетика. И прагматика // Новое литературное обозрение. 2011. № 110.

*Гумбрехт Г.У.* Начало науки о литературе... и ее конец? // Новое литературное обозрение. 2003. № 59.

*Липовецкий М.* Конец «застольного» периода // Новое литературное обозрение. 2012. № 113.

*Поллок Ш.* Филология будущего? Судьба мягкой науки в жестком мире // Новое литературное обозрение. 2011. № 110.

## ФОЛЬКЛОРИСТИКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ДИАЛОГЕ<sup>1</sup>

*А.Л. Топорков*

Современная фольклористика – самостоятельная интегративная научная дисциплина, связанная с рядом наук гуманитарного и общественного профиля. Основной предмет фольклористики – устная вербальная традиция разных народов, доступная в живом функционировании или в фиксациях на различных носителях (в том числе в письменных источниках и Интернете).

В Российской Федерации фольклористика занимает устойчивое положение как академическая и университетская дисциплина, что выгодно отличается от ситуации в некоторых странах Европы (например, в Англии, Чехии, Венгрии), где фольклористика практически перестала существовать как особая наука: нет специальных кафедр фольклора в университетах; специалисты по устным традициям работают в подразделениях, предназначенных для литературоведов, лингвистов или антропологов. Положение в российской науке в этом отношении сопоставимо скорее с ситуацией в таких странах, как Финляндия и Эстония, в которых фольклористика имеет давние традиции и продолжает успешно существовать и в наше время.

Со второй половины XIX в. и практически до наших дней русская фольклористика имеет три основных приоритетных направления. Это, во-первых, работа с живой традицией: фиксация текстов в непосредственном бытовании с особым вниманием к личности исполнителя и его мастерству (так называемая «русская школа», восходящая к собирательской практике А.Г. Гильфердинга и позднее братьев Б.М. и Ю.М. Соколовых); во-вторых, «историческая поэтика» и компаративистика (их становление связано с именем академика А.Н. Веселовского); в-третьих, этнолингвистика и лингвопоэтика, у истоков которых стоял великий русский и украинский ученый А.А. Потебня.

В XX в. к этим трем направлениям прибавилось структурно-семиотическое изучение фольклора (его основателем является В.Я. Пропп с его всемирно известной «Морфологией сказки»). Во второй половине XX в. мировое признание получили труды П.Г. Богатырева, В.Я. Проппа и Е.М. Мелетинского, переведенные на основные европейские языки и вошедшие в золотой фонд

---

<sup>1</sup> Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-02709) и в ИМЛИ РАН.

гуманитарной науки. Труды этих ученых продолжают переиздаваться, им посвящаются специальные конференции и историографические исследования.

Чрезвычайно важны переиздания трудов А.Н. Веселовского (в частности, его «Исторической поэтики») и серия сборников, посвященных его научному наследию. Я бы подчеркнул три момента в методологических открытиях А.Н. Веселовского, которые наиболее актуальны сегодня: это, во-первых, сочетание исторической поэтики с компаративистикой, во-вторых, совместное изучение устных и книжных традиций и, в-третьих, рассмотрение русской культуры в широком контексте европейских христианских культур средневековья и Нового времени.

#### ТЕРМИН «ФОЛЬКЛОР», ЕГО ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ

Как известно, термин «фольклор» ввел в 1846 г. член английского «Общества древностей» Уильям Джон Томс в своей статье, опубликованной в журнале «Атенеум». Он употребил термин «фольклор» в качестве, как он писал, «подходящего составного саксонского слова для обозначения того, что мы в Англии именуем народными древностями» (цит. по: [Никишенков: 57]). Он же поставил вопрос о научных принципах собирания фольклора, говоря о необходимости «прямого наблюдения в поле, точности описания, фиксации связей между определенными данными и сравнительным комментарием» [Никишенков: 57].

Развернутое определение фольклора на русском языке впервые дал В. Лесевич в статье «Фольклор и его изучение» (1899). Он включал «фольклор» в область этнографии и понимал его в широком смысле как «общую совокупность народного знания – все то, что знает народ по преданию» (цит. по: [Путилов. 2003: 19]). К области фольклора В. Лесевич относил не только сказки, легенды, песни и т.д., но и «знахарство, ворожбу, свадебные и иные обряды».

Термин «фольклор» буквально обозначает «народная мудрость» или «народное знание» и имеет достаточно условный характер. Он входит в систему международной научной терминологии наряду с немецким термином «Volkskunde», который почти идентичен «фольклору» по составу и значению включенных в него компонентов. Тот факт, что слово прижилось, получило широкое международное распространение, вошло в названия научных обществ, периодических и серийных изданий, доказывает, что оно было придумано удачно. В то же время данный термин не лишен двусмысленности.



1. Фольклор может пониматься и как само народное творчество (т.е. «мудрость народа»), и как наука об этом творчестве (т.е. «знание о народе»). Впрочем, в русскоязычной традиции эта проблема решена путем разделения терминов «фольклор» и «фольклористика».

2. Фольклор может также пониматься в широком и узком смысле. На современном этапе эта проблема наиболее подробно рассмотрена в книге Б.Н. Путилова «Фольклор и народная культура», которая вышла двумя изданиями в 1994 и 2003 гг. и сохраняет свою актуальность. Б.Н. Путилов выделяет пять значений термина «фольклор», однако для нас в данном случае можно свести их к двум основным – условно говоря, узкому и широкому. При широком понимании фольклор понимается как «вся совокупность, все многообразие форм традиционной культуры» [Путилов. 2003: 38]), при узком к фольклору «относятся явления и факты вербальной духовной культуры во всем их многообразии» [Путилов. 2003: 38]. Таким образом, при узком понимании фольклора он включает только такие явления, которые имеют вербальную составляющую, а при широком – также народные танцы, традиционные ремесла, праздники и обычаи и т.д., вне зависимости от того, имеют они словесное сопровождение или нет. Термин «фольклор» в широком значении синонимичен словосочетанию «народная духовная культура». В соответствии с этим фольклор в узком понимании может включаться в область филологии наряду с литературоведением и лингвистикой, а в широком – в область этнографии, этнологии, культурной или социальной антропологии. Для науки советского периода было характерно узкое понимание фольклора и отнесение фольклористики к филологическим дисциплинам; в постсоветский период доминирует тенденция к широкому пониманию и осмыслению фольклористики как интегративной дисциплины.

3. Фольклор можно понимать также как совокупность пережиточных явлений, функционирующих у таких групп населения, которые сохраняют традиционный уклад жизни (прежде всего в сельской местности), или как совокупность внелитературных жанров словесности, включая современные речевые жанры: плакаты и лозунги участников протестных движений, граффити, разного рода ментальные стереотипы, конструирование этнических образов и т.д. При понимании фольклора в первом значении придется признать, что область фольклора непрерывно сужается, как шагреновая кожа, а фольклористы изучают главным образом такие явления, которые уже перестали активно функционировать. При понимании фольклора во втором значении возникает опасность того, что фольклористика отождествится с социологией,

культурной и социальной антропологией и утратит специфический предмет своего изучения.

4. Элемент «folk» (нем. «Volk»), т.е. «народ», сам по себе чрезвычайно многозначен и к тому же часто подвергался мифологизации и идеологизации. Например, фольклор могли понимать не просто как совокупность устных традиций, но как некую «народную мудрость» (что соответствует значению термина «фольклор») и даже высшую форму творчества по сравнению с литературой. В русском языке «народ» понимается и в значении «малообразованные, главным образом, сельские слои населения» (например, в случае противопоставления «народа» и «интеллигенции»), и в значении «этнос, нация» (например, в словосочетаниях «русский народ» или «российский народ»). Соответственно в первом случае к фольклору относится главным образом крестьянский фольклор доиндустриальной эпохи, а во втором – вся совокупность устных и вообще внелитературных традиций, включая современные формы неофициальной словесности.

Многозначность термина приводит к тому, что в разных этноязыковых традициях «фольклор» понимается то в узком, то в широком смысле, то по отношению к архаике, то по отношению к современности, что приводит подчас к взаимному непониманию и даже отторжению разных научных школ. Например, множество тем, которыми занимаются американские фольклористы, с точки зрения российских ученых, ориентированных на узкое филологическое понимание термина, вообще не относятся к области фольклористики.

Время от времени высказываются предложения вообще отказаться от употребления термина «фольклор», и они имеют определенный резон, однако в этом случае придется придумать какой-то другой термин для обозначения устных форм словесности. К тому же в гуманитарной сфере вполне успешно используются не менее многозначные термины, такие как «язык», «культура», «литература», «миф» и др. Кстати термины «пространство», «время», «материя», «общество», «история» еще более многозначны. К каждому из них можно предъявить не меньше претензий, чем к термину «фольклор», и подвергнуть еще более сокрушительной деконструкции. Вопрос только в том, стоит ли это делать, и во что превратится научный дискурс, если в нем будут отсутствовать общие понятия.

Наряду с «фольклором» в отечественной традиции существуют и другие термины, например в XIX – начале XX в. широко использовалось словосочетание «народная словесность», историки и антропологи ныне активно используют словосочетание «устные традиции»,

противопоставляя их «письменным традициям»; С.Е. Никитина вынесла в название своей книги оборот «устная народная культура» [Никитина. 1982]; Б.Н. Путилов употреблял термин «вербальная культура» и т.д. Этот перечень несложно было бы продолжить.

#### ФОЛЬКЛОР И ФОЛЬКЛОРИСТИКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЯХ

Основания русской фольклористики были заложены филологами с универсальным кругом знаний и интересов, широко образованными знатоками европейской науки, среди которых были полиглоты и выдающиеся лингвисты и историки литературы (Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, А.Н. Пыпин, А.А. Потебня, А.Н. Веселовский, А.И. Кирпичников, В.Ф. Миллер). В XX в. эту традицию продолжили В.Н. Перетц, М.Н. Сперанский, Е.В. Аничков, К.Ф. Тиандер, В.М. Жирмунский, Р.О. Якобсон, В.Н. Топоров, Н.И. Толстой и др. Можно сказать, что междисциплинарность входит в «генетический код» русской фольклористики.

При своем возникновении она имела три основных источника: во-первых, филологическая славистика в лице Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского и их учеников и последователей, во-вторых, этнографическое краеведение в лице сотрудников и корреспондентов Русского географического общества и различных губернских комитетов и губернских ведомостей; в-третьих, бытописательная литература (В.И. Даль, С.В. Максимов и др.).

Фольклористика сформировалась в России несколько позднее, чем в Англии и Германии, однако в целом она развивалась в том же русле европейской научной мысли и выполняла те же культурные и социальные функции. Фольклористы ставили своей целью зафиксировать, сохранить и пропагандировать устные традиции необразованного класса (главным образом сельского населения), а также осмыслить культуру социальных низов в духе гуманитарного знания Нового времени. В более общем плане имелось в виду сохранить те пласты этнической памяти, которые могли быть утрачены в результате процессов урбанизации, распространения грамотности, вытеснения традиционных жанров словесности из жизни общества.

С момента своего зарождения российская фольклористика развивалась главным образом как наука о традиционной словесности народов, населяющих Российскую империю, а впоследствии – Советский Союз и постсоветскую Россию. Задачи собирателей были направлены на фиксацию, публикацию и изучение устных традиций многочисленных народов России, сохранивших до XIX–XX вв.

уникальные эпические, сказительские и иные традиции. Современная российская фольклористика также имеет своим предметом не только русский фольклор, но и фольклор других славянских и неславянских народов.

Фольклористика в составе краеведения, региональных исследований или страноведения представляет собой часть комплексного знания о локальной, региональной, этнической или надэтнической традиции. В этом смысле говорят о «фольклористике Карелии», «русской фольклористике», «восточнославянской фольклористике», «европейской фольклористике», «тюркской фольклористике» и т.д. Например, краевед интересуется, как правило, не только фольклором своей местности, но и ее диалектом, литературной традицией, историей, природопользованием и т.д. Аналогичным образом славянская фольклористика вписывается в сумму наук о славянских народах: их истории, материальной культуре, образе жизни, менталитете, обычаях и обрядах, литературных традициях и т.д.

Фольклор в силу своей полиэлементности и жанрового многообразия является предметом не только фольклористики, но и других наук. Тексты устной традиции, помимо фольклористов, изучают лингвисты разного профиля (лингвофольклористы, этнолингвисты, диалектологи, лексикологи, фразеологи и т.д.), литературоведы, этнографы, антропологи, социологи, психологи, музыковеды, театроведы и т.д.

В связи с тем, что для современной гуманитарной науки в целом характерна тенденция к междисциплинарности, фольклористика все теснее смыкается с этнографией, социальной и культурной антропологией, краеведением, микроисторией, социологией, музыковедением, театроведением, музееведением; испытывает на себе влияние устной истории, гендерных исследований, религиоведения, крестьяноведения, биографического метода.

Для самоопределения фольклористики и осмысления ее институционального статуса наиболее важны ее связи с лингвистикой, литературоведением и этнографией. Можно сказать, что фольклор заключен в треугольник, углы которого составляют язык, литература и народная культура, а наука о фольклоре вписана в треугольник между лингвистикой, литературоведением и этнографией. Эту же мысль можно передать графически, если нарисовать в центре круг, обозначающий фольклор, а по сторонам три круга (язык, литература и народная культура), которые частично накладываются на фольклор, причем каждый имеет с ним общий сегмент. Например, в общем сегменте фольклористики и лингвистики располагаются лингвофольклористика, этнолингвистика, паремиялогия, а также частично фразеология, диалектология, лексикология и т.д.

В целом фольклористику целесообразно представлять как совокупность следующих субдисциплин:

1) изучение жанровой системы и поэтики фольклора, 2) теория фольклора, 3) полевая фольклористика, 4) эдиционная фольклористика, 5) музыкальная фольклористика, 6) история фольклористики, 7) преподавание фольклора (фольклористика как учебная дисциплина).

Отдельные субдисциплины, которые входят в состав фольклористики, по-разному связаны с другими науками гуманитарного цикла. Например, полевая фольклористика представляет собой совокупность методических приемов и практических действий, направленных на поиск, фиксацию и сохранение текстов устной традиции. Для того чтобы успешно осуществлять свою деятельность, полевик должен сочетать навыки фольклориста, диалектолога и этнографа, иначе он не сможет, с одной стороны, понимать и адекватно фиксировать устную речь, а с другой – рискует пропустить пласты фольклора, встроенные в систему традиционной культуры. Методы работы в поле (интервью, анкетирование, наблюдение и др.) у фольклористов во многом совпадают с методами, разработанными в социологии.

Таким образом, перечисленные выше субдисциплины, с одной стороны, являются составными частями фольклористики, а с другой – пересекаются с другими гуманитарными и социальными науками. Вопрос о том, какую предметную область считать центральной и наиболее значительной, а какую пограничной и маргинальной, во многом имеет условный характер. Например, область взаимодействия устной и книжной словесности в принципе имеет периферийный характер и для фольклористики, и для литературоведения. Однако если рассматривать письменные и устные традиции в целом, то область их взаимодействия окажется как раз в центральной зоне. Не случайно крупнейшие филологи второй половины XIX–XX в. занимались параллельно литературой и фольклором (Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский, Н.С. Тихонравов, А.Н. Пыпин, В.Н. Перетц, М.Н. Сперанский, В.П. Адрианова-Перетц, Д.С. Лихачев и др.).

#### ПРОБЛЕМЫ «СТИХИЙНОЙ» ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Научному периоду собирания фольклора у многих народов предшествовал этап «стихийной» фольклористики. Его специфические черты проявляются в том, что интерес к устной традиции имеет неотрефлексируемый, любительский характер; отсутствует теоретическое знание о фольклоре; устные тексты фиксируются

с литературными, мнемотехническими, магическими, социально-престижными и др. целями; не всегда можно провести границу между записью текста и его пересказом или переработкой; в рукописной традиции книжные тексты соседствуют с фольклорными, а переводные – с текстами местного происхождения.

Фольклор могли записывать сами исполнители и знатоки устной традиции, любознательные купцы и путешественники, чиновники, которым это вменялось в обязанность, историки и географы, которые включали устные предания и мифы в свои труды, литераторы, которые видели в сказках, анекдотах, пословицах занимательное и полезное чтение и/или создавали свои произведения на основе фольклора, и др. Во многих культурах первые записи осуществили представители тех социальных групп, которые занимали промежуточное положение между народной и ученой культурами: профессиональные исполнители эпических и хвалебных песен, монахи, чиновники, учителя, купцы и ремесленники и т.д.

В странах, имеющих традицию «стихийной» фольклористики, нарождающаяся филологическая наука естественным образом обретала свой предмет не только в книжных памятниках, но и в ранних записях фольклора; изучение устных текстов начиналось с осмысления уже имеющихся к этому времени фиксаций или переработок, таких как сказки Шарля Перро во Франции или «Сборник Кирши Данилова» в России. И.М. Снегирев, Ф.И. Буслаев и В.И. Даль публиковали свои собрания пословиц, частично заимствуя тексты из предшествовавших рукописных коллекций, а частично пользуясь изустными записями, причем отличить одни от других бывает непросто.

Поскольку устные и письменные традиции основаны на двух разных типах коммуникации, запись фольклора может быть осмыслена не только в технологическом аспекте, но и как перевод текста из одной системы культуры в другую. Последствия такого перевода имеют двойственный характер. С одной стороны, текст изымается из естественной среды бытования; теряет связь с личностью исполнителя, его голосом, мимикой, жестикуляцией. Особенно велики потери при записи ритуальных и музыкальных текстов.

С другой стороны, письменная традиция на раннем этапе не вытесняет фольклор, а наоборот, дает мощный импульс для его развития, способствует его интенсивному распространению в пространстве и сохранению во времени. Такие тексты, как сказки, анекдоты, предания, в которых интерес сосредоточен на сюжете, довольно свободно переходят из устной формы бытования в рукописную и книжную и наоборот, а также переводятся с одного

языка на другой. Во многих случаях книга становится источником сюжетов, образов, афоризмов, фразеологизмов, усваиваемых фольклором, выполняет функцию посредника между разными устными традициями. Например, мифы и легенды народов древнего Ближнего Востока, включенные в текст Библии, впоследствии переходят в фольклор разных христианских народов, в том числе славянских. Становясь частью нарративного фонда христианства, ислама, буддизма, фольклорные сюжеты победоносно распространяются по странам и континентам. При этом последователи той или иной мировой религии как бы «не замечают» фольклорной природы ситуаций и образов священных книг. Сакрализация мифологических или сказочных сюжетов принципиально меняет оптику их восприятия. Знание таких сюжетов становится обязательным, исполнение текстов приобретает общественный и религиозный характер; священные книги переводятся с особой тщательностью, распространяются в громадном числе копий, а их язык воспринимается «как идеальное воплощение языковой нормы» [Алексеев, Лихачева: 68–69].

В фольклористике распространено представление о том, что «фольклор возник задолго до литературы, и именно литература в процессе своего формирования выделилась из фольклора и постепенно накапливала свои отличительные качества» [Чистов: 28]. Проблема, однако, в том, что литература не возникает каждый раз заново из фольклора, но, как правило, появляется в результате переводов с других языков. На протяжении исторически доступного времени наблюдается процесс обратного влияния «высоких» книжных и религиозных традиций на устную словесность. Это приводит не только к переходу отдельных текстов из книги и церковного ритуала в фольклор, но и к трансформации всей системы фольклора под влиянием культовой деятельности церкви и городских традиций. Например, некоторые духовные стихи у русских старообрядцев появились вследствие усвоения и переработки церковных стихов покаянных [Никитина. 1989: 153].

Христианская церковь боролась с проявлениями языческих культов и в то же время привносила в славянские страны новый фольклор, который вступал во взаимодействие с местной устной словесностью. Имеются в виду, во-первых, мифы о творении мира и первых людей, о древе жизни, грехопадении и изгнании из рая, Каине и Авеле, всемирном потопе, строительстве Вавилонской башни, переходе евреев через Красное море, жизнеописания Моисея, Давида, Соломона и др. Этот «библейский фольклор» переходил в устную традицию, пересказывался и подвергался вторичной

мифологизации. Во-вторых, своеобразный «христианский фольклор»: легенды и предания о Богородице и святых, посещениях рая, чудесных видениях и исцелениях, борьбе людей со злыми духами, событиях Рождественской ночи, событиях из жизни святых и подвижников и т.д.

И «библейский», и «христианский фольклор» черпался как из канонических, так и из апокрифических переводных сочинений. И романтическая фольклористика XIX в., и историческая школа, и наука советского периода склонны были преувеличивать оригинальный характер русского фольклора, его древность и связь с исконно славянскими традициями. На самом деле русский фольклор, как и фольклор многих других народов, впитал в себя множество международных сюжетов, испытал длительное влияние православной церкви, трансформировался под влиянием книжной продукции и городских форм устного творчества.

Публикации фольклора занимают в системе культуры двойственное положение. По отношению к аутентичной устной традиции они выступают скорее как литература, поскольку напечатанные тексты утрачивают способность к варьированию, отрываются от контекста исполнения и т.д. По отношению же к литературе они скорее представляют собой фольклор, так как соотносятся с жанровой системой устной традиции, сохраняют фольклорные сюжеты, мотивы и образы, ассоциируются с народным бытом и системой ценностей [Толстая: 38].

Сравнивая аутентичный фольклор и опубликованный, можно отметить, что второй подчас представлен в таких формах, каких никогда не было в устной традиции. Например, пословицы и поговорки издаются в виде обширных компендиумов, которые могут включать тысячи и десятки тысяч текстов. Очевидно, что ни один носитель фольклора не знает столько пословиц. Кроме того, в устной речи пословицы получают определенное контекстуальное значение. В сборниках же пословиц записи лишены контекста, поэтому их смысл может быть неясен для читателя и истолкован им сугубо индивидуально.

Аналогичным образом в сборниках сказок, былин, лирических и обрядовых песен чаще всего объединен репертуар многих исполнителей, который никогда не хранился в памяти одного человека или в одной локальной традиции. Сама идея «свода» былин, сказок и других жанров фольклора в этом смысле имеет противоречивый характер, поскольку в естественной ситуации фольклор существует не в виде свода, а в виде множества отдельных репертуаров (той или иной местности, социальной или половозрастной группы, конкретного исполнителя).



Фиксация фольклорного текста является результатом сотворчества исполнителя и человека, осуществляющего запись. При самозаписи эти роли могут совмещаться в одном лице, но чаще все-таки они разделены между разными людьми. Культурная дистанция между исполнителем и собирателем может значительно варьироваться: от ситуации, когда они принадлежат к одной культуре и хорошо понимают друг друга, до такой, когда они говорят на разных языках и при общении им требуется посредник и/или переводчик.

В целом можно говорить о двух типах фиксации устной традиции: интра-культурной – «изнутри» (самими носителями культуры) и экстракультурной – «извне» (представителями другой культуры). При интра-культурной фиксации собиратель находится в рамках известной ему устной традиции и говорит на одном языке с местными жителями, а возможно, и сам является одним из них. В этой ситуации записанные и опубликованные тексты могут позднее оказывать обратное влияние на фольклор. При экстракультурной фиксации собиратель занимает внешнюю позицию, а записи фольклора, как правило, не оказывают обратного влияния на его устное функционирование.

Представление звучащего текста, который разворачивается во времени, в виде текста напечатанного, предназначенного для визуального восприятия, само по себе создает совершенно новую ситуацию. Например, произведение, которое напечатано в стихотворном виде, начинает восприниматься не только по горизонтали, но и по вертикали. При этом акцентируются поэтические параметры текста (параллелизмы, рифмы, аллитерации и т.д.), которые могли быть незаметны при восприятии на слух. Необходимость записать текст в виде стиха или прозы задает параметры, которые не были обязательными при устном исполнении: многие произведения фольклора не относятся ни к стихам, ни к прозе в современном понимании. Характерно, что такие тексты, как заговоры, приговоры свадебного дружки, представления народного театра, могут быть опубликованы и в стихотворном, и в прозаическом виде.

В науке принято противопоставлять фольклор как сферу естественной («контактной») коммуникации и литературу как сферу коммуникации «технического» вида. При этом первая явно идеализируется, а вторая рисуется как сфера потребления информации. Между тем само чтение текста может иметь творческий характер. Например, Библию совершенно по-разному воспринимают люди верующие и неверующие. Понимание Танаха иудеями кардинально отличается от понимания Ветхого Завета христианами. В средне-

вековой Европе была разработана методика чтения Священного Писания по четырем смыслам.

Даже если литературный текст сохраняет неизменную форму, он воспринимается по-новому каждым читателем и при каждом прочтении предстает как новый текст, не равный тем, которые сформировались в предшествующих актах чтения. Все это в равной мере относится и к опубликованным фольклорным текстам, социальное функционирование которых не отличается принципиально от функционирования литературы. Из сказанного можно сделать вывод: даже если исследователь сумел адекватно прочитать опубликованный текст и понял его смысл, нет никакой уверенности, что люди, которые исполняли этот текст и записали его, вкладывали в него такой же смысл.

#### НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

История фольклористики тесно связана с политической и социальной историей, краеведением, историей общественной мысли, интеллектуальной историей, социальной историей науки. Многие фольклористы прошлого занимались разными видами профессиональной деятельностью: были врачами, учителями, чиновниками. Биографии фольклористов испытали на себе влияние войн, революций, репрессий. Методически составление биографии фольклориста мало чем отличается от составления биографии человека какой-нибудь другой специальности, требует таких же навыков библиографического и архивного поиска и умения работать с документами.

В самом общем виде фольклористика охватывает два ряда фактов: 1) собирание, обработка и хранение текстов устной словесности, их последующая публикация и популяризация; 2) аналитическое изучение фольклора, формирование научных направлений и теорий. Соответственно предмет истории фольклористики также включает две группы явлений. Во-первых, история собирания, обработки, хранения, публикации и популяризации фольклора; формирования институций, направленных на обеспечение этой деятельности (научные общества, университетские кафедры, музеи и т.д.); описание биографий и профессиональной деятельности фольклористов. Во-вторых, история научных направлений и школ, разработки методов и теорий для осмысления и изучения фольклора.

В первом случае речь идет об изучении фактов, допускающих эмпирическую проверку. В этой области возможно поступательное приращение знаний за счет архивных разысканий, публикации

не известных ранее материалов и т.п. Во втором случае мы имеем дело с вопросами, которые допускают значительную свободу интерпретаций. Для удобства дальнейшего изложения условимся считать, что первым кругом вопросов занимается «эмпирическая история фольклористики», а вторым – «концептуальная история фольклористики». Если цели и задачи первой в общем достаточно ясны, то со второй дело обстоит вовсе не так очевидно.

В частности, для концептуальной истории фольклористики особый интерес представляют альтернативные возможности развития науки, которые по разным причинам не получили развития в свое время. Для такой «истории науки в сослагательном наклонении» важны три аспекта: 1) формулировка позитивных программ, которые могут быть реализованы через несколько десятилетий в другой научной и социокультурной ситуации; постановка вопросов, которые еще ждут своего решения в будущем; 2) критическая направленность научных программ по отношению к существующим концепциям; предостережения, которые дают возможность избежать путей, заводящих в тупик; 3) понимание того, что история науки не является безальтернативной, но представляет собой только реализацию одного из возможных проектов, причем, вполне вероятно, не самого удачного.

Если эмпирическая история фольклористики сосредоточена на имманентном развитии науки, то концептуальная уделяет особое внимание ее междисциплинарным связям. Проблема заключается в том, что междисциплинарные связи, как правило, бывают взаимными и двунаправленными, а их содержание определяется общей конфигурацией научного знания в тот или иной период. Наиболее адекватное описание такие взаимные влияния получают не в рамках истории фольклористики, а в рамках более широкой истории гуманитарных наук и всего социокультурного контекста эпохи. Очевидно, что история фольклористики может быть написана не только с точки зрения фольклористики, но и с точки зрения тех смежных дисциплин, с которыми она взаимодействует.

При этом история фольклористики, написанная, например, с точки зрения современного состояния этнолингвистики и лингвофольклористики, будет существенно отличаться от версии, написанной с точки зрения истории русской литературы и литературно-фольклорных взаимосвязей. Было бы очень полезно в дополнение к общей истории русской фольклористики подготовить серию историографических исследований (статей, диссертаций, монографий), посвященных таким связкам, как «история фольклористики и изучение древнерусской литературы (апокрифов, народных верований и обрядов, народного православия, языка

фольклора, паремиологии, межславянских связей и т.д.)». Было бы интересно также написать «теоретическую» историю русской фольклористики, чтобы в обозримом виде представить генезис, содержание и борьбу идей, которые вдохновляли исследователей на протяжении XIX – начала XXI в.

Общая закономерность состоит в том, что новаторские идеи, как правило, зарождались не в недрах самой фольклористики, а в смежных научных дисциплинах и позднее переносились в фольклористику. В разное время она получала творческие импульсы от сравнительно-исторического языкознания, психологии, социальной и культурной истории, компаративистики, формально-литературоведения, структурно-семиотического направления, этнолингвистики и т.д. Случаи, когда в рамках фольклористики формировались концепции, которые потом оказывали воздействие на другие науки, относительно немногочисленны. Например, «Морфология сказки» В.Я. Проппа повлияла не только на сказковедение и изучение других жанров фольклора, но и на широкий круг гуманитарных дисциплин, включая исследования мифологии и средневековой литературы.

Составители «классических» собраний фольклора (например, братья Гримм в Германии и П.В. Киреевский в России) позволяли себе «улучшать» и дополнять первоначальные изустные фиксации. Становление научной текстологии (на протяжении второй половины XIX в.) привело к разработке более строгой техники записи. В начале XX в. появились первые аудио- и видеофиксации фольклора. На протяжении XX в. технологии все более совершенствовались. В рамках визуальной антропологии появилась возможность фиксировать не только сам акт исполнения, но и всю окружающую обстановку, ритуальное действо, осуществлять многоканальную запись и т.д. Практика видео- и аудиозаписи и ее последующего тиражирования достигла высокого уровня в связи с внедрением цифровых технологий.

Параллельно с совершенствованием методики и техники фиксации фольклора происходили процессы, имеющие противоположенный вектор: социальная трансформация и урбанизация деревенской жизни привели к деформации фольклорной культуры и постепенному отмиранию ряда классических жанров. Ценность старых записей былин и исторических песен в связи с этим неизмеримо возросла, поскольку возможность фиксации новых текстов практически исключена. Даже жанры, которые сохранились, подчас подверглись такой модернизации, что пользоваться новыми записями приходится с большой осторожностью. Все более настоятельной становится потребность в том, чтобы произвести

полную ревизию старых записей фольклора (как опубликованных, так и хранящихся в архивах). Естественной частью такой ревизии должна быть оценка записей с точки зрения их достоверности, аутентичности, технического качества и т.д.

Отчетливо наметились два разных подхода к истории фольклористики того или иного периода. В первом случае прошлые этапы в развитии фольклористики рассматриваются как предыстория ее современного состояния; основное внимание уделяется последовательному накоплению эмпирического материала. Во втором – история фольклористики предстает в контексте общего развития гуманитарной науки и в целом национальной культуры. Во втором случае развитие науки рисуется не как поступательное движение к современности, а как сложный процесс, в котором сочетаются разные тенденции: специализация (переход от целостного видения всей сферы словесного творчества к выделению в нем отдельных сегментов), взаимодействие с разными научными дисциплинами; периодические сужения и расширения предметной области фольклористики, утраты, связанные со снижением уровня гуманитарного образования и с отмиранием живой традиции, и т.д.

Невозможно рассматривать историю отечественной науки вне трагических катаклизмов XX в. Физическое уничтожение и самих носителей фольклора, и его собирателей и исследователей в ходе войн и репрессий, подавление инакомыслия, свертывание краеведения и борьба с религией и пережитками прошлого – это лишь некоторые факты нашей истории. Именно они в основном и определили развитие русской фольклористики в XX в., а не споры между учеными или расхождения между их теориями. Из-за разрыва научной традиции целые направления исследований не развивались в течение десятилетий и работы 1920-х годов подчас оказываются последним или даже единственным, что сказано на ту или иную тему.

#### ПРОБЛЕМАТИКА СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Во второй половине XIX – начале XX в. для описания предмета своих исследований фольклористы пользовались терминами «устная словесность» или «народная словесность». В 1920–1930-х годах фольклористы определились с названием и предметом своей дисциплины, однако параллельно наука об устной словесности подверглась тотальной идеологизации и включилась в систему советских цензурных ограничений. Фольклористика сохранилась как университетская и академическая дисциплина, однако заплатила за это высокую цену.

Во-первых, фольклористика стала частью марксистского литературоведения с характерными для последнего идеологическим диктатом и оторванностью от зарубежной науки. Фольклористы сталинской эпохи вынуждены были принимать участие в массовой фальсификации фольклора. Впрочем, все это, скорее всего, ожидало бы их и в том случае, если бы фольклористику признали составной частью какой-нибудь другой науки.

Во-вторых, по сравнению с дореволюционной ситуацией существенно сузилась предметная область науки об устной словесности. Изучались и публиковались главным образом такие классические жанры, как былины, исторические песни, сказки, лирические песни, пословицы. В течение примерно 50 лет фольклористы практически не занимались духовными стихами, заговорами, религиозными легендами, апокрифами, политическим фольклором, фольклором заключенных, эротикой в народном творчестве; мало интересовались анекдотами, быличками, обрядовым фольклором, народной религиозностью, магией, народной медициной, детским и подростковым фольклором. Многие жанры изучали выборочно, избегая текстов, сомнительных с точки зрения идеологии, нравственности и цензурных условий. При публикации тексты частично отбраковывались, а другие печатались с изъятиями.

В-третьих, вузовская подготовка фольклористов была сорентирована на филологический круг дисциплин и в значительной мере отрывалась от народоведения (этнографии). В то же время тот факт, что филологи-фольклористы изучали диалектологию и историю языка, а также проходили полевую практику, конечно, имел положительный характер.

В 1990-е годы ситуация в фольклористике кардинально изменилась благодаря отмене цензурных запретов, появлению частного книгоиздательства, внедрению новых видов фиксации, хранения и обработки информации. Этому сопутствовали расширение предметного поля фольклористики, плюрализм и свобода в выборе предмета изучения, темы исследования и научной методологии. Само время потребовало, во-первых, вернуть фольклористике все многообразие ее проблематики, преодолеть ограниченность тематического поля, ввести в научный оборот ранее замолчанные или отвергнутые тексты и жанры; а во-вторых, пересмотреть историю науки, актуализировать направления исследований, которые были забыты по тем или иным причинам. Естественно, что такие задачи решались, прежде всего, на материале «отреченных» жанров и пограничных форм.

После событий рубежа 1980–1990-х годов фольклористика, как и другие гуманитарные науки, развивается в новых условиях.

Снятие многочисленных табу, введение в поле зрения обширных пластов фольклора и народной культуры – это, несомненно, основная тенденция, определяющая современное развитие фольклористики и комплекса наук о славянской культуре (этнография, культурная антропология, этнолингвистика и др.). По «принципу качелей» или «принципу маятника» все, что раньше было запрещено, теперь привлекло общее внимание; все, что скрывалось, теперь стало публиковаться и популяризироваться.

Все больше влияет на изучение устных традиций общий процесс «антропологизации» гуманитарного знания. Внимание исследователей привлекают не столько сами тексты, сколько их исполнители, функции и культурный контекст. Закономерно, что центральное место в научном поле занимают не литературоведческие категории рода и жанра, а личность и поведение носителя традиционной культуры.

От поисков мифологической архаики собиратели и исследователи фольклора все больше переключаются на фиксацию и изучение актуального состояния и исторической динамики фольклорной традиции в ее реальном многообразии и взаимном «перетекании» разных жанров. При этом этнокультурная традиция утрачивает свою монолитность и предстает в виде множества локальных, региональных, субкультурных, половозрастных и иных вариантов. Собирательская работа переориентируется с фиксации разрозненных текстов на фиксацию целостного репертуара исполнителя, его личной и семейной истории, субъективного взгляда на окружающее.

В последние десятилетия произошел стремительный рост локального и регионального самосознания, что выразилось в подъеме краеведческого движения, изучении местной истории, поиске собственных корней. Естественно, что фольклористы из республиканских и областных центров изучают в первую очередь традиции своего края и сотрудничают на этом поприще с диалектологами, этнографами, историками, литературоведами. Фольклор рассматривается при этом как органическая часть региональных традиций, в тесной увязке с освоением природного ландшафта, образом жизни и ритуальными практиками. Волнующие общество проблемы этнических контактов и конфликтов, двуязычия, проживания на смешанных и пограничных территориях, результаты этнических миграций во многом определяют интересы фольклористов.

В целом состояние российской фольклористики характеризуется сочетанием стабильности и динамики. Смена научной парадигмы, которая произошла в 1990-х годах, обусловлена соче-

танием ряда разных тенденций, среди которых наиболее существенную роль сыграла трансформация общественно-политической ситуации на рубеже 1980–1990-х годов и последствия этих событий. Перечислим наиболее значительные изменения, которые коснулись всех уровней, от теоретической рефлексии до технологии записи и хранения материалов.

1) Расширение предметной области и размывание центральной зоны фольклористики. Вряд ли кто-нибудь скажет теперь, что «фольклор – это устное творчество широких народных масс». В современной ситуации фольклор понимается скорее как «совокупность коммуникативных средств в рамках социальной группы». И «народность», и «творчество» и даже «устность» не воспринимаются больше как обязательные признаки фольклора. Если ранее основное внимание уделялось классическим жанрам фольклора (эпос, сказка, лирическая песня, причитания, пословицы), то современных исследователей привлекает все многообразие устной словесности, а также рукописная традиция, массовая литература, Интернет, переходные формы на границе с языком, литературой, обрядами и верованиями и т.д. К сожалению, классическим жанрам в такой ситуации уделяется меньше внимания, чем они этого заслуживают.

2) Либерализация социальных условий существования науки. В советский период развитие фольклористики сдерживалось цензурой и автоцензурой, идеологическими запретами, изоляционизмом, централизацией науки; для современного этапа характерны отсутствие цензуры и идеологических запретов, интернационализация и децентрализация.

3) Изменение издательской базы. Вместо монополии государственного книгопечатания и слабого развития периодики мы видим большое количество частных книгоиздательств, множество периодических и серийных изданий, развитие электронных средств хранения информации.

4) Изменение технической оснащенности. Еще несколько десятилетий назад основными орудиями фольклориста-полевика были магнитофоны и шариковые ручки, а материалы хранились в виде записанных текстов. В настоящее время фольклористы пользуются цифровыми диктофонами и видеокамерами, компьютерами, создают базы данных, информационно-поисковые системы, специализированные сайты в Интернете.

Внедрение в практику новых технических средств записи, обработки, систематизации, хранения и воспроизведения фольклора создает совершенно новые возможности для его архивизации и представления в виде электронного продукта, доступного через Интернет. Например, запись акта исполнения на видео меняет



само представление о сущности фольклорного текста, поскольку фиксируются не только вербальные и музыкальные составляющие, но и вся ситуация исполнения, включая жесты и мимику, костюмы и предметное окружение.

Если для современных историков, антропологов, социологов характерны дебаты о методологии, постановка общих проблем, переходящие подчас в ожесточенные споры, то в фольклористике вопросы методологии кажется мало кого волнуют. Чувства сомнения и неудовлетворенности порождаются не научными проблемами, а низкой зарплатой, ожиданиями сокращений и перспективой ликвидации научных и учебных подразделений. Наша наука нуждается в защите и поддержке государства, а вместо этого то и дело становится полем неквалифицированных экспериментов чиновников от науки и образования.

Споры о том, что такое фольклор и существует ли он вообще, в настоящее время, кажется, потеряли свою актуальность и приобрели исключительно схоластический характер. И общая направленность исследований, и их методология постепенно меняются, однако это происходит не столько в результате развития теории, сколько в силу поступательных изменений в обществе и в гуманитарных науках.

#### ЛИТЕРАТУРА

*Алексеев А.А., Лихачева О.П.* Библия // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI – первая половина XIV в. Л., 1987. С. 68–83.

*Веселовский А.* Избранное: Историческая поэтика / Сост., вступит. ст., коммент. И.О. Шайтанов. М., 2006.

*Лесевич В.* Фольклор и его изучение // Памяти В.Г. Белинского: Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов. М., 1899. С. 343–349.

*Никитина С.Е.* Устная народная культура русского населения Верхоямья // Русские письменные и устные традиции и духовная культура. М., 1982. С. 91–126.

*Никитина С.Е.* О взаимоотношении устных и письменных форм в народной культуре // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: Источники и методы. М., 1989. С. 149–161.

*Никишенков А.А.* История британской социальной антропологии. СПб., 2008.

*Путилов Б.Н.* Фольклор и народная культура. СПб., 1994.

*Путилов Б.Н.* Фольклор и народная культура. In *memoriam*. СПб., 2003.

*Толстая С.М.* Устный текст в языке и в культуре // Слово устное и слово книжное / Сост. М.А. Гистер. М., 2009. С. 34–40.

*Чистов К.В.* Фольклор. Текст. Традиция. М., 2005.

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА  
И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
В ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУР НАРОДОВ РОССИИ

*К.К. Султанов*

Замысел и структуру конференции «Русская литература XX–XXI веков как единый процесс (проблемы теории и методологии изучения)», проведенной в МГУ им. М.В. Ломоносова в декабре 2014 г., отличала примечательная особенность: впервые в границы русской литературы как «единого процесса», всецело обусловленного ее самоопределением, вовлекалась как органическая часть проблематика литератур народов России, которой была к тому же посвящена отдельная секция.

Каковы внутрিলитературные предпосылки такого подхода к «единому процессу», такой артикуляции «единства несходного»?

Известный историко-литературный факт – публикация рассказа С. Казы-Гирея в первом номере пушкинского «Современника» в одном ряду с «Путешествием в Арзрум...» и гоголевской повестью «Коляска». Неоднократно отмечались два обстоятельства: текст корреспондировал с историософскими размышлениями самого А. Пушкина (черкесская тема в «Путешествии...», «самовар» и «проповедывание евангелия» как спасительные нововведения) и, во-вторых, появление рассказа «Долина Ажитугай» в программном первом номере призвано было обновить и изменить контекст и параметры литературной борьбы. Третьему, не менее важному обстоятельству, почти не уделялось внимание – году выхода номера. 1836-й – это время подъема движения имама Шамиля, верховного главы теократического государства, когда огонь войны разгорался, поднимался Западный Кавказ, несовместимость двух миров казалась фатально непреодолимой.

«Вот явление, – пишет А. Пушкин в своем емком и лаконичном послесловии, – неожиданное...». Любой, казалось бы, этнографически маркированный текст несет в себе эффект непредсказуемости для русского читателя, но ход мысли поэта другой: «...неожиданное в нашей литературе». Первое произведение, неизвестный автор и к тому же «сын полудикого Кавказа» и – «становится в ряды наших писателей»? Более того, его верность «привычкам и преданиям наследственным» нисколько не препятствовала знанию русского языка, на котором он «изъяснялся» настолько «свободно, сильно и живописно», что «мы ни одного слова не хотели переменить...» [Современник: 169].

Смысловая нагрузка притяжательного местоимения «наши», как и пушкинского наречия «ныне» («...и ныне дикой тунгуз» из созданного в том же 1836 г. стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»), настолько значительна, что наводит на мысль о стратегическом чутье поэта. Поэт поднимал планку на высоту, исключая скидки и покровительственное похлопывание по плечу. Представление этнически нерусского автора переведено в регистр уважительного и мудрого в своем поэтическом преувеличении отношения.

В произнесенной 8 июня 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности речи Ф. Достоевский назвал А. Пушкина «угадчиком» – слово не менее весомое, чем семантически с ним соотнесенные «всемирная отзывчивость», «пророчество», «указание». Вовлекая *такого* автора в состав «нашей литературы», поэт угадывал возможную общую историческую дорогу и грядущую нераздельность, иную перспективу в противовес разгоравшейся на Кавказе войне, задавал камертон отзывчивости, столь важный для последующего становления русского культурного сознания. Он был услышан позднее Л. Толстым – тоже угадчиком исторической перспективы, ориентированной на «идеал человеческого без насилия» и воплощенной в «Казаках» и «Хаджи-Мурате». А. Пушкин провидчески обозначил или, как сказали бы сегодня, запрограммировал цивилизационный вектор движения навстречу друг другу, выбирая тональность неотстраненности, открытости, готовности понять и принять *другое*.

Не будь этого угадывания – мог бы Р. Гамзатов признаться в том, что «русскую литературу мы воспринимали как собственную», Пушкина как аварского поэта и вообще «Кавказ пленила пушкинская Русь»? Никому, даже бдительному идеологическому отделу Обкома КПСС, не пришло в голову указать и поправить: все прекрасно понимали, что такого рода признание делается не ради красного словца. Оно свидетельствовало о чем-то более значительном – о принятии определенного исторического опыта, об осознанности вхождения в цивилизационное пространство России, которая покоряла явлением Пушкина и Лермонтова, посылала академические экспедиции на «погибельный» Кавказ, создавала грамматики и словари по местным языкам, вписывала в 1804 г. в устав Казанского университета изучение восточных языков, открывала Азиатский музей в 1818-м, обучала юных горцев в Ставропольской и других гимназиях.

Когда, почти через сто лет после выхода пушкинского «Современника», М. Горький на Первом съезде советских писателей назвал С. Стальского Гомером XX в., а Н. Тихонов, посетив

Дагестан, нашел «кавказского Блока» в лице аварского лирика Махмуда, то в таком отношении к инациональным культурным явлениям нетрудно уловить завещанные Пушкиным дальнорочность и всеотзывчивость, которым только и дано сокращать культурную дистанцию, разделяющую национальные миры. «Объединение народов России, – писал Г. Федотов в статье “Будет ли существовать Россия?” (1929) – не может твориться силой только религиозной идеи. Здесь верования не соединяют, а разъединяют нас. Но духовным притяжением для народов была и останется русская культура. Через нее они приобщаются к мировой цивилизации» [Федотов: 20]. Духовное притяжение – единственный род притяжения в ряду иных способов его обеспечения (военных, административных и т.п.), подразумевающий абсолютную добровольность, радостную непринудительность ответного культурного и душевного движения. Прибегая к понятию «цивилизация», Г. Федотов артикулировал уровень историко-культурной общности высшего порядка, сущность и притягательность которой обусловлены «культурным элементом» – именно это понятие позднее введет А. Тойнби в свою характеристику цивилизации: «культурный элемент представляет собой душу, кровь, лимфу, сущность цивилизации».

Цивилизационный выбор России в пользу сбережения национально-культурного многообразия сегодня назвали бы нерентабельным, затратным (зачем, скажет ревнитель бюджетной экономики, издавать в Дагестане литературу на семи языках?), но по большому счету он оказался мудрым и дальновидным. Собирая земли и народы, Россия сохраняла за каждым из них право быть самим собой, не оспаривала, не ставила под радикальное сомнение опыт их самоопределения во имя того, как сказал поэт, «чтоб не был малым человек, принадлежащий к малому народу».

Что же дает проблематизация цивилизационного подхода как необходимого компонента изучения литератур народов России?

Изданный Институтом мировой литературы РАН словарь «Литературы народов России. XX век» включает 45 литератур, представляющих зональные группы: Поволжье (7 литератур) и литература Карелии (2, на финском и вепском языках), Дагестан (8), Северный Кавказ (9) и калмыцкая литература (1), Сибирь (4), Север и Дальний Восток (14). Недостаточно констатировать самодовлеющую множественность литератур народов России, минуя целое – российское цивилизационное пространство как фактор системообразующий и, если так можно выразиться, онтологически значимый приоритет. Завершилась, мол, эпоха многонациональной советской литературы, пришло время литературных автономий... Кроме того, останавливаться на рубеже дискретности вне и поми-

мо собирательной мысли значит акцентировать фрагментарность как последнюю инстанцию, тем самым отказывая различным по генеалогии и исторической протяженности литературам в органической предрасположенности к надэтнической цивилизационной конвергенции, отсылающей к концептуально значимому макро-региональному уровню.

Полезно вспомнить и тот исторически непреложный факт, что экстенсивность исторического расширения российского цивилизационного пространства компенсировалась интенсивностью национально-культурного самоопределения народов, когда каждая национальная литература обретала чувство историко-культурной субъектности. «Советский Союз, – отмечал профессор Гарвардского университета Т. Мартин, – стал первым многоэтничным государством в мировой истории, заявившим о себе как об антиимпериалистическом государстве. Партия попросила русских принять формально неравный национальный статус, чтобы продолжить сплочение многонационального государства» [Государство: 105].

Мысль об общем или о коалиции самобытно-культурных миров в российских условиях всегда была не менее значительной, чем артикуляция непохожести и самооценности. Литературы народов России предстают и как система взаимоотражающих зеркал, и для каждой из них нет ничего заведомо ненужного или заведомо чуждого. Эта открытость, отсылающая к цивилизационной общности, входит в состав того, что мы называем самоосуществлением и самоутверждением, если, конечно, понимать межлитературный диалог как собеседование идентичностей, когда особенное остается таковым.

В преддверии XXI в. мы пережили период тревожного истощения надэтнического видения проблем страны и ее многонациональной культуры, отдавая щедрую дань этнокультурным, национальным, конфессиональным различиям, увлеченно культивировали «особость», утрачивая дух целого.

Вспомним о показательной реакции на распад советского мультикультурного проекта, которая в общественной жизни приобрела конфигурацию политизированного этнизма, а в культурной практике превратилась в манифестацию самобытности как формы этнокультурного реванша. Не секрет, что и сегодня идея цивилизационной макроидентичности, сама постановка вопроса о современном сопряжении национального и цивилизационного вызывает, особенно в республиках, некоторую настороженность, которая проявляется в том, что словосочетание «цивилизационная парадигма» воспринимается не столько как содержательный принцип, действующий внутри национально-литературных характеристик,

сколько как эфемизм, призванный вернуть девальвированную «дружбу народов» и идеологию «старшего брата».

Говоря о накопленном литературами народов России опыте позитивной идентичности или переживания своей «самости», мы, как правило, выделяем типологически общие факторы, к числу которых относим прежде всего роль фольклора как источника становящегося литературного сознания, значение просветительства как оппонента культурного традиционализма и «строительной площадки» литературы и особую миссию русской литературы как литературы мирового уровня, сохраняющей этико-эстетическое воздействие на национальные литературы. В этом типологическом ряду могла бы оказаться и все еще неотрефлексированная потребность в идентифицировании себя с определенной цивилизационной общностью, причастность к которой освобождала бы от культурного одиночества и чувства периферийности в соответствии с принципом «народов много – страна одна».

Отмечая дистанцирование друг от друга разнонациональных литературных систем, отстаивающих свою отличимость и духовную автономность, желательно учитывать и то обстоятельство, что в российском цивилизационном пространстве именно различие, будучи ключевым компонентом самоидентификации, выступает и как необходимое условие межнациональной коммуникативности, и как онтологически значимая предпосылка цивилизационной аутентичности. «Братство народов», купленное ценой духовного обезличения...», Н. Трубецкой неслучайно называл «гнусным подлогом», выдвигая на первый план необезличенность как имманентное качество культурного сознания [*Трубецкой*: 456].

О современной эффективности цивилизационного подхода, чуткого и к национально-индивидуальной «картине мира», и к потенциальной возможности ее универсализации, свидетельствует теоретико-методологическая судьба понятия «межлитературная общность», которое пережило «второе дыхание» в новых исторических условиях.

Соотносимое раньше с советской многонациональной литературой, оно сегодня предметно локализовано, функционируя в региональном формате – сошлемся на недавние труды «Проблемы создания региональной истории литератур народов Поволжья» (Чебоксары, 2014), на коллективную монографию «Национальные литературы республик Поволжья (Барнаул, 2012), в которой дана синхронная характеристика историко-литературного процесса 1980–2010-х годов как «межлитературной общности», на заметные работы уральских исследователей, разработавших концепцию региональной межлитературной общности, развитие которой

предопределено триединством национальных блоков – русского, тюркского, финно-угорского.

Актуализацию проблематики литературной общности в ее региональном статусе можно охарактеризовать как выход из методологического тупика, ставшего очевидным после программной постмодернистской диагностики распада метанарративов, одним из которых была и шеститомная (в семи книгах) «История советской многонациональной литературы» (1970–1974).

Не утрачивая близости к корням, локусу, месторазвитию, удерживая дух автохтонности и *jus soli* (принцип почвы), региональный подход позволил разомкнуть ограничительные рамки диахронически развернутого национального нарратива в пространство межлитературных переключек-пересечений, синхронного сосуществования литературных течений, стилевых новаций, типологически значимых тенденций.

«История литературы Урала. Конец XIV–XVIII вв.» (М.; 2012) – самый успешный в последние годы опыт литературоведческой регионалистики. Под одной обложкой непротиворечиво сошлись, дополняя друг друга, русская книжно-рукописная традиция на Урале и истоки развития удмуртской литературы, типы словесности горно-заводского Урала в XVIII в. и средневековая башкирская литература. Авторы не просто продекларировали многонациональный характер региональной литературной общности как ее атрибутивное качество, но и аргументированно обосновали равнодостоинство составляющих ее трех литературных традиций, проявленной, например, в анализе истоков общности, которые восходят к эпохе формирования башкирской литературы в X–XI вв.

Проблема региональной спецификации литературного процесса позиционирует себя как весомая часть интенсивно развивающегося регионально-идентификационного дискурса (социология, философия, краеведение и др.). Его живую процессуальность нетрудно прочувствовать, сопоставляя «Историю литературы Урала...» с предварительным рабочим проспектом этого капитального труда. Тогда, до появления книги, подготовительный проект оставлял двойственное впечатление.

Отношение к литературе Урала как особой межлитературной общности, обусловленной регионально значимыми факторами, не вызывало каких-либо сомнений. В характере и «местном колорите» литературы, чуткой к уральским реалиям, не могли не проявиться региональная ментальность и то, что авторы именуют «особым бытом Урала», но эта артикулированная «особость» представляла в ореоле некоей феноменальности, всецело определяющей значение произведения. Также трудно было согласиться

и с фактическим отождествлением понятий «региональная литература» и «феноменология регионального сознания», когда поставленный во главу угла принцип регионализма в его ментально-этнографическом измерении фактически начинал довлеть над собственно литературоведческой задачей.

Излишне расширительное толкование регионализма применительно к литературе оставляло за скобками аксиологический подход, делая ставку на приоритетность самого факта «областной» принадлежности. Любое состоявшееся литературное явление регионально по внешней атрибутике (место рождения, этноментальные предпосылки, психологические истоки, неослабевающее влияние «малой родины»), но судьбу текста в конечном итоге определяет феномен состоявшейся художественности, который есть нечто большее, чем добросовестная верность региональной специфике,

В 1928 г. Н. Пиксанов говорил об «областных культурных гнездах» как источнике креативной активности, но он не выделял «областную литературу» как явление, существующее отдельно или параллельно с русской литературой. В упомянутом проекте «Малахитовая шкатулка» П. Бажова характеризовалась как «выдающееся произведение русской литературы и литературы Урала» – этот соединительный союз «и» вызывал недоумение. Если признать «Малахитовую шкатулку» выдающейся только по той причине, что в ней изображен «особый быт Урала», то это означает ничто иное, как редукцию уровня художественного мастерства к факту самодостаточного описания региональной специфики, подменяя важнейший вопрос «как» констатацией «что». П. Бажов, Ф. Решетников, П. Ершов, С. Аксаков, Д. Мамин-Сибиряк не просто включены в контекст «общерусской литературы» – они и есть сама русская литература, в рамках и на уровне которой решающую роль играет художественная результативность их произведений.

С появлением «Истории литературы Урала. Конец XIV–XVIII вв.» стала очевидной «черновая» промежуточность проекта, в итоге претерпевшего существенную корректировку. Она свидетельствовала о перспективном отходе и от излишне расширительного толкования «региональной ментальности» на литературном материале, и от культурной гомогенизации регионального нарратива с должным учетом многонационального фактора.

Региональное литературное пространство предстало не столько как конгломерат идентичностей, сколько как уникальная историческая и культурная целостность, сохраняющая российское цивилизационное ядро.



Авторы «Истории...» в полной мере осознают, что регионалистская рефлексия, с одной стороны, «сигнализирует» о симптомах кризиса общенационального самосознания, но, с другой, обнаруживает глубинную связь «особого состояния уральской ментальности» с российской цивилизационной идентичностью.

Усиление регионализма, периодически возникавшее в российской истории, нередко оценивалось как попытка децентрализации и реанимации дестабилизирующего культурно-политического разлома, но было бы неправильно синонимически связывать понятия «регионализм» и «сепаратизм», не придавая значение существенной разнице между ними: первый озабочен неполитизированным возрождением и полнотой воспроизводства культурной идентичности, второй же тяготеет к сецессии.

Содержательный смысл и подъем регионализма в его культурно-литературной ипостаси желательно также не путать ни с изоляционизмом, ни с «бунтом регионов» – именно это словосочетание вынесено в название раздела пятого номера журнала «Неприкосновенный запас» за 2013 г. Креативный потенциал регионального дискурса, реализованный в работах уральских коллег, наводит больше на мысль об успешной концептуальной разведке и обновлении исследовательской перспективы в изучении российского цивилизационного метапространства с позиции локальных идентичностей, достаточно выразительно запечатленных в литературе народов России.

Отдавая должное методологической обоснованности анализа «региональной литературной общности» в «Истории литературы Урала...», хотелось бы привлечь внимание к напряженной амбивалентности нынешней историографической ситуации, суть которой безошибочно уловил А.В. Михайлов: «Сегодня истории литератур писать нельзя, но и не писать их невозможно». Жанр тотальных историй, претендовавших на монументальность и всеохватность, действительно изжил себя, но и не писать нельзя, если считаться с неизживаемой потребностью в системном осмыслении и описании каждой национальной литературы.

Внутренне тяготея к формату «Истории...» как некоей идеальной норме, эта потребность в систематике осознается на местах как мобилизующая сверхзадача, гипотетическая реализация которой поддерживает академический тонус, определяя состояние и уровень национальной литературоведения. Не исключаю, что подобная постановка вопроса отдает непреодоленной инерционностью, обнаруживая признаки периферийности и маргинальности перед неотвратимо надвигающимся центральным вопросом: как мыслить «национальную литературу» в эпоху глобализации-

глокализации, нарастающей транскультурной мобильности и необычайно активизировавшихся концептов «гибридизация», «креолизация», «культурное пограничье»?

Прав ли Г. Тиханов, автор методологически стимулирующей статьи в «Вопросах литературы», когда пишет о назревшей необходимости мыслить в терминах либо региональной, либо транснациональной парадигмы как «мощного и необходимого противоядия от все более вызывающих смущение, но пока еще громогласных лозунгов, призывающих к созданию истории национальных литератур»? Он приводит эффектный и одновременно характерный пример: 13-томную Оксфордскую историю английской литературы, два тома которой посвящены одному и тому же материалу, почти одному и тому же периоду, но в содержательном плане предложенные интерпретации оказались диаметрально противоположными. Если в название одного тома, охватившего период 1960–2000 гг., вынесено «Прощание с Англией», т.е. расставание с английским национальным нарративом, то ведущей идеей и, соответственно, заголовком другого тома, хронологически замкнутого в границах 1948–2000 гг., стала «Интернационализация английской литературы», т.е. «изрядно истощенное национальное повествование», как пишет Г. Тиханов, переведено «в тональность мультикультурного глобализма».

Отстаивая метадискурсивный принцип в его региональном или транснациональном облике автор программно дистанцируется от «национального нарратива» в пользу усиливающейся «эпистемологической парадигмы, претендующей на то, чтобы практически полностью освободиться от него» [Тиханов: 260, 267, 259]. О необходимости трансформации жанра национально-ориентированной истории литературы сказано достаточно убедительно на материале литератур славянских народов (особенно родной болгарской). Но спешить с экстраполяцией модели конфронтационного взаимодействия «транскультурного» и «национального» с обязательной аннигиляцией последнего в многонациональный российский контекст вряд ли целесообразно: абсолютизация кризиса национального нарратива или «прыжок через национальное» не найдет на современной стадии развивающегося «республиканского» литературоведения солидарного отклика.

Об уязвимых местах традиционно и монолитно выстроенных историй литературы задолго до болгарского исследователя говорил Ю. Виппер с той разницей, что он иначе расставлял акценты в поисках выхода из тупиковой для жанра истории ситуации, полемически заостряя стержневую, на его взгляд, проблему синтеза «элементов постепенной эволюции и качественных

скачков, своего рода художественных переворотов» и возвращая в орбиту советского литературоведения экзотические концепты «скачок» и «переворот» [Bunner. 1990]. Задача преодоления накопившихся стереотипов в изучении литератур народов России требует безусловного дискурсивного обновления, но пока не предполагает «покушение» на феномен национального, что не должно, разумеется, означать невнимание к его серьезным метаморфозам и формам репрезентации в современном мире.

«Есть и должно ли быть сегодня что-то устойчивое в “национальной принадлежности”?» – название работы литературоведа, медиевиста и культуролога Х. Гумбрехта, преподающего в Стэнфордском университете, выдержано в вопросительном ключе. Если гипотетически предположить отрицательный ответ, то он однозначно совпал бы с позицией Г. Тиханова.

Но аргументация Х. Гумбрехта ориентирована не на упразднение национального дискурса, а на то, чтобы поставить его эвристический потенциал, если так можно выразиться, на службу современной гуманитаристике: «Национальная принадлежность образует сообщество совместной ответственности, как устремленной в прошлое, так и активно направленной в будущее. И в этом смысле... национальная сопричастность остается “нерастворимой” реальностью даже в историческую эпоху глобализации» [Гумбрехт]. Эта «нерастворимость», однако, не столь уж непреложна и неоспорима в современном мире и не случайно в последние годы жизни Г. Гачев с его «трепетным отношением к уникальности» обостренно ощущал уязвимость национальных культур и повышенный болевой порог их создателей. Отстаивая феномен национального и считая, что «ради самосохранения своего художественная литература заинтересована в том, чтобы не растаяли нации», он, тем не менее, не избегал дискомфортной мысли о хрупкости и возможной смерти национальных миров, которые стали интерпретироваться как архаичные в эпоху транскультурного человечества и унифицирующей глобализации с ее, по Гачеву, «вселенской смазью» беспочвенности, усредненности, стандартизации. Его любимый сакраментальный вопрос – «Как добраться до тончайшего и неуловимого?» – все определеннее приобретал катастрофические обертоны: до чего добираться, если сам национальный мир под угрозой исчезновения... Он называл этот тренд главной мировой проблемой, а свою работу с национальными образами – лебединой песней, так и не примирившись с «силой вещей», с явной решимостью формулируя иную и по сути антиглобалистскую позицию: «отсталая» национальная культура в сравнении с «универсалистской» современной – это скрипка

Страдивари и Амати рядом с массовым фабричным производством стандартных скрипичных изделий» [Гачев. 1988: 429, 324, 58, 2].

Для литератур народов России вопрос об идентичности был и остается первостатейным в «повестке дня», чтобы не сказать – животрепещущим: за ним и сегодня распознается субстанциональность национального бытия, защитная функция традиционализма, воспринимаемого как залог выживания, инстинкт самосохранения народа и, соответственно, тревога в предчувствии возможного катастрофического слома идентичности в случае отрыва или вынужденного отказа от базовых ценностей.

Когда в 60-х годах прошлого столетия в газете «Литература и жизнь» развернулась дискуссия о возможном слиянии культур и наций в нечто единообразное, то национальные культуры, взбодраженные призраком гипотетического «слияния», ответили стихотворением Р. Гамзатова «Родной язык»: «и если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Оно прозвучало в унисон с выступлением участника дискуссии В. Солоухина в защиту института национально-культурной самобытности. Представляя различные культурные традиции, русский прозаик и аварский поэт бескомпромиссно отвергли перспективу «жить единым человеческим общежитием» в мире «без России, без Латвий» и в то же время не гиперболизировали значение культурно особенного, устойчиво соотносимого в их эпоху с «чувством семьи единой».

Сегодня проблема национально-литературной характерности заявляет о себе под знаком двух доминирующих тенденций – транскulturации с ее «взрывными модификациями» и таким отношением к «родной литературе», когда она приравнивается к «окаменелости», «символическому насилию» и даже к «гетто идентичности», и, с другой стороны, этнокультурной предзаданности или «мобилизации» с ее апологией «новой локальности».

Волна этноностальгии накрыла национальные культуры и, как следствие, инициировала обострение бинарной оппозиции «свой-чужой» в роли двигателя самовозбуждающейся идентичности, подпитывавшей конфронтационную логику историческими коннотациями (коллективная память, взаимные обиды и неизбывные претензии к соседям – сошлемся на недавнюю статью северокавказского автора, заподозрившего соседние народы в «этнокультурном грабеже» [Алхасов]).

Парадигмальную роль приобрели словосочетания «этноментальные основы», «этнодуховные основания», «этнопоэтика» – вплоть до «этнолитературоведения», адепты которого предпочитали больше этнологически ориентированную реконструкцию текста, чем его интерпретацию как определенной структурно-

семантической целостности. Проблема самоидентификации, столь популярная в постсоветский период, приобрела исключительно диахроническое измерение, существенно изменившее тональность разговора о национальной литературе. Экспансия «этнокультурного поворота» носила двойственный характер: с одной стороны, это был период филологической и культурологической самоактуализации, долгожданного возвращения некогда отлученных от «генеральной линии» имен и текстов, с другой – возобладала статическая модель описания национальной литературы, адаптированная преимущественно к поиску и обнаружению примордиальных этноконстант.

Поначалу этот методологический тренд воспринимался как эффективная форма национально-культурного оппонирования доктрине фетишизированного «единства», но обозначилась и центробежная тенденция, превратившая «диалог» как якобы рецидив «дружбы народов» в фантомную категорию: метили, как водится, в идеологический конструкт «дружба народов» – попали в «диалогический принцип», присутствие которого в гуманитарном знании Г. Гадамер квалифицировал как «метафизическую основную схему познания истины».

Кризис национально-культурной идентичности в советскую эпоху трансформировался в кризис межкультурной коммуникации в эпоху постсоветскую, в методологическом плане – в разединенность этнокультурного и коммуникативного дискурсов, не обнаруживавших точек соприкосновения. Свобода от идеологии далеко не плавно перешла в свободу друг от друга: отшумевшие девяностые годы оставили на память образ опустевшего перекрестка культур, по которому бродил призрак взаимонепонимания, подпитывая этноконфликты – ситуация, в чем-то близкая к самочувствию строителей вавилонской башни: «...один не понимал речи другого» (Быт. 11: 7).

Литературоведение заговорило на языке самодовлеющего различия и в духе «областничества» с той оговоркой, что исконный смысл взятого в кавычки слова был в дореволюционный период больше связан с идеей экономической самостоятельности отдельных областей (Сибирь, Урал). Упрек в некорректном обращении к этому слову возможен, но ссылка на «областничество» как форму насаждаемой самоизоляции не так уж неуместна, если всерьез реагировать на реально присутствующую в нашей литературной и исследовательской практике проблему сужения коммуникативного пространства.

Приоритет тенденциозной или назидательной этничности не оставлял места для адекватного осознания того факта, что нацио-

нальная литература в своем становлении идентифицирует себя и как место встречи различных культурных традиций. Почти не находила отклика здравая мысль о том, что идентичность не есть только торжество автаркической самобытности, узко и статично понятой в координатах архетипической этноментальности.

Идентичность формируется и в ситуации культурного пограничья, не отвергая присутствие и неоднозначность *другого* и, что немаловажно, изживая комплекс периферийности и аутсайдерства. Органическая соотнесенность с идеей межкультурных взаимоотражений входит в состав современного «прочтения» процесса самоидентификации и, если вернуться к национальным штудиям Г. Гачева, осмысляется как установка на полноту мировосприятия, когда за самооценностью национальных миров различался и общий план, многонародное человечество, за микрокосмом – макрокосм, за сингулярностью – всемирность. Национальные образы при всей их самодостаточности выступали и как инварианты Образа Мира, что само по себе освобождало мысль о «локальном» от модуса маргинальности и неслышанности. Конечная цель их изучения так и формулировалась: она «не в том, чтобы твердо закрепить какой-то аспект видения мира за данным народом... но в том, чтобы разглядеть многовариантность мироздания, используя в качестве точек наблюдения разные национальные космосы, откуда прозрачнее проступают те или иные грани бытия» [Гачев. 1988: 53].

При всей щедрой отзывчивости Г. Гачева на индикаторы ментальности (архетипические культурные модели, этнические автостереотипы, мифопоэтические интенции и т.д.) квинтэссенцией его философско-культурологического проекта было глубинное зондирование идеи сопряжения разного, переоткрытие в новых условиях и на новом уровне фундаментального принципа межкультурного духовного взаимообмена. Он не устал говорить об «обоюдопознании» и «искрах взаимоудивления»: «Когда я раскрыл “Книгу слов” Абая, пронзен был родностью интонации: да он же мою душу выражает, мои слова говорит» [Гачев. 1999: 272].

По-своему удивительный историко-культурный факт приведен в книге Э. Саида «Ориентализм»: бывший премьер-министр Великобритании и будущий граф А. Бальфур, выступая в 1910 г. в английской Палате Общин по египетскому вопросу, говорил о современных ему египтянах, как об обитателях эпох Древнего, Среднего и Нового царств. Неевропейский мир как бы мимоходом приговаривался к пребыванию вне истории, освобождался от творческой, развернутой во времени идентичности, от креативной трансформации, оставаясь «прописанным» в устоявшемся и неподвластном времени мифологическом пространстве. Уместно

вспомнить аналогичные рассуждения полковника Верховского из повести «Аммалат-бек» А. Бестужева-Марлинского об «изумительной неподвижности азиатского быта» в силу его принадлежности «не времени, а месту».

Уподобляясь А. Бальфуру, Г. Гачев мог бы порассуждать о киргизах, не выходя за рамки эпического времяпространства «Манаса» и патриархальной статике, но он предпочел написать о «просыпающихся народах», о человечестве, которое «стало подтягивать... свои резервы – народы, временно (курсив наш – К.С.) стоявшие в стороне от столбовой дороги всемирно-исторического движения» [Гачев. 1988: 18, 20]. Ему ближе пушкинская интонация: «...ныне дикой тунгуз» и, следовательно, пушкинская идея движущейся, а не «застывшей» истории. Гениальное наречие «ныне» приносило столь важные для любого национального самосознания темпоральную открытость и цивилизационное измерение, отменяющее приговор «не придет», прозвучавший спустя почти пять десятилетий в отзыве А. Фета на стихотворный сборник Ф. Тютчева: «У чукчей нет Анакреона, / К зырянам Тютчев не придет».

Этой позиции не откажешь в своей правде: далеко не каждая литература способна выдвигать фигуры такого масштаба, как Ф. Тютчев. Но, если взглянуть шире, императивность фетовского «диагноза» нескрываясь оппонировала пушкинскому вектору открытой и непредсказуемо динамичной истории, затрагивая все ту же болевую точку – исторический или внеисторический, т.е. обрекающий на роль бессловесных статистов, характер жизни народов.

Размыкая горизонт, А. Пушкин тем самым признавал священное право человека и народов, в том числе «диких тунгузов», на развитие: сегодня «дикой» – послезавтра другой... Кстати, создатель теории этноса С. Широкогоров был и автором ряда работ о «психоментальном комплексе», «социальной организации» тунгузов, а введение к своей знаменитой книге «Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений», изданной в Шанхае, закончил словами о «сибирских тунгусах, обладающих высоко развитым языком и религией, полной глубокого философского смысла...» [Широкогоров: 10].

Семантику жизнестроительной темпоральности как атрибутивного качества «национального образа» содержит в себе и ключевое гачевское наречие «временно», также выдержанное в интонации сбережения той «претензии народа», которая «побуждает сознание и язык народа к высокому напряжению, к полному развертыванию их возможностей» [Гачев. 1988: 36].

К числу опознавательных признаков «этнокультурного поворота» в изучении литератур народов России следует отнести и релятивистскую «эстетику» неразличения творческой интенции и ее суррогата, подлинного и мнимого в литературе и, как следствие, девальвацию категории «художественная ценность», эстетической оценки, сворачивающейся до периферийного сопровождения доминирующей этнокультурной парадигмы. Там, где превалировало отношение к литературе как форме символизации и манифестации этносьеобразия, тексту как бы вменялась обязанность не только быть вместилищем-хранилищем этноуникальности, но и выполнять некую инструментальную функцию ее транслятора. Иначе говоря, решающая роль в интерпретации произведения принадлежала не столько принципу эстетической избирательности, сколько самому факту сплошной принадлежности слова к этнокультурному контексту. Возможности критико-литатуроведческого анализа существенно обеднились и по другой, не менее стабильной причине – из-за недооценки значения тех смысловых интенций, которые важны для понимания произведения, но оставались невостребованными в силу отсутствия этнически маркированной специфичности.

Насущная для наших литератур проблема «замещения» исследовательского внимания к многомерности художественного мира гипертрофированной избыточностью этнокультурных коннотаций никак не связана с сомнительной попыткой как-то оспорить смысл и научный статус этнокультурного дискурса как такового. Речь о другом – о критериях и пределах этнокультурной презентации текста, о ее эпистемологической функции, призванной обогащать и расширять возможности литературоведческого анализа, не игнорируя принцип эстетической избирательности и не превращая литературу в собрание НЛО – неопознанных литературных объектов в связи с их аксиологической непроявленностью.

Размытость литературоведческого модуса осмысления функциональной роли этнокультурных реалий в произведении как «второй реальности» дает знать о себе и в распространенном, хотя и спорном, использовании понятия «этническая литература». При всей взаимопроницаемости «этнического» и «национального» необходимо помнить и об их принципиальном смысловом несовпадении. Если «этническое» подразумевает вневременную устойчивость ментальности как склада мышления, душевных и поведенческих навыков, то «национальное» разворачивается в истории как концептуальная задача, требующая неослабного и настойчивого стремления не только «быть» (этническая константность), но и «стать» (становление, преобразование). В этой ценно-



стно-смысловой сфере незавершаемого выбора путей развития лежат факторы, конституирующие литературное сознание. В небольшой и недописанной, но принципиально важной по акцентам статье «Литература» Г. Шпет определял литературное сознание как «сознание национальное, т.е. не неопределенно-этническое сознание, а именно национально-историческое...» [*Шпет*: 1136]. Если перед нами действительно «этническая литература», то это состояние следует охарактеризовать как предлитературное или долитературное. Если же переход от фольклорного мироощущения к авторскому миропониманию все же состоялся, то уместно говорить о национальной литературе. Понятие «этническая литература» педалирует принцип соответствия коллективной идентичности и этнокультурным первоосновам в отличие от литературного сознания, предопределенного авторской субъектностью, индивидуализацией героев, вариативностью типов человеческого поведения и т.д.

В формировании новой парадигмы в изучении литератур народов России определяющим должен стать принцип комплементарности их понятной «неслиянности» и цивилизационной «нераздельности». Если раньше предпочитали выделять единство многообразия как символический союз отдельных национально-литературных своеобразий, то сегодня можно без натяжки говорить о внутренней полифоничности каждой литературы как сложно организованной системы, которая в меняющихся исторических контекстах вбирала в себя и содержательные противоречия, и творческое оспаривание канона внутри национальной традиции, и столкновения креативных и репродуктивных тенденций. Один из литературных примеров выразительно конкретизирует этот вектор преодоления схематизма, выпадения из рамок регулятивной нормативности, из «гнезда» обычая, который становится неизбежным последствием нетривиальных и непредсказуемых жизненных положений. Джамилю из одноименной повести Ч. Айтматова Г. Гачев характеризует как «озорую, огневую девушку-джигита» [*Гачев*. 1988: 75]. Более чем парадоксальная аттестация, совмещающая несовместимое: никому никогда в голову не приходило сводить эти взаимоисключающие слова по очевидной причине: джигит – это обязательно мужчина. Но, если вдуматься, гачевский оксюморон безошибочно схватывает суть и ошеломляющий эффект поступка Джамилы: ее дерзкий уход из аила вопреки общественному осуждению, вызывающе смелый разрыв с жесткими традиционалистскими требованиями остались бы «закрытыми», если бы Гачев не нашел тонирующую идею безоглядной мужской смелости, джигитской вольности.

В ряду ведущих предпосылок дисциплинарного обновления следует выделить «реабилитацию» фактора непрерывности национального литературного развития: рубеж 1917 года перестал восприниматься как фатально разделительный, отсекавший «старое» от «нового». Серьезных исследовательских усилий потребовали инвентаризация литературного наследия, восстановление исторической полноты каждой национальной литературы, реконструкция целостной картины, возратившая в родной контекст имена и тексты, когда-то изъятые по внелитературным соображениям – сошлемся на долгую и драматическую историю реабилитации литературного наследия создателя новой якутской литературы А.Е. Кулаковского (1877–1926) [Султанов].

В неурезанном объеме воссозданы уходящие корнями в дореволюционный период творческие биографии татар Гаяза Исхаки, Гали Рахима, Фатиха Амирхана, Мажита Гафури, марийца Сергея Чавайна, чуваша Михаила Сеспеля – всех тех, кого признали основоположниками новых национальных литератур в XX в., но этому признанию стабильно сопутствовало однотипное «дисциплинарное взыскание»: «...не поднялся до исторического материализма...», не дорос, не дошел до понимания марксизма и т.п. Северо-кавказская литература начала XX в., например, в той же вульгарно-социологической манере всецело сводилась к единственной заботе ее создателей – провести «разграничительную линию между людьми, сословиями, линию, за которой стоят противоборствующие классы» [История: 522].

Каким «социалистическим реалистом» мог быть балкарский поэт Кязим Мечиев, встретивший революцию состоявшимся зрелым поэтом и глубоко верующим человеком, сформировавшимся в принципиально иной культурной среде, приоритеты которой были по существу несовместимы с социалистическим ценностями? Превращение лезгина Сулеймана Стальского и аварца Гамзата Цадаса в отцов-основателей дагестанской советской литературы было также оплачено недооценкой внутреннего драматизма их творчества, характерные особенности которого сложились в дореволюционных условиях.

Взрывной рубеж революции развел в стороны две ипостаси одного творческого облика, эстетическое и мировоззренческое несовпадение которых осталось в тени возобладавшего представления об изначальной цельности эволюции поэтов: им приписывались пафос революционности задолго до состоявшейся революции, не столько предчувствие социальных потрясений, сколько страстное ожидание их большевистской версии. Степень и масштаб адаптации дореволюционных умонастроений к доктриналь-

ной схеме оказались столь значительными, что исключалась даже постановка вполне закономерного вопроса о «двух Стальских», о «двух Цадасах», волею исторической судьбы оказавшихся на стыке непримиримых эпох.

Утрата императивности одного метода (социалистический реализм) привела к зияющей методологической пустоте, но, с другой стороны, и к значительному событию – распаду сакрализованной доминанты культурного прогрессизма как процесса, однолинейно восходящего «к зрелости» и непременно к «расцвету». Суть, понятно, не в самой идее прогресса, а в предписанной историко-литературному процессу целенаправленности и целесообразности, заведомо упразднявших представление о неоднозначной природе литературной эволюции, которая знала не только «взлеты», но и «спады», не только «подъемы», но и «разломы», не только «расцвет», но и «закат». Теория прогресса применительно к литературному процессу представлялась О. Мандельштаму «прямо-таки убийственной». В статье «О природе слова» (1922) он решительно полемизировал с «точкой зрения», согласно которой писатели «участвуют в конкурсе изобретений на улучшение какой-то литературной машины, причем неизвестно, где скрывается жюри и для какой цели эта машина служит». Если же квалифицировать смену форм как факт литературной динамики, то надо признать, что «каждая смена, каждое приобретение сопровождается утратой, потерей» [Мандельштам: 56, 57].

Демистификация имитационной модели культурного прогрессизма с его заикленностью на неотвратимости «восхождения» позволила переключить внимание на живую игру «взлетов» и «утрат», многовариантность художественного поиска, на переходные состояния и пограничные явления. В сферу изучения национальной литературы вернулись субстанциональные смыслы, представление о целостности как неразделимости нормативного и креативного, константного и вариативного, сингулярного и всеобщего, цивилизационного и этнического.

Обозначился парадигмальный сдвиг, тот рубеж, после которого стало выходить из научного оборота некогда популярное понятие «младописьменная литература», которое явно не отличалось релевантностью по отношению к историко-литературным реалиям, к таким насущным проблемам, как генезис и духовно-культурные основания национальной литературы, хронологическая дифференциация литературного процесса, смена эпох в жанрово-стилевой динамике и т.д. Изучение, например, арабоязычного культурного наследия народов Дагестана позволило иначе взглянуть на родословную их литератур, несовместимую с постулатом о

«младописьменности», убедительно конкретизировать известную мысль И. Крачковского о развитии в Дагестане самобытной, оригинальной литературы на арабском языке.

Анализ «объективных закономерностей мирового литературного процесса», отмечал Ю. Виппер во вступительных замечаниях к первому тому «Истории всемирной литературы» (1983), должен включать в себя опыт «так называемых «малых» литератур», которые «могут иногда выдвигать художественные ценности мирового значения и служить почвой для таких обобщений, без которых в наших представлениях об этом процессе существовали бы серьезные изъяны». И далее: «...такой подход помогает преодолеть одинаково односторонние и в научном отношении пагубные крайности как европоцентризма, так и востокоцентризма» [*Vinnep*. 1983: 7]. Точно выбранная интонация – «так называемые», да и слово «малые» в кавычках – отменяла фактор малости как перво-степенный, а priori задававший вектор все еще неизжитой дифференциации народов и культур на исторические и неисторические, передовые и отсталые.

Востребованность многофакторного филологического анализа, вобравшего в себя идентификационные отсылки к вопросам этно- и культурогенеза и призванного исчерпывающе воссоздать базисные предпосылки формирования литературы, привнесла в изучение литератур народов России инновационный импульс. В современных работах – особенно о литературах Севера, Сибири и Дальнего Востока – со знанием дела и развернуто могут быть описаны и этимология знаковых местных понятий, и механизм обрядовых действий, и ритуал инициации, и промысловый культ. Художественный текст перечитывается и переосмысливается как вербально зафиксированное пространство напряженного взаимодействия глубинных культурных кодов.

Не стоит, однако, недооценивать следующее обстоятельство: ни в одной, наверное, области гуманитарного знания не накопилось столько «сгустков», как в изучении литератур народов России. К слову «сгусток», как известно, прибегнул Ю. Тынянов в своей полемике с В. Белинским, который «отважно написал вздор о XVIII веке», утверждая, что «у нас нет литературы». «У нас, – утверждал Ю. Тынянов в статье “Промежуток” (1924), – одна из величайших стиховых культур; она была движением», но «на нас этот стих падает как сгусток, как готовая вещь, и нужна работа археологов, чтобы в сгустке обнаружить когда-то бывшее движение» [*Тынянов*: 172].

Пробуждение «бывшего движения» становится возможным, если перечитывание, в том числе хрестоматийных текстов, дей-

ствительно превращается в акт переосмысления, отвоевывавшего «спящие» смыслы у забвения – будь это столь значимые для литературы Севера мифопоэтическая традиция, ритуальные тонкости шаманизма, завещанный предками культ слова как сакраментальной ценности («нельзя, – говорят ненцы, – играть Словом») или заново «прочитанный» общетюркский контекст трех литератур Поволжья – татарской, башкирской, чувашской.

Нарастает методологический спрос на соразмерный взгляд на вещи: изучение национальных литератур, ориентированное на *restituto in integro* (восстановление в целостности) и выявление их фундаментальных ценностных ориентиров воспринимаются как грани единого подхода, без которого призыв к полноте описания каждой национальной литературы останется всего лишь благим пожеланием.

Смена парадигмы – от разъединенности этнокультурного и коммуникативно-цивилизационного дискурсов к сбалансированности диахронии и синхронии – может не только расширить спектр возможностей литературоведческой реконструкции произведения как художественной структуры и литературного процесса как содержательной целостности, но и содействовать сущностной пролонгации в новом историко-культурном контексте центральной мысли «*e pluribus unum*» (единое из многого): несходное, оставаясь несходным, тяготеет в силу внутренней потребности к единству – назовите его надэтническим уровнем, российской цивилизационной общностью, сферой культурных универсалий или пространством «мировой литературы».

На первой же странице книги путевых впечатлений «Ветер с Кавказа» (1928) А. Белый поставил вопрос о своеобразном фокусе мироощущения, аналогом которого можно считать спасительную нить Ариадны: «Каждая картина имеет свой фокус зрения; его надо найти; и каждая местность имеет свой фокус; лишь став в нем, увидишь что-нибудь». Глаз художника не уставал реагировать на «местный колорит» – вплоть до бараньей папахи, без которой горец не мог считать себя горцем (в тексте: «бараньи, клокастые шапчищи»).

Переполненный новыми эмоциями и наблюдениями, автор находит, однако, желанный фокус или точку опоры за их пределами, акцентируя прагматически ориентированный глагол «доработаться». Доработаться до адекватности восприятия – это не только разглядеть в вознесенном ввысь Казбеке «гигантский ритмический жест, данный в паузе неба и воздуха», но и «увидеть единое во многом».

Укрупнение масштаба видения становится ключевым моментом повествования. Приращение коммуникативного смысла

непротиворечиво соотносится с изъятым из обособленности этнографизмом как «вещи в себе», а заботливо воспроизведенная поэтом этнокультурная аксиоматика – с извечной тоской по преодолению разобщенности, по устранению преград между людьми и культурами: «Воистину: в элементарнейшем смысле Кавказ от нас скрыт; лишь проживши три месяца, перед отъездом в Россию, – вздыхаешь: и здесь бы остаться, и там» [*Белый*: 5, 178]. Семантический разрыв между «здесь» и «там», утрачивая былой антиномический характер, преодолевается распознаванием «единого в многом» – эта идея, издавна присутствующая в мировом гуманитарном знании (вспомним «многое едино» из платоновского диалога «Парменид») на редкость органично вписалась в кавказский универсум А. Белого, который даже за буйством экзотических красок, за апологией культурных различий «удержал» сопрягающую мысль и онтологически значимый принцип «сходства несходного».

#### ЛИТЕРАТУРА

*Алхасов М.М.* Кавказ и абхазо-адыги: Проблемы этнокультурной агрессии // Первые Междунар. Инал-Иповские чтения. Сухум, 2011.

*Белый А.* Ветер с Кавказа. Впечатления. М., 1928.

*Виппер Ю.Б.* Вступительные замечания // История всемирной литературы: В 8 т. Т. 1. М.: Наука, 1983.

*Виппер Ю.Б.* О некоторых теоретических проблемах истории литературы // Виппер Ю.Б. Творческие судьбы и история. М., 1990 (URL: <http://www.philology.ru/literature1/vipper-90g.htm>)

*Гачев Г.Д.* Национальные образы мира. М., 1988.

*Гачев Г.Д.* Национальные образы мира. Евразия – космос кочевника, земледельца и горца. М., 1999.

Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина: Сб. ст. / Под ред. Р. Суни, Т. Мартина. М., 2011.

*Гумбрехт Х.У.* Есть и должно ли быть сегодня что-то устойчивое в «национальной принадлежности»? // Неприкосновенный запас. № 4. 2009. (URL: [magazines.russ.ru/nz/2009/4/gu2.html](http://magazines.russ.ru/nz/2009/4/gu2.html))

История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М. 1988.

*Мандельштам О.Э.* Слово и культура. М., 1987.

Современник. Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Т. 1. СПб., 1836.

*Султанов К.К.* Феномен Кулаковского: «локальное» и «всеобщее» в парадигме целостного миропонимания // Творческая личность в историко-культурном пространстве. Новосибирск: Наука, 2013.

*Тиханов Г.* «Малые и большие литературы» в меняющемся формате истории литературы // Вопр. литературы. № 6. 2014.

*Трубецкой Н.С.* Вавилонская башня и смешение языков // Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М., 2007.

*Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.

*Федотов Г.П.* Будет ли существовать Россия? // Вестник РСХД. Париж. 1929. № 1–2.

*Широкогоров С.М.* Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай, 1923.

*Шпет Г.Г.* История как проблема логики. Критические и методологические исследования: В 2 ч. М.

## ФИЛОЛОГИЯ – «СМЕРТЬ ДИСЦИПЛИНЫ»?

*И.О. Шайтанов*

Оценивая текущее состояние теоретической рефлексии в филологии, я бы хотел говорить не столько о достижениях, сколько о проблемах и о том, что мне кажется насущным.

Взятое в кавычки выражение «смерть дисциплины» – название нашумевшей книги Ч. Гайатри Спивак (2003). Данная смерть относится не ко всей филологии, а лишь к компаративистике, которая действительно бессмысленна в случае осуществления всё и вся уравнивающей глобализации, поскольку зачем сравнивать то, что по своему существу объявлено лишенным различия?

Однако в ряду других «смертей», провозглашенных в последнюю четверть века – «умерли» автор, читатель, литература, литературоведение – не раз говорилось и о смерти филологии в целом (Сергей Зенкин и другие авторы журнала «НЛО»). Чем филология провинилась? Она выпала из основного тренда гуманитарной мысли, в котором ключевыми словами стали «идеология» и «культура», понимаемая в основном идеологически (cultural and multicultural studies, гендер, власть, etc). Слово «поэтика», если и было возможно в этом тренде, то только в сочетании «поэтика культуры» (которое Стивен Гринблатт позаимствовал у Лотмана при создании столь влиятельного «нового историцизма»).

Таким был мировой фон, на котором развивалась и обновлялась российская теоретическая мысль в последние десятилетия, когда первой задачей для нее провозгласили – выйти на «мировой уровень», перевести и вызубрить все, от чего мы были идеологически отрезаны. Ограничение, как правило, возбуждает ответный энтузиазм. У нас начали поспешно овладевать «языком современной науки», поддерживаемым интернациональными грантами, искатели которых должны были овладеть этим несложным сленгом, что они и сделали. Говорю об этом как многолетний рецензент для такого рода фондов, переставший выступать в этом качестве, так как устал объяснять грантодателям, что бойкое воспроизведение «языка современной науки» слишком часто не является залогом самостоятельной мысли и нового подхода.

Привычно догоняя чужую мысль, у нас не заметили, как она снова уходит вперед, заставляя очень часто вспоминать то, от чего у нас успели поспешно отречься – я имею в виду, в том числе, и русскую филологическую школу. Говорю об этом не для того, чтобы в очередной раз посетовать, как нас не замечают или оттес-



няют, уязвляя национальную гордость, но чтобы напомнить о том, что сохраняет сегодня реальный потенциал для развития науки и нами самими востребовано менее всего.

Как признавал еще в 1974 г. один из главных американских теоретиков Роберт Скоулз: «Едва ли в современной англо-американской мысли о художественной форме» есть что-то, не испытывавшее на себе влияние русского формализма [*Scholes*: 117]. За этим влиянием пришло знакомство с Бахтиным, Лотманом... Но в 1990-х русское влияние, обострившее чувство «художественной формы», было отменено французским постструктурализмом, объявившим череду «смертей», которая, впрочем, с завершением «конца века» начала вызывать все больше сомнений.

Сошлюсь на мнение еще одного патриарха американской теории литературы Нормана Каллера, чья «Структурная поэтика» переведена на русский язык (переводческие усилия не были ненужными, но, к сожалению, переведенное воспринималось без должного осмысления – как руководство к действию). В 2006 г. он был приглашен выступить на Конгрессе американских компаративистов и констатировал, что за последние годы *comparative literature* (CL) утвердила себя в качестве универсального принципа при решении проблем от медицины до политики, не говоря уже о культуре [*Culler*: 239], но в этом торжестве of CL оказалась проигравшей одна сторона – **литература**.

Однако Каллер выразил надежду, что это проходит и слово «поэтика» перестает быть бранным (*dirty word*) [*Culler*: 241]. Подтверждая его надежду, на последнем конгрессе компаративистов (AILC, Париж, 2013) целая секция – «Old theories, how and why?» – практически была посвящена Александру Веселовскому. Это произошло во многом благодаря молодым русским, учившимся, а теперь преподающим в американских университетах. Создается почва для понимания того, что русская филологическая школа, чьи представители оказались такими влиятельными на Западе, все еще плохо понята, так как ее отдельные представители рассматриваются поодиночке, вне породившего их контекста – исторической поэтики.

Таковы условия, в которых развивалась наша теоретическая мысль в последние десятилетия и таковы перспективы и требования к ней в настоящий момент. Мы довольно много перевели с разных языков, овладели терминами «языка современной науки» и теперь для этой самой науки нам неплохо бы заново освоить собственное наследие, вновь вызывающее больший интерес за рубежом, чем на родной почве.

Это осознание требует усилий, ибо представляет собой акт перевода с языка иного мышления, чем то, что преобладает сегодня.

Не нужно думать, что Веселовский, вызвавший интерес, будет легко доступным. Современному теоретику в принципе непонятно, почему к своему знаменитому термину «историческая поэтика» Веселовский шел 30 лет и принял его, лишь мотивировав для себя его возможность, оторвав от старой нормативной «пиитики».

Терминологическая избыточность, легкость порождения терминов – особенность и беда не только литературной теории, но современного мышления. Мы поспешно переименовываем явления и проблемы, отрывая мысль от ее истоков, от ее традиции. Глобализация кажется чем-то исключительным – для одних желанным и необходимым, для других – неприемлемым, – будучи оторванной от двухсотлетней мысли о всемирности.

Показательна судьба одного из самых широко употребительных терминов литературной теории – **интертекстуальность**. Он был введен в употребление Юлией Кристевой в ее диссертации о теории романа у Бахтина. Это был ее способ интерпретации того, что Бахтин назвал «речевыми жанрами», определяющими характер любой речи, как бытовой, так и художественной. Но термин вырвался из своего первоначального смыслоупотребления (в какой-то момент Кристева даже попробовала отречься от него) и стал ключевым в компаративистике, поэтике культуры, знаменуя собой произвольность любого сопоставления, не требующего более никакой мотивировки, не допускающей мысли о специфичности взаимодействующих текстов.

Этот запрет на понимание специфики речевой деятельности и словесного искусства как ее результата стал следствием того, что текстом была сочтена вся культура («текстуальность истории»), в которой все тексты равно значимы, а потому – якобы равноценны. Шекспир такой же текст, как счет из прачечной, и счет даже предпочтительнее, поскольку дает неожиданный взгляд на литературу, поэтому занялись грязным бельем, графоманией, Пушкину предпочли Булгарина. И объявили «смерть филологии», а поэтика стала «бранным» словом, поскольку их внимательное спецификаторство пришло в противоречие с бездумным терминотворчеством, а шире – с безответственной риторикой, преобладающей едва ли не на всех уровнях современной речи или того, что теперь принято именовать дискурсом.

Если кратко сформулировать, какими были непредусмотренные побочные явления, сопутствующие нашему выходу на «мировой уровень», то это, прежде всего, – сопутствующее обретению забвение или отказ от всего, чем обладали или даже от того, что было обретено ранее. Я не раз приводил пример того, как начался поход в мировую науку в журнале «Новое литературное обозре-

ние», который вопреки метафоре, таящейся в его названии, в какой-то момент объявил себя «шатлом» между русской и мировой филологией. В №1 был напечатан и представлен Майкл Риффатер – крупный американский исследователь стиля и поэтического языка. Его представили так, как будто никто и никогда здесь не слышал его имени, но ведь его переводили, на основе его работ в Ленинграде возникла целая школа «стилистики декодирования». Трудно было ожидать плодотворных результатов от столь некультурного культуртрегерства.

Приведу иной, противоположный пример. В журнал «Вопросы литературы» прислана статья о бахтинистике в Китае. Не скажу, что уровень освоения блещет новизной и оригинальностью мысли, но он поражает размахом усилий и внимательностью работы: сотни статей, десятки монографий и диссертаций, университетские курсы, внимательная проработка всех основных понятий бахтинской теории культуры; множество изданий – собрание сочинений, семитомная антология(!), представляющая бахтинистику в мире, в России, в Китае. Широта применения – во всех областях литературоведения и исследований по китайской культуре, попытка найти созвучные идеи в китайской традиционной ментальности с тем, чтобы объяснить в первую очередь самим себе – каким образом «мировой уровень» (в данном случае представленный русским ученым) соотносится с почвой национальной культуры?

На последнем Парижском конгрессе компаративистов на секции по Веселовскому (и другим «старым теориям») я задал аудитории вопрос, на какие языки переведена «Историческая поэтика». В ответ поднялась одна рука – китайская. Это пример того, как происходит заинтересованное знакомство, не стесняющееся перевода и ученичества, переходящее на уровень овладения и ведущее к постепенному пониманию.

Увы, это укор не внимательности мира к нашему наследию, а нашей собственной забывчивости. История Веселовского в России в XX в. – пример печального неведения нами о том, чем обладаем. Всего три издания в XX в. этого труда, без которого трудно понять и соотнести все сделанное в русской филологической школе: 1913–1941–1989 (адаптированное для пользы студентов).

Чем это можно объяснить? Репутацией – гениальная идея якобы была высказана, но не завершена и не воплощена. В 1959 г. В.М. Жирмунский нашел и опубликовал план «Исторической поэтики» [*Жирмунский*]. Прошло еще полвека, прежде чем нашлось издательство, согласившееся переиздать «Историческую поэтику» в соответствии с этим планом [*Веселовский*].

Пользуюсь случаем поблагодарить Академию наук, присудившую мне премию им. Веселовского (2014) за издание «Исторической поэтики» (ИП) (впервые по авторскому плану) и отдельным томом, также впервые, работ, предваряющих ИП и заполняющих лакуны плана, того, что специально для ИП осталось ненаписанным – «На пути к исторической поэтике». Но не могу не вспомнить, что неоднократные попытки издательства получить на Веселовского грант РГНФ остались бесплодными. Вероятно, у нас так расплодилось филологические гении, что Веселовскому остается толкаться в прихожей и десятилетиями ожидать своей очереди. Это тоже реплика к состоянию современной филологической науки, уже не к тому, что происходит в ней, а что делают с ней, как ее поддерживают.

Не могу не сказать в этой связи и о том, что единственный филологический журнал, представляющий русскую филологию в мировом культурном пространстве – «Вопросы литературы», – пока что выживает благодаря тому, что входит в элитный пул «толстых» журналов, скупое, но все-таки спонсируемое Агентством по печати и Министерством культуры Российской Федерации. Но у меня (и не только у меня) есть ощущение, что нынешний «год литературы» – наш последний срок, а далее начнется не слишком долгое прощание. Хочу, чтобы академическое сообщество знало об этой слишком реальной угрозе.

Какими видятся мне сегодняшние требования/вызовы к филологической мысли и ее место в интеллектуальном контексте? Можно ли сказать, что она умерла или не востребована?

О невостребованности речи быть не может там, где все пространство культуры и истории представляется текстом с точки зрения самых влиятельных/модных гуманитарных подходов – от семиотики до герменевтики и культурологии. **Традиция чтения текста – традиция филологическая!** И даже если нам предлагается забыть о специфике художественности как цели филологического анализа текста, то на филологическом инструментарии не ставят крест, его просто забирают из рук филолога, говоря, что он больше вам не принадлежит, а составляет общее достояние. Замечательно, согласимся с этим, но инструментарий, за которым не ухаживает специалист, грозит утратить качество и вернуться к состоянию кремневых орудий.

Приведу один конкретный пример. Одна из главных сфер современной филологии – **компаративистика** – должна быть универсально востребована там, где вся политическая, экономическая, идеологическая ситуация насквозь компаративна, поскольку решаются одни и те же проблемы – межнационального диалога.

И решаются катастрофически плохо в масштабе мировой истории. Почему бы нашим политикам не овладеть основами компаративистики, не познакомиться с ее основными проблемами и их решениями? Тогда бы, во всяком случае, они узнали, что невозможно полюбившуюся идею пересадить на чуждую ей почву, поскольку для подобного эксперимента требуется «встречное течение»: нельзя укоренить идею свободы там, где отсутствует идея ответственности, поскольку свобода трансформируется в нечто совсем иное, часто противоположное.

Современная филология не должна и не может замкнуться в своей специфичности, поскольку она может и должна требовать своей востребованности. Но она будет в состоянии ответить на вызовы лишь в том случае, если окажется способной оттачивать свой инструментарий, обострять понимание своей специфичности, т.е. развивать свое фундаментальное знание. Нельзя сделать инструментом то, что фактически прекратило свое существование.

Когда-то об исторической поэтике Веселовского М.К. Азадовский сказал, что у него во встрече сюжетов происходит «встреча разных культур» [*Азадовский*: 101]. Поэтика не отделена от культурологии, в ней, действительно, зреет столь искомая сегодня поэтика культуры, но научить понимать встречу культур поэтика может лишь в том случае, если она овладела умением глубоко изучать встречу сюжетов, т.е. своим специфическим материалом.

#### ЛИТЕРАТУРА

*Азадовский М.К.* А.Н. Веселовский как исследователь фольклора // Изв. АН СССР. Отд. общественных наук. 1938. № 4.

*Веселовский А.Н.* Избранное: Историческая поэтика / Сост., вступит. ст., коммент. И.О. Шайтанова. М., 2006 (2011).

*Жирмунский В.М.* Неизданная глава из «Исторической поэтики» А. Веселовского // Русская литература. 1959. № 2, 3.

*Culler J.* Comparative Literature, at last // Comparative Literature in an Age of Globalization / Ed. by Haun Saussy. Baltimore: The John Hopkins UP, 2006.

*Scholes R.* An Introduction: Structuralism in Literature. New Haven, 1974.

*Spivak G.Ch.* Death of a Discipline. N. Y.: Columbia UP, 2003.

«ЦЕЛЬ ПОЭЗИИ – ПОЭЗИЯ»  
(О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  
РУССКОГО ЗОЛОТОГО ВЕКА)

*М.Н. Виролайнен*

Традиционный способ характеристики литературной эпохи через доминирующее направление (классицизм, романтизм, реализм и т.п.) мало подходит для русской словесности первой трети XIX в. Ни одно из направлений этой эпохи, устойчиво именуемой Золотым веком, не является однозначно господствующим, и даже четко отграничить их друг от друга иногда оказывается весьма затруднительно. Классицизм, казалось бы, уже позади, но в литературе еще активно действуют его приверженцы. Таков, например, Катенин, которого Пушкин в середине 1820-х годов считал едва ли не единственным авторитетным критиком<sup>1</sup>. В уверенности, что искусство должно опираться на «вечные правила» классической традиции, Катенин выступал и против сентименталистов, и против романтиков. Он переводил Расина и Корнеля, в соответствии с установками классицизма написал собственную трагедию – «Андромаху», а «Бориса Годунова» не принял категорически.

Гены классицизма продолжали многое определять и в творчестве тех писателей, которых мы никоим образом по ведомству классицизма не числим, – скажем, Пушкина или Гоголя. У пушкинского поколения просто не могло не быть прививки классицизма – его эстетика была важнейшей составляющей того образования, которое они получали. Из «Лицея» Лагарпа, убежденного сторонника эстетических норм французского классицизма, Пушкиным почерпнуты начальные сведения о европейской литературе. Первый опыт Пушкина в драматическом роде («Вадим») предпринят в русле классицистической трагедии, а один из его драматических шедевров – «Моцарт и Сальери» – построен на соположении поэтики классицизма и романтизма и демонстрирует прекрасное владение техникой классицизма. В «Медном всаднике» стилистика стихотворной повести, антагонистичной по отношению к классицистической поэме, сосуществует с одическим (т.е. классицистическим) стилевым началом [*Пумпянский*: 158–196]. Романтические и классицистические установки конкурируют в гражданской

---

<sup>1</sup> В первой половине февраля 1826 г. Пушкин писал Катенину: «Голос истинной критики необходим у нас; кому же, как не тебе, забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление? Покаместь, кроме тебя, нет у нас критика» [*Пушкин*. 1937. Т. 13: 261–262].

лирике декабристов. От просветительски-рационалистических представлений не может вполне освободиться жанр фантастической повести, казалось бы, рожденный эпохой романтизма. Таким образом, перестав быть главенствующим направлением, классицизм не ушел с литературной арены.

То же самое относится к сентиментализму. Достаточно помнить, что одним из центральных лиц эпохи был Карамзин, хотя бы и занятый в последнее десятилетие своей жизни «Историей государства Российского». Приверженцами сентиментализма были родной дядя Пушкина, Василий Львович, а также литературный наставник Василия Львовича, И.И. Дмитриев и ближайший друг Дмитриева В.В. Измайлов. Измайлов и Василий Львович Пушкин умерли в 1830 г., Дмитриев – в 1837. И все это – отнюдь не последние люди на литературной сцене, хотя они и уступают по своему значению тем, с кем мы связываем представление о романтизме.

Но картина русского романтизма является в высшей степени неоднозначной. Количество произведений, которые можно с абсолютной уверенностью назвать романтическими, не столь уж велико. Кроме того, русский романтизм общей программы не выработал, а отдельные теоретические суждения таких авторов как Пушкин или Вяземский основаны на представлении о романтизме как всей области литературы, не следующей классическим образцам. В зависимости от своих личных симпатий русские авторы выбирали в качестве ориентиров разные варианты европейского романтизма, резко несхожие между собой. Английский романтизм стоит под знаменами Байрона, с его пафосом индивидуализма, экзотическим колоритом, воспеванием сильной личности, в одиночку восставшей против мира и против Бога. Французские романтики, Гюго, например, отдают предпочтение многофигурным композициям, контрастным соположениям равномогущих приведенных в столкновение фигур. Байронической богоборческой вертикали здесь соположена широко развернутая социальная горизонталь. И совсем иное лицо у немецкого романтизма. Он гораздо более метафизичен. От отдельного героя, как у Байрона, или от сообщества людей, как у Гюго, интерес здесь смещен к устройству мира как такового – и уже через это – к человеку. Пушкин и Лермонтов шли вслед за Байроном, Гоголь байронизма словно бы вообще не заметил. Близкими для него оказались французская неистовая словесность и постоянная готовность немецких романтиков видеть мир в момент его метаморфозы. Общая картина русского романтизма оказывается эклектичной, а Николай Полевой (считавший романтизм порождением Французской революции)

даже провозгласил эклектизм в усвоении разных традиций необходимым эстетическим принципом эпохи. За исключением более или менее общего интереса к национальной самобытности и через это – к истории, русский романтизм не дает цельной картины, не складывается в единое направление.

И еще более смутной оказывается картина реализма, который еще сравнительно недавно принято было находить и у Пушкина, и у Гоголя. У Пушкина, например, реализм видели уже в «Борисе Годунове» – но автор не случайно называл свое произведение «романтической трагедией»: каноны классицизма он разрушал, руководствуясь лекциями Августа Шлегеля о драматическом искусстве. Реализм пробовали усмотреть в «Евгении Онегине». Но достоверно выписанные в романе фигуры персонажей и картины столичного или деревенского быта – лишь одна сторона художественного мира романа. Ей противостоит начало авторской субъективности как единственно достоверного измерения романа, по ходу которого читатель неоднократно получает напоминания, что весь остальной, казалось бы, временами почти осязаемый романский мир – лишь создание творческого воображения. Ни «Повести Белкина» с их изощренной литературной игрой, ни «Капитанская дочка», которая на фоне «Истории Пугачева» оказывается едва ли не утопией истории, не могут быть однозначно отнесены к области реализма. Вершиной гоголевского реализма считались «Мертвые души», но гротеск и лиризм Гоголя плохо согласуются с характером реалистического письма, и уж никак с ним не согласуется тот романтический по своему генезису пафос преобразования действительности, которым продиктован неосуществленный трехчастный замысел «поэмы».

Итак, характеристика русского Золотого века через литературные направления выглядит как весьма пестрая картина, не дающая определенного портрета эпохи. Прививка классицистического сознания остается действенной на протяжении всего Золотого века, который, собственно, и завершается в тот момент, когда действие этой прививки заканчивается. Тем не менее мы никак не можем сказать, что Золотой век – это эпоха классицизма. Не является он и эпохой сентиментализма, хотя представители этого направления еще ни в коем случае не сошли со сцены. Неудачным кажется и определение его как эпохи романтической – и в силу отсутствия единой программы у так называемых русских романтиков, ориентировавшихся на разные и чуждые друг другу изводы европейского романтизма, и в силу неистребимого рационализма большинства из них, и даже в силу того, что носители литературного сознания понимали под романтизмом нечто совсем иное, чем позднейшие



историки литературы. Наконец, и реализм этой эпохи – например, реализм позднего Пушкина или Гоголя – тоже вещь весьма и весьма сомнительная.

Между тем интуитивно предполагаемая эстетическая цельность Золотого века, несомненно, существует, хотя и не может быть отнесена ко всему пестрому составу авторов, действовавших в первой трети XIX столетия. Попытка охарактеризовать такую эстетическую цельность и будет предпринята в этой статье.

Золотой век уникален тем, что он представляет собой единственную и очень краткую эпоху, когда поэзия не стремилась выполнять никаких служебных функций. Для русской словесности это совершенно не свойственно. С XI по XX в. она неизменно была направлена на некие цели, внеположные слову как таковому. Литература видела свои задачи в служении, характер которого мог меняться, но сам пафос служения оставался неизменным. Большинство древнерусских жанров служило формированию национального исторического и церковного предания. Когда появляется беллетристика, свободная и от исторических, и от религиозных задач, она не освобождается от задач назидательных и, кроме того, имеет вполне прагматическое, т.е. опять-таки служебное назначение: быть занимательной для читателя, послужить его развлечению. Высокие жанры словесности XVIII в. продолжают обслуживать государственную мифологию, т.е. так же, как и древнерусские жанры, служат формированию исторического национального предания. Сентименталисты выдвинут в противовес государственно-му, историческому пафосу интерес к частному человеку, но идея нравственного совершенствования, которому должна служить и литература, останется важнейшей для них. Начиная с 1840-х годов русская литература будет обращена к служению обществу, неразрывно связана с социальными идеями. Символизм, пришедший на смену традиционному искусству, на первых порах откажется от такого служения, но он обратится к области трансцендентного, а в поколении младших символистов – еще и к жизнетворчеству, т.е. при всей сосредоточенности на слове будет искать главнейшие смыслы в областях, слову лишь сопредельных. Итак, цели русской словесности могли быть разными: формирование исторического предания или государственного мифа, нравственное воспитание, развлечение, отражение реальности, связь с трансцендентным, но независимо от характера цели слово было обращено на служение тому или иному независимо от него существующему фрагменту мира и жизни.

Только с учетом этого обстоятельства можно в должной мере оценить значимость хорошо известных слов Пушкина: «Цель

поэзии – поэзия – как говорит Дельвиг (если не украл этого)»<sup>2</sup>. (Близкую мысль, действительно, высказывал Фридрих Шлегель<sup>3</sup>, а Дельвиг был знатоком немецких авторов).<sup>4</sup> Та же идея не раз встречается в критических статьях Вяземского, который в 1840-е годы с горечью писал о возникновении прикладного значения писательской деятельности как о признаке наступления новой, чуждой ему эпохи (см.: [Вяземский. Т. 2: 191–192]). Само слово «польза», примененное к литературе, для писателей пушкинского круга знаменовало конец той культуры, которой они принадлежали, и наступление «Железного века». Об отказе от пользы Гоголь демонстративно заявлял в финале повести «Нос»: непонятно, «как авторы могут брать подобные сюжеты (...) Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы» [Гоголь. 1938. Т. 3: 75]. Аналогичным отказом от морализации заканчивается пушкинский «Домик в Коломне».

В пушкинскую эпоху цель поэзии предполагала ее сосредоточенную обращенность на самое себя. Отсюда – часто встречающиеся в текстах Золотого века самоописания или рефлексия творческого акта. Рядом с сюжетом в обычном смысле слова разворачивается другой сюжет: сюжет строительства самого поэтического мира, его законов, его возможностей и т.д. Классическими примерами могут служить «Евгений Онегин» или «Домик в Коломне». В «Онегине», как уже было сказано, сюжету героев на протяжении всего текста сопутствует сюжет автора, создающего на глазах у читателей свой роман<sup>5</sup>. В «Домике в Коломне», вся начальная часть которого посвящена октаве – той поэтической форме, которая и организует поэму, Пушкин вообще произвел нечто вроде семантической революции. Как известно, поэма была написана в тот момент, когда от Пушкина, вернувшегося с Кавказа, ждали поэтического отклика на события Кавказской войны. Полемиически отзываясь на такого рода ожидания, Пушкин вместо воспева-

---

<sup>2</sup> Письмо к В.А. Жуковскому от 20-х чисел апреля (не позднее 24) 1825 г. [Пушкин. 1937. Т. 13: 167].

<sup>3</sup> «Поэзия (...) является сама для себя законом и в самой себе заключает свою цель» [Шлегель: 53].

<sup>4</sup> Существенно, что формула «цель поэзии – поэзия» совершенно не совпадает по своему смыслу с позднейшим пафосом искусства для искусства, который в некотором смысле тоже был утилитарным, поскольку предполагал, что искусство создается для наслаждения им. И эта цель, как бы близко она ни лежала к самому творчеству, все-таки была внешней по отношению к нему самому.

<sup>5</sup> Ср.: «Строго говоря, сюжет “Онегина” заключается в том, что некий автор сочиняет роман о вымышленных героях» [Чумаков: 196]; «Роман героев изображает их жизнь, и он же изображен как роман (...) мы видим роман сквозь образ романа» [Бочаров: 33].

ния побед русского оружия пишет поэму, посвященную самому ничтожному случаю, забавному любовному приключению. Что же касается военной темы, то она зазвучала в первых девяти октавах «Домика в Коломне», посвященных поэтическому мастерству. И то, как она зазвучала, действительно было семантической революцией, потому что Пушкин демонстративно поменял местами означающее и означаемое. Ведь для поэзии, воспевающей военную тему, означаемым (денотатом) будет то или иное сражение, или победа, или война в целом. Означающим – поэтическое слово. Значением – тот смысл, который приписан военным событиям (например: русская победа над Наполеоном дарует всем народам мир и тишину). У Пушкина денотатом, означаемым, стало поэтическое слово. Означающим стала война: она превращена в язык описания, она стала поставщиком сравнений и метафор. Значением же стало утверждение полной, царственной независимости поэзии, которая сама для себя является целью. Стихотворец в мире поэзии – «Тамерлан или сам Наполеон» [Пушкин. 1948 Т. 5: 84] – не служитель, а властитель. Но владыкой он остается только внутри своего поэтического мира, где командует рифмами, слогами, октавами, глаголами, наречиями<sup>6</sup>.

Известно, как отстаивал Пушкин право на неприкосновенность своей частной жизни, как раздражался, когда от него ждали «поэтического» бытового поведения. Думается, что у этого была вторая сторона – оборона не только границ частной жизни, но и границ поэзии. Законы, царящие внутри нее, не распространяются за ее пределы. И слово живет в поэтическом мире по иным законам, чем за его порогом.

Поэтический язык Золотого века имеет собственную систему значений, которая теряет свой специфический смысл за пределами поэтического мира. Поэтическая лень, поэтический пир, поэтическое сладострастие, поэтическое бессмертие имеют совершенно иное значение, чем слова «лень», «пир», «сладострастие» и даже «бессмертие», употребленные во внепоэтическом контексте. В поэзии пушкинской эпохи формируется особое наречие, которое именуется языком поэтов и непереводаемо на внепоэтический язык. В позднейшую, некрасовскую эпоху мы уже не встретим ничего подобного этому явлению. Соотношение поэтического языка с языком общеупотребительным или языком прозы можно сопоставить с описанным Б.А. Успенским феноменом диглоссии, которую он определяет как «такой способ сосуществования двух языковых систем в рамках одного языкового коллектива, когда

---

<sup>6</sup> См. II–V октавы «Домика в Коломне».

функции этих двух систем находятся в дополнительном распределении» [*Успенский*: 26], т.е. когда они не эквиваленты друг другу и не подлежат взаимному переводу. Так, в Московской Руси церковнославянский и русский языки находятся в отношениях диглоссии: церковнославянский обладает сакральным статусом, который утрачивается при переводе на русский. Поэтому система значений церковнославянского языка не может транслироваться за его пределы. Показательно, что мотивы и мотивные комплексы, эти носители поэтической семантики, устойчивые для поэзии Золотого века и варьируемые в разных стихах Пушкина, не переходят в его художественную прозу. Именно на такую неперевоодимость поэзии указывал Вяземский, когда писал, что ее природа является «не переносной», «а особливо в прозу» [*Вяземский*. Т. 2: 127]. Нечто подобное возродит символизм, но он будет экспансивно направлен на выходящие за пределы поэзии цели.

Быть может, еще важнее, что поэтический язык (по преимуществу язык лирических жанров) формирует не только собственную систему значений, он формирует, а точнее создает, творит и собственную область денотатов, которые не существуют ни до, ни помимо поэтических текстов, которые действительны только внутри текста, вместе с ним. Но зато это их сотворенное поэзией бытие обладает таким же онтологическим статусом, как любой другой участок мировой реальности. Иван Киреевский писал о раннем Пушкине: «Он не ищет передать нам свое особенное воззрение на мир, судьбу, жизнь и человека, но просто созидает нам новую судьбу, новую жизнь, свой новый мир» [*Киреевский*: 31].

Едва ли не все перечисленные ключевые качества поэзии Золотого века были сформированы уже в раннем творчестве Батюшкова. Главное свойство реальности, творимой в его поэзии, – нетленность. Как мы знаем из записки доктора Дитриха, лечившего Батюшкова в годы его психической болезни, безумный Батюшков то и дело доставал часы из кармана и спрашивал: «Который час?», а затем сам себе отвечал: «Вечность» [*Дитрих*: 342]. Думается, в повторении этой цитаты из Жака Бридена (см.: [Dictionnaire. 1821. Т. 5: 22]) выразилось не оставившее поэта и во время болезни главное напряжение его творческой воли, направленной на преодоление разрушительного бега времени, на преобразование мига и часа в вечность. Ускользящие мгновения бытия – сквозной мотив поэзии Батюшкова. Горацианский по своему происхождению, этот мотив к началу XIX в. стал одним из общих мест европейской поэзии. Но традиционное гедонистическое решение горацианской темы – призыв наслаждаться мгновением жизни, пока она еще принадлежит нам – только на первый взгляд кажется принятым

в стихах Батюшкова. Остановить неумолимый бег, пресуществить быстротекущее, тленное в вечное и нетленное – вот что стало задачей его творчества. Можно сказать, что его задачей было остановить мгновение. Но решалась она совсем не в фаустовском духе. В послании к Виельгорскому звучит обращенное к адресату требование совершить невозможное:

О мой любезный друг! отдай, отдай назад  
Зарю прошедших дней...

[Батюшков: 16]

Это парафраз часто цитировавшейся русскими поэтами строки «Gib meine Jugend mir zurück!» из театрального пролога к «Фаусту» Гёте, но фаустовский контекст изменен, и юность возвращена у Батюшкова не с помощью Мефистофеля, а силой поэтического воображения. Это оно заново творит утраченный мир, в который поэт возвращается уже навсегда. Последняя строка стихотворения гласит: «Вы слышите его знакомы песнопенья!» [Батюшков: 16]. Смысл и звучание этой удивительной строки достигли полного тождества: заявленное ею настоящее время *всегда* будет совпадать с настоящим временем читателя. Но это длящееся, не исчезающее настоящее, это остановленное мгновение имеет очень жестко ограниченные условия своего бытия: оно в самом деле действительно только в тот момент, когда звучит песнопенье поэта. Утверждаемое действительно лишь постольку, поскольку звучит утверждение. Иными словами, оно действительно только в рамках самой поэзии – она-то и оказывается той областью нетленного, где обретается спасение от истребительного бега времени. И та частица бытия поэта, которая передана его поэтической строке, пресуществлена в нее, также остается нетленной. Это не абстрактное бессмертие в веках, это очень буквально понятая передача частицы своего бытия поэтическому тексту. Так же буквально следует воспринимать хрестоматийные пушкинские строки: «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит» [Пушкин. 1948. Т. 3: 424]. Юный Пушкин еще в Лицее предвосхищал свою позднюю формулу в строке «Не весь я предан тленью» [Пушкин. 1999. Т. 1: 94]. «Душа в заветной лире» – это не христианское бессмертие, но это и не земное бытие. Это некое третье измерение. Это пребывание в той области, которая целиком и полностью создана поэзией.

И таким же свойством – неуничтожимым свойством обладания бытием – наделяются предметы, попавшие в эту сферу. Но попадают они в нее не извне – и тем принципиально отличаются от предметов обычной речи, которые обладают собственным бытием

независимо от того, называем мы их или нет. Денотаты поэтического языка существуют только вместе с поэтической речью. Удаленные от пушкинской эпохи во времени, мы не всегда понимаем это и часто принимаем за зарисовку реальности то, что является принадлежностью поэзии.

Примером может служить стихотворение «Зимний вечер», в котором осуществлена мемориализация (т.е. опять же придание нетленности) жизни поэта в Михайловском, вечеров, проведенных с Ариной Родионовной. Многими поколениями читателей картина, запечатленная в «Зимнем вечере», воспринимается как едва ли не бытовая зарисовка, почти документальное свидетельство. Этому, собственно, ничто не противоречит: долгие и, вероятно, грустные зимние вечера, шум метели, старушка, именно по вечерам рассказывающая поэту сказки и поющая песни – все это действительно составляло антураж михайловской жизни<sup>7</sup>. Документально подтверждаются и другие детали – например, готовность Арины Родионовны пображничать вместе с барином<sup>8</sup>. Между тем отбор всех ключевых деталей восходит к «Элегии из Тибулла» в вольном переводе Батюшкова:

При шуме зимних вьюг, под сенью безопасной,  
Подруга в темну ночь зажжет светильник ясный  
И, тихо вретено кружа в руке своей,  
Расскажет повести и были старых дней.

[Батюшков: 64]<sup>9</sup>

Добавим к этому, что в подлиннике у Тибулла – не подруга, а старушка. Творческий акт вдохновлен стихами и созиданием поэтического мира завершается. Бытовые детали, вовлеченные в этот очерченный поэзией круг, получают в нем новую, теперь уже нетленную жизнь.

На примере «Зимнего вечера» можно продемонстрировать еще одну особенность поэзии Золотого века. Принято считать,

---

<sup>7</sup> «Знаешь ли (мои) занятия? – писал Пушкин из Михайловского брату в первой половине ноября 1824 г., – до обеда пишу записки, обедаю поздно: пос(ле) об(еда) езжу верхом, вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!» [Пушкин. 1937. Т. 13: 121]. О том же около 9 декабря 1824 г. Пушкин писал Д.М. Шварцу: «...вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны <...> она единственная моя подруга – и с нею только мне нескучно» [Пушкин. 1937. Т. 13: 129], а затем 25 января 1825 г. П.А. Вяземскому: «...живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки и песни» [Пушкин. 1937. Т. 13: 135].

<sup>8</sup> См.: [Луцин. С. 109]; ср. также в стихотворении Языкова «На смерть няни А.С. Пушкина»: «Садись-ка, добрая старушка, И с нами бражничать давай!» [Языков: 296].

<sup>9</sup> Отмечено К.А. Малафеевым [Малафеев: 37–39].

что с середины 1820-х годов жанровое мышление, характерное для классицизма, утрачивается, происходит смешение жанров. Но пристальное внимание к творчеству Пушкина этой поры опрокидывает такую картину. «Зимний вечер» даже самыми тонкими современными исследователями воспринимается как стихотворение, лишенное соотношения с жанровой системой, которая, как кажется, теряет свою актуальность для Пушкина. «Стихотворение входит в ту сферу новой лирики, где представление о правильной системе жанров уже утрачено» – это замечание И.Л. Альми [Альми: 124] выражает почти общее мнение. Между тем в «Зимнем вечере» осуществлен виртуозный жанровый сплав, гармонизирующий исходные составляющие, которые, однако, остаются узнаваемыми.

Избранный Пушкиным четырехстопный хорей – размер, характерный для застольных песен (см.: [Белоусов: 27–28]), к ним же отсылает рефрен с призывом: «Выпьем, добрая подружка...» [Пушкин. 1947. Т. 2: 439]. Вкрапление фольклорной лексики подготавливает почти цитатное включение строк из двух народных песен – отсылка, соотносящая контексты литературной песни и песни фольклорной (песня про синицу начинается с описания того, как птицы готовятся бражничать). С другой стороны, использование просторечия сближает пушкинский текст со стилистикой дружеского послания, в частности, с «Моими пенатами» Батюшкова. «Ветхой лачужке» в «Зимнем вечере» соответствует «ветхий стол» в «хижине» батюшковского лирического героя [Белоусов: 21–22]. Дружескому посланию (а не только застольной песне) соответствует и мотив «пира» – именно в послании скромное сельское уединение, как правило, служит тем местом, где надлежит состояться пиру избранных. Характерен для дружеского послания и самый призыв к пиру. Хорей (впрочем, трехстопный) – также размер, свойственный дружескому посланию, в том числе и пушкинскому. А через отсылку к Тибуллу стихотворение связано с родственным посланию жанром элегии. Просторечия ложатся у Пушкина на элегический лексический субстрат, и элегическая тональность становится определяющей в стихотворении, не позволяя ему совпасть по тону и настроению с мажорной, как правило, застольной песней или с оживленными интонациями дружеского послания. Жанровые компоненты стихотворения вполне узнаваемы, и их взаимодействие – не хаос смешения, не случайный конгломерат разнородных языковых и стилевых элементов. Это сознательное обращение к языкам и мотивам разнородных, но имеющих точки соприкосновения поэтических жанровых традиций, сведенных к единству мерой и гармонией стиха. Кажущаяся простота стихотворения не таит никакого непостижимого смысла, все содержа-

ние на виду, оно представлено с исчерпывающей буквальностью – потаенным объемом становится именно жанровая многомерность. Существенно, что речь идет не только о генезисе, т.е. об импульсах к созданию произведения, актуальных лишь при начале работы, – жанровые включения остаются в составе текста, их сочетания и столкновения приведены в состояние динамического равновесия, и именно эта скрытая динамика взаимодействия различных оснований ощущается как внутренняя жизнь поэтического текста.

В подобном контексте элементы жизненной достоверности становятся элементами поэтического языка и, соответственно, – поэтического мира. Даже такая бытовая подробность как «кружка» (по замечанию И.Л. Альми, это слово, кроме современного, имело также значение «штоф», указанное В.И. Далем – [Альми: 130–131]), оказавшись зарифмованной с «подружкой», призвана вызывать поэтическую ассоциацию с застольной песней Державина, где использована та же рифма:

Краса пирующих друзей,  
Забав и радостей подружка,  
Предстань пред нас, предстань скорей,  
Большая серебряная кружка!

[Державин: 81]

Все это, вместе взятое, и сообщает бытовой сцене тот мемориальный статус, который закрепился за ней в читательском сознании. И Пушкин, конечно, отдавал себе в этом полный отчет.

Аналогичным образом построены и другие пушкинские стихотворения середины 1820-х годов, не имеющие однозначной жанровой определенности, например, знаменитое «19 октября» 1825 г. Как и в «Зимнем вечере», связь с традицией застольных песен очевидна: строки, посвященные наставникам и царю, откровенно оформлены как два тоста. Тост за царя подхватывал традицию, заложенную написанным при окончании Лицея стихотворением Дельвига, которое имело в своем заглавии жанровое определение: «Прощальная песнь...» [Дельвиг: 125]. Сама адресация текста друзьям, собравшимся на дружеский пир, вводила ситуацию застолья – на нее недвусмысленно указывал эпиграф из Горация, предпосланный первой редакции стихотворения: «Nunc est bibendum»<sup>10</sup>. Такими же застольными обращениями были послания Илличевского («С тех пор, как мы лицейские стали...», 1822) и Дельвига («Семь лет пролетело, но дружба...», 1824), приуроченные к 19 октября. Эпиграф связывал стихи, написанные к

<sup>10</sup> «Теперь надлежит выпить» (лат.) – из книги Горация «Оды» (Сарм. I, 37).



лицейским праздникам, с «традицией застольной песни от ново-европейских ее вариаций до античных образцов – пиршествненных од Алкея, Анакреонта и Горация. Общая для текстов этой традиции ситуация пира прослеживается во всех “лицейских годовщинах” Пушкина» [*Мальчукова*: 100].

Еще один текст, с которым следует соотнести пиршественную ситуацию «19 октября» – «Певец во стане русских воинов» Жуковского (1813), стихотворение, построенное как череда задравных тостов, прославляющих одного за другим героев Отечественной войны 1812 года. На «Певца» Жуковского (и одновременно – на «Певца в беседе любителей русского слова» Батюшкова (1813), где в арзамасских целях травестирован текст Жуковского и вместо воспевания героев дано осмеяние «беседчиков» – так же одного за другим) было ориентировано лицейское стихотворение «Пирующие студенты» (1814), в котором Пушкин использовал хорошо узнаваемые строфику и размер высокого образца Жуковского и следующей за ним батюшковской травестии. И так же, как у Жуковского и Батюшкова, в стихотворении Пушкина, которое тоже представляет собой речь, обращенную к пирующим, один за другим представляли его лицейские однокашники. Этот предмет не соответствовал ни пафосу, ни высокой теме Жуковского, но и не подлежал осмеянию. Одновременная ориентация на два образца позволяла с определенной долей иронии все-таки воспеть собственных друзей, пока еще, конечно, не заслуживших места в истории. В 1825 г. Пушкин уже мог сделать это вполне всерьез – и когда фигуры лицеистов одна за другой начинают появляться в тексте «19 октября», внутренняя связь стихотворения с «Пирующими студентами» (а через них – и с «Певцом во стане...» Жуковского) должна была стать очевидной для посвященных. Такими посвященными и были собравшиеся на годовщину: лицейские стихи Пушкина были хорошо памяты его товарищам, деятельно переписывавшим в свое время его стихотворения. Собственно, и состав лицеистов, фигурировавших в «Пирующих студентах» и «19 октября», почти один и тот же, повторяются и их характеристики: все тем же «спартанцем» предстает в первой редакции Вольховский, «певцом» – Корсаков, которого в 1825 г. уже не было в живых. И словно в ответ обращенной к нему в «Пирующих студентах» строке: «Приблизься, милый наш певец» звучит строка «19 октября»: «Он не пришел, кудрявый наш певец».

Отсылки к лицейским текстам в «19 октября» множество, они не исчерпываются одним только пушкинским стихотворением – это парафразы строк из относящихся все к тому же «песенному» жанру лицейской «национальной песни» и «Прощальной песни...» Дельвига. «Разный путь», назначенный судьбой Пушкину и Горчакову,

повторяет ключевой мотив адресованного ему пушкинского послания 1817 г. («Князю А.М. Горчакову») («Встречаюсь я с осьмнадцатой весной...»). Одна из автореминисценций включена в оформление кольцевой композиции «19 октября», которое начинается и завершается картиной одинокого пира поэта. Если в «Зимнем вечере» его жилище было названо «лачужкой» – словом из лексикона дружеского послания, – то в «19 октября» оно становится «кельей», что приводит на память метафору «Лицей – монастырь», использованную в посланиях «К Наталье» (1813) и «К сестре» (1814). Мотив, введенный в самом начале стихотворения, подхвачен в его финале, где автор предстает «отшельником опальным». Как и строка о Корсакове, образ получает свое развитие сравнительно с юношеским стихотворением: 15-летний мальчик признавался занимающей его воображение героине, что он – «монах», ссыльный 26-летний Пушкин в 1825 г. называет себя «отшельником».

При всей близости к разным модификациям «застольных песен» стихотворение «19 октября», разумеется, в этот жанр не укладывается. Адресованное далеким друзьям, стихотворение, естественно, обладает чертами послания. Создание их стихотворных портретов – одно из характерных заданий жанра послания, которое, как уже говорилось, служило формированию репутации адресата. Концепция личности Дельвига, какой она дана в «19 октября», в общих чертах уже была сформирована обращенными к нему пушкинскими лицейскими стихами. Типично для послания и использование ведущих тем и лексики поэта-адресата – в «19 октября» именно этим отличаются строки, обращенные к Дельвигу и Кюхельбекеру. Жанровая связь с дружеским посланием выражается и в обращении к характерному для него тематическому комплексу – это мотив сельского уединения поэта, адресация к дружескому кругу, воображаемый пир, тема смерти, сопряженная с темой пира. Актуальность горацанской традиции, усвоенной русским дружеским посланием, акцентирована не только снятым при печати эпиграфом из Горация – к ней восходит и мотив одинокого пира, образующий композиционное кольцо пушкинского стихотворения<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Ср.: Сarm. III, 1, 19–22 (см.: [Мальчукова: 106–107]). Контрастное соположение наступающих холодов и пылающего камня, у которого можно выпить исцеляющее душу вино, – топос, восходящий к Алкею (fr. 34) и следующему за ним Горацию (см. написанную Алкеевой строфой оду «К Талиарху» (Сarm. I, 9), в которой первая строфа открывается зимним пейзажем, а во второй следует призыв развести огонь поярче и изобильнее черпать Сабинской кружкой четырехлетнее вино; Пушкин мог знать эту оду как по французским двуязычным изданиям, так и по многочисленным русским переложениям, в частности – по стихотворению В.Л. Пушкина «К любимцам муз (подражание Горацию)», 1803) – (см.: [Мальчукова: 106–109]).

В то же время биографический контекст связывает стихотворение с совершенно иной разновидностью послания, представленной в культурной традиции «Письмами с Понта» высланного из Рима Овидия. Пушкин, не раз проводивший в пору своего южного изгнания параллель между собственной судьбой и судьбой Овидия, эту связь, конечно, хорошо осознавал. Но в рамках овидиевской традиции послание окрашивалось в элегические тона – и, следуя ей, Пушкин избирает элегическую тональность и элегическую лексику в качестве доминирующих. Вместе с ними в стихотворение входят некоторые устойчивые элегические мотивы: растраченной юности, предательства друзей. Но главное – элегическое начало подчиняет себе общее звучание стихотворения, затушевывая его связь с застольной песней или дружеским посланием. В отдельных фрагментах поэтического высказывания его элегическая окрашенность получает особое значение. Прежде всего это касается элегического обращения к ополчившемуся против элегии Кюхельбекеру<sup>12</sup> – проникновенные строки Пушкина не могли не тронуть его, и это было, может быть, самым сильным аргументом, выдвинутым против лицейского товарища в защиту отвергаемого им жанра элегии.

Как и в «Зимнем вечере», напластование жанровых традиций не становится в «19 октября» их случайным смешением. Они получают то самое полифоническое звучание, которого Бахтин искал у Достоевского: «голос» каждой традиции хорошо различим, отчетливо слышим. Впечатление «смешения» может возникнуть лишь оттого, что эти «голоса», или партии, вводятся не поочередно – произведение строится как сложная оркестровка, как общее звучание не теряющих собственной индивидуальности инструментов.

Стихотворение производит и, безусловно, призвано производить впечатление высказывания доподлинно автобиографического. И его центральная сюжетная ситуация – ссыльный поэт шлет послание далеким друзьям – точно отражает реальность. Но нельзя забывать, что создание иллюзии достоверности – одна из прямых задач этого текста: он пишется так, чтобы возникло ощущение синхронности акта его создания и того, что в нем описано, т.е. празднования поэтом лицейской годовщины. Между тем вероятность, что стихотворение написано именно 19 октября, не

---

<sup>12</sup> В 1824 г. были опубликованы программные статьи Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (Мнемозина. М., 1824. Ч. 2. С. 29–44) и «Разговор с Ф.В. Булгариным» (Там же. Ч. 3. С. 157–177), которые Пушкин назвал «основанием всего, что сказано было противу р(усской) литературы в последние 2 года» («Возражение на статьи Кюхельбекера в “Мнемозине”») – [Пушкин. 1949. Т. 11: 41–42].

слишком велика. В его центральной части описан воображаемый пир петербургских друзей, затем – воображаемое возвращение поэта в Петербург; такой же воображаемой является, вероятно, и сцена его одинокого пира, которой начинается и заканчивается стихотворение. Не случайно ее прообразом служат стихи Горация – уже одно только это не позволяет видеть в пушкинских строках отображенную ими реальную картину. Но и условной она не является. Точнее говорить о том, что пройдя через опосредование поэтической традиции, ее языковых и стилевых средств, событие празднования 19 октября 1825 г. получает, если обратиться к терминологии Вяч. Иванова, статус не реального, но реальнейшего – более подлинного, чем то, чем непосредственно заполнена жизнь, а значит, и не тождественного ей, но имеющего неоспоримый онтологический статус, как и все денотаты, создаваемые поэзией Золотого века. Именно поэтому стихи Пушкина обладают силой мемориализации, они дают новое и действительно нетленное бытие и любимой няне поэта, и его жизни в Михайловском, и его лицейским товарищам.

Не удивительно, что Золотой век был веком поэзии: лишь наивысшая степень оформленности текста могла отвечать задачам создания автономного онтологически достоверного мира. Но частично законы поэзии питали и прозу. Наиболее всего близка к природе поэтического мира, разумеется, проза Гоголя. Поздний Гоголь не случайно корил себя за то, что первые его произведения не осуществляли никакого служения. Они действительно были свободны от этой задачи и целиком направлены на созидание того особенного гоголевского мира, «нового» мира, аналога которому во внеположной ему действительности не имеется. Когда Гоголь приглашал петербургских читателей посетить Диканьку, юмор заключался не столько в том, что вряд ли кто-то из них отважился бы последовать предложенному маршруту, сколько в том, что физической дороги в этот мир, существующий лишь в стихии слова, нет и быть не может. Но зато тем более убедительным было существование словесной дороги.

Точно так же, как и поэзия Золотого века, ранняя гоголевская проза говорила совершенно особенным языком, не имеющим эквивалентов в языке общеупотребительном. Вернее сказать, эквиваленты существуют, но они сразу выносят нас за пределы гоголевской вселенной. Стоит назвать, например, гоголевского парубка юношей или молодым человеком, и мы сразу окажемся за пределами Диканьки. Гоголевская ранняя проза дает тот же пример диглоссии, что и поэзия Золотого века. Но главное, что связывает с ней прозу Гоголя, это сотворение в ней денотатов,

имеющих автономный онтологический статус. Проза Гоголя не воспроизводит реальность, а создает ее – и она возникает как новая, рукотворная реальность, обладающая соответствующими этой ее природе приметам. Гоголевский пейзаж насквозь риторичен, ритмично-музыкален, и из этой музыки и риторики он извлечен быть не может, представить его себе как доступный глазу фрагмент природного мира – значит совершенно разрушить его. И потому здесь не соблюдаются физические законы природы. Поэтому «нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр» [Гоголь. 2001. Т. 1: 74], и все звезды, какие только есть на небе, отражаются в нем. Примеры бесконечны и всем хорошо известны. Все это – не тот мир, в котором мы физически обитаем. Выморочный Петербург, репутацию которого создал именно Гоголь, – это не тот прекрасный город, по которому ходил Пушкин, и в котором мы до сих пор живем. И хотя еще в 1835 г. Белинский объявил Гоголя поэтом жизни действительной, сам Гоголь в 1846 г., т.е. всего за год до «Выбранных мест» писал: «...у меня никогда не было стремления быть отголоском всего и отражать действительность, как она есть вокруг нас» [Гоголь. 1952. Т. 8: 427].

Итак, основные характеристики Золотого века сводятся к следующему. Первое. Это эпоха главенства поэзии. Второе. Это эпоха поэзии, свободной от каких бы то ни было служебных задач. Третье. Это эпоха поэзии, обращенной на самое себя и самое себя рефлектирующей. Четвертое. Это эпоха, когда поэзия создает свой собственный язык, резко выделенный на фоне общеупотребительного. И, наконец, пятое. Это эпоха, когда поэзия создает свой собственный автономный мир ею же сотворенных денотатов, обладающих достоверным онтологическим статусом.

Когда поэтический мир размыкает свои границы, начинает говорить на одном языке с остальной культурой и, утрачивая собственную автономию, обретает свои предметы и значения во внеположном поэзии мировом пространстве, эпоха Золотого века кончается. Процессы разрушения культуры Золотого века происходят уже в творчестве Лермонтова, который переключает внимание от законов поэтического мира к внутреннему миру личности, превращая именно последний в предмет рефлексии. По тому же пути движется Баратынский, рефлексия которого тоже направлена не на поэтическую форму, а на психологический мир. И, разумеется, те же процессы происходят в зрелом творчестве Гоголя, который отказывается от двуязычия, в 1842 г. поручая Прокоповичу истребить украинизмы в новом издании его сочинений, а затем заявляет желание вынести «арсенал всех орудий поэта» за пределы поэтического мира [Гоголь. 1952. Т. 8: 382]. Жизнь в ее личном,

частном, социальном и историческом аспектах становится главным, а затем и единственным предметом литературы. Литература перестает строить свой собственный мир, она становится отражением реальности. Возрождается служебное назначение русской литературы и наступает конец Золотого века.

## ЛИТЕРАТУРА

*Альми И.Л.* «Зимний вечер» // Лирика А.С. Пушкина: Комментарий к одному стихотворению. М., 2006. С. 123–135.

*Батюшков К.Н.* Сочинения. М.; Л., 1934.

*Белоусов А.Ф.* Стихотворение А.С. Пушкина «Зимний вечер» // Русская классическая литература: Анализ художественного текста: Материалы для учителя. Таллин, 1988. С. 14–34.

*Бочаров С.Г.* «Форма плана» // Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М., 2007. С. 25–53.

*Вяземский П. А.* Сочинения: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 122–130, 189–216.

*Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1938. Т. 3; [М.; Л.], 1952. Т. 8.

*Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М., 2001. Т. 1.

*Дельвиг А.А.* Сочинения. Л., 1986.

*Державин Г.Р.* Стихотворения. Л., 1957.

*Дитрих А.* Записка о душевной болезни К.Н. Батюшкова // *Батюшков К.Н.* Соч.: В 3 т. СПб., 1885–1887. Т. 1. С. 334–353.

*Киреевский И.С.* Нечто о характере поэзии Пушкина // Киреевский И.С. Избранные статьи. М., 1984. С. 20–39.

*Малафеев К.А.* «Я думал стихами...»: Историко-документальные очерки о лирических стихах А.С. Пушкина. Рязань, 2000.

*Мальчукова Т.Г.* Античные и христианские традиции в изображении человека и природы в произведениях А.С. Пушкина. Петрозаводск, 2007.

*Пумпянский Л.В.* «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века // Пумпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 158–196.

*Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 13; 1947. Т. 2; 1948. Т. 3; Т. 5; 1949. Т. 11.

*Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1999. Т. 1.

*Пуцин И.И.* Записки о Пушкине // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 71–115.

*Успенский Б.А.* Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: Восприятие церковнославянского и русского языка // Успенский Б.А. Избранные труды. М., 1994. Т. 2. С. 26–48.

*Чумаков Ю.Н.* Пространство «Евгения Онегина» // Чумаков Ю.Н. Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений. М., 2008. С. 193–214.

*Шлегель Ф.* Из «Критических (ликейских) фрагментов» // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 51–53.

*Языков Н.М.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1964.

Dictionnaire historique, critique et bibliographique... Paris, 1821. Т. 5.

## СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭТИКА И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

*Е.Г. Водолазкин*

Отталкиваясь от литературы Нового времени, медиевистике удалось в свое время отрицательным образом определить целый ряд свойств средневековой письменности. Медиевистика искала в Средневековье то, чего в литературе Нового времени нет. Нынешний уровень знаний о средневековых текстах – с одной стороны, и изменения, происходящие в современной литературе, – с другой, постепенно подводят нас к противоположной задаче: попытаться определить, что в современной литературе появилось от ее средневековой предшественницы. Поскольку сопоставляемые тексты принадлежат к разным эстетическим системам, я буду пользоваться принятым разделением на «литературу» и «письменность», определяющим соответственно Новое время и Средневековье.

Прежде чем обратиться к анализу особенностей поэтики современной литературы, перечислю кратко основные характеристики средневекового текста.

1. Начну с присущей средневековой письменности фрагментарности. Новые тексты в значительной степени складывались из фрагментов старых текстов.

2. Фрагментированию средневековых текстов противостояла не менее мощная тенденция к их объединению. Вместе эти два течения создавали равновесие, необходимое для функционирования системы. Средневековье создало огромное количество компиляций, объединяющих не только фрагменты, но и отдельные произведения. Речь идет о сборниках, организованных по тематическому, хронологическому и другим принципам (см. об этом подробнее: [*Marti*]).

3. Средневековье не имело индивидуального стиля: существовал стиль жанра, который вполне допускал включение фрагментов разного происхождения.

4. Средневековый книжник чувствовал себя не столько автором, сколько в широком смысле транслятором. Потому, за небольшими исключениями, средневековая письменность анонимна.

5. Текст средневекового памятника фактически безграничен. О границах текста можно говорить лишь в отношении каждой конкретной его копии (списка).

6. Характерный для современности процесс устаревания текстов Средневековью был знаком в самой незначительной степени.

В рамках одной компиляции могли ужиться тексты с тысячелетней разницей в возрасте. В читательском восприятии одни тексты соотносились не столько с другими текстами, сколько с повествовательными моделями – летописной, житийной и т.д.

7. Средневековый читатель воспринимал текст как нефункциональный, как «то, что было в реальности».

8. Несмотря на то, что в средневековых текстах присутствуют элементы художественности в нашем понимании, эстетические качества текста еще не осознаются как самоценные. Средневековые тексты по своей природе внехудожественны.

Переходя к литературе современной, начну с проблемы фрагментарности. Центонный характер современного текста (прежде всего – постмодернистского текста) не подразумевает дословного воспроизведения предшествующих произведений. Эти произведения представлены обычно аллюзиями, цитатами, пересказами и т.д. Особый тип – стилевое цитирование, яркие примеры которого мы находим в творчестве Владимира Сорокина.

Вместе с тем, ничто в рамках поэтики постмодернизма не препятствует и *текстуальному* заимствованию. Постмодернистский способ мышления в определенном смысле освободил текст от обреченности быть чьей-то собственностью и вернул его к тому, что Карл Крумбахер применительно к Средневековью назвал «литературным коммунизмом» [*Krumbacher*: 320].

Примечательно, что сознание Нового времени не совпадает ни со средневековым, ни с постмодернистским. В понятийной системе Нового времени текстуальное заимствование без ссылки на источник может существовать только в статусе пародии или плагиата. Современные произведения заимствуют у предшественников, не будучи ни тем, ни другим. В этом отношении показательны недоразумения, сопровождавшие публикации одного из ведущих современных прозаиков Михаила Шишкина. Наиболее остро критика отреагировала на то, что в романе «Венерин волос» был использован фрагмент воспоминаний Веры Пановой, по иронии судьбы названных ею «Мое и только мое» (см.: [*Танков*])<sup>1</sup>.

Как и в средневековой письменности, тенденция к дроблению сопровождается в современной литературе не менее мощным движением к объединению. Ощутимо вырос в последнее время интерес к сборникам, объединяющим тексты разных авторов – прежде всего тематическим (таким, например, как сборники журнала

---

<sup>1</sup> Кроме того, текстуальной связи романа «Письмовник» с книгой Д. Янчевецкого «У стен недвижного Китая» касается в своей рецензии М. Ганин (OpenSpace. 20.09.2010).



«Сноб»: «Всё о моем отце» (2011), «Всё о Еве» (2012), «Красная стрела» (2013), «Стоп-кадр. Ностальгия» (2015), ставшие бестселлерами; можно упомянуть и такие петербургские издания последних лет, как «Русские дети» (2013) и «Русские женщины» (2014). В области нон-фикшн ситуация очерчена еще более резко. Востребованность изданий энциклопедического типа, словно напоминая о популярности древнерусских «энциклопедических сборников» (см. об этом: [Дмитриева. 1972; Каган, Понырко, Рождественская. 1980; Энциклопедия русского игумена. 2003] и др.), достигла сегодня невиданных прежде масштабов.

Центонная структура многих современных текстов открывает возможности и для разговора о пресловутой «смерти автора» [Барт: 384–391]. Несмотря на несвойственную науке образность, крылатое выражение Ролана Барта отражает вполне определенную тенденцию современной литературы, перекликающуюся с тем, что было в Средневековье<sup>2</sup>. И хотя автор новейшего времени не устраняется, подобно средневековому, от подписывания текстов, ослабление авторского начала, столь долго утверждавшегося Новым временем, очевидно<sup>3</sup>.

Во многом благодаря Интернету современным текстам была возвращена открытость, отобранная книгопечатанием. Некоторые произведения (например, роман «Люди в голом» Андрея Аствацатурова) уже создаются в блогах, и даже если какой-то их этап фиксируется печатным изданием, ничто не мешает этим текстам по-летописному продолжать свое развитие в Интернете<sup>4</sup>.

Перейдем к еще одной важной теме – теме фикционального. Под этим термином, вслед за Вольфгангом Изером [*Iser*], я понимаю тексты, повествующие о вымышленном. Главное, что бросается в глаза при взгляде на современную литературную продукцию, – это ее несомненное тяготение к невымышленному. Прежде всего, речь здесь может идти о литературе, обозначаемой все

<sup>2</sup> Следует, правда, отметить, что порой «смерть автора» вызывает возражения даже в медиевистической среде (см.: [Schneel: 12–73]).

<sup>3</sup> Я оставляю без рассмотрения проблему так называемых «литературных негров», пишущих вместо некоторых авторов, или группы создателей «межавторских серий», скрывающихся за общим (вымышленным) «авторским» именем (см. подробнее: Чупринин: 26–29), хотя даже в русле избранной темы этот феномен может представлять интерес: с определенными оговорками и в этом случае можно констатировать «смерть автора».

<sup>4</sup> Принцип открытости текста в современной словесности осуществляется не только в Интернете и не обязательно в виде вмешательства в текст или его непосредственного продолжения. Речь здесь может идти также о книжных сериях, сиквелах, приквелах и т.п. Разумеется, подобного рода вещи создавались и в период модерна, но никогда прежде их производство не достигало такого размаха.

еще очень размытым термином *нон-фикшн*. Помимо того, что по определению не принадлежит к художественной литературе (от поваренной книги до учебника по алгебре), существует обширная область того, что находится на пограничье и способно пересекать границу в ту или иную сторону.

Это пограничье ощутимо расширилось за счет биографической прозы, претендующей на повышенную степень реальности описываемого. Помимо чисто мемуарной литературы, имеющей свою нишу в любые времена, в современной словесности популярны тексты, ставящие знак равенства между автором и повествователем (Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов, Захар Прилепин и др.). Писатели первого ряда – Павел Басинский, Дмитрий Быков, Алексей Варламов, Валерий Попов, Александр Кабаков, Евгений Попов – создают биографические книги, отмеченные не только читательским интересом, но и крупнейшими литературными премиями. Пору нового расцвета переживает серия «Жизнь замечательных людей». Об этом говорит не только количество издаваемого, но и – опять-таки – имена авторов.

В современном литературном обиходе возникает понятие «новый реализм». Несмотря на то, что этим термином обозначают себя, по меньшей мере, три группы современных писателей [Чупринин: 363–365], появление его симптоматично. Существует четко выраженный культурный запрос на «реальность», связанный, надо полагать, с определенной девальвацией фикциональности, культивируемой на протяжении всего Нового времени. Собственно говоря, фикциональность ни в коем случае не была фиктивностью: по большому счету она тоже являлась разновидностью реальности. Отражая события, даже если и придуманные автором, но в то же время реальные (на чем-то ведь основывался авторский опыт), события, так или иначе, в другом месте и в другое время происходившие, литература Нового времени также представляла «реальность» [Iser: 125]. Это была реальность иначе структурированная, разложенная на элементы и иначе собранная, иными словами – условная реальность, т.е. то, что условно считали реальностью.

Особенность многих нынешних текстов как раз в том и состоит, что они все более стремятся отражать *безусловную* реальность. В этом еще один пункт их сходства со Средневековьем, нарративные тексты которого без зазоров укладывались в определение *нон-фикшн*. Движение в сторону *нон-фикшн* и «новый реализм», с одной стороны, и противопоставленное этому деструктивное начало постмодернизма – с другой, – суть разные ответы на одну и

ту же проблему – девальвацию «реальности» литературы Нового времени.

Разрушая условную реальность литературы Нового времени, постмодернизм взрывает вымысел как таковой, сводя все дело к реальности в непосредственном ощущении. Художественному миру не хватает достоверности, и он наполняет себя реальностью или симулирует ее. Таким образом, вопрос «реальности» описываемого неизбежно приводит нас к проблеме художественности. Точнее, к признанию того, что художественность в привычном смысле, – том смысле, который развивало Новое время, – начинает исчезать. Сегодня можно говорить если не о смерти художественности, то о ее размывании. Литература некоторым образом стремится к дохудожественному состоянию, которое повторится на новом этапе – с памятью о преодоленной художественности.

После размывания художественности Нового времени будет создаваться новая художественность и новая литература. Если вслед за Ю.М. Лотманом, понимать художественность как информацию, полученную из несистемного материала [*Лотман: 75–78*] – т.е. как то, что в произведении остается за вычетом системной информации, – то можно констатировать, что к концу XX в. сфера внесистемного была окончательно перегружена. Слова оказались обременены надстройками коннотаций – настолько громоздкими, что первоначальный смысл слова был под ними безвозвратно погребен. Собственно говоря, постмодернизм тогда и возник, когда пользоваться словами стало почти невозможно. Эта гроза стала очистительной.

От разоблачения и разрушения реальности Нового времени постмодернизм переходит к созиданию новой реальности. Но в этой точке он прекращает свое существование, потому что новая конструктивная работа противоречит его изначально деструктивным задачам. В этой самой точке постмодернизм переходит во что-то другое, что впоследствии найдет себе отдельное имя.

Вышесказанное не означает, что «пересозданию» в одночасье подвергнется вся литература – это вряд ли возможно. Сходство современного этапа со Средневековьем состоит не столько в том, что слова снова «ничьи» и доступны для использования, сколько в том, что литература становится по-средневековому неоднородной и в определенном смысле безграничной. Существует и, видимо, долгое время будет существовать обширный пласт консервативной литературы, стилистически слабо окрашенной, – она устареет гораздо медленнее авангарда. Значительная часть новейшей литературы, как и в Средневековье, становится литературой реального факта – или факта, который мыслится реальным. Эта

сфера расширяется за счет *нон-фикшин*. В сущности граница *фикшин* и *нон-фикшин*, литературы и нелитературы, становится довольно зыбкой и играет все меньшую роль.

Размывание художественности идет не только по линии стирания границ между *фикшин* и *нон-фикшин*, поскольку фикциональность сама по себе не определяет художественности, а, скорее, сопутствует ей.

По-средневековому стирается также грань между профессиональным и непрофессиональным текстом, между элитарным и массовым. Особую роль в появлении новых текстов стал играть Интернет. К созданию текстов подключились те слои населения, которые прежде были обречены на молчание. Можно спорить о том, благом ли стало то, что они обрели голос, но то, что голосов стало больше, не вызывает сомнения.

Появление новых текстов (а значит, и новой поэтики) в эпоху Нового времени в той или иной степени означает отрицание прежних произведений и прежней поэтики. Бытование литературы Нового времени зиждется на идее эстетического прогресса, предполагающего смену одного стиля другим. В Средневековье, не знавшем идеи прогресса – ни в общественной жизни, ни в эстетике, – старое и новое не противопоставлены, и новые тексты инкорпорируют старые. Такого же рода симбиоз мы видим в новейшей литературе, не отторгающей текстов предшественников, но делающей их частью себя. Подобно тому, как в Средневековье это позволяли делать внехудожественная природа большинства текстов и отсутствие персонального стиля, процесс инкорпорирования в нынешних условиях также сопровождает преодоление художественности литературой.

Исходя из всего сказанного, можно предположить, что период литературы Нового времени заканчивается. Судя по всему, культуру ожидает не просто очередная смена типа художественности, как это было при смене великих стилей Нового времени. Вполне вероятно, что мы действительно находимся в начальной фазе новой формации, как об этом говорит, скажем, Михаил Эпштейн [*Эпштейн*: 472–476].

Средневековье сменилось Новым временем – и письменность сменилась литературой. Прямое наследование предполагает отталкивание, причем наследник обычно развивает то, чего нет в предшественнике. Новое время в литературе развивало прежде всего индивидуальное начало, оно стало временем необходимого разграничения и обособления – текстов, авторов, читателей. Тексты приобрели завершенность, авторы – индивидуальный стиль, а читатели – соответствующие их склонностям сегменты книжной

продукции. Нынешний этап развития культуры доказывает, однако, что и это положение вещей не окончательно. Я бы не отважился сказать, что маятник до предела качнулся в обратную сторону, и от литературы мы сейчас в полной мере возвращаемся к письменности. Но возникновение и развитие явлений, рифмующихся со Средневековьем, очевидно.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
- Всё о моем отце: [рассказы] / Сост. С. Николаевич и Э. Куснирович. М., 2011.
- Всё о Еве: [рассказы] / Сост. С. Николаевич. М., 2012.
- Дмитриева Р.П.* Четыре сборники XV в. как жанр // Труды Отдела древнерусской литературы (далее – ТОДРЛ). Л., 1972. Т. 27. С. 150–180.
- Каган М.Д., Поньрко Н.В., Рождественская М.В.* Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // ТОДРЛ. Л., 1980. Т. 35. С. 3–300.
- Красная стрела: [рассказы] / Сост. С. Николаевич и Е. Шубина. М., 2013.
- Лотман Ю.М.* Структура художественного текста. М., 1970.
- Русские дети: 48 рассказов о детях / Сост. П. Крусанов, А. Етоев. СПб., 2013.
- Русские женщины: 47 рассказов о женщинах / Сост. П. Крусанов, А. Етоев. СПб., 2014.
- Стоп-кадр. Ностальгия: [рассказы, эссе] / Сост. С. Николаевич и Е. Шубина. М., 2015.
- Танков А.* Шествие переперщиков // Лит. газета. 2006. Вып. 11–12.
- Чупринин С.* Жизнь по понятиям: Русская литература сегодня. М., 2007.
- Энциклопедия русского игумена XIV–XV вв.: Сборник преподобного Кирилла Белозерского / Отв. ред. Г.М. Прохоров. СПб., 2003.
- Энштейн М. Н.* Постмодерн в русской литературе. М., 2005.
- Iser W.* Akte des Fingierens oder Was ist das Fiktive im fiktionalen Text? // Funktionen des Fiktiven / Hrsg. v. D. Henrich und W. Iser. München, 1983.
- Krumbacher K.* Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches (527–1453). 2. Aufl. München, 1897.
- Marti R.* Handschrift – Text – Textgruppe – Literatur: Untersuchungen zur inneren Gliederung der frühen Literatur aus dem ostslavischen Sprachbereich in den Handschriften des 11. bis 14. Jahrhunderts / Osteuropa-Institut an der Freien Universität Berlin: Slavistische Veröffentlichungen. Bd. 68. Berlin, 1989. S. 375–379.
- Schnell R.* «Autor» und «Werk» im deutschen Mittelalter. Forschungskritik und Forschungsperspektiven // Wolfram-Studien. Bd. 15 / Hrsg. v. J. Heinze, L.P. Johnson, G. Vollmann-Pfofe. Berlin, 1988.

---

## Часть 2

# НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОИФН РАН «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В НОВЕЙШИХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» (15 декабря 2015 г.)

---

## МОРФО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КАК ЭВОЛЮЦИОННО СТАБИЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ЧЕЛОВЕКА В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

*М.Л. Бутовская, А.П. Бужилова*

### Введение

Одной из фундаментальных составляющих биологической истории человечества является изучение взаимодействия индивидуумов и окружающей среды. Это динамическое состояние включает в себе комплекс взаимосвязей не только между популяциями, но и внутри них. Существует немало физических и биологических факторов, которые воздействуют на устойчивое пребывание популяции в окружающей среде. Изучение механизмов взаимосвязей «человек – среда» актуально для многих отраслей науки, что не требует специальных обоснований. Об экологии и возможностях применения ее методов в различных областях знаний говорят и спорят во многих аудиториях, и по сей день этот вопрос остается открытым. Тем не менее, экологический подход, разработанный в середине 70-х годов прошлого века, оказался достаточно универсальным для того, чтобы успешно использоваться во многих науках для развития отдельных направлений, в частности экологии человека в антропологии.

В научной литературе термин «экология человека» появился в начале 20-х годов прошлого века в работах, посвященных социальным проблемам экологии городов [Лисицын]. Однако еще в

середине 60-х годов в отечественной науке экология человека воспринималась как попытка буржуазных ученых биологизировать общественные отношения в человеческих коллективах, поэтому не имела широкого развития [*Преображенский, Райх*]. В настоящее время ситуация совершенно изменилась, и экология человека успешно развивается в различных направлениях в медицине, биологии, географии и других науках.

Антропология располагает необходимыми теоретическими разработками в этой области, опираясь главным образом на достижения физиологической антропологии. Основоположником этого направления в нашей стране является академик Т.И. Алексеева [*Алексеева*. 1977; 1986]. Огромный фактический материал, накопленный при изучении современных популяций различных экологических ниш, позволил выявить некоторые закономерности развития морфологических и соматических, генетических и демографических, остеоморфных и биохимических особенностей. Успешное изучение экологии современного населения дало возможность ввести аргументированное понятие адаптивного типа «как нормы биологической реакции человеческих популяций на комплекс окружающих условий» [*Алексеева*. 1986: 5].

В области палеоантропологии экологическое направление касается главным образом вопросов приспособленности древних человеческих коллективов к биологическим и социальным факторам среды и проблемам реконструкции образа жизни и хозяйственной деятельности древних. Последнее напрямую задевает «интересы» исторических наук, в частности социальной антропологии и археологии. Традиционно антропологические материалы как независимый археологический источник дают возможность оценивать уровень метисации различных этносов, определять обособленность отдельных популяций, намечать пути миграций населения и др. Использование палеоантропологических данных как исторического источника для реконструкции событий прошлого в наше время приобрело самостоятельное междисциплинарное направление и носит название «биоархеологической реконструкции». Знания о формировании специфических морфофизиологических реакций, полученные по результатам исследования современного населения с различными типами хозяйствования, помогают моделировать ситуации прошлого. По мнению В.П. Алексеева [*Алексеев*], реконструкция средовых факторов по палеоантропологическим, остеологическим и палинологическим материалам, комплексное использование исторических, археологических, этнографических данных – это новый и чрезвычайно перспективный подход для реконструкции событий прошлого. Наиболее полную

информацию для моделирования средовых факторов в прошлом дает комплексный анализ приспособленности к среде как отдельных индивидуумов (индивидуальный подход), так и популяции в целом (групповой анализ) [Бужилова. 2005].

Возможности реконструкции социальной организации, социального поведения и особенностей репродуктивных стратегий человека и его предков существенно расширяются благодаря использованию комплекса данных из области социэкологии приматов и этологии приматов и человека [Бутовская, Файнберг. 1993; Бутовская. 2002, 2011; Бутовская, Буркова. 2011; Бутовская и др. 2011; Butovskaya, Korotaev, Kazankov. 2000; Butovskaya et al. 2015a, b]. Взаимосвязь между репродуктивными стратегиями и социальной организацией, с одной стороны, и ассоциации между морфо-психологическими комплексами и генным полиморфизмом, опосредованным средовыми факторами, с другой, на сегодняшний день является одним из активно дискутируемых вопросов антропологии.

Первая полная палеоэкологическая реконструкция была проведена по антропологическим материалам обдорских хантов. В этом исследовании при комплексном подходе использованы данные по остеометрии и уровню минерального и микроэлементного состава костной ткани, некоторые данные археологии и этнографии; вся интерпретационная часть основывалась в полной мере на концепциях, разработанных при исследовании современных популяций [Алексеева, Козловская, Федосова]. Результаты палеоэкологической реконструкции привели исследователей к обоснованному выводу об автохтонности населения, позволили определить тип диеты и циклические интервалы неблагоприятных голодных периодов, приводящих к задержке ростовых процессов и, возможно, определивших морфоконституциональные особенности населения. Мускульное развитие, толщина компактного слоя, форма поперечного сечения длинных костей и другие данные позволили определить, что физическая нагрузка в данной популяции была не особенно велика. Авторы исследования считают, что образ жизни обдорских хантов – рыболовов, охотников и оленеводов, требовал не столько физических сил, сколько выносливости, что и достигалось благодаря социальной организации быта и специфике морфофизиологического комплекса признаков.

Следует заметить, что палеоэкологические исследования должны учитывать как условия среды, так и этнические особенности населения (генофонд). Это позволяет применять более обоснованно как антропологические, так и исторические, археологические, этнографические, географические и другие источники. Так, в работе М.Б. Медниковой [Медникова] обследование пост-



краниального скелета локальных популяций тагарской археологической культуры по 77 остеометрическим признакам позволило выделить ряд эпохальных закономерностей вне зависимости от этнотерриториальных особенностей (краниологических типов). Выявленные градиенты некоторых остеометрических параметров отразили эпохально-климатические изменения в регионе традиционного проживания скотоводов.

Обратим внимание, что анализ формирования определенных морфофизиологических комплексов у древнего и современного населения возможен только в междисциплинарном поле с использованием современного арсенала естественнонаучных методов.

### **Половой диморфизм как отражение репродуктивных стратегий человека**

Для оценки половых различий по форме и строению лица используют различные индексы, отражающие этот уровень. Предполагается, что наличие более высокого уровня тестостерона определяет формирование черт, характерных для мужского пола во многих популяциях (широкие скулы, массивная челюсть и подбородок, выступающие надбровные дуги, длинная нижняя часть лица и тонкие губы). Ряд авторов указывают на взаимосвязь между маскулинностью лица и непосредственно показателями свободного тестостерона в зрелом возрасте. Гипотеза иммунокомпетентности предполагает, что маскулинность является надежным индикатором сопротивляемости организма болезням. В рамках этих представлений только мужчины с высоким уровнем иммунокомпетентности могут «позволить себе» высокий уровень тестостерона, и, следовательно, высокую маскулинность (которая определяется уровнем тестостерона), являющуюся точным показателем наследуемого иммунитета к патогенной среде, и, следовательно, показателем «хороших генов» [Бутовская. 2013].

Тестостерон может иметь большее влияние на иммунную систему, чем эстроген, поэтому выраженность полового диморфизма более значительна в мужской популяции. Связь эстрогена с иммунной системой кажется намного слабее, чем связь тестостерона. Эстроген в первую очередь связан с формированием молочных желез и такими заболеваниями, как рак матки и яичников. Тем не менее, исследования показывают, что при подавлении клеточного иммунитета эстроген может повысить гуморальный иммунитет [Alexander, Stimson]. Считается, что формирование феминных черт не требует столько физиологических затрат от организма сколько требует формирование маскулинных признаков

[Rhodes et al.], поэтому количество эстрогена можно считать недостаточно точным индикатором физического здоровья.

Эволюционные психологи предлагают рассматривать половой диморфизм как адаптивный механизм для поиска здоровых партнеров [Fink, Penton-Voak.]. Мужчины предпочитают фемининные женские лица, а женщины – маскулинные мужские, неосознанно ассоциируя их с привлекательностью потенциального партнера [Little et al. 2002]. Таким образом, исследования лица человека с точки зрения его пропорций и выраженности маскулинных/фемининных черт в рамках изучения факторов появления и развития полового диморфизма становятся актуальной задачей современной эволюционной антропологии и эволюционной психологии [Little et al. 2008; Lefevre et al. 2013].

Исследования, проведенные на современных популяциях, в том числе и традиционных, позволяют заключить, что комплекс черт маскулинности, связанный с повышенным уровнем тестостерона, включает в себя низкий пальцевый индекс, широкие плечи и узкие бедра и такие особенности лицевых пропорций, как высокая и широкая нижняя челюсть, невысокий лоб (табл. 1) [Бутовская, Веселовская, Прудникова. 2010; Бутовская и др. 2014; Просикова, Бутовская, Веселовская. 2015]. Наряду с этим для женских лиц характерно большее выступание скул и большая относительная ширина лица, в то время как мужские лица характеризуются более высокой и широкой нижней челюстью и большей высотой лица (табл. 1) [Бутовская, Веселовская, Постникова. 2016, в печати]. На рис. 1 показаны антропометрические точки, использованные для вычисления индекса маскулинности.

Относительную маскулинность или фемининность лица (RMF) рассчитывали на основе четырех показателей полового диморфизма (рис. 1): 1. Относительное выступание скул ( $F\_D3\_D6$ ) = Скуловой диаметр ( $Zy-Zy$ ) / нижнечелюстной диаметр ( $Go1-Go1$ ); 2. Относительная высота нижней челюсти ( $F\_D9\_D8$ ) = Высота нижней челюсти ( $St-Gn$ ) / морфологическая высота лица ( $Elf-Gn$ ); 3. Соотношение высот лица ( $F\_D8\_D7$ ) = Морфологическая высота лица ( $Elf-Gn$ ) / физиономическая высота лица ( $Trh-Gn$ ); 4. Относительная ширина лица ( $F\_D3\_D8$ ) = Скуловой диаметр ( $Zy-Zy$ ) / морфологическая высота лица ( $Elf-Gn$ ). По специальной формуле высчитывали обобщенный показатель полового диморфизма RMF: [Относительная высота нижней челюсти + Соотношение высот лица] – [Относительное выступание скул + Относительная ширина лица].

Данные по исанзу (земледельческая культура) сравнили с аналогичными показателями по хадза (охотникам-собираателям) и датога (скотоводам). Все три группы проживают в Северной

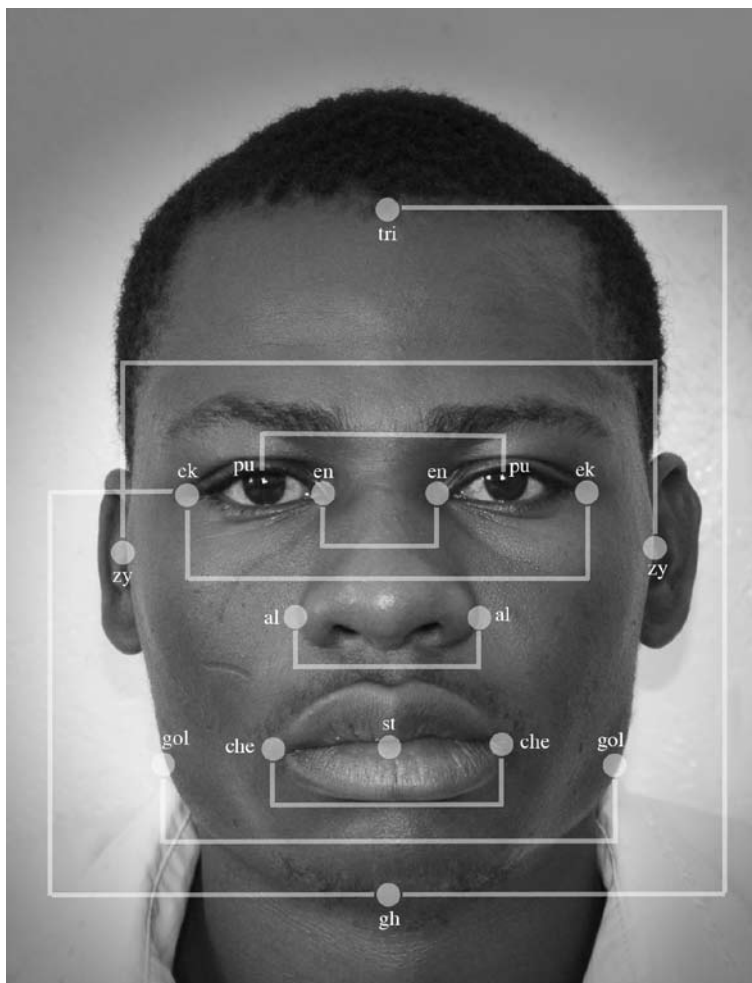


Рис. 1. Антропометрические точки, использованные для вычисления индекса маскулинности

Танзании. Исанзу характеризуются более выраженным половым диморфизмом по форме и пропорциям лица по сравнению с да-тога [Бутовская и др. 2014] и существенно отличаются от хадза, у которых не был выявлен достоверный половой диморфизм по пропорциям лица [Бутовская и др. 2014]. Однако лицевые пропорции хадза отличаются большей массивностью как в сравнении с исанзу, так и по сравнению с да-тога (рис. 2–4). Несомненный интерес в данном случае представляют результаты расчета пальцевых индексов. Как и в большинстве исследованных к



*a*

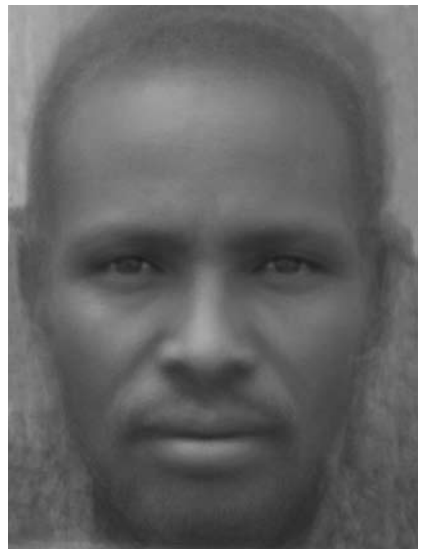


*б*

*Рис. 2. а) Обобщенный портрет мужчины исанзу; б) Обобщенный портрет женщины исанзу*



*a*



*б*

*Рис. 3. а) Обобщенный портрет женщины хадза (дано по: [Бутовская и др. 2014]); б) Обобщенный портрет мужчины хадза (дано по: [Бутовская и др. 2014])*



*a*



*б*

*Рис. 4. а) Обобщенный портрет мужчины датого (дано по: [Бутовская и др. 2014]); б) Обобщенный портрет женщины датого (дано по: [Бутовская и др. 2014])*

настоящему времени популяций, включая африканские [Бутовская и др. 2015], пальцевой индекс на правой руке у мужчин исанзу оказался достоверно ниже, чем у женщин. Пальцевой индекс у исанзу был в целом ниже, чем у хадза и датого [Butovskaya et al. 2015a]. Учитывая возможную связь между уровнем пренатального тестостерона и пальцевым индексом [Crewther et al.], полученные нами данные по выраженности полового диморфизма пропорций лица также можно объяснить высоким в целом уровнем пренатального тестостерона у мужчин исанзу. Дополнительным аргументом в пользу такого предположения можно считать данные, полученные ранее на небольшой выборке мальчиков. Мейндл с соавторами продемонстрировали отрицательную связь между маскулинностью лица и пальцевым индексом [Maindl et al.].

Кажущиеся несоответствия по выраженности отдельных характеристик полового диморфизма лица у представителей трех исследованных нами африканских популяций объяснимы, поскольку форма, ассоциируемая с «маскулинностью» и «феминностью» является обобщенным итогом воздействия как минимум двух факторов: уровня пренатальных стероидных гормонов и эффекта хромосомного полового диморфизма [Fink et al. 2005]. При этом, указанные факторы могут не всегда действовать в одном и

Таблица 1

Основные статистические характеристики лицевого пропорций, пальцевого индекса и формы тела у исанзу. Мужчины и женщины. Сопоставление значимости полученных различий

Признак	Мужчины			Женщины			Т-критерий	Достоверность
	N	X	SD	N	X	SD		
Относительное выступание скул (индекс)	151	1,163	0,064	52	1,203	0,060	<b>-3,946</b>	<b>0,000</b>
Относительная высота нижней челюсти (индекс)	151	0,394	0,031	52	0,379	0,031	<b>3,001</b>	<b>0,003</b>
Относительная ширина лица (индекс)	151	1,273	0,071	52	1,301	0,067	<b>-2,576</b>	<b>0,011</b>
Обобщенный показатель выраженности черт полового диморфизма лица	151	-0,473	0,131	52	-1,559	0,126	<b>4,139</b>	<b>0,000</b>
Отношение: R2D4D	149	0,950	0,034	55	0,965	0,036	<b>-2,784</b>	<b>0,006</b>
Отношение: L2D4D	149	0,957	0,031	56	0,964	0,032	<b>-1,428</b>	<b>недост</b>
Индекс массы тела BMI (вес в кг/ (рост в м) <sup>2</sup> )	159	21,79	2,77	56	24,29	5,53	<b>-4,355</b>	<b>0,000</b>
Отношение: плечи/бедро	1/59	1,10/6	0,056	55	0,978	0,067	<b>13,899</b>	<b>0,000</b>
Отношение: талия/бедро	1/59	0,87/0	0,05/5	55	0,849	0,070	<b>2,061</b>	<b>0,041</b>

том же направлении. По данным Финка с соавторами, эффект хромосомного полового диморфизма сказывается в первую очередь в направлении развития большей высоты нижней челюсти (нижней части лица в целом), а эффект пренатальной андрогенизации проявляется в виде общей робуственности всего лица.

В целом следует отметить, что полигинные популяции (датога, исанзу), характеризовались более выраженным диморфизмом лица и более низким пальцевым индексом на правой руке по сравнению с хадза, практикующими сериальную моногамию.

Наряду с морфологическими показателями маскулинности–фемининности в поведении человека также прослеживаются половые различия по комплексу показателей [Бутовская, Веселовская, Прудникова. 2010; Бутовская, Карелин, Буркова. 2012; Просикова, Бутовская, Веселовская. 2015].

Исследовали наличие связей между морфологическими и поведенческими характеристиками для мужской и женской выборки на примере выборки московских студентов [Просикова, Бутовская, Веселовская]. Корреляционный анализ провели отдельно для юношей и девушек. В таблице 2 представлены только достоверные коэффициенты корреляции для юношей. Низкий пальцевый индекс коррелирует с низкими баллами по шкале «Нейротизм». Относительная ширина плеч коррелировала с более высокими баллами по «Добросовестности». Мужчины с низким – т.е. маскулинным – пальцевым индексом имели большие значения индекса массы тела. Мужчины с развитой мышечной массой оказались более склонны к риску и более агрессивны. Для юношей показана отрицательная связь между баллами по шкале «Добросовестность» высотой высокой нижней челюсти (показатель маскулинности) (табл. 2).

Для женской выборки были получены несколько другие корреляции (табл. 3). Из пяти черт личности опросника NEO, «Нейротизм» оказался положительно связан с пальцевым индексом, а «Экстраверсия» и «Добросовестность» – отрицательно. Учитывая, что низкие значения индекса маркируют маскулинность, можно сказать, что женщины с низким пальцевым индексом оказались более уравновешены и стрессоустойчивы, обладали повышенной экстраверсией и добросовестностью.

Выявлены комплексы морфологических и психологических характеристик, ассоциированные с мужским и женским полом. Более маскулинные юноши обладали следующим комплексом черт. В отношении морфологии они отличались низкими показателями пальцевого индекса, широкими плечами, высокими значениями индекса массы тела, значительным развитием надбровного рельефа. В отношении пропорций лица к портрету маскулинного

Таблица 2

Результаты корреляционного анализа между морфологическими и психологическими параметрами (юноши, московская выборка, n = 164)

Признаки	НЕО Нейротизм (баллы)	НЕО Добросо- вестность (баллы)	Риск: Раскованное поведение (баллы)	Вер- бальная агрессия (баллы)	Индекс массы тела ВМІ (кг/м <sup>2</sup> )
L2D4D	0,202 (0,011)				-0,273 (0,032)
Отношение: плечи/бедра		0,223 (0,025)			
Индекс массы тела ВМІ (кг/м <sup>2</sup> )			0,325 (0,011)	0,281 (0,026)	
Относительная высота нижней челюсти (индекс) D9/D8		-0,182 (0,021)			

Таблица 3

Результаты корреляционного анализа между морфологическими и психологическими параметрами (девушки, московская выборка, n = 195)

Признаки	R2D4D	L2D4D	Индекс массы тела ВМІ (кг/м <sup>2</sup> )	Обобщенный показатель ПД лицо
НЕО: Нейротизм		0,219 (0,028)		
НЕО: экстраверсия	-0,205 (0,040)			
НЕО: Добросовестность		-0,302 (0,002)		
Риск: поиск опасностей			0,267 (0,020)	
Враждебность		0,252 (0,014)		-0,227 (0,039)

мужчины добавляются крупные размеры нижней челюсти. На полюсе маскулинности в отношении поведенческих признаков сгруппировались следующие показатели: хорошая стрессоустойчивость, экстравертность, индивидуализм (нежелание кооперироваться), большая добросовестность, выраженное стремление к лидерству, склонность к рискованному поведению во всех его проявлениях, повышенная агрессивность по всем показателям за ис-



## Корреляционный анализ в рамках каждого пола

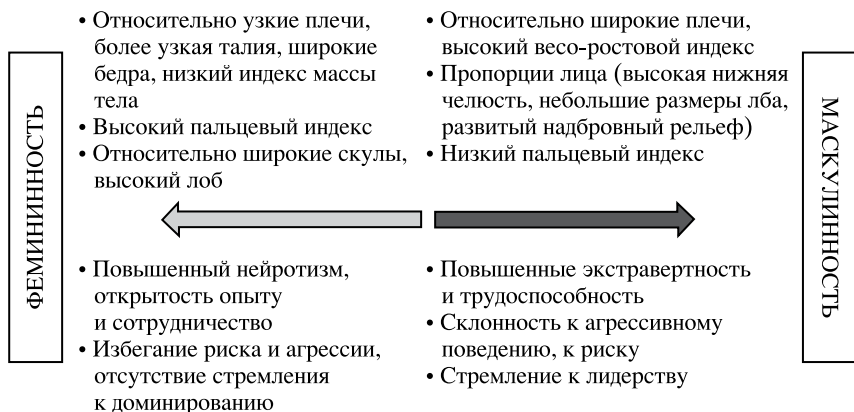


Рис. 5. Ассоциация морфологических и поведенческих показателей в рамках маскулинных и фемининных комплексов (дано по: *Бутовская* и др. 2012, 2014, 2015; *Просикова* и др., 2015)

ключением гнева. Более фемининные женщины характеризовались следующим комплексом черт. Высокими значениями пальцевого индекса, относительно узкой талией, слабым развитием надбровного рельефа, низким индексом массы тела, значительным выступанием скул по отношению к нижней челюсти, высоким лбом. Фемининных женщин отличали следующие особенности поведения: высокие баллы по нейротизму, склонность к кооперации, меньшая добросовестность, избегание рискованного поведения, устойчивость к рутинным действиям, враждебность. В обобщенном виде комплексы морфо-психологических признаков, ассоциированных с полом, представлены на рисунке 5.

Данные многих авторов свидетельствуют о том, что мужчины с более маскулинными признаками воспринимаются женщинами как более привлекательные потенциальные партнеры, носители «хороших генов» (в первую очередь, это касается кратковременного партнерства). Однако при выборе долговременных партнеров, женщины часто предпочитают менее маскулинных мужчин, которые чаще оказываются хорошими отцами [*Бутовская, Карелин, Бурков*]. «Хорошие гены» или хорошие отцовские качества выступают как две альтернативные эволюционно стабильные стратегии в истории человека. В популяциях, практикующих полигамию, «хорошие гены» выступают как ведущий мужской комплекс, тогда как в популяциях, ориентированных на моногамию, ведущим оказывается комплекс «хорошего отца». Каждый из вариантов обеспечивал максимальное выживание потомства (и таким образом максимальный

репродуктивный успех). Одним из индикаторов этих альтернативных стратегий является пальцевый индекс. Наши данные по хадза показывают, что мужчины с более высоким пальцевым индексом чаще оказывались неформальными лидерами бендов и более заботливыми отцами [Бутовская, Буркова]. Кроме того, у них было в среднем больше детей, и дети выживали лучше, чем у мужчин с более низким пальцевым индексом. В качестве альтернативы отбора в направлении «хороших генов» приведем полигинных датога. Мужчины, демонстрирующие более высокий репродуктивный успех, характеризовались большей маскулинностью, агрессивностью, и более эффективным геном рецепторов андрогенов [Бутовская. 2011; Бутовская, Карелин, Буркова. 2012; Butovskaya et al. 2015b].

### **Палеоантропологические реконструкции: в какой мере допустимо использовать данные о современных приматах и человеческих популяциях?**

Одним из краеугольных камней в палеобиологических исследованиях является моделирование социальной организации гоминин [Plavcan, Schaik]. Предсказания традиционно строятся с учетом морфологических показателей полового диморфизма, таких как размеры клыков или особенностей строения скелета (общих размеров, массивности костей, наличия гребней на черепе, ширине таза и пр.). Анализ данных по современным приматам указывает на однозначную зависимость: выраженный половой диморфизм по указанным показателям является надежным предсказателем полигинии, тогда как минимальный половой диморфизм или его отсутствие ассоциируется с моногамией [Plavcan]. Обобщение этой закономерности на ископаемых приматов и гоминин остается проблематичным по целому ряду причин: ввиду существенной редукции диморфизма клыков, малых размеров анализируемых ископаемых выборок (зачастую, характеристики таксона описаны по разрозненным в пространстве и времени находкам), фрагментарности останков, возможного наличия других (по сравнению с современными приматами) закономерностей во взаимосвязи морфологических показателей полового диморфизма и типа социальной организации [Nelson et al. 2011].

Низкий уровень диморфизма по размерам клыков и размерам тела дали основание К. Лавджою сделать вывод о моногамном образе жизни *Ardipithecus ramidus* [Lovejoy. 2009]. Более того, поскольку эта характеристика наличествовала уже у одного из самых ранних представителей гомининной линии, был сделан вывод, что формирование устойчивых пар могло являться краеугольным кам-

нем для дальнейшей эволюции человека. Однако исследования диморфизма лицевого отдела наряду с оценкой скорости созревания у ископаемых видов рода *Homo* несколько противоречат этой гипотезе. Исходя из этих показателей, существенный половой диморфизм наблюдался в некоторых популяциях *Homo erectus* и *Homo heidelbergensis* [Arsuaga et al. 1997; Ruff. 2010]. Как следует из анализа диморфизма по костным останкам, половой диморфизм, сопоставимый по уровню с современным человеком, фиксируется довольно поздно. Например, у *Homo floresiensis* и *Homo neandertalensis* [Brown, Maeda].

Реконструкция социальной организации и взаимоотношений между полами у ископаемых гоминин, остается одним из важнейших, но вместе с тем и наиболее дискуссионных вопросов эволюционной антропологии. Как показано выше, традиционно используемые в палеоантропологии признаки для определения различий между полами не достаточны, могут оказываться спорными или находиться в противоречии друг с другом. Этим определяется поиск дополнительных признаков полового диморфизма, использование которых повышало бы общую надежность палеоантропологической оценки.

В качестве одного из таких показателей ряд исследователей сегодня предлагает пальцевой индекс, соотношение длины второго к четвертому пальцу на руке (обзор по этой тематике см. [Бутовская и др. 2015]). Чаще всего правой. Предполагается, что этот показатель является маркером процессов пренатальной андрогенизации и эстрагенизации [Manning. 2002]. Ценность данного индекса состоит в том, что он практически не меняется с возрастом. В исследованиях по современным человекообразным обезьянам показано, что средний видовой пальцевой индекс отличается у моногамных видов (гibbonы) по сравнению с немоногамными (практикующими промискуитетные или полигинные отношения между полами) [Nelson et al. 2011]. У моногамных видов он достоверно выше.

Современный человек (обобщенные видовые данные) в этом табели о рангах попадает в промежуточную категорию, поскольку видовой пальцевый индекс у него выше, чем у немоногамных видов, но ниже, чем у моногамных (табл. 4). Напомним, что пальцевый индекс демонстрирует выраженные половые различия в пределах популяции (ниже у мужчин) [Бутовская, Веселовская, Прудникова. 2010; Manning. 2002; Butovskaya et al. 2010; 2015a]. Кроме того, индекс варьирует на популяционном уровне с учетом географического положения, а также преимущественной модели брачности (в полигинных популяциях ниже, чем в моногамных) [Бутовская, Буркова, Феденок. 2015; Manning. 2007]. Выше уже говорилось о половых различиях по индексу маскулинности лица

и также о тенденции к большим половым различиям в популяциях, практикующих полигинию, по сравнению с популяциями, ориентированными на моногамию.

Нельсон с соавторами провели измерение длин проксимальных фаланг на втором и четвертом пальцах по скелетным останкам ископаемых гоминин, имеющихся в музейных коллекциях. Они показали, что это соотношение достоверно коррелирует со значениями пальцевого индекса на примере современных человеческих популяций, а далее вычислили математически вероятность наличия в современной человеческой популяции, а также в популяциях ныне живущих человекообразных обезьян индивидов с пальцевыми индексами, полученными для ископаемых форм (табл. 4) [Nelson et al. 2011]. В соответствии с этими расчетами *Ardipithecus rumidus* практиковали полигинию, *Australopithecus afarensis* были моногамными. Авторы также полагают, что половой диморфизм у неандертальцев и анатомически современных людей указывает на сходство их социальной организации, а именно на большую конкурентность мужчин по сравнению с мужчинами в популяциях современного человека. То есть, представители рода *Homo*, в среднем и позднем плейстоцене были более промискуитетными, нежели большинство современных человеческих популяций. Нельсон с соавторами заключают также, что устойчивые парные связи, по типу современных, возникают в истории человечества только с появлением земледелия, т.е. достаточно поздно.

Таблица 4

Пальцевой индекс у современных человекообразных, человека и ископаемых гоминин (дано по: [Nelson et al. 2011])

Современные формы		<i>Homo sapiens</i>	<i>Hylobates lar</i>
2pp:4pp (n) 5–95% дов. инт.		0,957 (320) 0,923–0,995	1,009 (46) 0,992–1,028
Ископаемые формы	2pp:4pp		
Quafzeh (1)	0,935	В пределах вариации	0%
Neanderthals (5)	0,928	0,19%	0%
<i>Australopithecus</i> (1)	0,978	В пределах вариации	0%
<i>Ardipithecus</i> (1)	0,848	0,14	0%

Условные обозначения: 2pp:4pp – пальцевой индекс, вычисленный на основе измерений концевых фаланг; n = размеры выборки

## Изменение морфофизиологических показателей в группах древних охотников-собирателей

На примере древних гоминид видно, что в эпоху плейстоцена уровень маркеров физиологического стресса минимален и приближается к случайному распределению значений. Уже в эпоху среднего палеолита наблюдаются последствия сложного процесса адаптации к новым условиям среды. Неандертальцы демонстрируют специализацию в питании – у них распространяется преимущественная белковая диета. Приспособление к определенным условиям среды сказывается и в преобладании короткого жизненного цикла, характеризующегося ранним созреванием и ранним старением организма. Это население демонстрирует невысокий уровень фертильности (плодовитости), что на фоне малой продолжительности жизни также следует рассматривать как адаптацию к сложным средовым факторам [Бужилова. 2000].

Сравнительный анализ неандертальцев и ранних представителей *Homo sapiens* показал большую приспособленность последних к условиям среды, причем следует учитывать суровость климатических условий верхнего палеолита, особенно на его финальных этапах. Динамика изменения среды, наступление похолодания находит отражение в распределении патологических маркеров. Сравнительный анализ раннего и позднего верхнепалеолитического населения демонстрирует увеличение частоты встречаемости таких индикаторов, как кариес, эмалевая гипоплазия, линии Гарриса, периоститы [Бужилова. 2000]. По сравнению с неандертальцами у человека, особенно на поздних этапах верхнего палеолита, кариес становится

более распространенным явлением. В верхнем палеолите это болезнь взрослой части популяции, определяющая главным образом последствия более сахарозной и сложной, возможно, с примитивными консервантами, пищи. Следует подчеркнуть, что заболевание характерно преимущественно для представителей южных территорий Европы. Сравнительный анализ маркеров пищевого стресса и данных по реконструкции диеты химическими

<i>Pan troglodytes</i>	<i>Gorilla gorilla</i>	<i>Pongo pygmaeus</i>
0,909 (100) 0,858–0,947	0,919 (112) 0,873–0,949	0,908 (46) 0,878–0,940
В пределах вариации 1,59%	В пределах вариации В пределах вариации 0,95%	В пределах вариации 0,69%
0%		0%
В пределах вариации	В пределах вариации	В пределах вариации

методами позволил определить отсутствие «приоритетов» в диете верхнепалеолитического человека [Бужилова. 2005; Добровольская. 2005].

Следует отметить, что уровень физических нагрузок, который испытывал древний охотник и собиратель в эпоху верхнего палеолита, был не меньшим, чем мы определяем для популяций среднего палеолита. У отдельных индивидов, особенно мужчин, фиксируется высокая степень развития костного рельефа на костях как верхних, так и нижних конечностей. Отмечаются специфические комплексы маркеров механического стресса, которые разделяют различные половозрастные группы, что указывает на социальную и профессиональную дифференциацию в верхнепалеолитическом обществе [Бужилова, Медникова, Козловская].

Эпоха верхнего палеолита стала в определенном смысле переломной для человечества. Именно в это время появляется «долгожительский вариант» жизненного цикла, когда организм человека относительно дольше созревая, дольше стареет. Тем самым продолжительность жизни в среднем увеличивается [Бужилова. 2005].

Увеличение показателей физиологического стресса на финальных этапах позднего палеолита согласуется с закономерным уменьшением длины тела, и это в равной мере характерно и для мужской и для женской части популяций [Formicola, Giannecchini. 1999; Churchill et al. 2000]. По данным демографии средняя продолжительность жизни стабилизируется, но уменьшается уровень репродуктивности населения. Вероятно, человек в это время находился в состоянии «активной адаптации», которая приводила к победам и поражениям на уровне онтогенеза как конкретной личности, так и населения в целом.

Переходные модификации биологической адаптации человека к специализированной хозяйственно-культурной деятельности фиксируются уже на финальных стадиях мезолита. Так, вариации с характерным демографическим и палеопатологическим профилем можно проследить на примере позднемезолитического населения севера Русской равнины (Минино I, Вологодская обл.). Сопоставление данных археологии, археозоологии и физической антропологии отчетливо продемонстрировало, что население Минино – это в первую очередь группа охотников, промысловыми пищевыми видами для которых были наземные млекопитающие и отчасти рыба (на поздних этапах при переходе к неолиту).

Методы радиоуглеродного датирования, палинологии, так же как и оценка артефактов подтвердили, что население проживало в одном регионе на протяжении трех тысячелетий каменного века,

при этом природное окружение оставалось неизменным [*Бужилова, Суворов, Крылович*]. Данные физической антропологии показали, что люди из Минино не отличаются от синхронных групп севера равнины какими-то специфическими биологическими особенностями, и скорее всего отражают отдельные элементы единого антропологического субстрата региона.

Исследованная выборка демонстрирует незначительный процент встречаемости маркеров физиологического стресса, указывающих на преодоление острых лихорадочных заболеваний в детстве. Рентгенологический анализ, как и морфологический, позволили отметить свидетельства тяжелых физических нагрузок в условиях переохлаждения, причем тяжелые физические нагрузки в равной мере характерны для мужчин и женщин. Заметим, что биологическая оценка сезонности негативных факторов среды подтверждает особенности быта охотников (они не противоречат данным современной этнографии), что приближает археологическую реконструкцию к более или менее объективной аргументации собранных фактов.

На примере населения Минино по данным археологии можно убедиться в успешном владении разнообразными навыками и технологическими приемами в эпоху мезолита, получившими выражение, например, в изготовлении сложного убранства одежды в виде разнообразных костяных нашивок, предметах вооружения и орудиях охоты [*Макаров, Захаров, Суворов*]. Вызывает особенный интерес динамика изменения демографических параметров, изменение образа жизни и коррелирующая с этим специфика диеты, что, несомненно, отражает сложность процесса социальной адаптации населения в столь древние периоды. Важными, на наш взгляд, являются результаты сравнительного исследования уровня травматизма в эпоху мезолита на западе и востоке севера Европы. По сравнению с населением западных регионов у жителей восточных не фиксируются черепные травмы [*Бужилова. 2005*]. Это служит косвенным свидетельством меньшей плотности позднемезолитического населения на северо-востоке Восточной Европы. При анализе уровня травматизма в женских и мужских группах статистически достоверным оказывается число случаев травм в мужской выборке. Таким образом, уже в эпоху позднего мезолита намечается неравномерность биологического и социального развития популяций, которая адекватно согласуется со спецификой окружающей среды.

В период неолита на юге Восточной Европы в пределах одной археологической культуры (погребения мариупольского типа) намечается дифференциация хозяйственно-культурной деятельности, связанная с началом процесса специализации (земледелие

или животноводство) [Бужилова. 2005]. Подобную тенденцию мы отмечаем для популяций Западной Азии в переходный период от мезолита к неолиту.

### **Экология и пищевые стратегии**

Питание – важная сторона жизни человека. Предпосылки формирования особенностей диеты зависят не только и не столько от социальных табу или ритуалов общества, а определяются в первую очередь экологическими причинами. Дальнейшее развитие «социальной оболочки», выраженное в виде традиций питания и ритуальных действий в момент получения пищи, лишь в последствие сложной культурной адаптации человека к особенностям пищевых ресурсов. Таким образом, в определенных экологических нишах природные ресурсы обуславливают своеобразие питания населения. Несомненно, изменение и/или исчезновение тех или иных пищевых источников заставляют человека переориентироваться к новым или добавочным вариантам пищевой продукции. Эти особенности формируют своеобразие поведения и пищевой адаптации человека. Даже на примере охотников-собирателей можно уловить динамику изменения традиций и формирование разных вариантов диет.

Среди обследованных индивидов в мезолитической выборке Менино практически нет зубных патологий за исключением незначительного зубного камня в молодом возрасте, который указывает на специфическое питание населения. Это могла быть вязкая пища с низким уровнем кислотности, возможно белкового происхождения. Особенности подобного рода диеты характерны, например, для эскимосов, практикующих высокопротеиновое питание. На основании результатов исследования микроэлементного состава костной ткани были получены исчерпывающие доказательства белковой диеты у населения Менино [Добровольская].

Методом главных компонент (оценка близости) проведен сравнительный анализ микроэлементного состава, основанный на индивидуальных данных по сериям Менино и Попово, полученных М.В. Добровольской [Добровольская] при оценке распределения микроэлементов меди, цинка и стронция, с учетом палеолитической группы Сунгирь. В результате обнаружено два устойчивых варианта диеты. Первый – близок типу питания сунгирского мужчины (Сунгирь 1). Разнообразные методические подходы показали, что это тип со значительным преобладанием мяса наземных животных и с относительно незначительными включениями растительной пищи [Козловская. 2000]. К этому



варианту диеты тяготеют индивиды из Минино (погр. 19, инд. 3 и погр. 15) и синхронного рядом расположенного Попово (погр. 6 и 9). Другой вариант питания с преобладанием мяса наземных животных, но в меньших, чем для первого типа количествах и относительно чуть большей, чем в первом варианте доли растительной пищи, характерен для девочки из Сунгирия (Сунгирь 3) [Козловская. 2000, 2003]. К этому типу диеты тяготеют индивиды из Минино (погр. 3, 5, 16, 19 (инд. 2) и чуть меньше погр. 11 и 13). Заметим, что выделенные группы не коррелируют с хронологической атрибутикой погребенных, так же как и с географией погребальных комплексов. Подчеркнем, что в целом, как население Минино, так и Попово, – это люди, предпочитавшие мясо наземных животных.

Дополнительное исследование, включившее практически всех индивидов серии и основанное на реконструкции диеты методом изотопного анализа азота и углерода, показало, что к началу неолита население активно использует в питании рыбу [Wood et al.]. Как и по результатам микроэлементного анализа, у населения Минино отмечается два устойчивых варианта диеты, но в дополнение вычленяется еще и тенденция к употреблению речной рыбы, причем эта тенденция отчетлива только для населения завершающих хронологических этапов. Последнее обстоятельство зафиксировано благодаря не более обширным возможностям этого метода, а из-за того, что в анализе изотопов использованы практически все индивиды серии, в то время как при анализе микроэлементов менее 2/3 группы.

Таким образом, в результате применения методов палеопатологии, изотопного и микроэлементного анализа состава костной ткани удалось реконструировать тип диеты населения, проживавшего в одном регионе на протяжении трех тысячелетий от мезолита до начала неолита. Важно подчеркнуть, что нет разницы в диете мужчин и женщин, взрослых и детей. Оценка характера диеты показала динамику перехода от питания с преобладанием белков наземных животных к пище с преобладанием белков пресноводных рыб. Этот переход с учетом данных археозоологии и палинологии проходил в условиях неизменной окружающей среды, а значит и климата. Оказалось, что население, сменив образ жизни и перейдя к полуседлости, меняет и характер питания.

#### ЛИТЕРАТУРА

Алексеев В.П. Экология человека: Предмет, границы, структура, функции // Предмет экологии человека. Часть I. М.: Научный совет АН СССР по проблемам биосферы, 1991. С. 142–193.

Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. М., 1977.  
Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в популяциях человека. М., 1986.

Алексеева Т.И., Козловская М.В., Федосова В.Н. Опыт экологической реконструкции (На примере хантов) // Палеоантропология и археология Западной и Южной Сибири / Под ред. В.П. Алексеева. Новосибирск: Наука, 1988. С.83–105.

Бужилова А.П. Палеопатологические аспекты адаптации человека верхнего палеолита // *Homo sungirensis*. Эволюционные и экологические аспекты исследования человека верхнего палеолита / Под ред. Т.И. Алексеевой, Н.О. Бадера. М., 2000. С. 397–410.

Бужилова А.П. *Homo sapiens*. История болезни. М., 2005.

Бужилова А.П., Медникова М.Б., Козловская М.В. Стратегия выживания верхнепалеолитического человека на примере обитателей сунгирской стоянки // *Homo sungirensis*. Эволюционные и экологические аспекты исследования человека верхнего палеолита / Под ред. Т.И. Алексеевой, Н.О. Бадера. М., 2000. С. 421–428.

Бужилова А.П., Суворов А.В., Крылович О.А. К вопросу о реконструкции образа жизни населения поздних эпох каменного века (По материалам археологического комплекса Минино на Кубенском озере) // КСИА. 2008. N 222. С. 1–18.

Бутовская М.Л. Биосоциальные предпосылки социально-политической альтернативности // Цивилизационные модели политогенеза / Под ред. Бондренко Д.М., Коротаева А.В. Москва, 2002. С. 39–64. (Сер. «Цивилизационное измерение»).

Бутовская М.Л. Репродуктивный успех и экономический статус у дагога – полуседлых скотоводов Северной Танзании // Этнографическое обозрение. 2011. № 4. С. 85–99.

Бутовская М.Л. Антропология пола. Фрязино, 2013.

Бутовская М.Л., Буркова В.Н. Антропология социальных перемен / Под ред. Э.Б. Гучиновой, Г.А. Комаровой Социальный статус и репродуктивный успех в обществе хадза – охотников-собирателей Танзании. М., 2011. С. 365–386.

Бутовская М.Л., Буркова В.Н., Феденок Ю.Н. Пальцевой индекс как индикатор пренатальной андрогенизации и его связь с морфологическими характеристиками человека // Этнографическое обозрение. 2015. № 2. С. 99–116.

Бутовская М.Л., Веселовская Е.В., Година Е.З. и др. Морфо-функциональные и личностные характеристики мужчин спортсменов как модель адаптивных комплексов в палеореконструкциях // Вестник Московского университета. Сер. XXIII. Антропология. 2011. № 2. С. 4–17.

Бутовская М.Л., Веселовская Е.В., Прудникова А. С. Модели био-социальной адаптации человека и их реализация в условиях индустриального общества // Археология, этнография и антропология Евразии. 2010. № 4. С. 143–154.

Бутовская М.Л., Карелин Д.В., Буркова В.Н. Традиционные скотоводы Восточной Африки сегодня: Репродуктивный успех, плодовитость,

- детская смертность и благосостояние датога Северной Танзании // Вестник Московского университета. 2012. № 4. С. 70–83.
- Бутовская М.Л., Постникова Е.А., Веселовская Е.В. и др. Пальцевой индекс, маскулинность лица и флуктуирующая асимметрия как маркеры полового отбора в традиционных африканских популяциях хадза и датога // Вестник Московского университета. Сер. XXIII. Антропология. 2014. № 2. С. 18–28.
- Бутовская М.Л., Файнберг Л.А. У истоков человеческого общества. М.: Наука, 1993.
- Добровольская М.В. Человек и его пища. М., 2005.
- Козловская М.В. Результаты химического анализа костной ткани подростков Сунгирь 2 и Сунгирь 3 // *Homo sungsirensis*. Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследования. М., 2000. С. 299–301.
- Козловская М.В. Питание мезолитического населения севера европейской части России: Природные и культурные традиции // Контактные зоны Евразии на рубеже эпох. Самара, 2003. С. 51–52.
- Лисицын Ю.П. Современные теории медицины. М.: Наука, 1968. С. 7.
- Макаров Н.А., Захаров С.Д., Суворов А.В. От мезолита до раннего железного века // Взгляд сквозь тысячелетия (Шесть лет исследования Мининского археологического комплекса). Вологда, 2001.
- Медникова М.Б. Древние скотоводы Южной Сибири: Палеоэкологическая реконструкция по данным палеоантропологии. М.: ИА РАН, 1995.
- Преображенский В.С., Райх Е.Л. Контуры концепции общей экологии человека (Материалы к дискуссии) // Предмет экологии человека. Часть I. М.: Научный совет АН СССР по проблемам биосферы, 1991. С. 102–127.
- Просикова Е.А., Бутовская М.Л., Веселовская Е.В. Пропорции лица и особенности поведения у лиц юношеского возраста // Вестник Московского университета. Сер. 23. Антропология. 2015. № 3. С. 59–70.
- Alexander J., Stimson W.H. Sex hormones and the course of parasitic infection // *Parasitology Today*. 1988. N 4. P. 189–193.
- Asuaga J.L., Carretero J.M., Lorenzo C. et al. Size variation in Middle Pleistocene humans // *Science*. 1997. N 277. P. 1086–1088.
- Brown P., Maeda T. Liang Bua *Homo floresiensis* mandibles and mandibular teeth: A contribution to the comparative morphology of a new hominin species // *Journal of Human Evolution*. 2009. N 57(5). P. 571–596.
- Butovskaya M., Burkova V., Mabulla A. Sex Differences in 2D:4D Ratio, Aggression and Conflict Resolution in African children and adolescents: A Cross-Cultural Study // *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*. 2010. N 1. P. 17–31.
- Butovskaya M., Korotaev A., Kazankov A. Variabilite des relations sociales chez les primates humains et non humains: Recherché d'un paradigm general // *Primatologie*. 2000. N 3. P. 319–363.
- Butovskaya M., Burkova V., Karelin D., Fink B. Digit ratio (2D: 4D), aggression, and dominance in the Hadza and the Datoga of Tanzania // *American Journal of Human Biology*. 2015a. N 27. P. 620–627.

*Butovskaya M.L., Lazebny O.E., Vasilyev V.A.* et al. Androgen Receptor Gene Polymorphism, Aggression, and Reproduction in Tanzanian Foragers and Pastoralists// PLOS ONE. 2015b. 10(8), e0136208.

*Churchill S., Formicola V., Holliday T.* et al. The upper Palaeolithic population of Europe in an evolutionary perspective// Hunters of the Golden Age. The Mid Upper Palaeolithic of Eurasia 30 000–20 000 BP. Leiden, 2000. P. 31–58.

*Crewther B., Cook C., Kilduff L., Manning J.* Digit ratio (2D:4D) and salivary testosterone, oestradiol and cortisol levels under challenge: Evidence for prenatal effects on adult endocrine responses // Early Human Development. 2015. N 91(8). P. 451–456.

*Fink B., Grammer K., Mitteroecker P.* et al. Second to fourth digit ratio and face shape// Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences. 2005. Vol. 272 (1576). P. 1995–2001.

*Fink B., Penton-Voak I.S.* Evolutionary psychology of facial attractiveness // Current Directions in Psychological Science. 2002. N. 11. P. 154–158.

*Formicola V., Giannecchini M.* Evolutionary trends of stature in Upper Paleolithic and Mesolithic Europe// Journal of Human Evolution. 1999. N 36. P. 319–333.

*Lefevre C.E., Lewis G.J., Perrett D.I., Penke L.* Telling Facial metrics: facial width is associated with testosterone levels in men // Evolution and Human Behavior. 2013. Vol. 34 (4). P. 273–279.

*Little A.C., Jones B.C., Penton-Voak I.S.* et al. Partnership status and the temporal context of relationships influence human female preferences for sexual dimorphism in male face shape // Proceedings of the Royal Society London. Series B. 2002. Vol. 269. P. 1095–1100.

*Little A.C., Jones B.C., Waait C.* et al. Symmetry Is Related to Sexual Dimorphism in Faces: Data Across Culture and Species // PLOS ONE. 2008. 3 (5): e2106. doi:10.1371/journal.pone.0002106.

*Lovejoy C.O.* Reexamining human origins in light of *Ardipithecus ramidus* // Science. 2009. 326 (5949): 74–74e8.

*Maindl K., Windhager S., Wallner B., Schaefer K.* Second-to-fourth digit ratio and facial shape in boys: the lower the digit ratio, the more robust the face // Proc. R. Soc. B. Vol. 2012. N 279. P. 2457–2463.

*Manning J. T.* Digit ratio: A pointer to fertility, behavior, and health. Rutgers University Press, 2002.

*Manning J.T.* The finger book. London, UK: Faber and Faber, 2007.

*Manning J.T., Barley L., Walton J.* et al. The 2nd:4th digit ratio, sexual dimorphism, population differences, and reproductive success: Evidence for sexually antagonistic genes? // Evolution and Human Behavior. 2000. N 21(3). P. 163–183.

*Nelson E., Rolian C., Cashmore L., Shultz S.* Digit ratios predict polygyny in early apes, *Ardipithecus*, Neanderthals and early modern humans but not in *Australopithecus*// Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 2011, N 278(1711). P. 1556–1563.

*Nelson E., Shultz S.* Finger length ratios (2D:4D) in anthropoids implicate reduced prenatal androgens in social bonding // *American Journal of Physical Anthropology*. 2010. N 141(3). P. 395–405.

*Plavcan J.M.* Sexual selection, measures of sexual selection, and sexual dimorphism in primates // *Sexual selection in primates: New and comparative perspectives*, 2004.

*Plavcan J.M., van Schaik C.P.* Intrasexual competition and canine dimorphism in anthropoid primates // *American Journal of Physical Anthropology*. 1992. N 87(4). P. 461–477.

*Rhodes G., Chan J., Zebrowitz L.A., Simmons L.W.* Does sexual dimorphism in human faces signal health // *Proceedings of the Royal Society of London B*. 2003. N 270. P. 93–95.

*Ruff C.* Body size and body shape in early hominins—implications of the Gona pelvis // *Journal of Human Evolution*. 2010. N 58(2). P. 166–178.

*Wood R., Higham T., Buzhilova A.* et al. Freshwater Radiocarbon Reservoir Effects at the Burial Ground of Minino, Northwest Russia // *Radiocarbon*. 2013. N 55 (1). P. 163–177.

# МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ (ОПЫТ РГГУ)

*Е.И. Пивовар*

Российский государственный гуманитарный университет находится буквально «на пороге» своего 25-летия. Конечно, для университета это очень небольшой срок, но если учитывать его «корни» – Историко-архивный институт, которому уже 85 лет, а также больше 100 лет со дня открытия в наших стенах на Миуссах Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского можно уже переходить к некоторым предварительным итогам. И, пожалуй, один из главных из них, с точки зрения формирования, развития и современного состояния РГГУ, – это как раз междисциплинарность образовательных программ и гуманитарных научных исследований, присущих и развитию МГИАИ, и РГГУ.

Итак, Московский государственный историко-архивный институт, основанный 3 сентября 1930 г., замечу, кстати, почти на четыре года раньше, чем мой родной исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, с самых первых своих шагов и вплоть до марта 1991 г., когда на его базе был создан Российский государственный гуманитарный университет, развивался как проект междисциплинарного образования и знания. В этом легко убедиться, если обратиться к образовательным программам МГИАИ (рис. 1).

Как видно из приведенных программ высшего образования МГИАИ – все они междисциплинарны, в то время как на гуманитарных факультетах классических и педагогических университетов страны того времени преобладала подготовка по отдельным областям знаний – истории, филологии и т.п.

На рис. 2 представлен характер междисциплинарных связей образовательных программ по архивоведению и документоведению, также подтверждающих междисциплинарность этих областей гуманитарного знания, их прикладной характер и практико-ориентированность. Причем они, бесспорно, «взаимодействуют» как с фундаментальными историческими науками (историей, археологией, этнологией), так и с целым рядом общих (например, источниковедение) или специальных исторических дисциплин (палеография, археография, дипломатика, нумизматика и др.), а также с другими не историческими научными областями, включая право, информатику, управление и т.п.



Специальности\*  
МГИАИ –  
Московского государственного  
историко-архивного института

\*До преобразования в РГГУ

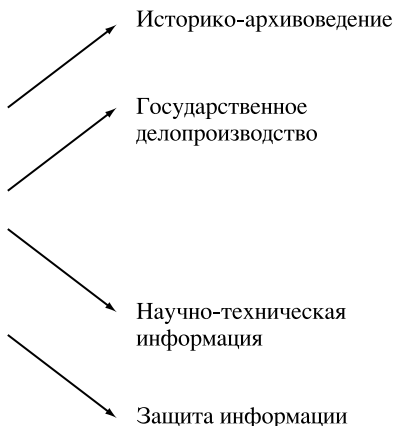


Рис. 1. Образовательные программы в МГИАИ

Та же линия междисциплинарного развития была присуща РГГУ с первых шагов нового гуманитарного университета, который первым в новой России стал именоваться и российским, и гуманитарным. Это произошло 27 марта 1991 г. Новый университет по замыслу его основателей должен был способствовать решению трех взаимосвязанных задач – сохранению и развитию лучших достижений отечественного гуманитарного знания и образования как дореволюционной, так и советской эпох; широкому и активному включению в практику российской высшей школы достижений эмигрантской российской гуманитаристики; использованию мирового опыта гуманитарного знания и образования, от которого российская высшая школа была искусственно отторгнута многие десятилетия. А международный опыт развития гуманитарного образования как раз демонстрирует преобладание именно междисциплинарных образовательных программ.

Так или иначе, РГГУ стал развиваться как проект сочетания и синтеза как предметных подходов в образовании, так и междисциплинарных направлений. Об этом свидетельствует и представленный на рис. 3 ряд структурных подразделений РГГУ, сложившихся и функционирующих в университете сегодня. Нетрудно заметить, что все подразделения РГГУ даже по названиям предметных областей своих образовательных программ и научных исследований демонстрируют высокую степень междисциплинарности и мегадисциплинарности. К примеру, факультеты Историко-архивного института реализуют междисциплинарные программы по документоведению



Рис. 2. Междисциплинарные связи образовательных программ





Рис. 3. Структурные подразделения РГГУ

и архивоведению, технотронным архивам и документам, историко-политологической проблематике, современному Востоку и многие другие, как на уровне бакалавриата, так и в магистратуре.

В ИАИ реализуется и целый ряд уникальных междисциплинарных направлений на стыке истории, культурологи, искусствоведения и литературоведения.

Это относится, например, к проблематике региональной истории, регионоведения и краеведения. Реализуются образовательные курсы, не имеющие аналогов, как, например, «история государственных учреждений и общественных организаций», что является важнейшим элементом в подготовке архивистов. Вот некоторые направления междисциплинарной подготовки магистратуры ИАИ РГГУ:

- История и новые технологии (Россия–Франция);
- Историческая компаративистика и транзитология (Россия–Польша);
- Историческая информатика: методы и технологии исторического исследования;
- Управление документацией и документальным наследием в условиях российских модернизаций;
- Историко-документальное наследие: управление, сохранение, использование и новые технологии (Россия–Болгария).

Существуют различные варианты и стратегии междисциплинарности: первая версия – от простого пересечения учебных курсов до сквозной методологии, пронизывающей не только содержание образовательных программ, но и всю композицию образовательных модулей. Такой методологией стала компаративистика, широко представленная в образовательной и исследовательской практике Института истории и филологии РГГУ. Проблематика междисциплинарности появилась во взаимодействии истории и филологии (лингвистики и литературоведения).

Постепенно образовательные программы историков и филологов выстроились в опоре на компаративный метод.

С одной стороны, компаративистика инвариантного типа, когда в различных объектах, которые сопоставляются, обнаруживаются общие инвариантные элементы, а с другой стороны, оформилась компаративистика, опирающаяся на априорную теоретическую модель, которая становится метаязыком исследования, например, магистерская программа «История идей и интеллектуальной культуры» по направлению «История», которая разработана на кафедре теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории РГГУ под руководством зав. кафедрой, чл.-корр. РАН, доктора исторических наук, профессора Л.П. Репиной. В основу программы положена оригинальная междисциплинарная концепция интеллектуальной истории как истории исторической культуры.

Интересным примером реализации принципов междисциплинарности является бакалаврская программа «История театра и кино, театральная и кинокритика» по направлению «Искусства и гуманитарные науки». Само название данного направления предполагает междисциплинарный подход к изучению вопросов культуры и искусства.

Гуманитарная наука конца XX в. осознает междисциплинарность не только как описательный метод, а позволяет соединить в единое целое методы исследования истории, филологии, искусствоведения, антропологии и других академических дисциплин.

В университетах возникают программы по гуманитарному сопровождению естественно-научных исследований. Если говорить о перспективах, то нам видится возможность превратить наш гуманитарный университет в ресурсный центр «эпистемологического трансфера» не только различных гуманитарных наук, но и областей естественно-научного цикла.

Принцип междисциплинарных связей как базовый принцип современного гуманитарного образования составил, можно сказать,



Рис. 4. Работы Института филологии и истории РГГУ

концептуальную основу историко-филологического факультета, созданного Галиной Андреевной Белой и выросшего впоследствии в Институт филологии и истории РГГУ.

Студенты филологических отделений Института расширенно и углубленно изучают историю той страны, литературу, язык, культуру которой они осваивают профессионально. И напротив, студенты исторического отделения основательно знакомятся с литературой страны изучения. Немалое значение приобретает само общение студентов этих двух специальностей в рамках единого факультета – в учебных аудиториях, на научных мероприятиях, в повседневной студенческой жизни.

Историческая поэтика до известной степени может считаться «визитной карточкой» филологического образования в ИФИ. Курс исторической поэтики все еще не читается в других университетах России, а за рубежом отечественная научная школа исторической поэтики практически не известна. При этом значимость исторической поэтики для отечественной гуманитарной мысли носит явственно междисциплинарный характер. Создатель исторической поэтики Александр Николаевич Веселовский явился одновременно основателем отечественной компаративистики, предложив метод «параллельных исторических рядов» в качестве компаративного метода. По данной теме вышли работы А. Веселовского

(«Избранное: Историческая поэтика»), И. Шайтанова («Компаративистика и/или поэтика») и др.

Один из примеров эффективной реализации междисциплинарности в образовательной практике и научных исследованиях РГГУ является деятельность Института восточных культур и античности.

Само по себе востоковедение – междисциплинарное направление на стыке истории, филологии, этнографии, археологии, лингвистики и др.

Назовем лишь несколько приоритетных проектов ИВКА РГГУ последних лет.

1. В 2010 г. был инициирован проект исследования языка и фольклора жителей о. Сокотра, Аденский залив, Йемен.

2. Исследования в области ассириологии и древневосточной филологии: и как результат, новые комментированные переводы древневосточных текстов, включая и библейские тексты.

3. Китайско-санскритский проект «Индия и Китай – взаимодействие в буддизме».

4. Реконструкция древнейшей истории человечества – методами и достижениями археологии, этнографии, сравнительной фольклористики, а в последнее время и генетики.

Первый том «Корпуса сокотрийского фольклора» вышел из печати в 2014 г. Ключевым практическим достижением ученых РГГУ совместно с Институтом востоковедения РАН стала разработка системы письменности для сокострийцев на базе арабской графики.

Лингвисты сектора компаративистики ИВКА принимают участие в проектах по сравнительной генетике народов Евразии (авторы А.В. Дыбо, А.С. Касьян и др.).

Созданный в РГГУ в 1992 г. Институт высших гуманитарных исследований также с самых первых своих шагов развивался как междисциплинарное научно-учебное подразделение университета. Среди работ его сотрудников монографии, статьи, коллективные работы проводятся научные сессии и круглые столы посвященные проблемам на стыке истории, филологии, культурологии, философии, лингвистики и др. Несколько работ последних лет сотрудников ИВГИ Н.С. Автономовой, О.Б. Вайнштейн, Н.В. Брагинской подтверждают это.

Конечно, перечень структур РГГУ, в центре внимания которых находится именно междисциплинарная проблематика, можно продолжать. Среди них – Центр когнитивных программ и технологий, в фокусе его проблематики исследования и образовательные программы на стыке лингвистики, информатики и психологии;

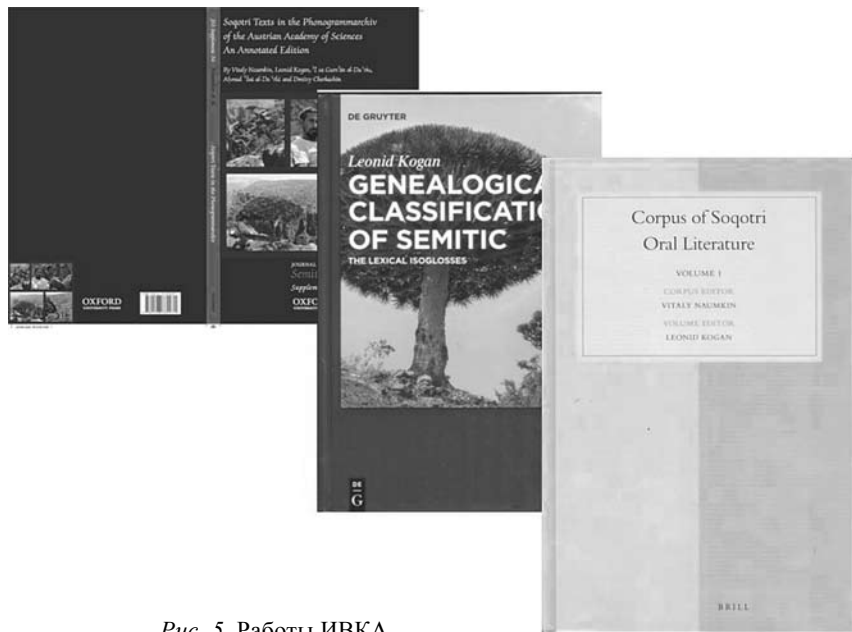


Рис. 5. Работы ИВКА

Отделения искусственного интеллекта, сотрудники которого применяют логико-комбинаторские методы для интеллектуального анализа социологических и исторических данных, где для решения определенных задач был применен ДСМ-метод автоматического порождения гипотез.

Осмысленность применения ДСМ-метода для решения задач в слабо формализованных областях определяется его двумя составляющими – логической и комбинаторной. Логическая составляющая имитирует правдоподобные рассуждения исследователя (индукцию, аналогию и абдукцию), а комбинаторная позволяет перебрать варианты, охватить которые человеческая память и человеческий глаз не в состоянии без помощи компьютера.

Для проверки возможности применения ДСМ-метода в истории были выбраны задачи атрибуции, в качестве свойств – элементы атрибуции (авторство, время создания, принадлежность к группе документов).

Для проверки возможности применения ДСМ-метода к задачам атрибуции была выбрана задача датировки берестяных грамот с помощью палеографического метода.

В качестве грамот с неизвестной датировкой, предложенных на прогноз с помощью ДСМ-метода были взяты 12 грамот, которые были представлены как недатированные.

Полученные в результате эксперимента датировки сравнивались с палеографическими датировками соответствующих грамот, данными академиками А.А. Зализняком и В.Л. Яниным. Результаты оказались сопоставимы с результатами, полученными палеографическим методом.

ДСМ-метод может быть применен и для задачи определения авторства по почерку. Это так называемая идентификационная задача почерковедческой экспертизы, когда требуется определить, кем из предполагаемых исполнителей, образцы почерков которых имеются, выполнена анонимная рукопись. Очевидно, что решение этой задачи может быть полезно и в исторических исследованиях, например, для определения автора рукописи. По сути – это тоже задача атрибуции, и ее решение требует привлечения почерковедческих знаний.

Приводя несколько примеров образовательной и исследовательской практики ряда структурных подразделений РГГУ, мы, разумеется, не можем охарактеризовать все направления междисциплинарных программ, успешно реализуемые в Университете, поскольку это характерно практически для подавляющего большинства наших программ и это касается всех факультетов и институтов РГГУ, а также многочисленных международных центров (рис. 6). В их тематику включены программы по страноведению, компаративистике, международным отношениям, культуре целого ряда стран и регионов мира, реализуемые как международные.

Таким образом, в настоящее время Российский государственный гуманитарный университет развивается как ресурсный центр междисциплинарных гуманитарных образовательных программ и исследований. Эти программы и научные исследования реализуются внутри отдельных гуманитарных и социальных наук, а также в так называемых пограничных полях, формирующихся на стыке различных гуманитарных областей знания, на стыке гуманитарных и естественных наук, или на стыке многих областей различного профиля, создавая тем самым новую область научной практики. Так, например, случилось в сфере когнитивных наук и технологий.

С другой стороны, современная информационная революция создает принципиально новые условия развития гуманитаристики, связанные, прежде всего, с Интернетом, электронным документооборотом (электронное архивоведение, электронная археография и т.п.).

XXI век очень часто называют гуманитарным веком, имея в виду не только громадные, имеющие далеко идущие последствия достижения в области лингвистики, психологии, социальной

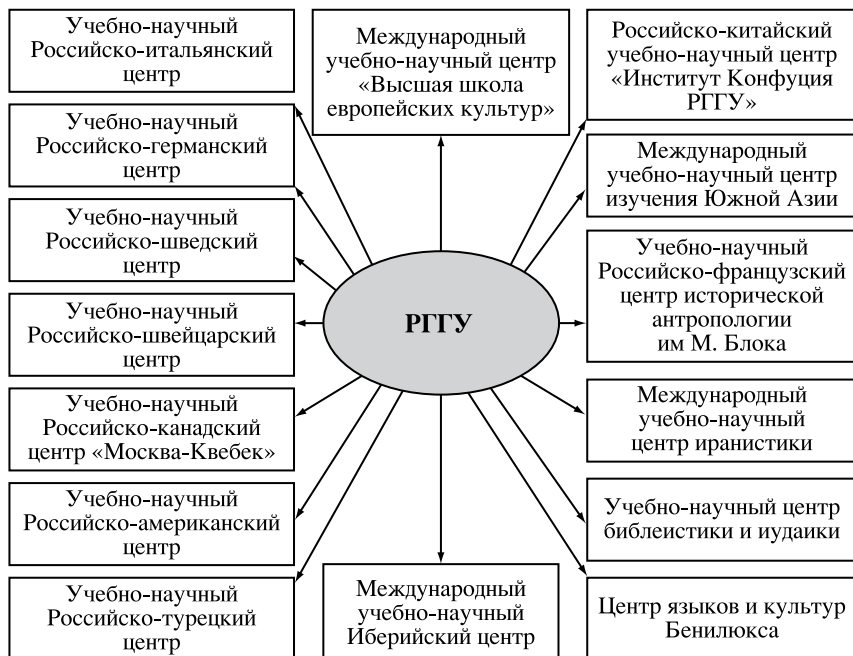


Рис. 6. Международные центры РГГУ

антропологии и т.п., но и то обстоятельство, что естественно-научные области знания, изучающие живую природу, все чаще обращаются в своих исследованиях к общественным институтам, исследуя гуманитарные аспекты жизнедеятельности, а также и потому, что естественно-научное знание все активнее пытается использовать достижения гуманитариев для решения своих задач. Это проявляется, например, в работах современных генетиков, обращающихся к результатам исследования археологов, этнологов и лингвистов. Синтез и междисциплинарность в различных областях науки – веление времени. В этих условиях опыт РГГУ в развитии междисциплинарных исследований и образовательной практики имеет большое научное значение.

## О ПЕРСПЕКТИВАХ СОВРЕМЕННОЙ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

*В.А. Плунгян*

Корпусная лингвистика (связанная с созданием и использованием электронных текстовых корпусов) – одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся областей современной лингвистики, находящаяся на стыке изучения языка и передовых информационных технологий.

Обычно под корпусом понимают собрание текстов на некотором языке (или языках, если речь идет о многоязычных корпусах), представленное в электронной форме и, как правило, неслучайным образом отобранное и обработанное. Обработка текстов в корпусе (называемая разметкой или аннотацией) заключается в приписывании элементам текста (прежде всего словам и предложениям, а также целым текстам) различных атрибутов, отражающих их релевантные лингвистические и металингвистические характеристики (например, для слова – его грамматическая структура и морфемный состав, для текста – автор и дата создания и т.п.). Разметка корпусов осуществляется как автоматически, с помощью специальных программ автоматической обработки текста, так и вручную, т.е. исследователем-человеком (возможно, с использованием каких-то вспомогательных технических инструментов). В современной корпусной лингвистике, с ее гигантским объемом обрабатываемых массивов текстов, особое внимание уделяется созданию программ автоматического лингвистического анализа (многие из которых тестируются именно на корпусном материале); в этом отношении связь между корпусной лингвистикой и современной компьютерной лингвистикой (занимающейся информационными технологиями и компьютерной обработкой текстов на естественном языке) оказывается особенно тесной, а их взаимодействие и взаимовлияние – очень интенсивным. Вместе с тем доля человеческого участия в разметке корпусов, пусть и менее значительная количественно, остается существенной, так как наиболее сложные и инновационные виды разметки, представляющие особую эвристическую ценность, в современных корпусах продолжают выполняться вручную.

Соответственно, в современной корпусной лингвистике выделяется несколько направлений. С одной стороны, это направления, связанные с проблемами составления корпусов, т.е., как уже было сказано, прежде всего с проблемами отбора текстов для корпуса



и с проблемами их аннотации. Корректный выбор текстов должен обеспечивать так называемую представительность корпуса (тексты, включенные в корпус, должны отражать все существенные характеристики текстов на данном языке) и его сбалансированность (показатель, характеризующий долю текстов разных типов, жанров и т.п. в корпусе); разумеется, состав корпуса в очень сильной степени зависит и от тех исследовательских задач, для решения которых корпус составляется. Наиболее крупные «универсальные» корпуса – т.е. такие, которые в идеале должны быть пригодны для максимально широкого круга исследований данного языка – обычно называются национальными корпусами (вслед за первым корпусом такого типа – British National Corpus, созданным в 1991–1994 гг. для исследования британского варианта английского языка). Из корпусов славянских языков первым и наиболее тщательно составленным был Чешский национальный корпус (развивается с 1991 г.), сыгравший большую роль в европейской корпусной лингвистике. Национальный корпус русского языка (созданный в рамках ряда специальных программ РАН в сотрудничестве с программистами компании «Яндекс») был открыт для свободного доступа в 2004 г.; в настоящее время существует и ряд других корпусов русского языка, решающих разные задачи. Важную роль в современной корпусной лингвистике играют также корпуса японского, финского, польского и ряда других языков. В нашей стране в настоящее время ведется работа – во многом на базе корпуса русского языка – по созданию корпусов языков народов России и сопредельных стран, как крупных письменных языков (таких как татарский, калмыцкий, осетинский, армянский), так и «малых», в том числе бесписьменных и исчезающих языков народов Крайнего Севера, Сибири, Кавказа. В этом аспекте корпусная лингвистика тесно смыкается с полевой лингвистикой и документацией языков (особенно находящихся на грани исчезновения).

Другое направление современной корпусной лингвистики связано уже не с созданием корпусов, а с их использованием для исследований языка. Оно включает и работы в области расширения прикладных возможностей корпусов как таковых, и работы, в которых корпусные методы служат для решения традиционных и новых задач теоретической и описательной лингвистики. Конечно, наиболее примечательным обстоятельством является то, что корпусные технологии не только многократно повышают возможности традиционных исследований языка (обеспечивая мгновенный доступ к массивам из сотен миллионов слов и квалифицированный поиск любого количества примеров с заданными свойствами), но

и создают возможности для постановки принципиально новых задач – особенно связанных с количественными исследованиями языка как в синхронном, так и в диахроническом плане. В частности, именно с помощью корпусов удастся наиболее эффективно проследить тонкие и трудноуловимые аспекты постепенных изменений грамматики и лексики, происходящих на протяжении нескольких столетий последовательной письменной фиксации языка. Фактически сейчас на повестку дня поставлено создание описательных грамматик нового типа, которые можно назвать корпусно-ориентированными (англ. corpus-based) или просто корпусными. Корпусные грамматики английского языка уже давно перестали быть экзотикой; эта тенденция становится все более заметной и в исследованиях других крупных языков мира. В настоящее время в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН начата работа по созданию корпусной грамматики русского языка, призванной продолжить, в соответствии с сегодняшним уровнем развития теоретической лингвистики, традицию «академических» грамматик русского языка, созданных в середине XX в.

Важно подчеркнуть, что современные корпуса – это не просто мощный и удобный инструмент для хранения и анализа языковых данных, но и составная часть современных теорий языка. Само существование корпусов с их небывалыми техническими возможностями доступа к текстам и обработки текстовых данных не могло не произвести существенных изменений во взглядах на природу языка, задачи лингвистической теории и методы описания языка. Не случайно в среде некоторых теоретиков на заре возникновения корпусов возникла оппозиция корпусным методам как слишком радикально противостоящим традиционной интроспекции исследователя и «интуиции» носителя языка. Не случайно и сам Хомский несколько раз объявлял о неприятии «корпусной лингвистики» как особой дисциплины, притязающей на особую методологию: с точки зрения Хомского (правда, в радикальной форме не поддержанной многими современными генеративистами, достаточно активно использующими корпусные методы), врожденная компетенция носителя языка не нуждается в верификации на материале корпуса, ибо каждый носитель языка (и тем более носитель-лингвист) обладает более полными знаниями о структуре языка, чем самый большой корпус. Похожие возражения выдвигались и представителями совсем других теоретических школ, но также предпочитавших опираться на субъективные суждения о языковой правильности и норме. Напротив, современная функциональная лингвистика с самого начала приветствовала появление корпусов и активно способствовала внедрению корпусных методов.

Этот теоретический спор сам по себе очень интересен и показателен с точки зрения исследовательских приоритетов науки о человеческом языке. Появление корпусов явилось в этом споре весомым аргументом для тех, кто изначально был склонен придавать тексту больший вес, чем системе правил, по которым этот текст построен. Теоретическая лингвистика XX в. (как структурная, так и генеративная) в основном была «системоцентрична», тексты для нее были лишь средством (если не сказать – досадным препятствием) для скорейшего проникновения в Эльдorado общих закономерностей и «универсальной грамматики». Когда маятник качнулся в другую сторону (как это обычно и бывает в развитии науки), появление корпусов оказалось очень своевременным событием.

Однако потенциал корпусных методов был оценен теоретической лингвистикой не сразу. Напомним, что первые корпуса появились еще в 1960-е годы (с появлением первых компьютеров), но тогда их объем был невелик, они казались забавной игрушкой специалистов по статистике и сугубо прикладным инструментом, годным разве что для создания частотного словаря. Понадобился как существенный прогресс компьютерных технологий, так и внутренняя готовность теоретиков языка к отказу от интроспекции как главного или единственного метода исследования языка, чтобы корпуса стали восприниматься как необходимый инструмент и для теоретических, и для описательных исследований языка. Это произошло в основном в 1990-е годы, когда впервые стали создаваться корпуса объемом в миллионы словоупотреблений и национальные корпуса. Сейчас – во всяком случае, в русистике – уже трудно представить себе масштабное исследование практического любого аспекта языка, выполненное без привлечения корпуса. У современных корпусов многократно возрос объем (доходящий уже до миллиардов словоупотреблений, особенно в интернет-корпусах) и произошла естественная диверсификация видов и функций: лингвисты работают со специальными корпусами (устной речи, поэзии, диалектов, древних письменных памятников и т.п.), а также с многоязычными параллельными корпусами (позволяющими искать переводные эквиваленты), мультимедийными корпусами (позволяющими исследовать просодию и жесты), и т.д., и т.п.

На этом фоне традиционная филология кажется последним бастионом, куда корпусные методы еще почти не проникли. На самом деле это не вполне верно – достаточно вспомнить, что, например, классическая филология (как и вообще филологическое исследование мертвых языков) по самому духу была – в современных терминах – именно корпусно-ориентированной. Однако особая сложность и специфика филологического изучения текстов

долгое время затрудняли проникновение корпусных методов в эту область. Эта ситуация характерна не только для России, но отчасти и для мировой науки в целом.

Обсуждению данной проблемы – в ее разных аспектах – и посвящены три публикуемые ниже статьи, отражающие материалы дискуссии на специальном заседании Отделения историко-филологических наук РАН. В статье Н.Н. Казанского «Проблемы создания филологического корпуса» обсуждаются некоторые задачи, актуальные для филологического анализа текста, но не находящие прямой поддержки в современных корпусных технологиях. В статье Б.В. Орехова «О перспективах филологического корпуса» намечается наиболее перспективная программа реализации компьютерного инструмента, полезного для филологов, – системы учета истории авторского текста и его вариантов (такие системы в мире уже существуют, и их развитие идет достаточно быстрыми темпами). Проблемы критического издания текстов русских классиков в целом (и наследия Пушкина – в частности) с этой точки зрения более подробно анализируются в статье Н.В. Перцова «К проблеме создания факсимильно-транскрипционного корпуса рукописей Пушкина».

Указанные работы свидетельствуют о том, что потенциал корпусной лингвистики в нашей стране велик, и дальнейшее развитие корпусных исследований как русского языка, так и других языков России в самых разных направлениях должно стать одним из приоритетов научной политики Российской академии наук. Это – повторим еще раз в заключение – будет эффективным вкладом в одно из наиболее передовых и динамичных научных направлений современности.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Konopceva M.* Введение в корпусную лингвистику. Прага: Animedia, 2014.
- Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Результаты и перспективы / Под ред. В.А. Плунгяна. М., 2005.
- Национальный корпус русского языка: 2006–2008. Новые результаты и перспективы / Под ред. В.А. Плунгяна, Е.В. Рахилиной, Т.И. Резниковой. СПб., 2009.
- Плунгян В.А.* Корпус как инструмент и как идеология: О некоторых уроках современной корпусной лингвистики // Русский язык в научном освещении. 2008. 16 (2). С. 7–20.
- Biber D., Conrad S., Reppen R.* Corpus linguistics: investigating language structure and use. Cambridge: CUP, 1998.
- Facchinetti R.* Theoretical description and practical applications of linguistic corpora. Verona: QuiEdit, 2007.
- McCarthy D., Sampson G.* Corpus linguistics: Readings in a widening discipline. New York: Continuum, 2005.

## ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСА

*Н.Н. Казанский*

В последнее время бурно развивается корпусная лингвистика, сделавшая чрезвычайно много для интерпретации синтаксических конструкций, глагольного управления и даже грамматических категорий<sup>1</sup>. В частности, были отмечены и явления, прошедшие незамеченными в грамматиках.

Менее впечатляют успехи корпусной лингвистики там, где дело касается лексической семантики. Дело в том, что даже в традиционном описании формализация семантических данных значительно уступает грамматическому описанию, а количество примеров для правильного понимания семантических особенностей лексемы не играет решительной роли.

Формулировка «при одном счастливом прочтении» остается в силе. Поэтому картотеки академических словарей, создававшиеся на основе субъективного выбора в рамках скорее «филологии как искусства», нежели «филологии как науки» (если пользоваться противопоставлением Готфрида Германна), сохраняют свою значимость для описания лексической семантики, хотя объем проанализированных контекстов для каждой из лексических единиц значительно уступает материалам, присутствующим в корпусе. То, что в корпусе нет целого ряда слов, отмеченных в «Словаре современного русского литературного языка»<sup>2</sup>, – это не страшно. Страшна утрата понимания той грани, которая отделяет филологическую научную интерпретацию от заведомого упрощения фактов. Если в грамматических исследованиях, основанных на новейших методах, корпусные данные дополняются и проверяются

---

<sup>1</sup> Помимо томов «Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Сборник статей» (М., 2005) и «Национальный корпус русского языка: 2006–2008. Новые результаты и перспективы» (СПб., 2009) упомяну конференции под общим названием «Корпусная лингвистика», включающая как важные дефиниции и разграничение сфер анализа (ср. *Герд А.С.* Национальный корпус русского языка – словарная картотека – Академический словарь // Тр. междунар. конф. «Корпусная лингвистика – 2008». СПб., 2008. С. 143–149), и вопросы, близкие к тем, которые затронуты в этом докладе: *Гиндин С.И., Иванова Е.А., Красников А.С.* Интегральные системы филологического обеспечения: Задачи, состав, проблемы создания и культурная значимость // Тр. междунар. конф. «Корпусная лингвистика – 2008». СПб., 2008. С. 149–154.

<sup>2</sup> Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948–1965.

на основе языкового эксперимента, то для описания семантики слова такая процедура является редкостью и обнаруживается только в словарях под редакцией Ю.Д. Апресяна<sup>3</sup>. При этом в любом грамматическом исследовании наряду с грамматически правильными и неправильными фразами мы обнаружим еще и примеры, помеченные знаком вопроса – там, где исследователь не может решить, запрещена ли конструкция структурой языка или все-таки допустима, несмотря на определенную неряшливость и даже странность. Академические словари в лучших образцах словарных статей всегда выделяют примеры, которые не удастся поместить в строгие рамки семантической классификации. Такие примеры приводятся, чтобы пользующийся словарем мог оценить уместность и точность употребления слова, и не столько проникнуть в логику анализа, сколько прочувствовать семантику слова на «вкусных» примерах, демонстрирующих и точность употребления слова, и прелесть его уместности и обыгрывания в тексте.

Бурное развитие корпусной лингвистики в последнее время заставляет ставить вопрос о дальнейшем развитии этого перспективного и важного направления. То, что я хочу представить в этом сообщении, сводится к попытке объединить новые методы корпусных исследований с традиционной филологией, которая последнее время перестала вызывать интерес в российском обществе, а причина, как мне кажется, кроется в отсутствии ярких именно филологических работ, посвященных современным текстам.

Филологический корпус русского языка совершенно необходим, поскольку толкования текстов в настоящее время оказываются за пределом корпусной лингвистики. Сколько-то подробными комментариями снабжен по преимуществу «Евгений Онегин» Пушкина, для которого изданы три комментария: Бродского, Набокова и Лотмана<sup>4</sup>. Для отдельных небольших произведений имеются подробные, в том числе и лингвистические, комментарии, которые в корпусе русского языка не используются. Между тем

---

<sup>3</sup> Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под рук. Ю.Д. Апресяна. М. Вып. 1–3. 1997–2003 (2-е изд., 2004); Проспект активного словаря русского языка / Ред. Ю.Д. Апресян. М., 2010. *Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д., Бабаева Е.Э.* и др. Активный словарь русского языка. Т. 1–2 / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М., 2014.

<sup>4</sup> *Бродский Н.Л.* Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». М., 1932; *Набоков В.* Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. [Науч. ред. и автор вступ. ст. В.П. Старк]. СПб., 1998; *Набоков В.* Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина / Пер. с англ. Под ред. А.Н. Николокина. М., 1999; *Лотман Ю.М.* Комментарии к «Евгению Онегину». СПб., 1995, 2003.

обширные комментарии к 7 тому произведений Пушкина<sup>5</sup>, где подробный комментарий к драматическим произведениям поэта, а также комментарии к отдельным стихотворениям, начиная с комментария Л.В. Щербы к ст. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1923 г.)<sup>6</sup>, и комментариев М.Л. Гаспарова к отдельным стихотворениям XIX–XX вв.<sup>7</sup>, сборник «Анализ одного стихотворения»<sup>8</sup>, содержащий комментарий к отдельным стихотворным произведениям, могли бы быть учтены по крайней мере в поэтическом подкорпусе XIX в.

Легко назвать фундаментальные работы, посвященные древнерусскому периоду, среди которых, разумеется, замечательная книга А.А. Зализняка о «Слове о полку Игореве» и комментарии к новгородским грамотам представляют собой превосходные примеры филологического и лингвистического анализа, однако проблема комментария к текстам привлекает явно недостаточно внимания, хотя такие публикации, как «Текст и комментарий. Круглый стол к 75-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова» (отв. ред. В.Н. Топоров. М.: Наука, 2006), показывают, что данная проблематика остается актуальной, хотя и не востребована обществом.

Нет смысла повторять то, что обсуждалось в докладах на упомянутом круглом столе, однако есть смысл разобрать отдельные примеры, поскольку филологические проблемы не всегда лежат на поверхности. Начнем с текста, поскольку вопрос, что именно читать и что помещать в корпус, остается важным вопросом.

Для примера возьмем текст Вергилия Aen. VI 806:

et dubitamus adhuc uirtutem extendere **factis**<sup>9</sup> ..?

Приведенный текст взят мною из РНІ-5, компьютерного сборника латинских текстов, подготовленного в Packard Humanities Institute. Палатинский кодекс IV–V вв. и Римский кодекс VI в. дают чтение et dubitamus adhuc uirtute extendere **viris** 'И мы до сих пор колеблемся с доблестью развернуть (наши) силы', в отличие от кодекса Медичи V в. (et dubitamus adhuc **uirtute** extendere **factis**). Расширять доблесть с помощью подвигов представляется странным, хотя за этим чтением стоит авторитет Сервия. Именно это

<sup>5</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 20 томах. Т. 7. СПб., 2009.

<sup>6</sup> Щерба Л.В. Опыты лингвистического толкования стихотворений. I. «Воспоминание» Пушкина // Русская речь. I. Пг., 1923. С. 15–56.

<sup>7</sup> Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х–1925-го годов в комментариях. М., 1993.

<sup>8</sup> Холишевников В.Е. Анализ одного стихотворения. Межвузовский сборник. Л., 1985.

<sup>9</sup> В переводе В. Брюсова «И колебаться ль донныне доблесть расширить делами».

чение принято в стандартных изданиях, поскольку содержится в комментариях Сервия к Энеиде. Однако чтение *et dubitamus adhuc uirtutem extendere uiris* 'И мы до сих пор колеблемся расширить доблесть с помощью сил' представлено у Доната и Диомеда. Это чтение Э. Норден<sup>10</sup> считал неправдоподобным, и во многом его мнение как самого авторитетного комментатора повлияло на выбор текста. Между тем чтение римского кодекса может быть подкреплено лингвистическим анализом. Р. Годель (*Godel R. Questions de vocabulaire latin // Cahiers de F. de Saussure. 1984. Vol. 38. P. 262–265*) обратил внимание на то, что во всех случаях глагол *extendere* предполагает не столько «расширение или распространение», сколько «линейное развертывание», ср. *pinnas extendere* Нор. *Epist. I, 20–21* «распустить крылья», *supra vires se extendant* «они сверх (имеющихся) сил стараются занять место» (*Liv. XXXIV, 4, 15* в речи Катона), *extendere vires* в военном значении «развертывать военный строй» у Ливия (*Liv. VII, 25–27*).

На порчу текста могло повлиять и выражение *famam extendere factis* «расширить славу с помощью подвигов» в *Aen. X, 468–469: sed famam extendere factis / hoc virtutis opus*.

Очевидно, что три древнейшие рукописи не согласны между собой, и в издании мы должны сделать для принимаемого текста твердый выбор, отдав предпочтение одному из рукописных чтений, но в комментарии необходимо указать варианты текста, приведя аргументацию в пользу каждого из текстологических решений.

При этом следует иметь в виду, что далеко не всегда мы сможем сделать правильный и даже просто аргументированный выбор. В недавнем издании И. Бродского строка

Шотландия **нам** стала бы матрас.

превратилась в

Шотландия **вам** стала бы матрас<sup>11</sup>.

Поймать такую опечатку можно, только зная текст наизусть и сверив с более достоверными, хотя и лишенными столь талантливой предисловия изданиями. Для Бродского такие издания есть, что позволяет легко устранить неточность (которая вдобавок выдает себя отсутствием заглавной буквы: в начале того же восьмого сонета Бродский, обращаясь к Марии Стюарт, пишет **Вы**).

<sup>10</sup> *P. Vergilius Maro. Aeneis Buch VI erklärt von / Ed Norden. Leipzig: Teubner, 1903. S. 318.*

<sup>11</sup> *Бродский И. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Т. 1 / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Л.В. Лосева. СПб., 2011. С. 350.*



Для текста «Опасного соседа» В.Л. Пушкина мы можем только гадать, какое чтение при описании появления Буянова правильно:

И тотчас понесло повсюду **кабаком**

или же

И тотчас понесло повсюду **табаком**

Возможности восстановить по рукописям авторскую волю у нас нет ни для Вергилия (авторская воля которого была Энеиду сжечь), ни для текста В.Л. Пушкина. Комментарий должен в этом случае дублировать текст, приводя не включенный в основное издание вариант, и содержать указание на мотивировку авторитарного решения, принятого издателем.

Комментарий к тексту сложная задача, с которой сейчас корпусная лингвистика не справляется: действительно, если множество вариантов текста попытаться поместить в компьютер, то мы скорее получим набор из нескольких текстов, нежели единый текст. Для произведений античной литературы такая задача будет усложняться еще и авторскими изданиями, в которых стихи могут быть переставлены по сравнению с рукописями. Это не проблема одних только письменных текстов. Мы здесь приближаемся к той границе трудностей, которую задает вариативность фольклорного текста, – трудность, которая не под силу и традиционной филологии. Филологический корпус должен также там, где это возможно, отражать вариативность текста – в его становлении, когда автор находит окончательный текст, в его бытовании (ср. Поля Фора, в частности его замечание, что цитируя во время лекции поэтов он допускал неточности, которые – он сам мог это оценить – обычно ухудшали текст; но один раз ему удалось этот текст улучшить)<sup>12</sup>. Бытование текста, его метаморфозы (например, перевод на иную орфографию, будь то метаграмматизм, осуществленный александрийскими филологами для текстов архаических греческих поэтов или переписывание с точки зрения новой орфографии текстов русских классиков, да и просто переписывание латинских текстов древнего римского курсивного письма с помощью маюскула) – эти этапы бытования текста последнее время включаются также в критический аппарат издания, как это сделал М. Вест в своем издании Илиады<sup>13</sup>. Отслеживание метаморфоз текста по цитатам

<sup>12</sup> Такой же пример, только без эстетической оценки, приводит Б.Ф. Егоров (Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана. М., 1999. С. 234).

<sup>13</sup> Homeri Ilias. Volumen prius rhapsodias I–XII continens / Recensuit M. L. West. Stuttgart; Leipzig: B.G. Teubner, 1998; Homeri Ilias. Volumen alterum rhapsodias XIII–XXIV continens / Recensuit M.L. West. Leipzig; Munich: K.G. Saur, 2000.

и пересказам составляет важную часть комментария. Приведу несколько необычный пример (из наблюдений А.В. Урушадзе)<sup>14</sup>, показывающий, что в этих случаях мы далеко не всегда имеем право ограничиваться одной языковой традицией: «В древнегрузинских письменных памятниках византийского происхождения грузинскими исследователями (П.Н. Ингароква, С.Г. Каухчишвили, А.В. Урушадзе) обнаружены отдельные стихотворные строки, приведенные в виде цитат и переведенные ad hoc размерами регулируемого силлабического стиха».

В грузинском переводе Евангелия в отличие от сирийской, армянской, готской и славянской традиции стихотворные строки переводились стихотворными размерами. Это же касается и текстов Нового Завета, в которых известны гекзаметрические, ямбические и одна пентаметрическая строка. На грузинский язык они все за исключением Joh. 4. 35 переведены стихом. А.В. Урушадзе, опираясь на грузинский перевод, обнаружил еще один пентаметр, помимо Hebr. 12. 26 – в евангельском рассказе о Петре: «И вышел вон, плакал горько» – «жгучими слезами», как комментирует Толковая Библия, изданная наследниками Лопухина.

Luc. 22.62 καὶ στραφεὶς ὁ κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ, καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς·καὶ ἔξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

Matth. 26. 75 καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς ἀπαρνήσῃ με· καὶ ἔξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

Благодаря грузинскому переводу в нашем распоряжении есть свидетельство того, что греческая традиция, по крайней мере, в какой-то своей части понимала конец стиха в Евангелии от Луки (писавшего по-гречески) и Матфея, чье Евангелие было переведено с арамейского, как стихотворную форму ἔξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς. С точки зрения греческой метрики такой пентаметр просто невозможен, однако грузинский стихотворный перевод прямо говорит о понимании какой-то частью христианской традиции этого текста как стихотворного. Такого рода свидетельства восприятия текста в эпоху, близкую к его созданию, сохраняют для нас определенную ценность и должны учитываться в филологическом комментарии.

Наконец, комментарий содержательный, который едва ли можно проиллюстрировать одним примером. Мне доводилось писать о

---

<sup>14</sup> Урушадзе А.В. Греческая метрика в древнегрузинских текстах // Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. «Проблемы античной истории и классической филологии». 6–8 февр. 1980 г. Харьков, 1980. С. 185–187.

том, что в поэме В. Хлебникова Журавль пляшет «в пляске пьяного сколота», т.е. пьяного скифа, а не в образе пьяной смуты, как со ссылкой на лаврентьевскую летопись предполагал Н.Л. Степанов. Однако филологический комментарий не может ограничиваться одним словом или одной строкой, а должен охватывать определенный слой текста.

Далее в качестве примера выбран Сонет IV из «Двадцати сонетов к Марии Стюарт» И.А. Бродского, многоплановый и сплавленный из иронии, грустных размышлений и свободных, иногда слишком свободных переходов мысли по ассоциации. Об этом замечательно написала Э. Проффер Тисли: «Даже теперь, стоит мне раскрыть “Часть речи”, я радуюсь, читая “Двадцать сонетов к Марии Стюарт”, где поэт начинает с реальной Марии Стюарт, переходит на игравшую ее кинозвезду, в которую он влюбился, и наконец останавливается на живой женщине, Марине, напоминающей ему ту артистку. Попеременно игривый и серьезный в этих сонетах, кавалер с метафизическими интересами, он находит блестящие рифмы, и трудное дело в его исполнении кажется легким»<sup>15</sup>. При этом следует иметь в виду и глубину традиции. Обращаясь к Шекспиру в 1970–1980 гг. поэт действительно предпочтет обозначать скорее «сцены» и «обстоятельства»<sup>16</sup>, нежели включаться в привычную текстовую игру. Особую роль в этом смысле приобретает цикл «XX сонетов к Марии Стюарт» (1974), представляющий собой, как замечено исследователями, своего рода палимпсест, иронический диалог с традиционной культурной традицией разных столетий. Не говоря уже о том, что указанный цикл на новом витке развивает сонетную (анти)петрарковскую тему, свойственную и Шекспиру, косвенным обращением к нему выглядит здесь IX сонет, дающий читателю точное представление о шекспировских хрониках: «“Равнина” и далее до “валяются останки <...> Опять равнина” до конца»<sup>17</sup>.

При анализе четвертого сонета мне хотелось бы обратить внимание на несколько черт, важных для понимания текста.

---

<sup>15</sup> Проффер Тисли Э. Бродский среди нас / Пер. В. Голышева. М., 2014. С. 168.

<sup>16</sup> Термины «сцены» и «обстоятельства» Е. Погорелая берет из интервью (Бродский. Книга интервью. М., 2007. С. 612), где сам Бродский противопоставил их прямому текстовому воздействию.

<sup>17</sup> Погорелая Е. Бродский. Статьи из шекспировской энциклопедии // Вопр. литературы. Март–апрель 2013. С. 151. Не пытаюсь дать сколько-нибудь полную библиографию посвященных этому тексту работ, упомяну две важнейшие: Жолковский А.К. «Я вас любил» Бродского // Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 205–224; Баткин Л. Тридцать третья буква. Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. М., 1997.

Красавица, которую я позже  
любил сильнее, чем Босуэла – ты,  
с тобой имела общие черты  
(шепчу автоматически «о, Боже»,  
их вспоминая) внешние. Мы тоже  
счастливой не составили четы.  
Она ушла куда-то в макинтоше.  
Во избежание роковой черты,  
я пересек другую – горизонта,  
чье лезвие, Мари, острей ножа.  
Над этой вещью голову держа,  
не кислорода ради, но азота,  
бурлящего в раздувшемся зобу,  
гортань... того... благодарит судьбу.

«Она ушла куда-то в макинтоше» Лосев<sup>18</sup> считает пародийным перифразом строк Блока «Ты в синий плащ печально завернулась, / В сырую ночь ты из дому ушла» («О доблестях, о подвигах, о славе», 1908).

Это не совсем так, поскольку взгляд поэта иной – у Блока фиксируется момент ухода (печально завернулась, т.е. уже стала невидимой, затем ушла). У Бродского взгляд со спины – *ушла* и бытовая деталь – *в макинтоше*, легком пальто из прорезиненной ткани. Мотив ухода и его связь с плащом были в моде: можно вспомнить Новеллу Матвееву с гвоздем, «на котором твой плащ висел», так что мы имеем здесь скорее расхожее представление поэзии 50–60-х годов, нежели прямую отсылку к Блоку. В это время, к которому относится повествование, уже любой плащ мог быть назван макинтошем, но для Бродского, как мне кажется, в данном контексте важна не реалья, а ее название.

В истории XIX–XX вв. особенно известно имя Чарлза Ренни Макинтоша (1868–1928), оказавшего влияние на формирование стиля модерн в архитектуре. Еще два открытия принадлежат людям, носившим эту шотландскую фамилию: McIntosh, по имени которого назван сорт популярных в США яблок (настолько популярных, что фирма Apple Macintosh взяла его в свое название), и, наконец, химик Чарльз Макинтош (1766–1843), сделавший свое открытие еще в 1823 г., по имени которого была названа прорезиненная ткань. Очевидно, что шотландская фамилия появляется в тексте, посвященном королеве Шотландии, не случайно.

---

<sup>18</sup> Вслед за Л.М. Баткиным, который определил эти строки «очередным “пародийным” парафразом, явно блоковским»; ср.: *Баткин Л.* Тридцать третья буква. Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. С. 121.

Этот дополнительный «шотландский штрих» должен быть, конечно, отмечен в комментарии, как существенный для сопоставления двух красавиц: портретное сходство со статуей Марии Стюарт и шотландское название драпировки героини.

Особого внимания заслуживает сонет IV, потому что он не удостоился внятного комментария: Л. Баткин видел в нем (Во избежанье роковой черты, / я пересек другую – горизонта, / чье лезвие, Мари, острей ножа) только намек на мысли о самоубийстве<sup>19</sup>. Недостаточно убедительным выглядит и сопоставление с завершающими строками стихотворения «1972 год», «когда поэт, подобно Тезею, выкарабкивается из лабиринта Миноса, он видит линию горизонта как знак минуса – “к прожитой жизни”»<sup>20</sup>:

Острей, чем меч его,  
лезвие это, и им отрезана  
лучшая часть.

Этот взгляд на горизонт – как отсекающий прошлое – присутствует в сонете, создавая архаическую картину мира, в которой перед нами прежнее и пережитое, а не будущее, в которое должен был быть устремлен взгляд советского человека. Горизонт этот – в волнах Атлантики при взгляде Бродского из Штатов на Европу, в морских просторах («в порт Глазго») той же Атлантики, но с других берегов – для Марии Стюарт, а то, что действие происходит в Париже, делает отрезающий горизонт частью субъективного пространства. Эта субъективность потом выльется в совет «не отличай горизонт от горя»<sup>21</sup>.

Кессонная болезнь, которая описана в следующих строках (Над этой вещью голову держа, / не кислорода ради, но азота, / бурлящего в раздувшемся зобу, / гортань... того... благодарит судьбу), также требует комментария.

Вот как описывает эту ситуацию статья в Википедии: «При всплытии, с уменьшением внешнего (гидростатического) давления воды, давление газовой смеси, которой дышит подводник, также начинает уменьшаться. Количество азота, потребляемое подводником, а вернее его парциальное давление, тоже уменьшается. Из-за этого начинает происходить перенасыщение крови азотом, вследствие чего он начинает потихоньку высвобождаться в виде

---

<sup>19</sup> Баткин Л. Тридцать третья буква. Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. С. 127.

<sup>20</sup> Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском. М., 2012. С. 67.

<sup>21</sup> Казанский Н.Н. Подражание отрицанием («Подражание Горацию» Иосифа Бродского и Нор. Carm. I, 14) // *Ars Philologiae*. Профессору А.Б. Муратову ко дню 60-летия. СПб., 1997. С. 350–369.

микропузырьков. Происходит “рассыщение” крови, которая при этом как бы “закипает”. Создается обратный градиент диффузии газа из жидкости»<sup>22</sup>. Заметим, что этот эффект закипания присутствует и у Бродского, но кипение локализовано «в зобу».

Над этой вещью, т.е. выше горизонта, т.е. уже в небесной высоте, выражаясь языком XIX века, поэт держит голову высоко – выше горизонта, что дает намек на пушкинское «вознесся выше он главою непокорной», но одновременно голова находится в опасности – только сама голова выше лезвия, а пересечение поэтом линии горизонта, поданной геометрически точно, но зрительно неправдоподобно, т.е. не как полоса, а как тончайшая линия, причем исключительно предметно и материально: горизонт как бритва, «чье лезвие, Мари, острей ножа». Роковая черта становится лезвием, впрочем, не выполняющим свою функцию физического умерщвления.

*Над* исключает «за горизонтом»: поэт остается выше физического перемещения на другой материк. Эта высота и скорость ее достижения (переезд, который был организован со всей поспешностью как предельно стремительный) поэт сравнивает с ощущениями подводника, поднимающегося из глубины и освобождающегося от давления, которое он испытывал. Многим представителям поколения, к которому принадлежал Бродский, Запад представлялся как место, где дышится свободно. В брежневское время уже ушло в прошлое «я в Париже, я начал жить, а не дышать» и заменилось представлением о душной атмосфере и жадной глотка свежего воздуха, насыщенного кислородом. Вот как раз эту напрашивающуюся, но пошлую в своей расхожести картину Бродский отвергает: «не кислорода ради», т.е. не из-за того, что там дышится легче (хотя это и правда), не для потребления кислорода после душной атмосферы брежневской страны. (Подробное описание переезда в Америку см. в книге Э. Проффер Тисли «Бродский среди нас», где подробно изложены несколько вариантов интерпретации этого шага, которые излагал сам Бродский<sup>23</sup>.) В поэме содержится лишь намек на внешние обстоятельства (которые, впрочем, даны в статике состояния с подчеркнутой локативностью<sup>24</sup>), но говорится о внутреннем ощущении автора,

<sup>22</sup> Далее автор энциклопедии пишет: «Когда процесс всплытия проходит медленно, то парциальное давление азота в составе дыхательной смеси также уменьшается медленно – относительно дыхания подводника. Микропузырьки азота из крови начинают высвобождаться и вместе с током крови двигаться в сердце, а оттуда уже в легкие, где они, опять же, через стенки альвеол выходят наружу при выдохе.

<sup>23</sup> Проффер Тисли Э. Бродский среди нас / Пер. В. Гольшева. С. 78; 81–82.

<sup>24</sup> Ср.: «В стране за океаном, (открытой как я думаю при Вас), деля помятый свой иконостас меж печкой и продавленным диваном».

который настаивает на том, что он держит голову выше горизонта из-за азота, бурлящего в раздувшемся зобу. Раздувшийся *зоб* здесь не предполагает точности медицинского употребления и не должен пониматься как «увеличение щитовидной железы вследствие разрастания ее лимфоидной функциональной (паренхимы) ткани или соединительно-тканной стромы». Речь идет не о разрастании щитовидной железы, а о движении микропузырьков азота из крови в легкие, где они должны через стенки альвеол выходить наружу при выдохе. Вот этого выдоха как раз и не происходит. По ощущениям поэта азот застревает в горле<sup>25</sup>.

**Гортань того** Лосев определил<sup>26</sup> как междометие (!?), хотя очевидно, что выбор может быть только между частицей и формой местоимения.

На самом деле, в русском языке на уровне просторечия существует форма местоглаголия *это самое* и *того*. Первое обозначает свободную от конкретизации предикативность, причем нет разницы в передаче действия и состояния.

В обоих случаях допустимо отсутствие уточняющего глагола, четко обозначающего действие только при известной ситуации, причем в случае с *того* предполагается если не пейоративность, то по крайней мере ощущение непорядка или неблагополучия<sup>27</sup>.

Обычный случай представляет собой появление уточнения, часто в форме глагола после частицы, берущей на себя анафорическую функцию не столько замены, сколько провозвестника будущего глагола. Этот случай создает если не ретардацию, то гезитацию (в русской традиции иногда передается как гезитация в произношении, ориентированном на англ. *hesitation*, а не на его латинский источник термина *haesitatio* ‘запинание’)<sup>28</sup>.

В этой заметке помещены отдельные иллюстрации того, что могло бы войти в филологический корпус, – с учетом установок на

---

<sup>25</sup> И кипит «в раздувшемся зобу». Тема «носоглотки» будет продолжена (ср. «Шик / подобной фразы – праздник носоглотки» – Сонет VII), а противопоставление *зоб* – *гортань* (гортань издает звуки) напрямую отсылает к крыловому *зоб* – *горло* («Ворона каркнула во все воронье горло»).

<sup>26</sup> «По мнению критика (*Ранчин А.* Иосиф Бродский и русская поэзия 18–20 вев. М., 2001. С. 24), междометие “того” (sic!) относится к гоголевскому субстрату» – *Бродский И.* Стихотворения и поэмы. Т. 1. С. 596.

<sup>27</sup> Отчетливый пример употребления отнюдь не высокого стиля дает «Но пришла пора и Завенягина... того. Идет волна очистительная – ликвидация ликвидаторов <...> Поэтому судьба Завенягина решена» (*Суворов В.* Выбор. М., 2009. С. 42).

<sup>28</sup> Сама идея благодарности судьбе представляла собой одну из творческих и мировоззренческих установок И. Бродского, ср.: «Но пока мне рот не забили глиной, раздаваться будет благодарность».

историю создания текста (если она нам известна по рукописям), его распространения и восприятия как современниками, так и последующими поколениями, и проблемы комментирования.

Что сказать, подводя итоги? Очевидно, что филологический корпус нужен не меньше, чем НКРЯ. Необходим научный аппарат к текстам и необходимо проследить жизнь этого текста, его понимание в последующие эпохи, не важно, измеряются ли они веками или десятилетиями, как в случае с Бродским.

Необходим реальный комментарий, который труден предельно, когда поэт невнимателен к деталям содержания. Кессонная болезнь, как я пытался показать, описана столь же удивительно, как и элегический дистих, в котором Бродский решил выявить ямбическую строку, что уже было подмечено в «Собеседниках на пиру» Томасом Венцловой<sup>29</sup>.

Мне представляется предельно важным подчеркнуть любые мелочи, использованные автором для создания колорита – шотландского в нашем случае – даже с помощью макинтоша героини.

Этот пласт комментария, который можно условно назвать реальным, также формализовать относительно несложно. Грамматический разбор, если не называть частицу *того* междометием, также вполне может быть формализован, даже если мы назовем местоглаголием и опишем как анафорическое вынесение, предшествующее сказуемому, а не как гезитацию.

Самая сложная часть формализации комментария, безусловно, связана с формализацией если не замысла, то по крайней мере осмысления текста. Познавательность комментария не в том, чтобы поместить напоминания о реалиях, а в рекомендациях к пониманию текста, – то, что в настоящее время представляет собой самую большую проблему.

Сейчас не совсем ясно, как эту проблему применительно к корпусу можно решать в плане теории. Но в плане практики пути очевидны: Россия единственная страна, в которой запрещены защиты диссертаций, представляющие собой критическое издание текстов (в том числе и с комментариями). Отсюда полное отсутствие тем курсовых и дипломных работ, сформулированных как комментарий к текстам. Отсюда же и недостаточная базовая подготовленность будущих филологов.

Нужно развернуть специальные усилия (хочется сказать *extendere vires*) для подготовки настоящих комментированных изданий в России, причем памятники античной литературы зададут необходимую планку такого комментирования.

---

<sup>29</sup> Венцлова Т. Собеседники на пиру. М., 2012.



Именно филологическая составляющая может и должна сыграть важнейшую роль в формировании вкуса к точному слову, без которого все общество оказывается филологически безграмотным.

Расширение корпусных исследований в филологическом направлении может задать правильный вектор в развитии гуманитарного знания, поскольку хороший комментарий соединяет в себе комплекс наук от текстологии до психологии.

Кстати, было бы правильно для ОИФН РАН не только осуществлять экспертизы, но и определять развитие исторических и филологических наук в стране. С этой точки зрения требование, чтобы в университетах Российской Федерации темы магистерских диссертаций формулировались и утверждались в том числе и как комментарий к литературному тексту, – право Отделения историко-филологических наук РАН как потенциального работодателя и как учреждения, осуществляющего экспертную проверку научных результатов.

#### ЛИТЕРАТУРА

*Апресян Ю.Д.* Проспект активного словаря русского языка. М., 2010.

*Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д., Бабаева Е.Э. и др.* Активный словарь русского языка. Т. 1–2 / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М., 2014.

*Баткин Л.* Тридцать третья буква. Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. М., 1997.

*Бродский.* Книга интервью. М., 2007.

*Бродский И.* Стихотворения и поэмы: В 2 т. Т. 1 / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Л.В. Лосева. СПб., 2011. С. 350.

*Венцлова Т.* Собеседники на пиру. М., 2012.

*Гаспаров М.Л.* Русские стихи 1890-х–1925-го годов в комментариях. М., 1993.

*Герд А.С.* Национальный корпус русского языка – словарная картотека – Академический словарь // Тр. междунар. конф. «Корпусная лингвистика – 2008». СПб., 2008. С. 143–149.

*Гиндин С.И., Иванова Е.А., Красников А.С.* Интегральные системы филологического обеспечения: Задачи, состав, проблемы создания и культурная значимость // Тр. междунар. конф. «Корпусная лингвистика – 2008». СПб., 2008. С. 149–154.

*Егоров Б.Ф.* Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана. М., 1999.

*Жолковский А.К.* Блуждающие сны и другие работы. М., 1994.

*Зализняк А.А.* «Слово о полку Игореве»: Взгляд лингвиста. 3-е изд., доп. М., 2008.

*Казанский Н.Н.* Подражание отрицанием («подражание Горацию» Иосифа Бродского и Ног. Carm. I, 14) // *Ars Philologiae*. Профессору А.Б. Муратову ко дню 60-летия. СПб., 1997. С. 350–369.

- Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Сб. ст. М., 2005.
- Национальный корпус русского языка: 2006–2008. Новые результаты и перспективы. СПб., 2009.
- Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под рук. Ю.Д. Апресяна. М. Вып. 1–3. 1997–2003 (изд. 2-е. 2004).
- Погорелая Е.* Бродский. Статьи из шекспировской энциклопедии // *Вопр. литературы.* Март–апрель 2013. С. 151.
- Проффер Тисли Э.* Бродский среди нас / Пер. В. Голышева. М., 2014. С. 168.
- Ранчин А.* Иосиф Бродский и русская поэзия 18–20 веков. М., 2001.
- Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948–1965.
- Текст и комментарий. Круглый стол к 75-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова / Отв. ред. В.Н. Топоров. М.: Наука, 2006.
- Урушадзе А.В.* Греческая метрика в древнегрузинских текстах // Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. «Проблемы античной истории и классической филологии». 6–8 февр. 1980 г. Харьков, 1980. С. 185–187.
- Холшевников В.Е.* Анализ одного стихотворения. Межвузовский сборник. Л., 1985.
- Щерба Л.В.* Попыты лингвистического толкования стихотворений. I. «Воспоминание» Пушкина // *Русская речь.* I. Пг., 1923. С. 15–56.
- Янгфельдт Б.* Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском. М., 2012.
- P. Vergilius Maro.* Aeneis Buch VI erklärt von / Ed. Norden. Leipzig: Teubner, 1903. S. 318.
- Godel R.* Questions de vocabulaire latin // *Cahiers de F. de Saussure.* 1984. Vol. 38. P. 262–265.
- Homeri Ilias. Volumen prius rhapsodias I–XII continens / Recensuit M.L. West. Stuttgart; Leipzig: B.G. Teubner, 1998; Homeri Ilias. Volumen alterum rhapsodias XIII–XXIV continens / Recensuit M. L. West. Leipzig; Munich: K.G. Saur, 2000.

## О ПЕРСПЕКТИВАХ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСА

*Б.В. Орехов*

Лингвистическое сообщество в целом осознало, что создание корпуса не является простым количественным фактором, уско-ряющим поиск примеров. Это особая идеология, формирующая исследовательский взгляд на предмет, задающая контуры и даже тематику научных сюжетов.

Дж. Лич еще в 1992 г. настаивал на том, что словосочетание «корпусная лингвистика» отсылает не к области знания, но в большей степени к методологическому базису лингвистических исследований: «В принципе (и часто на практике) корпусная лингвистика с легкостью соединяется с другими направлениями лингвистики: мы можем изучать фонетику, синтаксис, социолингвистику и другие аспекты лингвистики с помощью корпуса, и когда мы так делаем, это можно назвать соединением корпусных методик и предмета фонетики, синтаксиса, социолингвистики и т. д.». Но за этим не следует упускать главного: корпусная лингвистика «не просто появившаяся методология изучения языка, это новая исследовательская инициатива, и на самом деле новый философский подход (...) Так что технология в данном случае (как это веками было в естественных науках) играет более важную роль, чем просто поддержка и упрощение процесса исследования: я вижу в этом сущность нового типа знания и путь к новому способу познания языка» [Leech: 105–106].

Во многом сходные мысли высказаны в 2008 г. в статье В.А. Плунгяна «Корпус как инструмент и как идеология: о некоторых уроках современной корпусной лингвистики»<sup>1</sup>. В.А. Плунгян формулирует сложившуюся ситуацию со всей возможной определенностью: «Корпус в каком-то смысле вернул лингвистам их подлинный объект – тексты на естественном языке в максимально полном объеме».

Эти обеспеченные появлением корпусов очевидные успехи лингвистики заставляют поставить вопрос о создании специализированного филологического корпуса, который мог бы послужить платформой и импульсом для новых исследовательских шагов в старейшей гуманитарной науке.

Определение предмета филологии не является очевидным и допускает известную вариативность (см. [Орехов: 74–82]). Если

<sup>1</sup> Русский язык в научном освещении. 2008. № 2 (16). С. 7–20.

сосредоточиться на понимании филологии как науки и прикладной дисциплины, ориентированной на работу с культурно значимыми художественными текстами, то у нее есть два очевидных аспекта: один связан с текстологией рукописей (и вообще источников, например, позволяющих уточнить датировку), изучением редакций и вариантов произведений, второй включает в себя разного рода комментирование, толкование, т.е. создание специального научного инструментария для диалога между текстом и читателем. Первый аспект восходит к позитивистской филологии Вильгельма Шерера, предполагавшего, что научный метод в литературоведении должен ограничиваться документированием фактов (часто внешних по отношению к собственно реальности текста). Второй имеет более сложное происхождение, включающее достижения филологической науки с конца XIX по середину XX века (компаративистика, формализм, структурализм).

Если попытаться сформулировать, как эти два направления должны быть отражены в гипотетическом филологическом корпусе, то в центре внимания окажутся две принципиально различные вещи: филологически корректное представление текстов и соединение в рамках корпуса самого текста-источника и комментаторской надстройки. Первое обращает нас к уровню принципов формирования текстовой коллекции, особенностей поисковых механизмов и интерфейса, второе – к уровню разметки корпуса.

Говоря о представлении художественных текстов в корпусе приходится констатировать, что между лингвистическим корпусным подходом и традиционным филологическим существует известный антагонизм<sup>2</sup>. Наличные лингвистические корпуса синтагматичны, это линейным образом устроенные коллекции текстов, в которых появление дублирующих экземпляров, незначительно отличающихся вариантов, видится однозначным недостатком. Дело в том, что корпуса используются в лингвистике для подсчета частотности (слов, грамматических форм и пр.); как особенное достоинство корпусной лингвистики это отмечают и Дж. Лич, и В.А. Плунгян. В случае, если в корпусе один и тот же текст будет повторяться (пусть даже частично), это создаст неприятный перекосяк в количественных данных, например, некоторое слово в результатах поиска будет отображаться чаще, чем оно реально встречается в языке. Поэтому варианты одного и того же текста

---

<sup>2</sup> См. его экспликацию, напр.: *Бодрова А.С., Пильщиков И.А.* Проблемы корпусного подхода к задачам авторской лексикографии // *Авторская лексикография и история слов: К 50-летию выхода в свет «Словаря языка Пушкина»*. М., 2013. С. 59–61.

из корпуса обычно изымаются, чтобы не создавать путаницы при количественных исследованиях; обычно в текстовой коллекции корпуса остается только один вариант, при этом создателям корпуса не всегда важно, насколько этот вариант аутентичен и отражает авторскую волю: такими филологическими «детальями» в системе больших чисел корпуса можно пренебречь.

В то же время для филолога художественный текст представляет собой не единый объект, а парадигму вариантов, часть которых осталась в рукописи, а часть выходила в разных прижизненных изданиях. Например, существует изрядное число только печатных версий пушкинского романа в стихах: «В течение 12 лет перед российским читателем одиннадцатикратно появлялись книги, на обложке и титульном листе которых было название “Евгений Онѣгинъ” <...> Некоторые его фрагменты представали перед читателем в разных вариантах – либо автор вносил изменения в ранее напечатанный текст, либо в текст вкрадывались разного рода искажения, ошибки, опечатки» [Перцов: 649–650]. Кроме того, важная часть парадигмы – это рукописные варианты, отвергнутые автором на этапе работы над замыслом. Для восстановления последовательности этой работы, которая отражается в творческой истории текста, такого рода варианты исключительно важны, но по оговоренным причинам они не включаются в корпуса даже специализированного типа (например, варианты отсутствуют в поэтическом корпусе в составе Национального корпуса русского языка<sup>3</sup>). Путь упрощения, по которому приходится идти лингвистам, оказывается неприемлемым для филологов, воспринимающих исключение вариантов как насилие над текстом и научной традицией его изучения.

Разрешить эти затруднения непросто. По крайней мере, сложившаяся ситуация означает, что существующие и апробированные технологии поисковых механизмов и интерфейсов корпуса не подходят для филологически ориентированной системы. Более того, чтобы не растерять достоинств корпусных технологий при соединении их с потребностями филологической традиции, необходимо провести серьезную проектную работу, которая определила бы следующее:

а) каким образом следует считать частотность при поиске? Простое количество некоторого слова, посчитанного по всем

---

<sup>3</sup> Одно из немногих исключений, скорее, напоминающее случайность: две редакции стихотворения Н.С. Гумилева «Баллада» («Пять коней подарил мне мой друг Люцифер...», 1908), в хронологически предшествующем варианте это 4-й текст из цикла «Сказка о королях» («Пять могучих коней мне дарил Люцифер...», 1905).

вариантам всех текстов, не будет означать осмысленного числа, которое мы могли бы положить в основу количественного исследования. В то же время отказ от частотности означал бы отказ от одного из важнейших достижений корпусной лингвистики;

б) как располагать варианты одного текста в выдаче? В традиционном корпусе, вследствие его синтагматичности, все тексты находятся на одном уровне иерархии, в результатах поиска они также отображаются последовательно, без графического оформления разницы в статусе. Однако варианты рукописные и печатные, автографы и списки, черновики и беловики образуют более сложную систему, отражение которой в поиске требует соответствующих интерфейсных решений;

в) как технически организовать сопоставление вариантов? С композиционной точки зрения редакции одного текста зачастую находятся в весьма сложных отношениях друг с другом: одна и та же строфа поэтического произведения может оказаться в начале одного и в конце другого варианта, вычеркнутое в одной строке слово может возникнуть в другой. Какие-то отрезки одних вариантов совсем не находят параллелей в других. Запутанные отношения между редакциями лермонтовского «Демона» хорошо иллюстрируют трудности, возникающие при сопоставлении текстов, которые в принципе стоило бы признать вариантами одного и того же произведения. Очевидно, такие отношения в рамках электронной системы следует хранить в сложно организованных структурах данных (вероятно, в чем-то они могут напоминать стандарты кодирования видео), а при сопоставлении каждый раз принимать филологически корректное решение относительно обоснованности той или иной параллели.

При этом приходится быть готовым к тому, что ни одно решение не будет принято сообществом безоговорочно. Так, некоторые вынужденные, технически обусловленные, особенности представления текстов в «Параллельном корпусе переводов “Слова о полку Игореве”»<sup>4</sup> неоднократно критиковались филологами, несмотря на то, что воспринимались создателями ресурса как малозначительные. Среди таких особенностей разбиение текста «Слова...» на отрывки в соответствии со схемой, принятой в издании Р.О. Якобсона, и обратная перестановка фрагмента текста, описывающего начало похода Игоря и солнечное затмение, в то место, где этот фрагмент находился в варианте, которым располагали первые

---

<sup>4</sup> Один из первых филологически ориентированных корпусов действует с февраля 2007 г.; располагается в Интернете по адресу: <http://nevmenandr.net/slovo/>

издатели (в некоторых изданиях и переводах этот фрагмент переставлен дальше от начала в место, которое для него определяет не художественная, а аристотелева логика).

Некоторые достижения корпусной лингвистики позволяют оценивать часть этих вопросов как принципиально имеющие ответ. Так, особенное место в типологии корпусов занимают параллельные корпуса, которые призваны отразить межъязыковое взаимодействие и варьирование, представляя интуитивно воспринимаемые как идентичные тексты на разных языках, т.е. тексты и их переводы на другой язык. Хорошим примером могут служить Параллельный корпус в составе Национального корпуса русского языка (<http://ruscorpora.ru/search-para.html>) или корпус ParaSol (<http://www.slavist.de/>). Не случайно, что параллельные корпуса устроены сложнее, чем обычные поисковые лингвистические системы: они требуют особой настройки или даже создания специальных поисковых механизмов. Однако именно параллельные корпуса работают с текстами как с парадигмой вариантов, хотя вариантами являются не отличающиеся друг от друга редакции одного текста на одном языке (как это должно быть в составе филологического корпуса), а переводные эквиваленты одного текста на разных языках. Тем не менее, результаты поиска в параллельном корпусе представляются в приемлемом виде (решение проблемы под литерой б): текст оригинала визуально отделен от контекстов переводов, а сопоставление текстов на разных языках (называемое *выравниванием*, *alignment*) перед помещением в корпус выполняется в полуавтоматическом режиме с помощью специальных программ (решение проблемы под литерой в).

Действительно, уже сейчас можно предсказать, что важной проблемой при создании филологического корпуса станет автоматическое сравнение вариантов, которое фиксировало бы разницу между этапами работы над текстом (взятая в целокупности она называется «творческой историей»). Скорее всего, имеющиеся средства выравнивания текстов, используемые для параллельных корпусов, без настройки и введения дополнительной функциональности, ориентированной на специфику поэтической речи, нельзя будет использовать в построении текстовой базы. В то же время компьютерная лингвистика успела разработать полезные алгоритмы (см. алгоритм *шинлов*) нахождения повторяющихся фрагментов текста. Их адаптация к нуждам филологического корпуса позволит во многом автоматизировать трудоемкий текстологический процесс сравнения вариантов. В связи с этим можно обратить внимание на прототип электронной системы представления вариантов художественных текстов на материале стихотво-

рения «Анчар»<sup>5</sup>. В среде цифровых гуманитарных технологий<sup>6</sup> на Западе также идут работы в этом направлении, получившем общее обозначение «text collation» (см. [Gilbert: 139–147]).

Несомненно, что помимо текстовой расшифровки (транскрипции) рукописного варианта в филологическом корпусе должны присутствовать и изображения оригинальных автографов<sup>7</sup>, по которым исследователь смог бы уточнить чтение того или иного фрагмента (особенно это актуально в случае, когда почерк не позволяет прочитать все с полной ясностью). Изображения и текст должны быть связаны («залинкованы»), удачные примеры этой визуальной стратегии можно найти в представлении Codex Sinaiticus (<http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx>) и рукописей М. Пруста ([http://research.cch.kcl.ac.uk/proust\\_prototype/index.html](http://research.cch.kcl.ac.uk/proust_prototype/index.html)).

Реализация связи текста и изображения составляет существенную проблему перспективного филологического ресурса. Автоматизация этой задачи вызывает сомнения, потому что современные системы распознавания изображений (Optical character recognition) хорошо справляются с печатным текстом, но плохо умеют понимать текст рукописный. В этом направлении работа ведется и коммерческими компаниями, и членами академического сообщества, но в целом рассчитывать на то, что в этой части подготовки корпуса компьютер сможет качественно облегчить усилия человека, не приходится. В то же время для человека может быть создано специализированное рабочее место, текстовый редактор, учитывающий потребности текстолога.

Наконец, в филологическом корпусе должен найти отражение и комментаторско-интерпретативный вектор науки о художественных текстах. Надо признать, что подобного рода задачи до сих пор были далеки от тех, которые решались в рамках построения корпусов. С комментированием, введением в оборот важных для понимания культурно значимого произведения научных работ лучше справлялись электронные научные издания (ЭНИ), своего рода стандарт которых был предложен Фундаментальной электронной библиотекой «Русская литература и фольклор» (<http://feb-web.ru/>). Каждое ЭНИ предоставляет пользователю возможность ознакомиться с интересующим его произведением, с основной литерату-

---

<sup>5</sup> Ресурс доступен в Интернете по адресу <http://lcpb.bashedu.ru/cgi-bin/an-char-sample.pl>

<sup>6</sup> Digital Humanities, Н.В. Перцов предлагает называть эту область «компьютерной гуманитаристикой» (см. [Перцов: 647], 2015. С. 647).

<sup>7</sup> Сходные идеи изложены в статье Перцова «Об аутентичном факсимильно-транскрипционном представлении рукописей русских писателей» [Перцов: 627–648].



рой о нем и библиографическими справочниками, формирующими дальний горизонт относящегося к предмету чтения.

Для корпуса схемы связи текста и метатекста, по всей видимости, нужно будет изобретать его разработчикам, так как сформированные в рамках ЭНИ и в рамках корпусной лингвистики подходы плохо монтируются между собой. Применяемая в корпусах *разметка* обычно включает заранее заданный набор параметров, значения которых приписываются словам или сочетаниям слов. Круг тем, которые могут возникнуть в связи с художественным текстом, принципиально не ограничен, поэтому даже с опорой на существующие исследования и с учетом того, что уже разработаны компьютерные программы семантического анализа, представляется невозможным автоматизировать и унифицировать смысловую (или даже хотя бы тематическую) разметку помещенных в филологический корпус произведений. Иными словами, добиться той же легкости филологически значимой разметки текста, что и морфологическая разметка, для традиционного лингвистического корпуса, по всей видимости, не удастся. При этом важно помнить, что корпусная разметка не должна быть научным исследованием сама по себе, она лишь достаточно простой инструмент, исследование облегчающий. Это добавляет трудностей в задачу наложения смыслового слоя на художественный текст.

Очевидное (хотя и паллиативное) решение обозначенной проблемы – это привязка к художественному тексту уже существующих филологических комментариев. В распоряжении современного исследователя имеются претендующие на полноту комментаторские труды Ю.М. Лотмана, В.В. Набокова («Евгений Онегин»), Л.И. Соболева («Война и мир») и др. Очевидный плюс такого подхода – простота решения. В минусах будут числиться отсутствие унифицированной подачи комментария и вытекающая из этого невозможность превращения комментария в корпусную разметку. Кроме того, несмотря на высокий профессионализм и добросовестность авторов, комментарий в силу естественных причин не может быть полон (можно вспомнить хотя бы о работах, вышедших в печати уже после появления комментария).

Таким образом, создатели филологического корпуса не могут ограничиться привязкой существующих комментариев к тексту. Им следует также предусмотреть обращение к имеющейся посвященной исходному тексту научной литературе. В идеальном случае следовало бы построить систему автоматического извлечения из литературоведческих трудов релевантной для интерпретации художественного произведения информации (соответствующая область компьютерной лингвистики называется *information extraction*).

Вторым базовым элементом разметки филологического корпуса должны стать эксплицитно обозначенные и доступные для поиска случаи интертекстуальных схождений как внутри корпуса одного автора (самоцитирования), так и за его пределами. Отчасти эту проблему решают уже упомянутые технологии нахождения дубликатов и повторов в текстах (алгоритм шинглов), но не следует забывать и о более сложных случаях интертекста, указания на которые можно будет найти только в специальной литературе.

К сожалению, далеко не все необходимые для создания филологического корпуса технологии разработаны, хотя во многом современная наука вплотную подошла к решению многих технических задач. Все это означает, что по крайней мере в первое время придется использовать ручной труд экспертов. Как кажется, удобным инструментом ручной текстовой разметки может стать программная платформа «Annotation Studio», разрабатываемая в Массачусетском технологическом институте (<http://www.annotationstudio.org/>). Она предоставляет несколько удобных возможностей привязывания к произведению филологически важной информации как текстового, так и мультимедийного характера. Кроме того, эта платформа предполагает низкий порог вхождения для экспертов-филологов, которые при этом могут не являться экспертами в области компьютерных технологий.

Итак, очевидно, что текстологическая часть филологического корпуса должна включать в себя, по меньшей мере, все доступные редакции и варианты произведения, которые исследователь имел бы возможность читать, сравнивать между собой (используя при этом технические средства поиска и визуализации различий) и с изображением рукописи или аутентичного печатного издания. При этом требующими проработки оказываются разнообразные детали реализации этой идеи: от устройства поисковой статистики до технологии связывания расшифровки и изображения.

Кроме текстологической части филологический корпус должен иметь комментаторско-интерпретационную. В ее рамках текст должен быть связан со сделанными в литературоведческих исследованиях выводами о структуре, смысловых акцентах, текстуальных источниках произведения. Конкретное воплощение связей на уровне поиска и интерфейса пока может быть прорисовано только в самых общих чертах, поскольку аналогичной функциональности пользователям лингвистических корпусов до сих пор не предоставлялось.

## ЛИТЕРАТУРА

*Бодрова А.С., Пильщиков И.А.* Проблемы корпусного подхода к задачам авторской лексикографии // Авторская лексикография и история слов: К 50-летию выхода в свет «Словаря языка Пушкина». М., 2013. С. 59–61.

*Орехов Б.В.* Что такое филология? // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2010. № 3. С. 74–82.

*Перцов Н.В.* Лингвистика, поэтика, текстология. Избранные статьи. М., 2015. С. 649–650.

*Плунгян В.А.* Корпус как инструмент и как идеология: О некоторых уроках современной корпусной лингвистики // Русский язык в научном освещении. 2008. № 2 (16). С. 7–20.

*Gilbert P.* Automatic collation: A technique for medieval texts // Computers and the Humanities. Jan. 1973. Vol. 7. Issue 3. P. 139–147.

*Leech G.* Corpora and theories of linguistic performance // J. Svartvik (ed). Directions in Corpus Linguistics: Proceedings of the Nobel Symposium 82. Stockholm. 4–8 August 1991. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. P. 105–122.

# К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ФАКСИМИЛЬНО-ТРАНСКРИПЦИОННОГО КОРПУСА РУКОПИСЕЙ ПУШКИНА<sup>1</sup>

*Н.В. Перцов*

В настоящей работе речь пойдет о создании факсимильно-транскрипционного корпуса рукописей Пушкина, рукописное наследие которого насчитывает около 13 тыс. страниц.

Рукописи писателя содержат, как правило, многочисленные варианты текста, отвергнутые автором в пользу более совершенных, с его точки зрения (исключения – чисто беловые или наборные рукописи). При этом не всегда выбор автора может быть разделяем читателями; иногда этот выбор диктуется автоцензурными или чисто личными мотивами. В таких случаях тщательная фиксация всех вариантов текста особенно важна (при том что в качестве основного в подавляющем большинстве случаев выбирается текст, отвечающий последней авторской воле, отраженной либо в последней прижизненной публикации произведения, либо в верхнем слое черновика).

Для фиксации вариантов рукописного текста обычно используется запись в виде их последовательного перечисления относительно некоторого фрагмента текста, выбираемого в качестве основного. При этом может использоваться система подачи последовательности вариантов в сноске к основному фрагменту, помещаемой внизу страницы – как это сделано в Большом академическом собрании сочинений Пушкина (АПСС). В такой записи варианты поданы явно, и в этом состоит достоинство такой их подачи в виде последовательности, так сказать – «секвентивной» подачи, или «секвенции». Однако необходимо указать и недостаточность чисто секвентивной подачи вариантов, а именно – отсутствие наглядности и прямой соотнесенности с рукописью. В самом деле, при сопоставлении секвенции с реальной страницей соответствующей рукописи нередко обнаруживаются расхождения между первой и второй: 1) в рукописи не виден тот или иной фрагмент, отмечаемый в секвенции; 2) в рукописи имеется фрагмент, отсутствующий в секвенции; 3) в секвенции отмечен вариант, не находящий подтверждения в рукописи (при том, что все слова варианта в рукописи видны); 4) в секвенции

---

<sup>1</sup> Настоящая работа в значительной мере опирается на статью автора [Перцов. 2015а] и заимствует из нее некоторые обширные фрагменты.

нет варианта, вычитываемого из рукописи. На основании секвенции мы не всегда можем установить, с каким фрагментом рукописи соотносится тот или иной фрагмент секвенции – или, скажем, к какому рукописному фрагменту относится помета о нечитаемости «нрзб.»<sup>2</sup>.

В этом отношении транскрипция рукописи – т.е. ее отчетливое, разборчивое представление, с возможным сохранением ее «топологии», т.е. взаимного расположения фрагментов (в частности, с сохранением разбивки текста на строки) – представляется гораздо более наглядным способом изучения последней. Сопоставляя транскрипцию с соответствующим факсимиле сложного черновика, мы гораздо легче находим соответствия между транскрипционными и рукописными фрагментами, нежели в случае секвентивной подачи данных черновика. При этом при наличии транскрипционного корпуса нам доступны способы создания и пользования системами поиска в этом корпусе. Факсимиле такой возможности не дают, а транскрипционные корпуса не уступают секвенции в отношении разработки систем поиска. В поисковой системе для факсимильно-транскрипционного рукописного корпуса (ФТРК) мы можем формировать различные поисковые запросы – скажем, о наличии в рукописи того или иного слова, словосочетания или вообще любого фрагмента (линейного или более сложного), о нечитаемых фрагментах. Если ФТРК содержит дополнительные, кроме факсимиле и транскрипции, данные – скажем, об атрибутированных портретах или рисунках определенного рода – можно будет по соответствующему запросу получать набор рукописных страниц с такого рода феноменами (например, с портретами определенного лица или с рисунком женских ножек).

Отметим, что область текстологии рукописей (или «рукописной текстологии») весьма тесно связана с лингвистической проблематикой, взятой в широком понимании.

В самом деле, словесный состав черновиков, который не входит в основные тексты писателя, а отмечен только в разделе вариантов, как правило, не фиксируется в авторских словарях. Поэтому пристальное внимание к такого рода словам в черновиках

---

<sup>2</sup> В случае нечитаемости фрагмента очень полезными представляются данные о предположительном количестве символов в нем – либо в виде прямого указания числа после пометы «нрзб.», либо в виде печатания соответствующей цепочки вхождений специального символа (например, затененного квадрата □; тогда, скажем, последовательность из пяти затененных квадратов □□□□□ отмечает нечитаемый фрагмент рукописи, предположительно состоящий из пяти символов). Подробнее см. ниже в разделе о текстологической нотации.

нужно для обеспечения полноты словаря языка писателя, т.е. это имеет значение для авторской лексикографии.

Почему внимание к черновикам важно – наряду с исследованием беловиков? Обращусь к аналогии из другой области – изучения устной речи. Беловики можно сопоставить с тщательно подготовленным устным выступлением (когда человек говорит «как по-писаному»), а черновики – со спонтанной, заранее не подготовленной речью, со всеми ее оговорками, повторениями, с несобственно языковыми вкраплениями, с долгими паузами и тому подобными «заминками». Очевидно, оба эти типа устной речи достойны исследования, а спонтанный тип в психолингвистическом отношении интереснее. То же относится и к черновикам.

Наконец, черновики писателя могут нам многое сказать о психологии его творчества, в частности о психолингвистических характеристиках его письменной речи: черновик как-то отражает сам процесс рождения текста, его становление, поиск, приближение к некоему результату; причем не всегда результат в черновике налицо.

Факсимильно-транскрипционный рукописный корпус можно представлять себе как базу данных, в качестве единиц (записей) в которой выступают факсимильно-транскрипционные представления страниц рукописи<sup>3</sup>. Как явствует из самого наименования, ФТП страницы рукописи включает в себя два обязательных «поля» – факсимиле этой страницы и ее транскрипцию. В последней следует сохранять режим правописания исходной рукописи, равно как вообще в аутентичных научных представлениях и изданиях художественного текста. Обоснование этого тезиса было дано в пионерских работах М.И. Шапира (из которых упомяну две – [Шапир. 2001; 2002]), а впоследствии оно было развито в моей статье [Перцов. 2008].

Кроме двух необходимых компонентов ФТП – факсимиле и транскрипции, в его составе могут быть даны и другие, «факультативные», «поля», часто представленные в архивных описаниях: характер текста (черновой, белой с поправками, белой), отнесение текста к тому или другому произведению, особенности

---

<sup>3</sup> Используются следующие сокращения: ФТП(Р) – факсимильно-транскрипционное представление (рукописи) (или представления (рукописей)); ФТИ(Р) – факсимильно-транскрипционное издание (рукописи) (или издания (рукописей)). Для различения печатных и электронных представлений и изданий можно использовать постфиксы «-П» и «-Э» соответственно; например, сокращение «ФТПР-Э» полностью читается так: «электронное факсимильно-транскрипционное представление рукописи».

бумаги, пишущих средств, пометы посторонних лиц, идентификация рисунков, датировка и другие сведения.

Такое представление рукописей ориентировано именно на филологов-специалистов – и вообще на читателей, заинтересованных в постижении тонкостей истории создания текста и той точки в этой истории, на которой остановилась работа автора. В данной связи особенно важными и показательными являются черновые рукописи тех произведений, которые не были опубликованы при жизни автора и не были им доведены до белого состояния. Следующие две ступени сужения объекта внимания таковы: первая – незавершенные стихотворные произведения, вторая – незавершенные стихотворения Пушкина, оставшиеся только в черновиках.

Такого рода сужение представляется вполне правомерным. Еще классик отечественной текстологии С.М. Бонди несколько десятилетий назад [Бонди. 1937] отметил: «Пушкинская текстология сделалась представительницей русской текстологии вообще» (цит. по: [Бонди. 1971: 143]). В обширном рукописном наследии Пушкина мы встречаем самые разнообразные типы текстологически релевантных ситуаций; поэтому те выводы, которые можно сделать на основе внимательного анализа этого наследия, распространяются на рукописную текстологию вообще.

Итак, возьмем вполне характерную для рукописей Пушкина ситуацию: перед нами лежит черновик стихотворного текста, очень сложный для восприятия (не говоря уже о расшифровке), черновик измаранный, исчерканный, с заменами и вставками, с возвращениями к уже испробованным вариантам, иногда с густо замазанными фрагментами... Рассмотрим характерный образец – фрагмент страницы из рабочей тетради Пушкина – «Второго альбома» – с черновиком стихотворения «Въ прохладѣ сладостной фонтановъ...», которое при жизни поэта опубликовано не было [РО ИРЛИ. № 838: Л. 73]. Первый опыт расшифровки этого очень сложного черновика был осуществлен П.Е. Щёголевым в 1911 г. – спустя 83 года после его написания [Щёголев. 1911]; затем эта расшифровка дополнялась и корректировалась (причем однажды – самим Щёголевым, в 1931 г. незадолго до кончины [Щёголев. 1931: 317–324]). Далее в [1a] приведена реконструкция первых двух строк стихотворения; затем в [1b] дана транскрипция этого начального фрагмента рукописи (угловые скобки в реконструкции и затененность в транскрипции отмечают предположительность разбора или выбора соответствующего фрагмента; затененный квадратик – неразобранный символ в рукописи; знак ^ – «крышка» –

недописанный «хвост» слова; более подробно о текстологической нотации говорится в статье далее)<sup>4</sup>.

[1a] Реконструкция начала стихотворения Пушкина «В прохладе сладостной фонтанов...» по черновику [РО ИРЛИ. № 838: Л. 73] <Въ прохладѣ> сладост<ной> фонтановъ / И стѣнь обрызганныхъ кругомъ / Пиить бывало тѣшилъ хановъ / Стиховъ гремучимъ жемчугомъ // На нити празднаго веселья / Низаль онъ хит<роу рукой> / Прозрачной лести ожерелья / И четки мудрости златой

[1b] Транскрипция начала черновика [РО ИРЛИ. № 838: Л. 73].

Въ—прохладѣ            Въ про^ при шумѣ    брыз^ фонтановъ    сладост^  
 при ш^ при шумѣ            фонтановъ  
 нить            нить            И стѣнь обрызганныхъ    кругомъ  
 Въ-Поэтъ            хановъ    пить бывало    дарилъ,    бывало    тѣшилъ  
 восточной пѣнию—оглашалъ    бывало  
 празднаго    Стиховъ    гремучимъ    жемчугомъ—  
 взавъ  
 На нит[ь]>и| легк[я]>аго| веселья  
 Онъ            Онъ—имъ—низаль            онъ прозрачной лести  
 Низаль онъ    хит□□□□            имъ    лести  
 Хвалы            Ни^            низаль—онъ—хитры            ожерелья  
 хвалы    хвалы    восточной  
 мудрости    златой—  
 И четки    мысли    благой—

Когда мы работаем с таким запутанным черновиком, нас прежде всего интересует, можно ли извлечь из него некий основной текст – тот связный текст, на котором остановилась работа поэта; две другие задачи – это, во-первых, извлечение вариантов – исходного и промежуточных – для тех или иных фрагментов черновика, во-вторых, установление последовательности его заполнения. Не для всех черновиков достижимо выполнение не только всех указанных трех задач, но даже первой, основной – уверенного установления основного текста (в отдельных случаях, впрочем нечастых, для того или иного фрагмента черновика – с очень густой правкой – неясен даже его исходный вариант). В подобного рода случаях можно говорить лишь о гипотетическом установлении текста.

<sup>4</sup> И реконструкция, и транскрипция составлены автором настоящей статьи на основе данных других текстологов. Отмечу расхождение в [1a] с предлагавшимися ранее реконструкциями: в 3-й строке вместо начального «Поэтъ» я усматриваю вариант «(П)ить». Дело в том, что первая словоформа повторена в верхней части черновика дважды, вторая – трижды, причем из этих пяти вхождений единственным незачеркнутым остается фрагмент «пить» (который, кстати, по стилистическим соображениям представляется более уместным).



Существенный недостаток отечественной текстологии рукописных черновых текстов состоит в том, что такого рода гипотетичность, как правило, либо вообще не отмечается, либо отмечается недостаточно четко; обходятся вниманием или указываются в очень ограниченном кругу случаев феномены так называемой рукописной текстологической неопределенности<sup>5</sup>. В первых двух строках черновика [1b] – мы видим неопределенность выбора начальной предложной группы – то ли «Въ прохладѣ», то ли «При шумѣ»<sup>6</sup>. А тогда фрагмент «сладост» справа в первой строке – недописанное прилагательное – может реконструироваться либо как «сладостной» («Въ прохладѣ сладостной»), либо как «сладостномъ» («При шумѣ сладостномъ»); нельзя игнорировать еще одну возможность – подчинение прилагательного слову «фонтановъ»; итого получается четыре возможных варианта этой строки: а) «Въ прохладѣ сладостной фонтановъ»; б) «При шумѣ сладостномъ фонтановъ»; в) «Въ прохладѣ сладостныхъ фонтановъ»; г) «При шумѣ сладостныхъ фонтановъ»<sup>7</sup>. Данная текстологическая рукописная неопределенность явно нигде не отмечена.

Незавершенный, неберебеленный, черновик стихотворения можно сопоставить с такими феноменами изобразительного искусства, как в живописи набросок картины или в скульптуре набросок объемного изображения (статуи, бюста или барельефа и т.п.). Такие наброски могут обладать незаурядной художественной ценностью, мы можем встречать их в музеях и на художественных выставках, можем ими любоваться – невзирая на их незавершенность, наоборот – зачастую получая от нее особое эстетическое впечатление; однако насколько мне известно, опыты дописывания незавершенных картин или «долепливания» незавершенных скульптур крайне редки – если вообще существуют. В совре-

---

<sup>5</sup> О феномене текстологической неопределенности см. в статье [Перцов, Пильщиков. 2011: 11–14].

<sup>6</sup> Поэт колеблется в выборе: намечены пять фрагментов, из которых четыре зачеркнуты; фрагмент во второй строке «При шумѣ» восстановлен посредством разрядки под этими двумя словами, но в первой строке остается незачеркнутым неочетливый четырех- или пятибуквенный фрагмент – нечто похожее на «Въ\_про» (предлог и начало существительного в скорописи написаны слитно), что предположительно читается как начало группы «Въ прохладѣ».

<sup>7</sup> П.Е. Щеголев (1911) и В.Я. Брюсов (в издании [Пушкин 1919: 311]), где он был редактором) интерпретировали эту строку как (с); М.А. Цявловский в собрании сочинений [Пушкин. 1930: 175–176] – как (б); тот же Щеголев в книге [Щеголев. 1931: 321] – как (а); этот последний вариант был принят в Большом академическом собрании сочинений [АПСС. Т. III, кн. 1: 129]. – Замечу, что из 24 строк этого стихотворения указанные публикации полностью солидарны менее чем в половине случаев!

менном искусствоведении реконструкцию незавершенного произведения не принято выдавать за создание того художника или скульптора, который оборвал свою работу. Совсем не так обстоит дело в текстологии.

В большом числе черновиков мы имеем дело с ситуацией, когда автор свою работу бросил: либо он оставил свой замысел и к нему более не возвращался, либо продолжение и возможное завершение работы нам неизвестно – не сохранились соответствующие рукописи. Текстологи же, движимые исследовательской любознательностью и нацеленные на реконструирование как основного текста черновика и его неокончателных вариантов, т.е. на секвенцию вариантов, так и нередко на «анимацию» черновика, т.е. последовательность его заполнения, зачастую подают свои реконструкции как безусловные тексты исследуемого автора, не вызывающие сомнений, а такая категоричность представляется абсолютно неправомерной, не отвечающей самому характеру рабочих рукописных источников, нередко прерванных едва ли не на полуслове. Я вовсе не возражаю против реконструкции текстов на основе черновика – я возражаю против придания им безусловного, категоричного статуса и призываю к введению в арсенал текстологии новой рубрики: гипотетичные реконструированные тексты. Здесь дело не должно ограничиваться постановкой при отдельных фрагментах сигналов конъектур, т.е. сигналов предположительности, с помощью заключения таких фрагментов в угловые скобки или указания после них вопросительного знака в таких скобках, как это принято в текстологии – нет, я имею в виду необходимость особого указания гипотетичности цельного реконструированного текста – так сказать, постановки метки его гипотетичности.

При ориентации на филолога для сложных, плохо читаемых черновиков вообще недостаточна реконструкция связанных с ними текстов – основного и промежуточных. Если мы обратимся к главному по авторитетности на сегодняшний день изданию текстов Пушкина – Большому академическому шестнадцатитомному собранию сочинений, окончательно завершеному более полувека назад, мы в разделе «Другие редакции и варианты» увидим во многих случаях не столько указание таковых, сколько опыты воссоздания процесса заполнения черновика. Это становится явным при внимательном изучении вариантов в АПСС, как это можно усмотреть на примере подачи вариантов для фрагмента черновика в [1с], относящегося к тому же черновику «В прохладе сладостной фонтанов...».

1с Варианты для начальных строк стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов...» [АПСС. Т. III, кн. 2: 674–675]

При шуме	фонтанов
В	
Поэт	ханов
Восточной песнью оглашал	
	*
В прохладе	фонтанов
	*
При шуме брыз <sup>&lt;жущих&gt;</sup> <sup>&lt;?&gt;</sup>	фонтанов
	*
При шуме сладост <sup>&lt;ном&gt;</sup>	фонтанов
	*

Однако в ряде случаев тщательное сопоставление таких «секвентных» данных с реальным положением дел в рукописи обнаруживает их произвольность: нередко мы видим там возможность разных решений относительно самих вариантов для тех или иных «позиций», относительно последовательности возникновения вариантов, относительно выбора окончательного – основного – варианта; иногда – правда, не очень часто – неясен даже исходный вариант; не говорю о том, что «анимация» черновой рукописи в большинстве случаев не может быть установлена с полной определенностью относительно всего объема рукописного пространства соответствующей страницы<sup>8</sup>.

В данной связи становится очевидной необходимость обращения к соответствующему черновику: желательно изучать его, во-первых, *de visu* – в оригинале или факсимильном воспроизведении – и, во-вторых, обращаясь к его транскрипции, если таковая имеется, или составляя такую транскрипцию.

Бегло коснусь вопроса о двух видах транскрипции, которые в предварительном порядке можно было бы назвать «топологическим» (или «изоморфным») и «блоковым». Топологиче-

---

<sup>8</sup> Если говорить о страницах черновиков Пушкина, мне представляется, что лишь в весьма ограниченном числе случаев (вряд ли больше пятнадцати процентов) последовательность их заполнения может быть достаточно надежна установлена (в этом отношении демонстрация последовательности заполнения страницы черновика «Медного Всадника» в известном прекрасном фильме 1961 г. «Рукописи Пушкина» выглядит не чем иным, как очень красивой гипотезой). Другое дело, что относительно «прозрачных» рукописных черновых фрагментов решение задачи их «анимации» выглядит весьма заманчиво. На это направлен проект «Видеотекст», осуществляемый группой исследователей под руководством автора этих строк (см. [Хомякова. 2013]).

ская транскрипция по возможности сохраняет внешний вид рукописи; в ней фрагменты, расположенные на странице «нестандартным» образом – верхом вниз, параллельно боковым краям, диагонально и т.п., – помещаются аналогичным образом. В блоковой транскрипции страница «расчленена» на отдельные фрагменты-блоки, для каждого из которых дается своя отдельная транскрипция. Топологическая транскрипция удобна для общего обзора страницы, блоковая – для анализа отдельных текстов и для поиска.

К сожалению, классики отечественной текстологии – при всех их колоссальных достижениях (особенно в области расшифровки запутаннейших Пушкинских черновиков) – выражали скептицизм по отношению к транскрипции как методу текстологического исследования и средству представления результатов последнего. Они считали транскрипцию чем-то вроде строительных лесов, необходимых при постройке, ремонте или окраске здания: после завершения работ и снятия лесов эти последние оказываются ни для чего не нужными и могут быть уничтожены. При этом, расшифровывая черновики, текстологи сами для себя транскрипции составляли, иногда их выборочно публиковали.

Такой «транскрипционный нигилизм» можно отчасти объяснить справедливым критическим отношением к буквализму некоторых предшествующих изданий Пушкина, когда транскрипцию плохо читаемого черновика, с пропусками и неразобранными фрагментами, помещали не в «технических» разделах редакций и вариантов, а в основном разделе в окружении прочих текстов, среди которых многие носили законченный и отделанный характер. Такого рода подача черновика выглядела действительно странно. К сожалению, подобная неуместность расположения транскрипций среди готовых текстов – совместно с изъянами в конкретных транскрипциях – действительно дискредитировала транскрипцию как метод и надолго определила несправедливое нигилистическое отношение к этому методу со стороны многих текстологов, сохраняющееся, увы, и ныне.

Уже более столетия назад в предуведомлении к второму тому академического собрания сочинений Пушкина мы находим очень точные слова о статусе и пользе транскрипций – и при этом трезво отмечаются ограничения транскрипционного метода:

Стремление по возможности исчерпать черновыя бумаги, прочесть все зачеркнутое, все не дописанное, стремление не только разобрать черновую, но до известной степени анализировать ее, определять взаимныя отношенія между поправками, их послѣдовательность, конечно, не всегда могло быть осуществляемо въ полной мѣрѣ:

не могут не встречаться мѣста, неточно прочтенныя (особенно въ наиболѣе сложныхъ черновыхъ). Но несмотря на все это, несмотря на то, что передача наборомъ рукописи не может исчерпать и закрѣпить всѣхъ ея особенностей и замѣнить собою передачу въ точныхъ снимкахъ, въ факсимиле, комиссія признала необходимымъ именно такое полное, по возможности исчерпывающее пользование черновыми рукописями Пушкина, такъ какъ только такимъ способомъ полнѣе выясняются отношеніе бѣловаго текста къ черновому, и ближе опредѣляются процессъ и приемы творчества великаго поэта. Печатная передача рукописи не замѣняетъ собою факсимиле, но она имѣетъ важное значеніе и при пользованіи точными снимками или даже подлинной рукописью: при неразборчивости черновыхъ рукописей печатная ихъ транскрипція<sup>9</sup> необходима; вводя ее въ программу изданія комиссія имѣла въ виду интересы дальнѣйшаго изученія рукописей Пушкина. Кромѣ того, только при указанномъ возможно исчерпывающемъ пользованіи рукописей Пушкина, при печатной транскрипціи ихъ самое пользованіе ими для установленія текста или вариантовъ ставится подъ возможный контроль читателю [*Пушкин*. 1905: III–IV].

Возможно, если бы в этом авторитетном академическом издании транскрипции черновиков не вторгались в основной разделе в поток относительно или полностью завершенных текстов, а были вынесены в какой-то особый раздел, транскрипционный метод в дальнейшем не подвергся бы столь суровой критике и даже несправедливому остракизму.

Острожный скептицизм к нему выразил в 1922 г. Б.В. Томашевский в своем критическом анализе текстологических работ М.Л. Гофмана:

Не так давно черновики, как документы творческого процесса, не интересовали издателей, которые из них лишь выбирали варианты и компановали (sic!) связную редакцию. Компановки эти были навивны, при перепечатках из издания в издание смешивались с беловыми текстами и разрушали цельность изданий. Потом наступила естественная реакция – отрицание связок и предпочтение документальной «транскрипции». Но точность «транскрипции» не совпадает с подлинностью воспроизведения. Рукописи она не передает, т.к. не воспроизводит всех графических особенностей подлинника, чрезвычайно важных для установления связи между словами. И Гофман на примере «Гречанки» убедительно доказывает недостаточность простой транскрипции. Задачей является извлечение сводки (или параллельных сводок при развитой вариантной системе) [*Томашевский*. 1922: 175].

---

<sup>9</sup> Это самое раннее из известных мне употреблений термина *транскрипция* в текстологическом значении (1905-й год!).

Спустя три года тот же исследователь в книге о транскрипционном методе отзывается уже гораздо более резко:

Якушкин слишком сильно увлекался воспроизведением всех черновых бумаг Пушкина и засорял примечания неудобочитаемыми «транскрипциями», что вызвало нарекания журнальной критики [*Томашевский*. 1925: 26]

(...) во 1) никогда типографскими значками не передать всех тонкостей в рукописи, где характер штриха, направление строк, мелкие непередаваемые знаки руководят нас в последовательности чтения: по транскрипции поэтому труднее читать, чем по автографу; во 2) транскрипция есть, собственно говоря, сырая, недоделанная работа, не дающая основных моментов автографа – его скелета и его раскладки.

К тому же – транскрипции никто не читает, и я не знаю ни одной научной работы, которая серьезно пользовалась бы чужими транскрипциями. Всегда исследуется самый автограф, независимо от транскрипций. Транскрипция нужна лишь как приложение к факсимильному изданию (что сделано Бионкуром в его издании «Русалки»), но никоим образом не как самоценный труд. Попытки восполнить транскрипцию описанием вряд ли к чему приведут. Правильнее всего совершенно отказаться от транскрипции и делать только скелет и сводку, сопровождая его связными контекстовыми вариантами всех слоев. Только при таких условиях есть гарантия, что исследователь внимательно прочтет и изучит рукопись и избежит основных ошибок, сопровождающих механическое прочтение.

Вообще – целесообразно лишь изучение, направленное к сознательно поставленной цели. Меж тем транскрибирование в наши дни становится самоцелью, спортом. Транскрипторы чрезвычайно обеспокоены обстоятельством, надписано или подписано слово в строке, и не задаются вопросом – с чем оно согласовано и что оно значит. Чисто зрительная сторона поглощает внимание. Прочсть неразборчивое слово считается великой победой. Понять значение слова в контексте – пустяк, транскриптора не занимающий [*Томашевский*. 1925: 49–50].

Проходит еще три года – и в книге [*Томашевский*. 1928] разоблачительный пафос по отношению к транскрибированию рукописей несколько смягчен и подчеркивается нужность сопровождения факсимильных воспроизведений рукописи транскрипциями.

А еще спустя несколько лет С.М. Бонди в уже упомянутой выше статье [*Бонди*. 1937] обращает в сторону транскрипционного метода новую волну резкой критики (цит. по: [*Бонди*. 1971]):

С точки зрения передачи текста транскрипция почти непригодна, так как она дает много совершенно лишнего (...) транскрипция не отвечает целям ни передачи полного текста (здесь она дает много лишнего), ни передачи создания полного текста (для этого она недостаточна). Это – форма [*Бонди*, 1971: 146–147].

Правда, несколькими строками ниже Бонди делает оговорку, признавая уместность публикации транскрипций в ряде случаев – в частности, «при факсимильном воспроизведении рукописи, чтобы помочь читателю разобраться в ней» [Бонди. 1971: 147]. А в разделе VI «Чтение черновика» той же статьи автор, говоря, что исследование черновика должно быть нацелено на его сводку, утверждает, что без нее «та транскрипция, которую делает в процессе чтения текстолог, не имеет завершения и потому большей частью бессмысленна», к каковому месту делается сноска, очень любопытная с точки зрения ее внутренней противоречивости:

Эта транскрипция, конечно, не имеет ничего общего с теми печатными транскрипциями, о которых я говорил в начале статьи. Это не способ передачи, не публикация чернового текста, а внутренняя черновая работа текстолога, памятная заметка о том, что он все слова прочел, и копия, которой он может пользоваться вместо оригинала при дальнейших исследованиях [Бонди. 1971: 169].

Из этих слов следует, что для работающего с черновиком текстолога транскрипция бывает весьма полезна и даже на какое-то время может заменить оригинал<sup>10</sup>. Для адресата же его исследований она «межеумочна» и «бессмысленна». Почему? – Ведь текстолог не застрахован от ошибок: он может неправильно прочесть тот или иной фрагмент рукописи, дать в сводке неверную редакцию какого-либо фрагмента, допустить какой-либо ляпсус в выявлении промежуточного варианта или не заметить правильного – а для того чтобы это проверить, другой текстолог должен повторить ту кропотливую и тяжелую работу, которая была полностью осуществлена коллегой, т.е. составить свою рабочую транскрипцию соответствующей страницы или ее фрагмента – вместо того чтобы хотя бы отчасти воспользоваться результатом работы своего собрата!

Столь нигилистическое отношение к транскрипционному методу не помешало С.М. Бонди принять самое активное участие в полной публикации факсимиле и транскрипций одного достаточно обширного рукописного источника – рабочей тетради Пушкина [РО ИРЛИ. № 845], так называемого «Третьего альбома», заполнявшегося между 1833 и 1835 годами – [РПФИ]: Бонди был главным редактором этого издания. Можно предполагать, что если бы не начавшаяся через два года после этой публикации война,

---

<sup>10</sup> При готовой транскрипции текстолог может отвлечься от оригинала для составления предварительного послыонного представления фрагментов – их исходных, промежуточных и окончательных вариантов – с тем, чтобы после этого снова обратиться к факсимиле и сверить по нему полученные результаты.

работа над факсимильно-транскрипционными изданиями рукописей Пушкина была бы продолжена.

В последующем развитии отечественной текстологии опыты транскрибирования рукописей в ряде статей и отдельных публикаций текстов имели место (например, в книге [Шолохов. 2011]). Кроме [РПФИ], у нас имеется одно факсимильно-транскрипционное издание: это вышедшее недавно, в 2015 г., ФТИ «Грешневской тетради» Н.А. Некрасова [ГТН], подготовленное М.С. Макеевым. Однако, несмотря на эти транскрипционные опыты, отрицательное отношение к транскрипционному методу у многих филологов, к сожалению, стойко сохраняется.

ФТП или ФТИ достаточно объемного рукописного текста – скажем, рабочей тетради писателя – может быть дано в одном из двух видов – последовательном или параллельном. Последовательный вид – это помещение блока транскрипций после полного воспроизведения всего рукописного источника; параллельный же – это помещение для каждой страницы источника ее транскрипции в пределах одного печатного «пространства», т.е. на одном книжном развороте – скажем, на левой странице книжного разворота дается факсимиле страницы рукописи, на правой – ее транскрипция. Каждый из видов имеет свои достоинства и недостатки: последовательный сохраняет цельность источника как документа, но теряет в наглядности, параллельный же более нагляден, т.е. позволяет непосредственно соотносить рукопись и транскрипцию, но зато приводит к утрате цельности источника. Упомянутые ФТИР [РПФИ] и [ГТН] имеют вид последовательный.

Если обратиться к опыту зарубежной текстологии, следует отметить, что там ФТПР имеют значительно больший вес. В Германии ведется работа над изданием записных книжек Бертольда Брехта – вышли три из предполагаемых четырнадцати томов (т. 1, 2 и 7). Между 2006 и 2011 гг. вышли шесть томов аналогичного издания, содержащих факсимиле и транскрипции восьми рабочих тетрадей Франца Кафки, так называемых «Оксфордских октавных тетрадей». Оба издания реализуют параллельный тип представления рукописей. (Как кажется, для рабочих исследовательских целей такое представление черновики более удобно и эффективно.)

С 2011 г. группа ученых при университете Гёттингена (во главе с д-ром Габриэле Радеке) работает над изданием «Записных книжек» Теодора Фонтане – оно еще не вышло, проект планируют завершить к 2017 г.; в нем предусмотрено бумажное критическое издание, с избранными факсимиле как иллюстрациями, и электронное издание, строящееся по принципу «факсимиле + транскрипция».



В интернете имеются сайты с ФТПР англоязычных авторов:

- тетради романа «Франкенштейн» Мэри Шелли  
<http://shelleygodwinarchive.org/sc/oxford/frankenstein/notebook/a#n=5>)
- рукописи Уолта Уитмена  
(<http://www.whitmanarchive.org/manuscripts/transcriptions/pml.00006.html>)
- рукописи Эмили Дикинсон  
(<http://www.edickinson.org/collections>)

Возражения против транскрипций как метода известны: высказывалось опасение, что транскрипция зачастую может запутать исследователя, повести его по ложному пути, направить его внимание на ошибочные варианты. Действительно, такое может случиться, если исследователь ограничивается обзором одной только транскрипции без обращения к оригиналу. При расшифровке оригинала и реконструировании его фрагментов важно бывает многое, что либо невозможно, либо крайне затруднительно передать в транскрипции: пишущее средство (чернила, карандаш), его цвет и интенсивность, пишущий инструмент (скажем, гусиное или металлическое перо), резкость нажатия, характер почерка, замена одного фрагмента другим в случае «подправления» заменяемого фрагмента, т.е. написания нового поверх старого, а не рядом с ним; наконец, важны такие внешние характеристики документа, как тип бумаги, наличие филиграней, указания о сгибании листа, о наличии дезинфекционных проколов (делавшихся на заставах во время эпидемий) – и другое подобное. Транскрипция всего отразить не может – однако она может помочь в восприятии и анализе оригинала, может помочь как в реконструировании текстов черновика, так и в проверке такой реконструкции, проведенной другим исследователем. Без подробной транскрипции в случае сложного черновика такая реконструкция вообще невозможна. А в большом числе случаев текстолог, затративший много усилий на транскрибирование сложнейшего черновика, свою транскрипцию не публикует, не являет широкой аудитории, а оставляет у себя в архиве или вообще уничтожает как отработанное сырье.

Мой опыт работы с черновиками Пушкина (а также отчасти Хлебникова) говорит о том, что транскрипция – под неперменным контролем оригинала – позволяет в ряде случаев значительно продвинуться в реконструкции текстов черновика, а иногда в частичном установлении последовательности его заполнения. Иногда транскрипция позволяет многое увидеть в оригинале – и на какое-то время даже его заменить.

Итак, для рукописной текстологии необходимы ФТПР, подобные упомянутым ФТИ [РПФИ] и [ГТН]. Наиболее подходящим «полигоном» для такого рода ФТПР и ФТИР представляются электронные сайты в интернете, хотя и способ обычных – «бумажных» – изданий тоже не следует оставлять без внимания.

Далее я хотел бы коснуться вопроса о текстологической нотации для транскрибирования рукописей и реконструирования текстов на этой основе. Следует признать, что применяемые в отечественной текстологии нотационные средства для этих задач недостаточны.

Основными действиями при написании черновика являются две операции – написание и зачеркивание фрагмента; можно сказать, что к этим элементарным операциям сводятся все другие – или их подавляющее большинство. Например, замена одного фрагмента другим складывается из двух элементарных операций – зачеркивание исходного фрагмента и написание вместо него заменяющего. Разумеется, пользоваться в текстологической работе только двумя основными элементарными операциями было бы неудобно – как, скажем, неудобно пользоваться при задании натуральных чисел только двумя цифрами – нулем и единицей, в принципе достаточными – в теоретическом аспекте – для записи любого такого числа. В черновике возможны такие более сложные действия, как замена с возвратом к исходному варианту, перемещение фрагмента, инверсия (т.е. изменение порядка следования двух смежных фрагментов). Для представления последовательности замен (т.е. для «текстологического сценария») нужна специальная нотационная запись, отражающая все испробованные автором варианты.

Для транскрибирования и послыного представления рукописи следует разработать и использовать специальную текстологическую нотацию, которая, во-первых, должна охватывать основные типы явлений черновика, во-вторых, быть наглядной и не перегружать ни транскрипцию, которая должна быть по возможности топологически изоморфной оригиналу, ни послыное представление. набросок такой нотации представлен в [2]<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Это расширенная и подкорректированная версия текстологической нотации для отображения рукописей, представленной в приложении к статье [Перцов, Пильщиков 2011: 25–26]. Обращаю внимание на то, что как в транскрипции, так и в послыном представлении я допускаю некоторую вариантность записи; так, зачеркивание может передаваться как реальной линией, так и квадратными скобками, предположительность – как затененностью фрагмента, так и угловыми скобками.

2 Текстологическая нотация для передачи транскрипций или восстанавливаемых текстов.

- (1) [XYZW] (зачеркивание): фрагмент XYZW в рукописи зачеркнут. В транскрипции для зачеркивания можно использовать реальную зачеркивающую линию – ~~XYZW~~ (что представляется более наглядным) – или же прибегать к квадратным скобкам (что выглядит более четко при зачеркивании одного-двух символов в составе слова). В сводке или в послойном представлении вариантов квадратные скобки предпочтительны.
- (2) [XYZW] (зачеркивание с возвращением к первоначальному варианту): фрагмент XYZW сначала был зачеркнут, а затем восстановлен (рядкой или подчеркиванием).
- (3) <XYZW> (конъектура): фрагмент XYZW не имеет прямого соответствия в рукописи, т.е. либо этот фрагмент в рукописи реально отсутствует (например, «сладостн(ой)» в [1a], что в рукописи соответствует написанию «сладост» – см. [1b] справа в первой строке), либо он наличествует в рукописи, но плохо различается и лишь восстанавливается – уверенно или предположительно (например, «(сыны)» на [РО ИРЛИ. № 838: Л. 73]), либо на его месте стоит нечто другое, что с большей или меньшей степенью уверенности может быть сочтено ошибкой автора (например, на [РО ИРЛИ. № 838: Л. 73] фрагмент «съ такой силой» не укладывается в размер и передается в восстанавливаемом тексте следующим образом: «Не вымышляль съ тако(ю) силой»<sup>12</sup>).
- (4) {A | B | ... | Y | Z} (альтернативные варианты): варианты A, B, ..., Z, занимающие в тексте одну и ту же позицию (синтаксическую, ритмическую, смысловую), записаны в рукописи рядом друг с другом, причем A – это исходный вариант, Z – окончательный, B, ..., Y – промежуточные (при этом последовательность вписывания в рукопись промежуточных вариантов не всегда может быть установлена)
- (5) X^ (недописанная концовка слова): слово в рукописи не дописано – например, в 1b фрагмент «сладост^», который с учетом контекста может интерпретироваться как «сладостной» («въ прохладѣ сладостной»), или «сладостномъ» («при шумѣ сладостномъ»), или «сладостныхъ» («сладостныхъ фонтановъ»)
- (6) X~ (неразобранная концовка слова): концовка слова в рукописи не разобрана, т.е. вплотную к X следует неразобраный фрагмент (например, фрагмент на [РО ИРЛИ. № 838: Л. 73] «татар~», предположительно расшифровываемый как «татарской»)

---

<sup>12</sup> В текстологической литературе используется также знак вставки – «слэш-вые» скобки /.../ – для обозначения фрагментов, вставляемых текстологом. Надо сказать, для меня такого рода скобки обладают существенными недостатками: во-первых, в них графически не различаются левая и правая границы; во-вторых, наклонная черта («слэш») нередко используется для обозначения границы между строками, и возникающая вследствие этого омонимия знака нежелательна.

- (7) [X] > Y] (замена с надложением): поверх фрагмента X написан фрагмент Y (например, в [1b] запись «нит[ь]>и») означает, что в [РО ИРЛИ, № 838: л. 73] в слове «нить» поверх конечной буквы «ь» написана буква «и», т.е. слово «нить» заменено на слово «нити»)
- (8) X\_Y (слитное написание): слова X и Y в черновике написаны слитно (например, «и\_навѣщаль» в [РО ИРЛИ. № 838: Л. 73])
- (9) XYZW (выделение фоном): фрагмент XYZW восстанавливается предположительно (например, фрагмент «Въ\_про^» в 1b).
- (10) □□□□: неразобранный фрагмент (количество квадратиков □ примерно соответствует количеству символов в этом фрагменте; например, в [1b] фрагмент «хит□□□□»<sup>13</sup>).

Особо хотелось бы коснуться вопроса о том, как в транскрипции черновиков и реконструкции их текстов отражать тот круг явлений, который в текстологии подводится под рубрику конъектур и отражается посредством заключения соответствующих фрагментов в угловые скобки или постановки после них вопросительного знака в таких скобках. Термин «конъектура» (от латинского – ‘предположение, соображение, догадка’) охватывает в текстологии весьма разнообразные ситуации при чтении черновиков; как сказано выше, единственным нотационным средством отражения конъектур являются угловые скобки и вопросительный знак в таковых. В самом общем виде конъектура – это сигнал несоответствия реалий рукописи и отражающего ее текста исследователя – транскрипции или реконструкции<sup>14</sup>. Такой сигнал может использоваться по меньшей мере в шести типах рукописных ситуаций, перечисленных в [3a]:

### [3a] К типологии конъектурных ситуаций в рукописи

- (1) **Неразборчивость**: в рукописи некоторый фрагмент написан неразборчиво (в ряде случаев он может быть по контексту восстановлен);

<sup>13</sup> В этом фрагменте после первых трех букв «хит» следует цепочка примерно из четырех букв, которую с большой натяжкой можно предположительно прочитать как «овии» (или «овий»), однако получаемый таким образом результат «хитовии» («житовий») явно неприемлем. Щеголев в 1911 г. допустил здесь очень ответственную красивую конъектуру, представив эту строку таким образом: «*Низаль онъ (?хитрою рукой?)*», и это было принято во всех последующих подачах этого текста. Автор настоящей статьи, будучи не в состоянии предложить ничего более остроумного и достоверного, вынужден в [1a] предположительно согласиться с этой реконструкцией, которая предполагает здесь конъектурную ситуацию неразборчивой описки и пропуска «хвоста» словосочетания: получается, что после «хит» Пушкин небрежно написал четыре-пять букв и, сделав росчерк после последней, словосочетания не завершил (см. в [1b] пятую строку снизу).

<sup>14</sup> Тем самым термин «конъектура» здесь используется в расширенном значении, охватывающем не только предположительное чтение рукописи, но еще и такие случаи вполне достоверного чтения, как, скажем, очевидное восстановление недописанного «хвоста» слова или исправление орфографической ошибки.

- (2) **Локализация:** имеется неясность в отнесении некоторого фрагмента к тому или иному месту основного текста, извлекаемого из черновика
- (3) **Описка:** в написании фрагмента допущена ошибка (орфографическая, пунктуационная или содержательная);
- (4) **Ссылка:** в рукописи имеется некое условное написание (иногда – волнистая черта или даже какая-нибудь каракуля) – ссылка на некоторый фрагмент в той же рукописи или в каком-либо другом месте);
- (5) **Атрибуция:** отнесение каких-либо явно выделяемых блоков рукописи к одному и тому же или к разным произведениям;
- (6) **Пропуск:** в рукописи отсутствует фрагмент (часть слова, слово или словосочетание), необходимый по требованиям языковой правильности или иным требованиям: (а) концевой (пропуск «хвоста» слова – «недописка»); (б) серединный (пропуск букв в середине слова); (с) пропуск целого слова или сочетания слов.

Все указанные типы конъектур могут быть характеризованы по другому основанию – по степени уверенности:

**3b** Типы конъектур по степени уверенности: (d) достоверно, (e) возможно, (z) гипотетично.

Итак, посредством умножения шести на три получаем восемнадцать типов возможных конъектурных ситуаций, для различения которых в существующей текстологической практике нотационные средства отсутствуют.

Для иллюстрации указанных типов конъектурных ситуаций обращусь к двум страницам черновика «Сказки о Золотом петушке» Пушкина. В **4** представлены транскрипции четырех фрагментов на этих страницах – в четырех подпунктах (4а)–(4с); справа от строк курсивом указаны типы соответствующих конъектурных ситуаций (в некоторых случаях в квадратных скобках прямым шрифтом даны восстанавливаемые фрагменты).

**4** Из черновика «Сказки о золотом петушке»: пп. (4.1) – (4.4) [РО ИРЛИ. № 845: Л. 25 об.–26]

(4а) [л. 25 об., низ левого столбца – верх правого столбца]

Помнишь? – за мою услугу

Объщался ты как другу

Мнѣ

Волю исполнить как свою –

Волю ~~~~~

|| (a1) ссылка [первую мою]

Подари же мнѣ дѣвѣ

|| (a2) пропуск концевой типа (d) [дѣвицу]

Ш~ Ца~

|| (a3) 2 неразборчивости типа (d) [Шамаханскую царицу]

крайнѣ кр^ □ былъ у^

|| (a4) 2 пропуска концевых типа (d); неразборчивость

- Царь былъ очень изум<sup>^</sup> изумл<ен><sup>ъ</sup>      || (a5) 2 пропуска типа (ð) – концевой и  
старцу серединный  
 Что ты[, ] [?]>!<sup>!</sup> молвилъ онъ –
- (4b) [л. 25 об., низ правого столбца]  
Что бы  
 Хочешъ – Царства-половину? –  
 Хотъ-казну – Ты проси  
 Иль полща Ца~ моег<sup>^</sup>      || (b1) описка типа (ð); пропуск концевой (ð)  
[полцарства моего]  
 Не хочу я ничего  
 ~~~~~  
 [Шамаханскую царицу]      || (b2) ссылка [Подари ты мнѣ дѣвицу /  
 Говорить въ отвѣтъ мудр~      || (b3) пропуск концевой типа (ð) [мудрецъ]
- (4c) [л. 26, верх левого столбца]  
Не бѣда что сказка ложь      || (c1) локализация  
 Шапку  
 деньги, денегъ, чинъ боярск<о>й      || (c2) пропуск серединный типа (ð)  
 Жеребца съ коню шни      || (c3) описка, пропуск слова типа (ð)  
 [съ конюшни царской]      || (c4) локализация  
же  
 Плонуль Царь-Д — такъ нѣтъ  
тебѣ тебѣ сказка ложь      || (c4) локализация  
 Ничего ты не получишь —
- (4d) [л. 26, низ правого столбца]  
 А [ц]>Царица  
 А дѣвица вдмгъ пропала      || (d) описка типа (z) [«вдругъ» / «вмигъ»]

Рассмотрим и прокомментируем отмеченные 13 конкретных конъектурных ситуаций в этом черновике:

- (a1) «Волю ~~~~~ ». Ссылка: волнистая черта, отсылая к написанной в другом месте рукописи строке, заменяет словосочетание «первую мою».
- (a2) «Подари\_же мнѣ дѣв<sup>^</sup>». Пропуск концевой: дѣв<sup>^</sup> → дѣвицу.
- (a3) «Ш~ Ца~». Неразборчивость концевая (двукратная: «хвосты» двух слов лишь намечены, что указано тильдами); восстанавливается: «Шамаханскую Царицу».
- (a4) «крайнѣ кр<sup>^</sup> □ былъ у<sup>^</sup>». Два пропуска концевых: кр<sup>^</sup> → крайнѣ; у<sup>^</sup> → удивленъ. Одна неразобранная буква.
- (a5) «Царь былъ очень изум<sup>^</sup> изумл<sup>ъ</sup>». Два пропуска – концевой (изум<sup>^</sup> → изумленъ) и серединный (изумл<sup>ъ</sup> → изумленъ).
- (b1) «Иль полща Ца~ моег<sup>^</sup>». Описка: полща → полцарства. Неразборчивость концевая: Ца~ → царства. Пропуск концевой: моег<sup>^</sup> → моего.
- (b2) «Не хочу я ничего / ~~~~~». Ссылка: волнистая черта, ссылаясь на некоторый фрагмент рукописи, заменяет двустручие: «Подари же мнѣ дѣвицу / Шамаханскую царицу».
- (b3) «Говорить въ отвѣтъ мудр~». Неразборчивость концевая: мудр~ → мудрецъ.

(c1) «Не бѣда что сказка ложь / [деньги,] Шапку денегъ, чинь боярск<о>й». Локализация: первая строка находится не на своем месте; в окончательном тексте вариант этой строки («Сказка ложь, да въ ней намекъ») составляет предпоследнюю строку сказки.

(c2) [деньги,] Шапку денегъ, чинь боярский. Пропуск срединный: боярский → боярской.

(c3) «Жеребца съ коню шни». Описка – слово «конюшни» написано с пробелом. Пропуск слова «царской» в конце строки.

(c4) «Плюнуль [Царь Д] — такъ нѣтъ / [тебѣ] [тебѣ] сказка ложь / Ничего [ты \_\_\_ не получишь] —».

Фрагмент «сказка ложь» находится не на своем месте – см. (c1).

(d) «А дѣвица вдмгъ пропала». Описка: вдмгъ → либо «вдругъ», либо «вмигъ».

Для меня несомненно, что наша филология в долгу перед классиками отечественной литературы – и перед Пушкиным в частности. Долг этот состоит в планомерном транскрибировании рукописей и публикации транскрипций в электронных и печатных средствах – вместе с исходными факсимиле, а в дальнейшем – в создании полных факсимильно-транскрипционных рукописных корпусов писателя. Такого рода факсимильно-транскрипционные представления и корпуса рукописей дадут возможность каждому филологу самому непосредственно проверить правильность данных, печатаемых в разделах «Другие редакции и варианты» в собраниях сочинений и самому реконструировать тексты рукописей – особенно в случаях сложных, трудно читаемых черновиков. Они таят в себе еще немало неразгаданных загадок.

Итак, встает проблема создания электронных факсимильно-транскрипционных корпусов для классиков русской литературы. Естественно начинать с Пушкина. Надо сказать, что в пушкинской текстологии накоплено довольно обширное множество транскрипций черновиков, разбросанных в многочисленных работах. Прежде всего желательно собрать и «компьютеризовать» эти транскрипции (проведя по возможности их проверку).

Пушкинское рукописное наследие насчитывает примерно двенадцать с половиной – тринадцать тысяч страниц. Это большая величина, но все-таки отнюдь не астрономическая. Полное транскрибирование Пушкинских рукописей, при участии в нем центральной рабочей группы исследователей (хотя бы четырех-пять человек), при достаточном финансировании этой работы, можно осуществить за десять-двадцать лет, а то и быстрее; в принципе можно успеть ее завершить к следующей светлой годовщине – 225-летию рождения поэта (2024 год) – или к печальному 200-летию Пушкинской кончины (2037 год). Такой срок вполне сопоставим со сроками выхода Большого академического шестнадцатитомника, охватившего период в пятнадцать с небольшим лет (если не считать справочного тома, вышедшего в 1959 г.).

К такому электронному факсимильно-транскрипционному представлению и изданию рукописей и к созданию ФТРК должны быть привлечены не только силы текстологов – разумеется, требуется активное участие компьютерных специалистов. Компьютерная текстология пока находится на ранней стадии развития; мне думается, ее в будущем ожидают значительные достижения. Ее возможности, особенно перспективные, огромны. С помощью компьютера можно рассматривать рукописи с нужной степенью увеличения масштаба, что не способна обеспечить никакая лупа. Рассматривая страницу на экране в большом масштабе, мы как бы следим за движением пера или карандаша. На экране компьютера можно непринужденно переходить от одной страницы к другой и сопоставлять изображение с транскрипцией; можно менять порядок в ФТПР-Э с последовательного на параллельный и наоборот (т.е. изучать страницы рукописи и страницы транскрипций целую одну или за другой, или в их сопоставлении на одном экране одновременно – как удобно исследователю для его текущих целей). Возможно, в будущем можно будет в параллельном режиме обзора достичь «интерактивности» между факсимиле и транскрипцией страницы: наводя курсор на тот или иной фрагмент факсимиле, мы сможем увидеть его отображение (скажем, в виде светлого пятна) в соответствующем месте транскрипции – и наоборот. Для этой последней возможности требуется, конечно, немалая предварительная работа текстолога: нужно будет не только составить транскрипцию, но и осуществить ее особую «разметку» в сопоставлении с факсимиле («бумажного» аналога для такой «разметочной» работы, как кажется, нет). Очень нужными для работы текстолога в электронном режиме были бы разработка особой компьютерной среды для составления транскрипций и разработка среды для написания «текстологического сценария» по анимации страницы рукописи, т.е. по процессу ее заполнения (в большом числе черновиков подобная анимация гипотетична, однако бывают и «прозрачно» заполненные черновые страницы). В такого рода средах нужно иметь «поля» для хранения факсимиле и транскрипции и кнопки для ввода операций по транскрибированию и анимации.

В активно развивающейся сейчас области знаний, имеющей англоязычное наименование «Digital Humanities» (DH) и, к сожалению, пока не нашедшей для себя хорошего русского эквивалента<sup>15</sup>, компьютерная рукописная текстология должна найти

---

<sup>15</sup> Не прибегнуть ли к такому несколько громоздкому варианту, как *компьютерная* (или *цифровая*) *гуманитаристика* / *гуманитария* – с заменой множественного числа на единственное?



достойное место. Думается, работа над решением ее задач может иметь «выходы» в другие области ДН («компьютерной / цифровой гуманитаристики»), связанные с обработкой изображений, с искусственным интеллектом, с формализацией и компьютеризацией разнообразных ментальных способностей человека.<sup>16</sup>

#### ИСТОЧНИКИ

Рукописный отдел Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Ф. 244. Оп. 1.

#### ЛИТЕРАТУРА

*Бонди С.М.* О чтении рукописей Пушкина // Изв. АН СССР. Отд. общественных наук. 1937. № 2–3. С. 569–606.

*Бонди С.М.* Черновики Пушкина. Статьи 1930–1970 гг. М., 1971.

«Грешневская тетрадь» Н.А. Некрасова (ГТН) / [Предисл., трнскр. и коммент. М.С. Макеева]. Ярославль, 2015.

Михаил Шолохов. «Тихий Дон». Динамическая транскрипция рукописи / Отв. ред. Г.Н. Воронцова. М.: ИМЛИ РАН, 2011.

*Перцов Н.В.* О соотношении письменной и устной форм поэтического языка: (К вопросу о функциональной нагруженности старого русского правописания) // Вопр. языкознания. 2008. № 2. С. 30–56 Интернет: <http://www.ruslang.ru/doc/percov2008.pdf>; опубликовано в кн.: [*Перцов. 2015б: 515–549*].

*Перцов Н.В.* О текстологическом представлении рукописей русских классиков // Филологические науки. 2015а. № 1. С. 75–94. Интернет: <http://www.ruslang.ru/doc/percov/percov2015a.pdf>; опубликовано в кн.: [*Перцов. 2015б: 627–648*].

*Перцов Н.В.* Лингвистика, текстология, поэтика: Избранные статьи. М., 2015б.

*Перцов Н.В., Пильщиков И.А.* О лингвистических аспектах текстологии // Вопр. языкознания. 2011. № 5. С. 3–30. Интернет: <http://www.ruslang.ru/doc/percov-pilshchikov2011.pdf>.

*Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений со сводом вариантов и объяснительными примечаниями; В 3 т. и 6 ч. / Ред., вступ. ст. и коммент. В. Брюсова. М., 1919.

*Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 6 т. / Под общ. ред. Демьяна Бедного, А.В. Луначарского, П.Н. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева. Т. 2. М.; Л., 1930 (прилож. к жур. «Красная Нива»).

---

<sup>16</sup> Выражаю искреннюю признательность коллегам, читавшим в разных версиях статью [*Перцов. 2015а*], на которой в значительной мере основана настоящая работа, и высказавшим мне свои соображения и критику: Г.В. Векшину, Е.М. Верещагину, К.В. Вигурскому, Р. Вроону, С.Н. Ефимовой, В.Н. Захарову, М.Ю. Михееву, Б.В. Орехову, И.А. Пильщикову, И.С. Сидорову, Н.А. Тарасовой, И.О. Шайтанову.

*Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. (АПСС). Т. 1–16. [М.; Л.], 1937–1949. Т. 17. 1959.

Рукописи А.С. Пушкина. Фототипическое издание (РПФИ). Альбом 1833–1835 гг. М., 1939 (Три тетради: I. Факсимиле; II. Транскрипции; III. Комментарий).

Сочинения Пушкина. Издание Императорской академии наук. Т. 2. 1905.

*Томашевский Б.В.* Новое о Пушкине // Литературная мысль. Альманах I. Пг., 1922. С. 171–186.

*Томашевский Б.В.* Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925.

*Томашевский Б.В.* Писатель и книга. Очерки текстологии. М.; Л., 1928.

*Хомякова Е.В.* Творческое мышление писателя в зеркале проекта «Видеотекст» // Язык и мышление поэта и писателя: Психологические и лингвистические аспекты: Материалы XIII Междунар. науч. конф. (Ульяновск. 15–18 мая 2013 г.). М.; Ульяновск, 2013. С. 64–66.

*Шапир М.И.* Об орфографическом режиме в академических изданиях Пушкина // Московский пушкинист: Ежегодный сб. Вып. IX. / Сост. и науч. ред. В.С. Непомнящий. М., 2001. С. 45–58.

*Шапир М.И.* «Евгений Онегин»: проблема аутентичного текста // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. Т. 61. 2002. № 3. С. 3–17.

*Щеголев П.Е.* Новые стихотворения Пушкина // Русское слово. 1911. № 181 (6 августа). С. 3.

*Щеголев П.Е.* Из жизни и творчества Пушкина. 3-е изд., испр. и доп. М.; Л., 1931.

## ФУЭТЕ, ФОНЕМА, ФОРМУЛА, ФОТОН: ЯЗЫКИ МОЗГА И КУЛЬТУРЫ<sup>1</sup>

*Т.В. Черниговская*

История жизни есть, по существу,  
развитие сознания,  
завуалированное морфологией.

*Тейяр де Шарден. «Феномен человека»*

To see a world in a grain of sand  
And a heaven in a wild flower,  
Hold infinity in the palm of your hand,  
And eternity in an hour.

*William Blake. «Auguries of Innocence»*

В XXI веке стало ясно, что традиционная наука, фактически основанная Бэконом и Декартом, свою роль исполнила и далее обслуживать современное интеллектуальное пространство едва ли может: научные парадигмы стали столь сложны и многомерны, нестабильны и зависимы от наблюдателя, что некий когнитивный переворот неизбежен. Жить в ньютоновском мире после Эйнштейна и Бора – нечестно.

Мультидисциплинарность – не мода, а реальность, в которой нужно ориентироваться и к которой готовить будущих исследователей. Смена парадигм, происходящая на наших глазах, недостаточность их философского осмысления, понимания особой роли науки в жизни и судьбе общества – предмет серьезного и ответственного разговора. Размылись не только границы между областями самой науки: так ли различны наука и искусство? Действительно ли математика, физика и генетика столь кардинально отделены от музыки, антропологии, лингвистики и танца? Это не так не только потому, что пересекаются и синтезируются методы и техника исследований, но и потому, что когнитивные процессы, обеспечивающие ментальную работу, вовсе не так отличны, как принято думать. Открытия в науке вовсе не совершаются по правилам и алгоритмам, точно так же, как и в художественном творчестве. Логическое описание мира может быть препятствием для науки, его явления сложно рассортировать по «коробкам» [Франк-Каменецкий. 1929; Фрейденберг. 1998; Черниговская. Деглин.

---

<sup>1</sup> Исследование поддержано грантом РНФ № 14–18–02135

1986; Финн. 2009; Манин. 2008; Чернавский. 2004, *Chernigovskaya*. 2004; Зинченко. 2010]. Поэтому сама постановка вопроса о левополушарных/научных и правополушарных/художественных типах сознания неверна [Черниговская, 2013]. Показательно, что уже Эйнштейн (отнодь не художник в обыденном смысле) замечал, что интуиция – священный дар, а рациональное мышление – не более, чем верный слуга.

Многие творческие люди отмечали, что озарения приходят неожиданно, во время рутинных действий, никак не связанных с решаемой задачей. История науки свидетельствует: открытие нельзя спланировать, (кроме технических – их может совершать и компьютер), а идеи приходят в голову, когда человек совершенно к этому не готов. Изучение этих процессов говорит, что для творчества необходимо снять когнитивный контроль и не бояться ошибок. Да и что такое ошибка? С точки зрения классической физики, Бор, Дирак и Шредингер только и делали, что ошибки...

Часть нейронной сети связана с процессами контроля и внимания. Ее часто сравнивают со световым лучом, выделяющим важные в данное время объекты – физические или ментальные. Она активна, когда мы слушаем сложную лекцию, решаем трудную проблему.

Другая сеть связана с воображением. Фигурально говоря, она ассоциирована с почти медитативным состоянием, когда по мозгу «гуляет» неуправляемая мысль (*flow state*). В этом состоянии зоны мозга, ответственные за концентрацию внимания, «отдыхают». Это чрезвычайно ценное состояние, именно в нем делаются открытия. Описано интересное состояние REST – *random episodic silent thought* – мысль, которая случайно на что-то набредает.

Наконец, существует сеть сетей, затрагивающая многие отделы мозга, и обеспечивающая способность быстро переключаться между разными участками.

Даже среди людей *творческих* есть «изобретатели» и «инженеры». Один из создателей квантовой электродинамики Ф. Дайсон формулировал когнитивные различия ученых так: в науке есть «птицы» и «лягушки». Птицы – высоко летают и с высоты обозревают большие пространства. Но они не видят малого – бабочек, комаров, молекул – что не плохо, а просто факт их жизни. Лягушки, наоборот, не видят небес, но прекрасно собирают бабочек и «разглядывают молекулы». Эти два стиля соответствуют бэконовской и картезианской традициям мышления [Дайсон].

В лингвистике представители этих двух типов – генеративисты и функционалисты. Общеизвестно их взаимное неприятие,

граничащее с идиосинкразией. История противостояний насчитывает десятилетия, но сами военные действия фактически не происходят, так как оппозиционные группировки находятся в разных измерениях, и даже факт значимости противника и возможность реальной борьбы не признается обеими сторонами.

«Птицы», воспитанные Хомским и его последователями, не видят смысла в «ботанике»: наращивание объема гербариев с языковыми фактами вне универсальных алгоритмов кажется им чем-то вроде вышивания бисером и, в их понимании, лежит вне науки.

Еще более яростный отпор встречают их собственные исследования в противоположном лагере, и основной аргумент сводится к тому, что генеративисты в любых изводах имеют дело с эпифеноменами и продуктом картезианских трюков, а не с фактами языка, точнее языков, которые чрезвычайно многообразны и пестры, более того – динамичны и зависимы от контекстов всех видов.

Картезианец Хомский, который пытается найти универсальную грамматику, часто обвиняется в том, что игнорирует языковую конкретику. *Вы изучаете только математические алгоритмы*, говорят ему функционалисты, *вас не интересует то, что существует на самом деле. В мире шесть тысяч языков, какие универсалии вы хотите обнаружить в столь разных объектах?* И если Хомский вяжется в дискуссию (чаще он все-таки деликатно этого избегает), то говорит примерно так: *моя задача – не наблюдение за «природой», моя задача – выявить такие универсалии, которые были бы характерны для всех людей без исключения, несмотря на гигантскую разницу в языках, на которых они говорят.* Противостоянию функционалистов/коннекционистов и генеративистов уже несколько десятков лет. Примером тому является проблема организации ментального лексикона – одна из самых обсуждаемых в экспериментальной лингвистике конца XX и начала XXI вв. [Черниговская. 2010].

Обвинения хомскианцев в незнании фактов языка и игнорировании языкового разнообразия неоправданны, так как уже многие годы десятки сильных исследователей в рамках генеративистского подхода пристально изучают языки разных типов.

Претензии к функционалистам и коннекционистам по поводу недостаточной четкости и разработанности теоретической базы – тоже несправедливы, так как в основе таковой просто лежат иные принципы и когнитивные стили. Не стоит забывать также, что и сами эти противоборствующие группы неоднородны и нестабильны.

Интересно, что С.Д. Кацнельсон увидел это задолго до «расцвета» таких дискуссий: «...мы находим у Хомского новую тео-

рию языка, отличающуюся от прежней не только поворотом к новейшим достижениям математической мысли в области так называемых рекурсивных функций и теорий автоматов, но и совершенно неожиданной постановкой задач, подразумевающих не только новые приемы исследований, но вместе с тем и едва ли не полный отказ от традиционного предмета исследования» [*Кацнельсон*: 673].

Противоречия, вероятно, могли бы быть разрешены посредством экспериментов. Кажется, что спор вполне может быть разрешен: ведь у нас есть факты! Это, конечно, так, но лишь отчасти, иначе все споры давно бы закончились. Дело в том, что одни и те же данные можно описать, акцентируя внимание на разных факторах, так сказать, поворачивая объект разными гранями. Сами эксперименты выстраиваются в предположении результата, который «соответствует первоначальной гипотезе», она как бы ведет эксперимент... В этой дискуссии очень большую роль последнее время играют мультидисциплинарные исследования – с использованием методов психо- и нейролингвистики, нейропсихологии, оптогенетики и ядерной медицины. Сторонники классического модулярного подхода считают, что правила Универсальной Грамматики, по которым построены все человеческие языки, описывают организацию языковых процедур как: 1) символические рекурсивные универсальные правила, действующие в режиме реального времени и базирующиеся на процедурах и врожденных механизмах, запускаемых в оперативной памяти, и 2) лексические и другие гештальтно представленные единицы, извлекаемые из долговременной ассоциативной памяти. Сторонники противоположного взгляда (коннекционисты) считают, что все процессы основываются на работе ассоциативной памяти, и мы имеем дело с постоянной сложной перестройкой всей нейронной сети, также происходящей по правилам, но иным, и гораздо более трудно формализуемым. Важнейшим фактором в таких моделях является частотность [*Черниговская*. 2013; *Slioussar*. 2014; *Kireev*. 2015].

При анализе данных нейронаук в контексте антропологических знаний в целом, не стоит недооценивать растущую роль систем искусственного интеллекта – как в виде моделей, так и инструментов. Компьютер способен выполнить отдельную команду меньше, чем за наносекунду, тогда как нейроны действуют в миллионы раз медленнее. Однако мозг сторицей это восполняет, поскольку многие области нейронной сети действуют одновременно, тогда как большинство современных компьютеров работает последовательно с несопоставимо меньшим числом процессоров. Таким образом, несмотря на то что компьютер обладает гигантским пре

имуществом в физической скорости переключения, когнитивная деятельность человека – гораздо эффективнее.

Мозг – не конструкция, которая занимается «наукой», как мы привыкли думать после Аристотеля и Декарта, а скорее художник, который совершает некие действия, которые мы тщетно пытаемся превратить в понятные нам таблицы, описания и алгоритмы (см. [Лотман, Успенский. 1973]).

Естественно-научные исследования, приобретшие перво-степенное значение во всех передовых научных странах, давно вышли за пределы интересов нейронаук. Генетические данные последних лет открывают совершенно новые страницы в истории нашего биологического вида, расселения и перемещения народов, происхождения языка, родства языков и этносов [Rice, Smith, Gayán. 2009; Givón. 2009; Тушков, Пивнева. 2010; Krause et al. 2010; Козинцев. 2010; Черниговская. 2010; Deacon. 2013; Sia, Clem, Haganir. 2013; Vallender. 2011; The Evolution of Language. 2014; Grodzinsky, Nelken. 2014; Prüfer et al. 2014; Schreiweis et al. 2014, Sawyer et al. 2015; Chernigovskaya, Vasileva. 2015]. Многие, казалось бы, твердо установленные сведения оказались неверными, а целые пласты исторических событий могут быть переписаны. Получение современных знаний о работе мозга повлечет за собой не только совершенно новые представления о нас самих, но повлияет на большой спектр наук и на сам тип организации нашей цивилизации с последствиями не только фундаментального, но и вполне прикладного характера – от медицины и образования до организации энергетики и связи. Стоит, однако, остерегаться дилетантских подходов к этим сложнейшим темам. Есть ли разрыв, дающий основание говорить, что произошла некая мутация, изменившая мозг настолько, что он стал способен к языку, другим очень сложным алгоритмам, а на самом деле приведшая к гораздо более сложной организации вообще всего ментального поля? Есть и другой сценарий – эпигенетический – именно его многие генетики и эволюционисты все чаще рассматривают в качестве сценария эволюции. Эти теории одним из первых в мире развил замечательный русский ученый Иван Иванович Шмальгаузен, который говорил, что эволюция начинается вовсе не с изменений генотипа, а наоборот, – это изменение фенотипа, которое постепенно фиксируется, оформляется в изменение генотипа.

С.Д. Кацнельсон пророзливо писал, что при поиске праязыка делается серьезная ошибка: «ведется поиск имен, а не речи». Праслова имели синкретический, гештальтный характер, обозначали не объекты, а ситуации, были не предметны и не предикативны, начало языка – не только номинация, но и предикативность,

и волюнтаристичность. Знают ли об этом те из лингвистов, кто так уверенно ищет истоки языка в сигналах животных? Знают ли они, что человеческий язык – не только коммуникация, а средство мышления, что у него есть такие черты как многозначность и зависимость от контекстов, конвенциональность, смена ролей, референциальность, нерелевантность, произвольность? Знают ли те, кто так уверенно объявляет ген FOXP2 геном языка, что этот ген есть и у других биологических видов, и что он экспрессируется не только в областях, связанных с языковыми функциями, и что есть две аминокислоты, которые отличают варианты этого гена у людей и других животных, и т.д.? [Lieberman]. Эти комментарии призывают к осторожности в выводах...

Вопрос, который все чаще встает передо мной как экспериментально работающим когнитивистом: что мы все-таки ищем в мозгу? Если мы хотим найти «адреса» когнитивных функций, то напрасно: сам по себе вопрос поставлен неверно, или как минимум запоздало, так как основные функции и их локализация известны уже более 100 лет... Не столь интересно, какая именно часть мозга обрабатывает то, как я разглядываю картину или распознаю речь, гораздо важнее, *что происходит* тогда, когда я это делаю? Интересен когнитивный путь и механизм, а не локализация функции в конкретном месте мозга. Это имеет прямое отношение к любой сфере человеческой деятельности. Например, к танцу.

Мне как зрителю и ученому непонятны две вещи. Первая – то, что психологи называют *репрезентация*: как балетмейстер может это придумать, представить в своем воображении, как вообще можно *такое* иметь в ментальном пространстве?.. Балетмейстер визуализирует и реализует метафору, то, чего никак не увидишь... Или наоборот, только здесь ее и увидишь... Второе, чего я не понимаю: кажется, что современные танцоры нарушают законы гравитации, их движения – виртуозны и новы, более того, они никогда в природе не встречались; как с этим справляется мозг, управляющий душой и телом...

Танец – одна из человеческих универсалий, возможно зародившаяся тогда, когда наши биологические предки перешли к прямохождению [Sachs. 1937; Ward. 2002]. Работа, которую выполняет нервная система танцора, очень сложна, ведь он должен сочетать свои внутренние репрезентации, неосуществленные пока формы движений с концепцией того, что движения означают. Когда человек танцует, у него активирован целый ряд зон в мозге. Это, конечно, прежде всего гиппокамп, но и многие другие: *Superior Temporal Gyrus* – где осуществляется обработка слышимой танцором музыки, *Putamen* – выбор и организация движений



с учетом их вероятностного прогнозирования или регулярности, диктуемой ритмом; *Thalamus* – координирует сенсорную и моторную информацию в случае нерегулярного или незнакомого ритма; *Medial Geniculate Nucleus* – направляет ритмическую информацию в *Cerebellum (Lobules III, V, VI)*, который и синхронизирует движения с музыкой; *Superior Parietal Lobule* – кинестетически обеспечивает координацию движений ног. Совершенно очевидно, что даже «простейшие» движения танцора требуют вовлеченности многих зон [Brown et al. 2006].

Профессионалы, работающие в современной хореографии, говорят, что после танца у них болит буквально каждая клетка, потому что приходится выполнять движения, которые они никогда ранее не делали – вся постановка моторики другая. Такие же трудности испытывали они и когда изучали классический танец, и тоже не только их тело, но и мозг выполнял огромную нагрузку. Когда мы говорим, что кто-то – хороший танцор, он хорош не только потому, что его тело натренировано, как у олимпийского чемпиона, а потому, что все его движения содержательны, наполнены смыслами и эмоциями, их можно трактовать. Майя Плисецкая говорила, что современные балерины тренированы и растянуты гораздо лучше прежних, но у многих из них движения – акробатика; у лучших – совсем другое, и духовная работа, сопутствующая их творчеству – чрезвычайно важна.

Нейронаука многое говорит нам и о музыке (как и наоборот!): речь идет не просто о том, как и где «звучит флейта в мозге», а об *ином видении мира*. Человек способен понимать и использовать множество языков: это вербальный язык, жесты, математика, рисунок и живопись и т.д., но не все они переводятся друг на друга. Музыка – язык совершенно особенный. Как говорил Шнитке, в музыке есть своя семантика. Когда мы начинаем описывать сон словами, его суть исчезает. Попытка описать картину или фильм также не возымеет успеха, так как на это по определению нужно именно смотреть. Запахи, вкусы, прикосновения – с большим трудом «перекодируются», но играют огромную, часто определяющую роль не только в мотивации поведения, но в духовной и ментальной жизни. В музыке, конечно, есть свое *содержание*, не только эмоции. Изучая музыку, мы изучаем другое кодирование мира.

Нейрофизиологическими методами установлено, что музыка – как ее исполнение, так и прослушивание – меняет мозг: увеличивается количество (и качество) серого вещества, активизируются гены, от которых зависит допаминэргическая нейротрансмиссия, моторная активность, обучение и память [Herholz, Zatorre. 2012;

Zatorre. 2013; Kanduri, Tuire et al. 2015]. Люди, занимавшиеся музыкой на протяжении жизни, имеют невероятно разработанный слуховой механизм – периферический и, конечно, центральный, и потому не только распознавание речи и музыки у них сохраняется дольше, но и вообще ментальные функции, включая память. Анализ сложных музыкальных аккордов осуществляется в тех зонах, которые обрабатывают сложный синтаксис, исследование оркестрантов симфонических оркестров показало, что у них очень развита зона Брока, обычно ассоциируемая среди прочего и с фонематическими процедурами [*Sluming et al.*].

С другой стороны, сама работа мозга напоминает импровизацию джазовых музыкантов: множество участников (нейроны, ансамбли нейронов или колонки) живут своей жизнью по своим «адресам». Но когда появляется некая творческая задача, они куда-то «съезжаются» для ее выполнения – т.е. образуются связи, необходимые для данной деятельности. Таким образом, нет и не может быть в принципе универсального алгоритма для решения творческой задачи. Для «трафаретных» задач, вероятно, общие алгоритмы есть, хотя и это сомнительно, а для творческих – нет. У джазовых музыкантов нет нот и дирижера, большинство из них никогда не встречались. Они просто «случайно» собрались, начинают сыграваться и в итоге играют.

Слушают уши, а слышит мозг, смотрят глаза, а видит – мозг. Человеку, которого не научили слушать классическую музыку, бесполезно ходить на симфонические концерты только потому, что у него есть уши: для этого нужна специальная подготовка и наполнение мозга. Про маленьких детей часто говорят, что они граждане мира. Почему? Потому, что ребенок до освоения родного языка слышит очень мелкие акустические различия, которые мы, взрослые, уже не слышим – они нам не нужны, а мозг ребенка еще не знает, как фонетически устроен тот язык, которым он будет пользоваться. Потом это окошко закрывается, поскольку начинает формироваться фонологическая сеть родного языка и, соответственно, то, что ребенок слышал ранее, он распознавать перестает, поскольку эти звуки попадают в другую категориальную сетку.

Так что, не занимаясь танцами или музыкой, мы закрываем себе ряд дорог или, по крайней мере, существенно усложняем свое продвижение по ним. Мозг творческого человека многофункционален, нельзя говорить, что математика – в левом полушарии, а художественное воображение – в правом.

Природа бережет свои ресурсы и пользуется принципом оптимальности (наименьшего действия). Крупнейшие математики (Бернулли, Лейбниц, Ньютон...) решали так называемую задачу

о брахистохроне (нужно было найти форму кривой, по которой частица «скатится» из точки А в точку В за кратчайшее время). Огромный и универсальный смысл, в том числе и теологический, и красота этой задачи осознавались и тогда, и вопрос о том, к какой области знания это относится, всех бы удивил... Возможно, наш мозг умеет в счастливый момент творческого акта внезапно, минуя тщательные шаги и сложные алгоритмы, приходиться к озарению и пониманию нерешаемой до того проблемы именно в таких размерностях – и совершенно неважно, наука это или искусство.

Языки человека – вербальные, жестовые, музыкальные, математические – и порожденная ими культура требует многомерного, почти голографического рассмотрения, с надеждой описать многоцветье и изменчивость с одной стороны и универсалии, присущие Homo Sapiens, Loquens, Legens и Scribensque, несмотря на разнообразие в пространстве и времени – с другой.

#### ЛИТЕРАТУРА

*Дайсон Ф.* Птицы и лягушки в математике и физике // Успехи физических наук. Т. 180. № 8. Москва, 2010. С. 859–870.

*Зинченко В.П.* Сознание и творческий акт. М., 2010.

*Кацнельсон С.Д.* Категории языка и мышления: Из научного наследия / Отв. ред. Л.Ю. Брауде. М., 2001.

*Козинцев А.Г.* Предыстория языка: Общие подходы // Российский археологический ежегодник. СПб., 2010. № 1. С. 642–646.

*Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Миф–имя–культура // Уч. зап. Тартуского ун-та. Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Вып. 308.

*Манин Ю.И.* Математика как метафора. М., 2008.

*Тишков В.А., Пивнева Е.А.* Этнологические и антропологические исследования в академической науке // Новая и новейшая история. М., 2010. № 3. С. 3–22.

*Финн В.К.* Синтез познавательных процедур и проблема индукции // Научно-техническая информация. Сер. 2: Информ. процессы и системы. М., 2009. № 6. С. 1–37.

*Франк-Каменецкий И.Г.* Первобытное мышление в свете яфетической теории и философии // Язык и литература. Л., 1929. Т. 3. С. 70–155.

*Фрейденберг О.М.* Миф и литература древности. М., 1998.

*Чернавский Д.С.* Синергетика и информация: Динамическая теория информации. 2-е изд. М., 2004.

*Черниговская Т.В.* Чеширская улыбка кота Шрёдингера: Язык и сознание. М., 2013.

*Черниговская Т.В., Деглин В.Л.* Метафорическое и силлогистическое мышление как проявление Функциональной асимметрии мозга // Уч. зап. Тартуского ун-та. Труды по знаковым системам. Тарту, 1986. Вып. 19. С. 68–84.

*Черниговская Т.В.* Мозг и язык: врожденные модули или обучающаяся сеть? // Мозг. Фундаментальные и прикладные проблемы. По материалам сессии Общего собрания Российской академии наук. 15–16 дек. 2009 г. / Под ред. А.И. Григорьева. М.: Наука, 2010. С. 117–127.

*Шмальгаузен И.И.* Пути и закономерности эволюционного процесса. М.; Л.: Изд-во АН СССР. М., 1939.

Birdsong, Speech, and Language. Exploring the Evolution of Mind and Brain Bolhuis J.J., Everaert M. (eds). MIT press, 2013.

*Brown S., Martinez M.J., Parsons L.M.* The neural basis of human dance // Cerebral cortex. 2006. N 16 (8). P. 1157–1167.

*Cartmill E.A., Roberts S., Lyn Y., Cornish H.* (eds.). The Evolution of Language. Proceedings of EVOLANG10. World Scientific Publ. Co. Pte. Ltd., 2014.

*Chernigovskaya T.* Cognitive struggle with Sensory Chaos: Semiotics of Olfaction and Hearing // Semiotica. 2004. N 150-1/4. P. 61–75.

*Chernigovskaya T., Vasileva O.* «What Genes and Brain Can Tell Us of How Symbolic Cognition Appeared in the Human Mind». EuroAsianPacific Joint Conference on Cognitive Science. EAP CogSci. 2015. P. 335–340.

*Deacon T.* Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter. W.W. Norton & Co. Ltd., 2013.

*Givón T.* The Genesis of Syntactic Complexity. Amsterdam: John Benjamins. 2009.

*Grodzinsky Y., Nelken I.* The Neural Code That Makes Us Human // Science. N 343. 2014. P. 1978–2002.

*Herholz S.C., Zatorre R.J.* Musical training as a framework for brain plasticity: behavior, function, and structure // Neuron. 2012. N 76. P. 486–502.

*Kanduri Ch., Tuire K., Ahvenainen M.* et al. The effect of music performance on the transcriptome of professional musicians // Scientific Reports. 2015. N 5. P. 9506.

*Kireev M., Slioussar N., Korotkov A.D., Chernigovskaya T.V., Medvedev S.V.* Changes in functional connectivity within the fronto-temporal brain network induced by regular and irregular Russian verb production. Front. Hum. Neurosci. 9:36.doi:10.3389/fnhum. 2015.

*Krause J., Fu Q., Good J.M.* et al. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia // Nature. 2010. N 464(7290). P. 894–897.

*Lieberman P.* Synapses, Language, and Being Human Science. 2013. 22 November. Vol. 342.

*Prüfer K., Racimo F., Patterson N.* et al. The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai Mountains // Nature. 2014. N 505(7481). P. 43–49.

*Rice M.L., Smith S.D., Gayán J.* Convergent genetic linkage and associations to language, speech and reading measures in families of probands with Specific Language Impairment // Journal of Neurodevelopmental Disorders. 2009. N 1. P. 264–282.

*Sachs C.* World history of the dance. New York: Norton, 1937.

*Sawyer S., Renaud G., Viola B. et al.* Nuclear and mitochondrial DNA sequences from two Denisovan individuals // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2015. N 112(51). P. 15696–15700.

*Schreiweis C., Bornschein U., Burguière E. et al.* Humanized Foxp2 accelerates learning by enhancing transitions from declarative to procedural performance // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2014. N 111(39). P. 14253–14258.

*Sia G.M., Clem R. L., Haganir R.L.* The human language-associated gene SRPX2 regulates synapse formation and vocalization in mice // Science. 2013. N 342. P. 987–991.

*Sloussar N., Kireev M.V., Chernigovskaya T.V. et al.* An ER-fMRI study of Russian inflectional morphology // Brain and Language. 2014. N 130. P. 33–41.

*Sluming V., Brooks J., Howard M. et al.* Broca's area supports enhanced visuospatial cognition in orchestral musicians // J. Neurosci. 2007. N 27. P. 3799–3806.

*Vallender E.J.* Comparative genetic approaches to the evolution of human brain and behavior // American Journal of Human Biology. 2011. N 23. P. 53–64.

*Ward C.V.* Interpreting the posture and locomotion of *Australopithecus afarensis*: where do we stand? Yb Phys Anthro. 2002. N 35. P. 195–215.

*Zatorre R.J.* Predispositions and Plasticity in Music and Speech Learning: Neural Correlates and Implications // Science. 2013. November. Vol. 342. N 1. P. 68–84.

НАХОДКИ В ГЕОРГИЕВСКОМ СОБОРЕ  
ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ:  
НОВЫЕ ФРЕСКИ И НОВЫЕ НАДПИСИ

*А.А. Гунтуис, Вл.В. Седов*

Юрьев монастырь и сейчас принадлежит к наиболее величественным комплексам Новгорода Великого, на протяжении веков он играл значительную роль в истории и культуре средневекового города. Его монументальный собор, заложенный по заказу новгородского князя Всеволода (Гавриила) Мстиславича в 1119 г. и оконченный в 1130 г., доминирует в композиции монастыря; этот храм представляет собой вершину княжеского строительства в Новгороде, что выражается и в необычных размерах основного объема лестничной башни, подчеркнутой высотности, сложности композиционной системы фасадов и организации внутреннего пространства (см. вклейку).

В 2001–2015 гг. Новгородским архитектурно-археологическим отрядом Новгородской археологической экспедиции Института археологии РАН при содействии Новгородской епархии и при поддержке РГНФ<sup>1</sup> в соборе проводились архитектурно-археологические раскопки, которые принесли исключительные научные результаты<sup>2</sup>. Крупные архитектурно-археологические работы в интерьере памятника как будто продолжили изыскания ленинградского археолога и искусствоведа М.К. Каргера<sup>3</sup>, проведенные в западной половине собора в 1933–1935 гг., а также исторические исследования некрополя Георгиевского собора, проведенные В.Л. Яниным<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Гранты РГНФ: 13-01-18080е (Пантелеймоновский, Благовещенский и Воскресенский монастыри в Великом Новгороде. Археологические исследования, 2013 г.); 14-01-18073е (Юрьев и Пантелеймоновский монастыри в Великом Новгороде. Археологические исследования, 2014 г.), 15-01-18080е (Юрьев, Пантелеймоновский и Ситецкий монастыри в Великом Новгороде. Археологические исследования, 2015 г.).

<sup>2</sup> *Седов Вл.В.* Раскопки 2014 года в Новгороде принесли исключительный материал, меняющий представления о раннем этапе древнерусской живописи и письменности // *Коммерсантъ – Наука*. 2014. № 1. С. 36–38; *Седов Вл.В.* Второй раскопок в новгородском Юрьеве монастыре // *Коммерсантъ – Наука*. 2015. № 6. С. 38–39.

<sup>3</sup> *Каргер М.К.* Раскопки и реставрационные работы в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Новгороде // *Советская археология*. Вып. VIII. М., Л., 1946. С. 175–224.

<sup>4</sup> *Янин В.Л.* Некрополь новгородского Софийского собора. М., 1988. С. 89–118.

В ходе этих новых работ, проведенных на этот раз в восточной половине храма, были открыты древние, первоначальные части церковного интерьера XII в.: каменный пол из крупных прямоугольных плит известняка, положенных на известково-цемяночную заливку, общая скамья (синтрон) с остатками епископского места в средней абсиде, три престола – по одному в каждой абсиде<sup>5</sup>. Кроме того, на стенах были открыты фрески с декоративными композициями: растительные орнаментальные панно и панно с изображением мраморных плит, так называемые мраморировки или полилитии<sup>6</sup>. Эти орнаментальные композиции были закреплены на стенах и промыты новгородским реставратором Т.К. Федоренко.

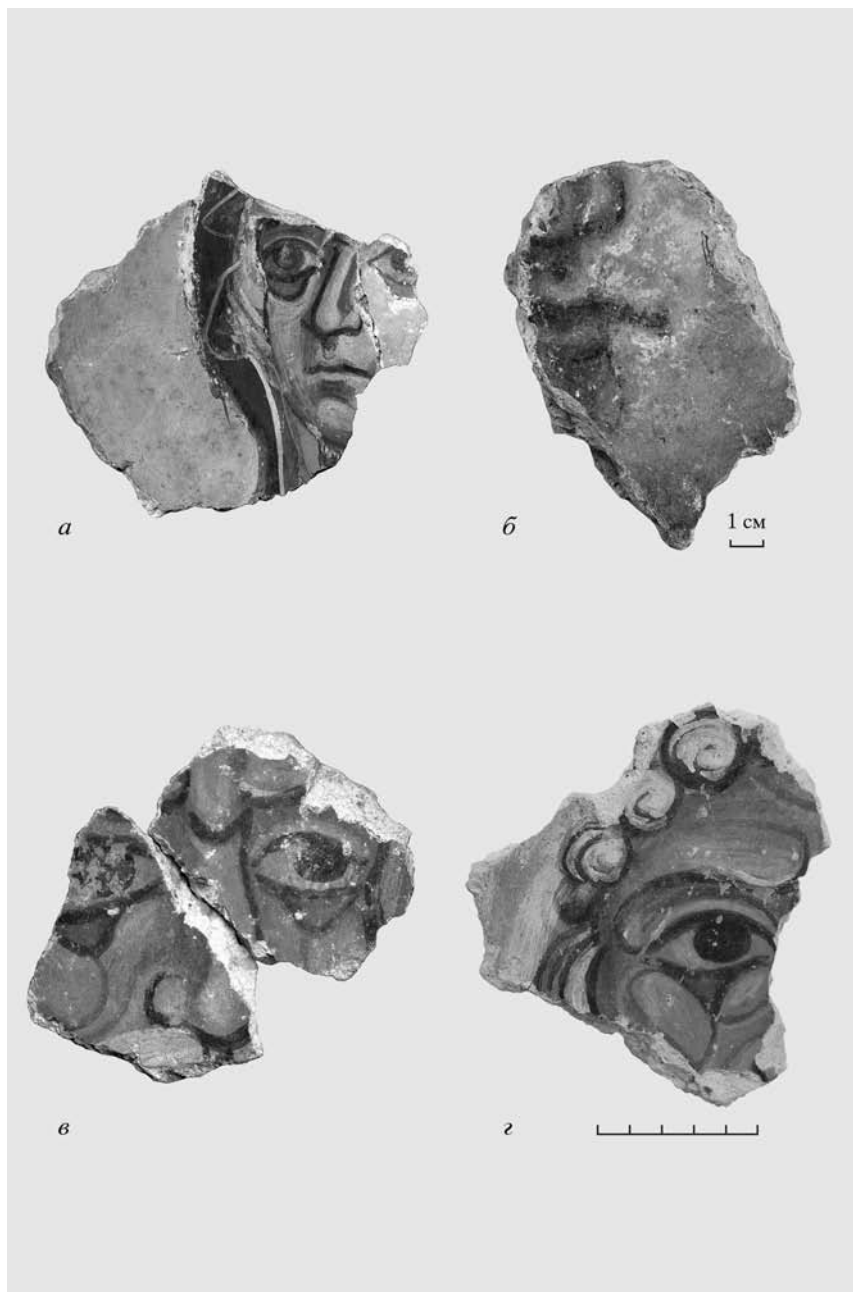
В подсыпках под поздние полы, перекрывавших пол первоначальный, были обнаружены тысячи фрагментов древней фресковой живописи, относящейся ко времени сразу после сооружения собора, т.е. к рубежу 1120–1130-х годов, и сбитой со стен во время реконструкции храма, проведенной в 1820-е годы по заказу архимандрита Фотия<sup>7</sup>. Среди этих фрагментов нашлись куски с ликами (рис. 1, 2), что чрезвычайно важно для суждения о стиле росписи собора; можно говорить об открытии нового памятника древнерусской настенной живописи. Эти фрагменты существенно

---

<sup>5</sup> *Седов Вл.В., Вдовиченко М.В.* Архитектурно-археологические исследования Пантелеймонова и Юрьева монастырей в Великом Новгороде в 2013 году // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 28. Великий Новгород, 2014. С. 94–115; *Седов Вл.В., Вдовиченко М.В.* Георгиевский собор (часть энциклопедической статьи) // Архитектурное наследие Великого Новгорода и Новгородской области / Сост. и науч. ред. М.И. Мильчик. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2014. С. 298; *Седов Вл.В.* Археологические находки 2014 года в Георгиевском соборе Юрьева монастыря // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2015. № 1 (78). С. 175–185; *Седов Вл.В.* Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде Великом // Институт археологии. Новые экспедиции и проекты. М.: ИА РАН, 2015. С. 83–85; *Седов Вл.В., Вдовиченко М.В.* Раскопки Георгиевского собора Юрьева монастыря в Великом Новгороде в 2014 г. // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материалы XXIX науч. конф., посвящ. 150-летию Новгородского музея-заповедника. Великий Новгород. 27–29 янв. 2015 г. Вып. 29. Великий Новгород, 2015. С. 98–122.

<sup>6</sup> *Седов Вл.В., Кадейшвили Е.А., Вдовиченко М.В.* Фрески XII в. на стенах Георгиевского собора Юрьева монастыря под Великим Новгородом, открытые в ходе археологических работ 2013 г. // Реставрация и исследование памятников культуры. Вып. 7. М.; СПб., 2014. С. 15–19; *Седов Вл.В., Вдовиченко М.В., Кадейшвили Е.А.* Фрески XII в. на стенах Георгиевского собора Юрьева монастыря (по результатам археологических работ 2014 г.) // Реставрация и исследование памятников культуры. Вып. 8. М.; СПб., 2016. С. 11–17.

<sup>7</sup> *Маслов К.И.* К истории обновления Юрьев-Новгородского монастыря архимандритом Фотием // Материальная база сферы культуры. Чтения памяти Л.А. Лелекова. Вып. 4. М., 1998. С. 74–90.



*Рис. 1.* Фрагменты фресок с ликами из раскопок 2014 г.



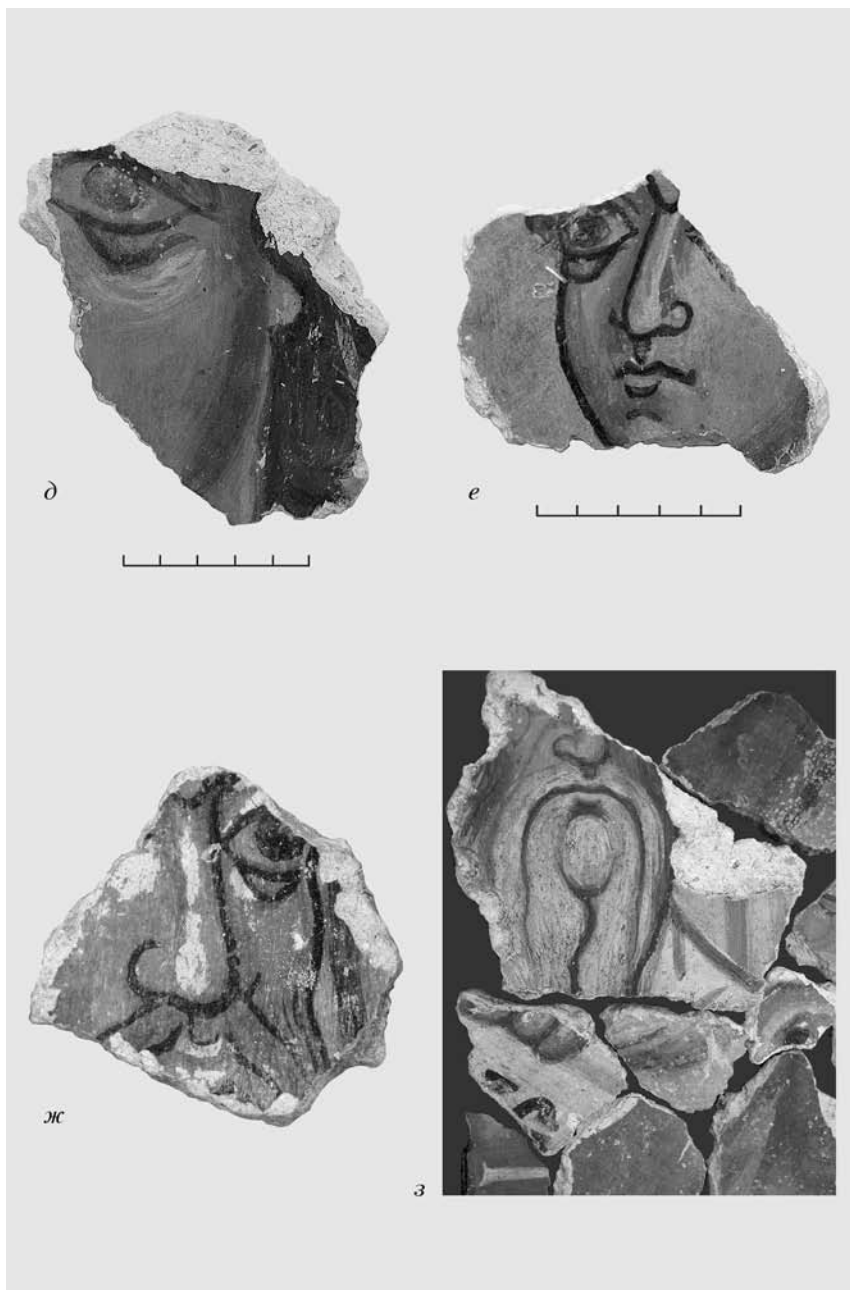


Рис. 1. Окончание

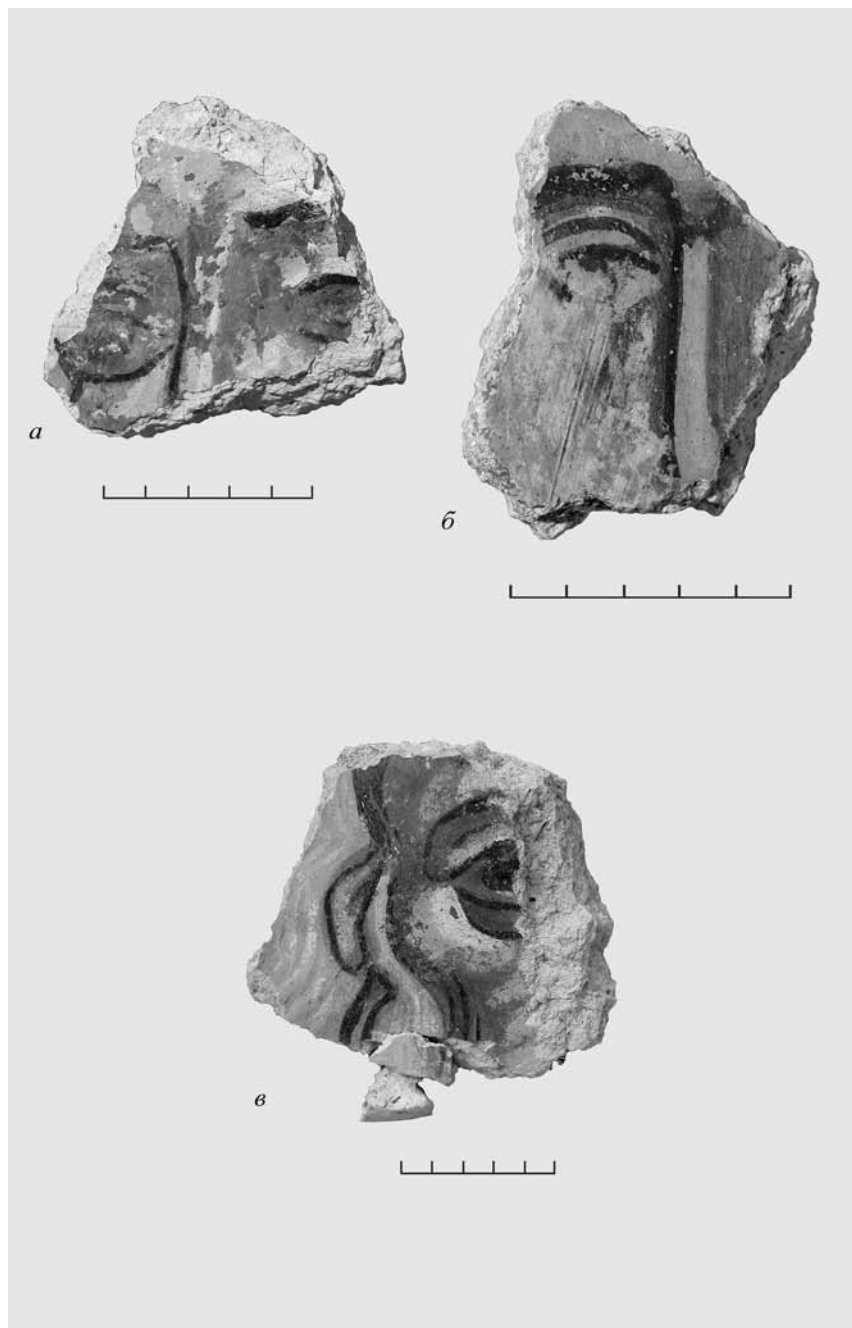


Рис. 2. Фрагменты фресок с ликами из раскопок 2015 г.

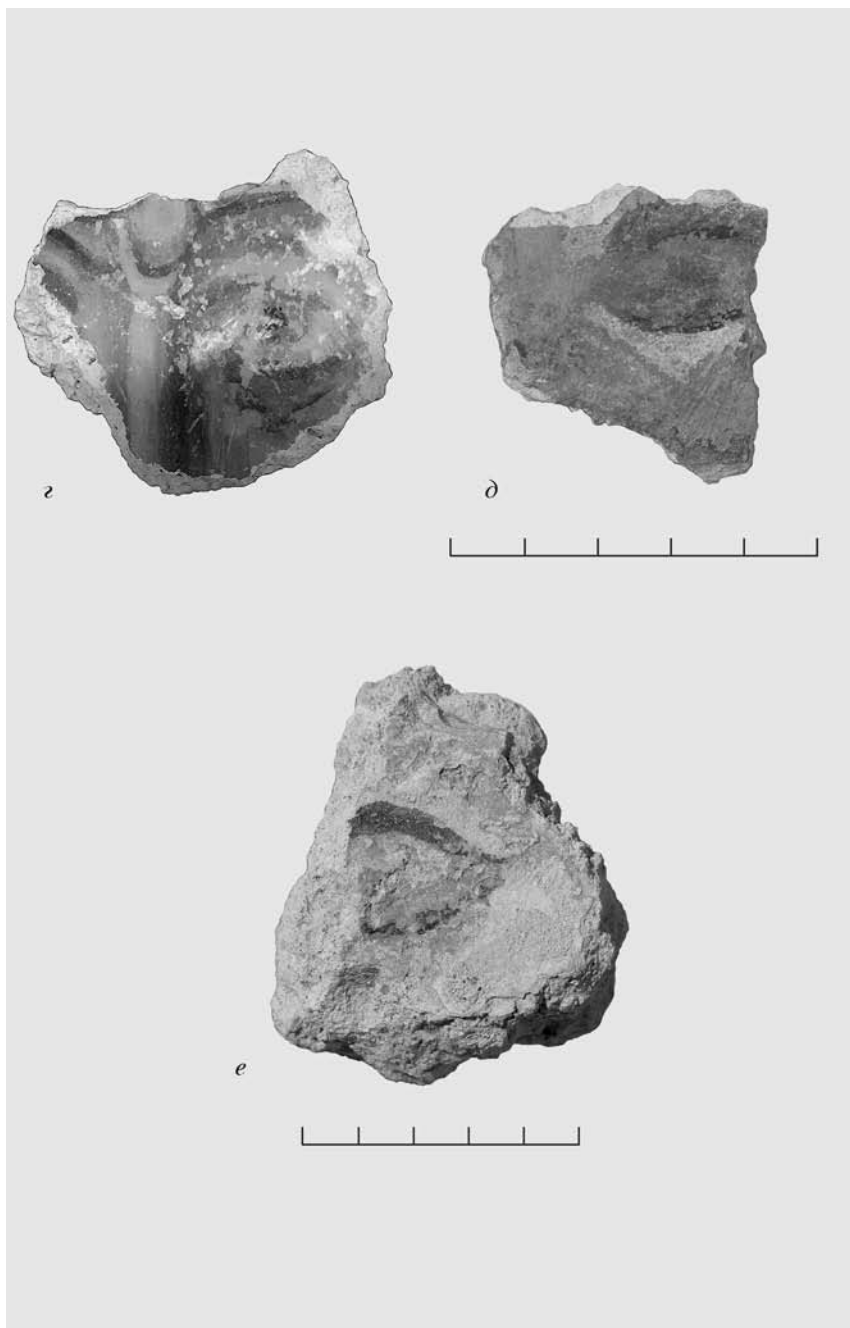
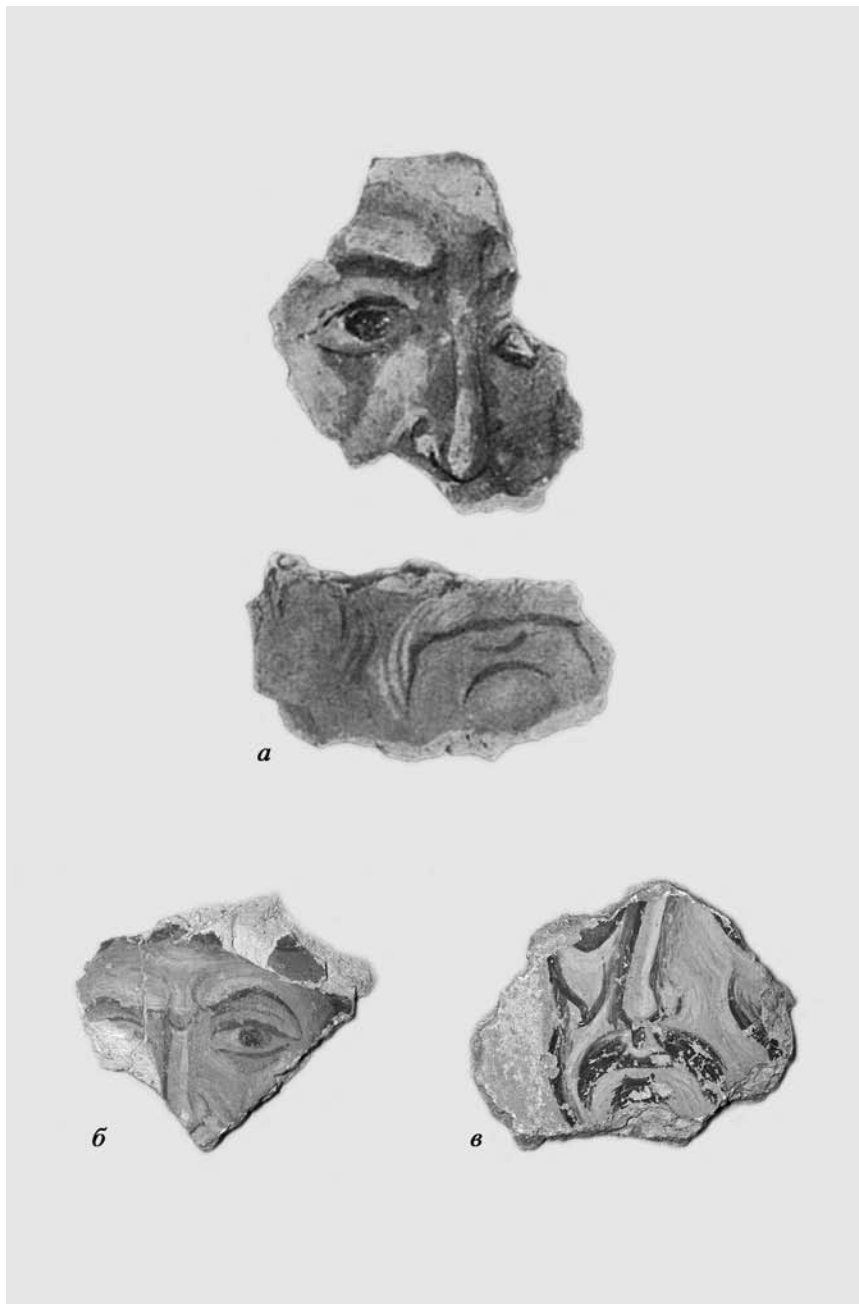


Рис. 2. Окончание



*Рис. 3.* Фрагменты фресок Георгиевского собора с ликами, опубликованные М.К. Каргером и В.Д. Сарабьяновым

отличаются по стилю от той росписи, которая сохранилась в лестничной башне собора<sup>8</sup>. Перед нами некий новый комплекс живописи, в котором превалирует дробное, графичное начало, в котором эстетизм или эстетство преобладает. О том, что роспись Георгиевского собора имеет подобный характер, уже писал на основании нескольких ранее найденных фрагментов (рис. 3) В.Д. Сарабьянов, как будто «предсказавший» находку еще многих ликов<sup>9</sup>.

Фрагменты фресок, найденные в процессе раскопок 2013–2014 гг., были последовательно переданы в реставрационную мастерскую Новгородского объединенного музея-заповедника, где они реставрируются и собираются в композиции под руководством Т.А. Ромашкевич. Этих фрагментов несколько десятков тысяч, так что материала для тщательной реставраторской работы хватит на несколько лет.

Мы не знаем состав композиций первоначальной настенной росписи основного объема Георгиевского собора. В северной абсиде храма на фоне открывшегося в процессе раскопок зеленого позема была обнаружена босая нога некоего святого (возможно – Иоанна Предтечи), но это все, что обнаружено на самих стенах помимо декоративных композиций. Обилие небольших ликов вроде бы говорит в пользу предположения о том, что на стенах собора, по крайней мере, в его восточной части, было множество отдельных небольших ростовых фигур святых, смотревших на зрителя, но среди этих небольших фигур должны быть и сюжетные, повествовательные композиции. Одна из таких композиций была определена еще в процессе раскопок. Первым был обнаружен лик Богородицы. Вторым ликом, который был найден во время

---

<sup>8</sup> *Сарабьянов В.Д.* Росписи северо-западной башни Георгиевского собора Юрьева монастыря // Древнерусское искусство. Русь и страны Византийского мира. XII век. СПб., 2002. С. 365–398.

<sup>9</sup> *Сарабьянов В.Д.* Фрески XII в. в основном объеме Георгиевского собора Юрьева монастыря // Памятники культуры. Новые открытия. 1997. М., 1998. С. 232–239. В более поздней работе исследователь говорит о «великокняжеском заказе» и тяготении этой части росписи к передаче пространственности и формы. См.: *Сарабьянов В.Д.* Заказчик и стиль в древнерусских росписях XII века // Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставрация. Вып. 4. Великий Новгород, 2011. С. 45–46; *Он же.* О судьбе древних росписей Георгиевского собора Юрьева монастыря в Великом Новгороде // История собирания, хранения и реставрации памятников древнерусского искусства. Материалы конф. 25–28 мая 2009 г. ГТГ. М., 2012. С. 357–356. См. также общий очерк настенной росписи Георгиевского собора, включающий как рассказ о фрагментах росписи внутри основного объема, так и подробный разбор фресок лестничной башни: *Сарабьянов В.Д.* Живопись середины 1120-х – начала 1160-х годов // История русского искусства. Т. 2/1. Искусство 20–60-х годов XII века. М., 2012. С. 185–201.

исследования 2014 г., был лик молодой женщины без нимба, но в царской короне с жемчужным украшением. Этот довольно большой лик с монументальной трактовкой образа должен был принадлежать какой-то большой композиции. Посетившая раскопки искусствовед Т.Ю. Царевская предположила, что перед нами лик царевны Елисавы из композиции «Чудо Георгия о змие» (см. вклейку).

Приняв это предположение, мы продолжили исследование и обнаружили, что из того же места, что и лик «царевны», т.е. из южной абсиды собора, происходят еще две группы фресковых фрагментов: фрагменты с изображением синей чешуи (см. вклейку) и фрагменты с крупными белыми буквами надписи-дипинти, сделанной на синем фоне (см. вклейку). Все эти фрагменты были собраны на отдельные поддоны.

Фрагменты с изображением чешуи можно довольно точно отождествить с изображением змея: так на фреске с «Чудом св. Георгия о змие» в церкви Георгия в Ладогe (Старой Ладогe) совершенно такими же продолжающимися полукружиями передана чешуя змея или дракона. В сезон 2014 г. было найдено семь фрагментов чешуи, все они происходили из южной абсиды. В сезон 2015 г. было найдено еще пять фрагментов, но они нашлись уже в северном рукаве креста, куда были перемещены в качестве подсыпки под поздний пол.

Здесь нужно сказать о том, что стратиграфическая ситуация в южной абсиде и в северном рукаве креста (и, заметим, в подкупольном пространстве тоже) была разной. В южной абсиде фрески, судя по всему, были сбиты со стен прямо на остатки старого пола, вернее, на песчаную подсыпку и отдельные плиты приподнятого на рубеже XVII–XVIII вв. алтарного пространства: они лежат кучно, иногда большими кусками. В этой части и был найден лик «царевны», фрагменты крупной надписи и большая часть чешуи. А в северном рукаве креста собора фрески были именно выброшены, подсыпаны в качестве подготовки позднего пола, что и объясняет появление и здесь фрагментов с чешуей.

Итак, предположительный лик царевны сложился с чешуей предполагаемого дракона-змея. Для полной уверенности в том, что мы имеем дело с фрагментами композиции «Чудо Георгия о змие» нужно было обратиться к фрагментам с частями надписи. Среди этих кусков нашлось несколько крупных, из которых сложился фрагмент с буквенной последовательностью **ЕЛЕЦРЪВ**, что с высокой вероятностью интерпретируется как «(пов)еле цѣръ».

Мы попытались найти соответствие этому отрывку в тексте житийной повести о святом Георгии Победоносце и нашли соответствующее место в «Чуде Георгия о змие»: после избавления

города от змея и отсечении Георгием главы змея царь города повелел создать в честь Георгия храм, в который святой послал после окончания строительства свой щит, висевший на воздухе над святой трапезой, т.е. над престолом. Вот это место, буквально совпадающее с найденной в Георгиевском соборе надписью:

И повелѣ ц(а)рь създати ц(е)рк(о)вь въ имя преславнаго и великаго м(у)ч(е)ника и стр(а)с(т)отръпца Х(ристо)ва Геѡргіа и оукраси ц(е)рковь шну златом и сребромъ и каменіемъ драгимъ и повелѣ памят(ь) его творити м(ѣ)с(я)ца апріліа в 23 д(е)нь<sup>10</sup>.

Такая надпись прямо подходит к сцене «Чудо Георгия о змие», мало того, она находилась выше престола, который размещался, как выяснилось в процессе раскопок, в боковой южной абсиде собора. То есть, было некое пространственное соответствие между надписью, рассказывающей о чудесно висевшем над престолом щите святого Георгия, и расположением самой надписи и той композиции, которую она поясняла, над престолом соборного придела.

Следует еще раз сказать, что в Ладогe в монастырском храме св. Георгия сцена «Чудо Георгия о змие» расположена в южной боковой абсиде. Здесь тоже имелась надпись в несколько строк, но она практически полностью исчезла, сохранилось только ее поле. Кроме композиции с Чудом в этой же абсиде было еще, по крайней мере, две композиции<sup>11</sup>. Следует думать, что и в Георгиевском соборе Юрьева монастыря кроме сцены с чудом были и другие композиции. Об этом говорит наличие среди фрагментов поясняющих надписей по крайней мере трех с упоминанием имени Георгия: (СТ)ГО ГЕ..., ГЕОРЬ..., ...ЕО... Справедливости ради нужно заметить, что и фрагмент со словами (пов)еле цѣрь мог, теоретически, относиться не только к «Чуду о змие», но и к какому-то другому изображению георгиевского цикла.

Более того, мы можем предположить, что в монастырском храме в Ладогe само место композиции с чудом и других композиций – в южной абсиде, а также сама иконография композиции была выбрана с равнением на образец, в качестве которого выступила роспись южной абсиды Георгиевского собора, выполненная на несколько десятилетий ранее.

Не менее масштабные результаты раскопки 2014 г. дали для эпиграфики Великого Новгорода. Десятки обнаруженных фраг-

---

<sup>10</sup> Великие Минеи Четии. Апрель / Памятники славяно-русской письменности, изданные Императорскою археографическою комиссіею. Т. I. Тетрадь III. Дни 22–30. М., 1915. С. 61.

<sup>11</sup> *Сарабянов В.Д.* Иконографическая программа фресок Георгиевской церкви и система росписи древнерусских храмов середины – второй половины XII века // Церковь Георгия в Старой Ладогe. М., 2002. С. 176–182.

ментов фресковой росписи несут на себе буквы, отдельные слова, а иногда и более крупные части надписей-граффити, среди которых имеются надписи, представляющие значительный исторический и культурный интерес. Одну из них, самую большую, сложившуюся из 30 фрагментов, мы уже недавно опубликовали<sup>12</sup>.

Фрагменты этой надписи нашлись в юго-восточной части алтарного пространства собора, у подножия восточного фронта юго-восточного столба, в проходе из средней абсиды в южную боковую абсиду (см. вклейку). В надписи говорится о смерти двух княжичей, Ростислава и Изяслава Ярославичей, и об их погребении в соборе Юрьева монастыря.

В настоящий момент надпись читается так:

... (ню)на въ к̅ прѣстависѧ князь (Р) [ос] тисл(авъ) ...  
 ... (благо)чѣстиваго (и) боголюбига к(н)аза Аро...  
 ... е[г]о Изасла(в)ъ прѣстависѧ мѣца ию...  
 ...нѣ въ кня(ж)ени своем[ъ] на Лука(хъ) ...  
 ...со--цинь-- привезоша и в[ъ]лож(иша) ...  
 ... (ѣ)[г]аг[о] Ге(о)ргиа въ еї днѣ пр(и) архи...  
 ... (благо)[ц]ьс[г]ивѣ[м]ь Мартури а вы и[г]оуме[н]...  
 ...аг(о) Саватиа а даи има Бѣ оупо...  
 ... с[ѣ]ми своими и мо[ли]та Бѣа ...

С добавлением недостающих частей слов и наиболее вероятными конъектурами текст граффито – самой пространной из новгородских надписей XI–XIII вв. – реконструируется следующим образом:

(Мѣца ию)на въ к̅ прѣстависѧ князь (Р) [ос] тисл(авъ сынъ)  
 (благо)чѣстиваго (и) боголюбига к(н)аза Аро(слава)  
 (а сынъ) е[г]о Изасла(в)ъ прѣстависѧ мѣца ию--  
 (въ – днѣ) въ кня(ж)ени своем[ъ] на Лука(хъ)  
 ----со--цинь-- привезоша и в[ъ]лож(иша -)  
 (въ гробъ оу ѣ)[г]аг[о] Ге(о)ргиа въ еї днѣ пр(и) архи(епискоупѣ бл҃го)[ц]ьс[г]ивѣ[м]ь Мартури а вы и[г]оуме[н](ьство)  
 (боголюбив)аг(о) Саватиа а даи има Бѣ оупо(коение)  
 (вѣчное съ) с[ѣ]ми своими и мо[ли]та Бѣа (за ны)

В Новгородской 1-й летописи (далее – НПЛ) событие, о котором рассказывает надпись из Юрьева монастыря, описано так:

Въ лѣто 6706 [1198]. Тои же весне преставистася у Ярослава сына 2: Изяслав бѣше посаженъ на Лукахъ княжити и от Литвы оплечье Новгороду, и тамо престависѧ; а Ростиславъ Новѣгородѣ; и оба положена у святого Георгия въ манастыри<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Гунтуис А.А., Седов В.В. Надпись-граффито 1198 года из Георгиевского собора Юрьева монастыря // Города и веси Средневековой Руси. Археология, история, культура. К 60-летию Н.А. Макарова. Москва; Вологда, 2015. С. 478–490.

<sup>13</sup> Новгородская 1-я летопись. С. 44. М.; Л., 1950 (далее – НПЛ).



Летопись сохранила и годы рождения умерших княжичей: Изяслав, в крещении Михаил, родился в 1190 г., а Ростислав – в 1193 г.<sup>14</sup>; таким образом, в момент смерти старшему было восемь, а младшему пять лет.

В отличие от летописи, сообщающей лишь, что княжичи умерли весной, надпись называла и даты их кончин. Из нее мы узнаем, что Ростислав умер 20 июня. Об Изяславе мы знаем, что он умер в июне или в июле (от названия месяца сохранились лишь первые две буквы) и был погребен 15-го числа. Если это произошло в июле, то ошибочным оказывается указание летописи на весну как время смерти княжичей, а также последовательность, в которой она сообщает об их кончинах. Если же имеется в виду июнь, приходится допускать, что в композиции надписи сообщение о смерти Изяслава, умершего первым, было перемещено на вторую позицию. Логика такого перемещения можно, впрочем, понять: в отличие от Ростислава, Изяслав умер, занимая собственный княжеский стол («в своем княжении»), в связи с чем сообщение о его погребении оформлено с особой обстоятельностью, плавно перетекая в заключающее надпись молитвословие.

Особую значимость сообщаемые надписью даты приобретают по той причине, что со смертью сыновей Ярослава Владимировича в литературе традиционно связывается строительство церкви Спаса-Преображения на Нередице. Известие о закладке храма 8 июня следует в Новгородской первой летописи сразу за сообщением о кончине княжичей и их погребении в Юрьеве монастыре. Считается, что именно это событие явилось поводом к основанию церкви. Между тем, из надписи мы теперь точно знаем, что Ростислав умер, а Изяслав был погребен уже после 8 июня. В свете этой информации исторический контекст основания Нередицкой церкви приходится пересмотреть: по-видимому, строительство храма заранее планировалось Ярославом Владимировичем как акт политического самоутверждения, но, по роковому стечению обстоятельств, его начало было омрачено трагедией в княжеской семье.

Предваряя полную публикацию найденных надписей, кратко охарактеризуем другие тексты, представляющие наибольший историко-культурный интерес.

Блок фресковой штукатурки, на котором сохранилась надпись 1198 г., содержит, помимо нее, еще два важных текста (см. вклейку). В его верхней части, справа читается надпись:

**(Въ лѣто) шесть(т)ы[с]я[ш]ьное | [·ψ]м̄· (6740) преста[в]исл (а)  
[рхи]|епискѹпо О[н]тони на сѣи Пе[ла]гид.**

<sup>14</sup> НПЛ. С. 39, 41.

Архиепископ Антоний, в миру Добрыня Ядрейкович – один из главных деятелей церковной истории Новгорода первой трети XIII в. и автор знаменитого описания паломничества в Царьград, отразившего состояние византийской столицы накануне ее разорения Четвертым крестовым походом. Согласно летописи, Антоний умер 8 октября 1232 (6740) г.<sup>15</sup> Память св. Пелагеи приходится на эту дату.

Левее записи о смерти Антония видны окончания четырех строк еще одного граффито: ...[ѣ]ста |...[г]оро | ...[а]гоуста | ...  
ѣг-апо. Этот, казалось бы, жалкий остаток текста оказывается при ближайшем рассмотрении на редкость информативным. С учетом содержания соседних надписей слово в первой строке уверенно восстанавливается как пр[ѣ]ста(виса). Во второй строке можно предположить (нов)[г]оро(дски); в третьей читается название месяца, в четвертой – фрагмент указания «святочной» даты: (на) сѣго апо(стола)... Надпись сообщала о смерти лица, умершего в августе, на память одного из апостолов. Поиск соответствующей информации в Новгородской первой летописи сразу же приносит результат. Под 1199 г. летопись сообщает:

Въ лѣто 6707 [1199]. Приславъ Всѣволодь, выведе Ярослава из Новагорода и веде и къ себе; а из Новагорода позва владыку и посадника Мирощку и вячшии мужи по сынъ. И яко быша на озѣре Серегери, **преставися** рабъ божи архиепископъ **новгородьскыи** Мартурии мѣсяца **августа** въ 24, на **святого апостола** Варфоломея; и привезоша и, положиша и въ притворе святыя София<sup>16</sup>.

Можно уверенно утверждать, что надпись сообщала о смерти архиепископа Мартирия, за год до своей кончины участвовавшего в погребении сыновей Ярослава Владимировича.

В непосредственной близости от уже рассмотренных надписей находилось, по-видимому, двустрочное граффито (рис. 4), от которого сохранился следующий текст: (М)ѣа ма[и](а ... на память) сѣаго ... (п)ръстависа ра(бъ Бѣжи)| Митро[ѳ](ань)... Соседство с надписями о кончинах архиепископов Мартирия и Антония наводит на мысль: не идет ли речь об архиепископе Митрофане, умершем в 1223 г.? Однако этот новгородский владыка скончался, согласно летописи, 3 июля, на память святого Иакинфа<sup>17</sup>. Следовательно, имеется в виду другой Митрофан, и можно предположить, какой именно. Под 6714 (1206) г. летопись сообщает:

<sup>15</sup> НПЛ. С. 72.

<sup>16</sup> Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 44.

<sup>17</sup> НПЛ. С. 61.



Рис. 4. Надпись о смерти Митрофана  
(предположительно – посадника Михалка Степанича). 1206 г.

Прѣставися рабъ божи Митрофанъ, а мирскы Михалько, постригъся у святѣи Богородици въ Аркажи манастири мая въ 18, посадникъ новгородскыи<sup>18</sup>.

Предводитель боярского клана с Прусской улицы Михалко Степанич был одной из ключевых фигур в истории Новгорода конца XII – начала XIII в.

Аналогичным образом, на основе небольшого фрагмента реконструируется содержание еще одного граффито, от которого сохранились фрагменты шести строк (см. вклейку): ...ис[▲]... | ...дри[т]... | ...ѣмъ се... | ...авле сѣ... | ...хавъар[х]... | ...намън... Главную опору для реконструкции дает последовательность **дрит** во второй строке, явно содержавшей слово *архимандритъ*. В первой строке читалось, конечно же, (*престав*)ис[▲]. Из фрагмента третьей строки видно, что кончина архимандрита случилась на память нескольких святых: **сѣмъ се...** (на *се ...* могло начинаться имя одного из святых, географическое определение, например, *севастийскимъ*, или числительное *семи*). В четвертой строке слово, заканчивавшееся на ...авле, могло быть лишь притяжательным прилагательным от княжеского имени на -славъ; с большой вероятностью здесь можно предполагать конструкцию типа (*въ княжение Свято*)славле сѣн(а *Ольгова*).

Как известно, титул «архимандрит новгородский» носил с конца XII в. игумен Юрьева монастыря. До середины XIV в. Новгородская

<sup>18</sup> НПЛ. С. 50.

летопись сообщает о смерти четырех новгородских архимандритов: Савватия (1194), Саввы (1226), Варлаама (1270) и Лаврентия (1338). Последний умер во время «разратья» Новгорода с Иваном Даниловичем и может быть исключен. В годы кончин Савватия, Саввы и Варлаама новгородский стол занимали князья по имени Ярослав – Владимирович, Всеволодович и Ярославич, что делает данный признак нерелевантным. Даты смерти Савватия и Варлаама в летописи отсутствуют. Между тем, о смерти Саввы она сообщает подробно, и это сообщение представляет для нас большой интерес.

Тои же зимѣ въвѣдоша съ Хутина от святого Спаса Арсѣння игумена, мужа кротка и смирена, князь Ярослав, владыка Спуридонъ и всь Новгородъ, и даша игуменьство у святого Георгия; а Саву лишиша, посадиша и въ келии; и разболеся, лежавъ 6 недѣль, и прѣставися марта въ 15, въ субботу предъ обѣднейо<sup>19</sup>.

15 марта отмечается память св. мученика Агапия и с ним шести мучеников, т.е. *семи святых*. Это делает очень значительной вероятностью того, что надпись сообщает именно о смерти бывшего юрьевского игумена, новгородского архимандрита Саввы, незадолго до своей кончины отрешенного от должности.

Описанные в летописи драматические обстоятельства смещения Саввы и замены его княжеским ставленником Арсением вполне могли быть отражены в окончании надписи. В пятой строке опознается: **(при)ахавъ ар[х](иепископъ)**. Не сообщала ли надпись о предшествовавшем кончине Саввы приезде архиепископа Спиридона, в коде которого владыка сместил старого и поставил нового игумена? Для последней строки в таком случае мыслима реконструкция (**постави Арсени**)[а намъ н](а мѣстѣ его). Ср. летописные формулировки в статье 1194 г.:

Въ то же лѣто прѣставися игумень Дионисии святого Георгия, и *поставиша на мѣстѣ его* Саватию. Тои же зиме преставися игумень Герасимъ у святыя Богородици въ Аркажи монастыри, и *поставиша на мѣстѣ его* Панькратия попина<sup>20</sup>.

С личностью архиепископа Спиридона есть основания связать надпись, от которой сохранились, с небольшими утратами, заключительные пять строк (см. вклейку): ... **мног[а] (е)му| (лѣ)та исполни | (е)[м]у Бѣ добра | (а с)лужиле у св[а] (та)го Георгия**. Надпись заканчивалась пожеланием многолетия человеку, о котором сказано, что он «служил у святого Георгия». Такое благопожелание возможно, как кажется, в единственной ситуации – если лицо, о котором идет

<sup>19</sup> НПЛ. С. 70.

<sup>20</sup> НПЛ. С. 41.

речь, оставило свою службу в Георгиевском соборе для более высокой церковной должности. Именно это произошло в 1229 г., когда новгородскую кафедру занял Спиридон, служивший до того дьяконом в Юрьеве монастыре. Вот как описывает его избрание летопись:

Томъ же лѣтъ рече князь Михайль: “се у васъ нѣту владыкы, а не лѣпо быти граду сему безъ владыцѣ; оже богъ казнь свою възложилъ на Онтонія, а вы сочите таковаго мужа въ попѣхъ ли, в ѱгуменехъ ли, въ черенцихъ ли”. И рекоша нѣкотории князю: “есть чьрньць дьяконъ у святого Георгия, именьмъ Спиридонъ, достоинъ есть того”; а инии Осафа, епископа володимирьскаго велыньскаго, а друзии Грьцина: “кого дасть митрополитъ, тотъ намъ отецъ”. И рече князь Михайль: “да положимъ 3 жрѣбья, да которыи богъ дастъ намъ”. И положиша на святѣи тряпѣзѣ, имена написавшѣ, и послаша из грядницѣ владыщне княжиця Ростислава; изволи богъ служителя себе и пастуха словесьныхъ овчѣ Новугороду и всѣи области его, и выяся Спуридонъ. И послаша по нь въ манастырь и, приведше, посадиша и въ дворѣ, дондеже поиде Киеву ставиться<sup>21</sup>.

Можно думать, что именно в этот момент в соборе была сделана надпись, зафиксировавшая столь важное для монастыря событие, как избрание из числа его монахов новгородского владыки.

Рассмотренные выше тексты представляют собой разрозненные записи поминального и исторического содержания, не образующие единой последовательности, но делавшиеся время от времени разными лицами, хотя, безусловно, не без санкции монастырских властей. Между тем, в том же пространстве южной абсиды находился и эпиграфический текст, который без всяких преувеличений может быть назван летописным. Фрагменты этой эпиграфической летописи обнаруживаются на трех обломках фресковой штукатурки красного цвета со слегка скругленной поверхностью. Эти фрагменты (ниже обозначенные литерами А, В, С) очевидно, находились один под другим на углу северной стены южной абсиды и прохода в центральную абсиду собора (см. вклейку). Сохранившиеся на них записи были сделаны одним почерком. Взаимное расположение фрагментов реконструируется следующим:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [А] | ... <b>(к)ъ Рости(славъ) ...ь<sup>10</sup> по Сват(ослава)...</b> [с а ем(ъ) ...                                                                                                                                                                                              |
| [В] | ... <b>сепь(табра на пама)ть ст̄(го м̄че ник)а Вачесла ва.</b><br><b>(Въ лѣт̄ 66)68 [1160]. Сьго (рѣ ст̄аа) Троица  (весь)нѣ на п(а ма)тъ Възн(есе)ниа  м̄ца м(аиа)  въ 25, при (к)на зи Мьстис(ла)вѣ  Ростисла(в)ици  Гюрге(вѣ) вьн̄цѣ въ (еп)иск̄ (пство) Арка (диево).</b> |

<sup>21</sup> НПЛ. С. 68.

|     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [С] | . ... (сѣ)ѣи Бѣи (въ) ...ъ цистоѣ н(едѣлѣ)<br>(Въ л)ѣ <sup>г</sup> 6671 [1163]. П(реста) висѣ рабѣ (Бѣи Га) врило<br>мѣц(а маѣ)  въ 11 въ суб(отѣ)  панतिकостьнѣ ю и поло-<br>жиш(а и въ црѣ)кѣви сѣ--- ----ѣ у цѣ--- |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Сохранившаяся наиболее полно запись о пожаре «святой Троицы» (фрагмент В) не находит соответствия в НПЛ. Единственная Троицкая церковь, известная в Новгороде в XII в. – на Радятине улице в Людине конце, впервые упоминается в 1165 г., когда она была построена. За пять лет до этого мог сгореть находившийся на том же месте более древний деревянный храм. С другой стороны, надпись может сообщать о пожаре Троицкого собора во Пскове, основанного Всеволодом-Гавриилом Мстиславичем около 1138 г. До строительства церкви Троицы на Радятине улице, он мог восприниматься как единственная «святая Троица» в Новгородской епархии. Упоминание в надписи имен князя и епископа делает эту версию вполне вероятной: по отношению к рядовому новгородскому храму такая торжественность кажется избыточной.

Первое княжение в Новгороде Мстислава Ростиславича продолжалось, согласно НПЛ, почти год: заняв стол 21 июня 1160 (6668) г., он был выведен в июне 1161 (6669) г., «седевѣшю ему годъ до года без недѣлѣ»<sup>22</sup>. Поскольку НПЛ в это время последовательно придерживается мартовского года, пожар 25 мая мог иметь место лишь в 1161 г. Годовая дата надписи, таким образом, на год отстает от мартовской.

Датированная 6671 (1163) г. смерть некоего Гавриила (фрагмент С) не была отмечена новгородской владычной летописью; под этим годом НПЛ сообщает только о кончине епископа Аркадия. Примечательно, однако, что статья НПЛ 6670 г. содержит известие о смерти Олексы, игумена «святой Богородицы», т.е., очевидно, Успенского монастыря в Аркажах. Не это ли событие зафиксировала запись, предшествовавшая статье 6671 г. нашей эпиграфической летописи? Она сообщала о событии, случившемся (или акте, совершенном) «у святой Богородицы» в один из дней Чистой недели.

Фрагмент А содержит обрывки имен князей Ростислава и Святослава. Это сочетание хорошо подходит для 6669 (1161) мартовского года, в июне которого новгородский стол во второй раз занял Святослав Ростиславич. НПЛ, в уже цитированной статье, сообщает об этом так:

<sup>22</sup> НПЛ. С. 31.

Уладися Ростислав съ Андрѣемь о Новѣгородѣ, и вѣвѣдоста Мъстислава, Гюргевь вѣнукъ, седевьшю ему годъ до года без недѣлѣ, а Святослава вѣвѣдоша опять на всѣи воли его, септября въ 28<sup>23</sup>.

Запись в эпитафической летописи могла сообщать об отправке из Новгорода посольства в Смоленск «къ Ростиславу» «по Святослава» и приходе Святослава в Новгород. (Ср. формулировку известия о вокняжении другого Святослава Ростиславича под 6726 г.: «Новгородци же послашася Смольньску по Святослава по Ростиславици, и приде в Новѣгородѣ мѣсяца августа въ 1»<sup>24</sup>).

Казалось бы, фрагмент А должен был располагаться на стене между фрагментами В и С. Такая реконструкция, однако, наталкивается на следующее препятствие. 28 сентября, в день прихода в Новгород Святослава Ростиславича, празднуется память св. Вячеслава Чешского. Именно эта «святочная» дата выступит в окончании записи, сделанной выше записи 6668 г. о пожаре церкви св. Троицы. Крайне маловероятно, чтобы это совпадение было случайным. Приходится признать, таким образом, что записи в нашей эпитафической летописи не следовали одна за другой в строгом хронологическом порядке, располагались на стене хотя и компактно, но несколько бессистемно. В пользу этого говорит и остаток еще одной записи тем же почерком, видимый слева на фрагменте В, на уровне середины записи о пожаре Троицкой церкви.

Реконструируемый таким образом фрагмент настенной летописи Юрьева монастыря представляет собой древнейший дошедший в оригинале комплекс русских летописных записей. Но значение его определяется не только этим. Данный фрагмент занимает вполне определенное место в истории новгородского летописания. Согласно современному представлению об этой истории, старейший, Синодальный список НПЛ, древнейшая часть которого датируется 30-ми годами XIII в., связан по своему происхождению с Юрьевым монастырем<sup>25</sup>. Возникновение его протографа датируется временем около 1167 г., когда в монастыре появился список с непрерывно ведущейся владычной летописи. Наш эпитафический летописчик охватывает годы, непосредственно предшествующие этому моменту. Он является свидетельством того интереса к летописной работе, который спустя несколько лет вылился в обзаведение Юрьевым монастырем собственной пергаменной летописью.

Своеобразие эпитафического комплекса Георгиевского собора, обнаруженного раскопками 2014 г., наиболее выпукло выступает

---

<sup>23</sup> НПЛ. С. 31.

<sup>24</sup> НПЛ. С. 58.

<sup>25</sup> *Гунпиус А.А.* К истории сложения Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. Вып. 6 (16). СПб., 1997. С. 28–34.

при сопоставлении его с надписями Софийского собора. Как уже было сказано, большая часть новооткрытых надписей происходит из южной абсиды и прохода из нее в центральную абсиду. Замечательно, что и в Софийском соборе соответствующие поверхности стен (доступные в раскопах Г.М. Штендера 1970-х годов) являются местом наибольшей концентрации надписей, будучи почти сплошь покрыты граффити. Но по своему характеру эти комплексы глубоко различны. В Софийском соборе мы имеем дело с продуктами спонтанной письменной активности отдельных индивидов – именами, монограммами, молитвенными формулами, обрывками литургических текстов и др. То же можно сказать и о надписях в лестничной башне Георгиевского собора, некоторые из которых были опубликованы Т.В. Рождественской<sup>26</sup>. В алтарной же части храма эпиграфическая активность носила совсем иной, по преимуществу официальный характер. Нанесение надписей здесь явно регламентировалось распоряжениями монастырских властей – только этим можно объяснить полное преобладание среди них текстов поминального и летописного характера. По причинам, о которых можно только догадываться, одни и те же компартименты кафедрального и монастырского соборов демонстрируют два разных лика древнерусской эпиграфики.

Впрочем, официальный характер обнаруженного эпиграфического комплекса не следует абсолютизировать. Наряду с надписями, подобными приведенным выше, он включает и образцы «спонтанной» эпиграфики. Одним из них мы и закончим эти заметки. Надпись, заключенная в прямоугольную рамку, сохранилась с утратами, но, за исключением последнего слова, уверенно восстанавливается: **Гѣ, сѣси грѣ(ш)ьна(г)о!+ |(Ох)ъ м(ъ)нѣ |-----ѸмѸ!** Последнее слово было явно прилагательное (грѣшнѸмѸ? оканьѸмѸ?). Подобного рода сокрушенные вздохи в древнерусской эпиграфике – не редкость. Уникально, однако, продолжение, которое получил этот текст. Справа, на оставшемся внутри рамки свободном месте, другой рукой приписано ироническое восклицание: **Охъ же|е тебе| хоче|ть бы|ти!** («Ох и будет же тебе!») (см. вклейку).

Можно надеяться, что продолжение раскопок и дальнейшая обработка фрагментов, найденных в 2014–2015 гг., принесут еще немало интересных дополнений как к художественной, так и к эпиграфической составляющей открытого комплекса.

---

<sup>26</sup> *Рождественская Т.В.* Древнерусские надписи на стенах храмов. Новые источники XI–XV вв. СПб., 1992. С. 48–71; *Она же.* «О, тому умети грамоте!..» (Надписи с именем «Путила» в Георгиевском соборе новгородского Юрьева монастыря) // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 58. СПб., 2008. С. 780–788.



---

## Часть 3

# АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

---

### ЛЮБОВНЫЕ ЭЛЕГИИ ОВИДИЯ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ОСТАЛЬНЫМ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ

*Михаэль фон Альбрехт*

По словам Пушкина, Овидий – «певец любви, певец богов» и конечно поэт изгнания, что «горьки слезы проливал, свой дальний град воспоминая». Любовная поэзия составляет лишь треть его творчества. Но и об одной любви можно было бы сказать много (и не преуспеть). Поэтому ограничусь одним вопросом: «Любовные элегии Овидия и их отношения к остальным его произведениям» (т.е.: «Какие черты последних подготавливаются в “Amores”, какие нет?»). Ведь нередко в первом сочинении поэта усматривается в зародыше многое, что он позже разовьет в более широком масштабе. (Например, *Эподы* Горация подготавливают с одной стороны *Оды*, с другой – *Сатиры*.)

Первое издание «Amores» до нас не дошло; второе – сокращено (три книги вместо пяти), но и дополнено. Оно отражает самопонимание автора, тогда уже более чем сорокалетнего.

Перед тем как сравнивать «Amores» с остальными произведениями Овидия, укажем вкратце на то, что в форме и построении этих трех книг проявляются те принципы, которые будут разработаны Овидием и в его дальнейших произведениях. Стихотворения распределены на три книги. Тут напрашивается сравнение с «Epistulae ex Ponto» I–III: там соблюдается осевая симметрия еще строже. Как в «Amores», и там элегия, посвященная старому другу Грецину, находится в самом центре коллекции. (Овидий очевидно – верный друг, о чем свидетельствует между прочим и тот факт, что один он не перестает хвалить Корнелия Галла и после того, как Август заставил того покончить с собой.)

Кроме осевой симметрии, в «Amores» бросаются в глаза и параллельные структуры: например, первая их книга состоит из

двух параллельных серий стихотворений (2-е и 9-е развивают «воинскую» тематику; в 7-м и 14-м речь идет о прическе девушки), причем восьмая элегия занимает центральное место.

Соблюдаются и числовые пропорции: первая книга состоит из 15 элегий, «Метаморфозы» же – начерченные в более широком масштабе – из 15 книг.

И в «Метаморфозах» находим параллельные структуры: в первой книге подробно описывается потоп, во второй всемирный пожар, вызванный Фаетоном. Во второй половине каждой из этих книг описываются любовные приключения богов.

Следовательно, во втором издании «Amores» уже разработаны те формальные принципы, которых поэт будет придерживаться и позже.

Опускаю характеристику жанра и его развития в Риме, предшественников Овидия, типичные фигуры и разновидности текстов, игру с читательскими ожиданиями, программу «биос эротикос», добровольного безрассудства и рабства влюбленного и спешу остановиться на отношениях «Любовных элегий» к остальному творчеству Овидия. Как первенец, «Amores» открывают пути во многих направлениях.

### 1. Мосты к «Искусству любви».

Уже в «Любовных элегиях» встречаются пьесы назидательно-го содержания, так, в четвертой элегии первой книги (1, 4) кавалер дает возлюбленной детальные наставления о том, как ей вести себя на пиру (ср. позднее *Ars* 1, 565–608). Предшественники по элегическому жанру уже давали любовные наставления (напр., Тибулл, 1, 4 и 1, 8). В дальнейшем в «Искусстве любви» будут использоваться мотивы из «Любовных элегий», пересаженные на дидактическую почву. Достаточно вспомнить о милой сцене колесничных скачек (*Amores* 3, 2; *Ars* 1, 135–170) или о мотиве «мне нравятся все» (*Amores* 2, 4; *Ars* 2, 641–680). Плавание по морю и поездка по суше лежат в основе многих любовных элегий как многозначительные символы; в «Искусстве любви» и «Лекарствах от любви» они развиваются систематически и получают и структурообразующую функцию<sup>1</sup>. То же самое справедливо и для представления о любви как о воинской службе (*Amores* 1, 9 и *Ars* 2, 233–238). Прямое упоминание «Искусства любви» можно усмотреть в «Любовных элегиях» 2, 18, 19. В рамках «Любовных элегий» дидактическая проблематика тематизируется открыто: поэт (точнее: элегическое «я») познает на опыте, что его поучения могут обернуться против

<sup>1</sup> Weber M. Die mythologische Erzählung in Ovids «Liebeskunst». Frankfurt, 1983.

него же (2, 18, 20; в 2, 5 возлюбленная обращает предписания из 1, 4 против того, от чьего лица ведется речь). «Учителя» любви побивают его собственным оружием: независимо от того, работал ли уже Овидий над «Искусством любви» в то время, когда он сочинил 2, 18, это место позволяет признать, что первенец Овидия указывает пути в самых разных направлениях и предвосхищает позднейшие овидиевы создания.

## 2. Мосты к «Посланиям героинь».

Овидий гордится тем, что он создал жанр «Послания героини». Элегии эпистолярного характера можно найти в сборнике «Любовных элегий», например, 1, 11 и 1, 12. Элегия 2, 15 облечена в форму сопроводительной записки к подарку. Но не только эти элегии обладают чертами, напоминающими письма; многие из них адресованы конкретному лицу и содержат какую-либо просьбу. В «Любовных элегиях» выдерживается точка зрения мужчины; потому поэзия «Героид» представляет собой новую ступень в развитии Овидия. Важный предварительный этап – элегии, где тематизируется взаимное понимание – и непонимание друг друга – мужчиной и женщиной (как, например, немой упрек возлюбленной в 1, 7), не стоит забывать и о катулловой Ариадне (в 64-м стихотворении), в особенности же о Проперции, который дает слово оставленной Кинфии (1, 3) и вкладывает перо в руку Аретузе, чтобы она написала письмо (4, 3).

## 3. Эпиграмма: точность и пуантирование.

Эпиграмма оказала весьма сильное влияние на римскую элегию, как видно в особенности по некоторым стихотворениям Проперция. Из всех элегиков Овидию в наибольшей степени был свойствен вкус к пуантированному выражению; в нем погиб эпиграмматический поэт. Хотя он и не культивирует эпиграмматический жанр как таковой, он предпосылает эпиграмму второму изданию своих «Любовных элегий»; подчас он вплетает надгробные надписи в свои стихи, как, например, попугаю Коринны (*Amores* 2, 6, 61 сл.), Фаэтону (*Met.* 2, 327 сл.) и себе самому (*Trist.* 3, 3, 73–76).

## 4. Отношение к трагедии.

В первом стихотворении третьей книги поэт видит себя на распутье между элегией и трагедией. Как и в аллегории Продика (Ксенофонт, «Воспоминания о Сократе», 2, 2–34), где Геракл должен осуществить выбор между добродетелью и пороком, Овидий выслушивает речи, которыми его пытаются привлечь на свою сторону последовательно трагедия и элегия. В отличие от греческого героя, который принимает однозначное решение в пользу добродетели,

тели и против порока, Овидий высказывается за то, чтобы сначала сохранить верность элегии, а затем уже обратиться к трагедии. Таким образом, уже первая пьеса третьей книги «Любовных элегий» подготавливает отречение от любовной элегии. И затем, в заключительной пьесе (3, 15) осуществляется окончательный отказ. Путь от элегии к трагедии выравнивается благодаря работе над материалом «Посланий героинь», которые Овидий – в одновременном состязании с Гомером, трагиками, Каллимахом и своими собственными элегическими произведениями – перерабатывает в новую промежуточную форму между любовной элегией, трагическим монологом и риторической суазорией. Серьезное отношение к женской судьбе – важный общий знаменатель «Посланий героинь» и трагедии. Тут Овидий преодолевает «технический», игривый подход «Искусства любви», справедливо критикуемый Пушкиным («Евгений Онегин» – глубочайший поэтический ответ Овидию, развитый в творческом соревновании с трагедией вергилиевой Дидоны). Прибавим ради справедливости, что в «*Arts amatoria*» «технический» подход к любви обусловлен дидактическим жанром и смягчается требованием взаимного уважения и такта. Венера – богиня, и она запрещает обнародовать свои тайны, любовь не продажная; проституция – грех против Венеры. В «Метаморфозах» мифические изобретательницы проституции (*Prophetides*) превращаются самой Венерой в камни (в соответствии с отсутствием человеческой чуткости). В «Героидах» и «Метаморфозах» любовь воспринимается не как игра, а как событие, определяющее судьбу человека. В основном, это заложено уже в «*Amores*», в элегическом понимании «биос эротикос».

##### 5. Подготовка «Фастов».

Элегия 3, 13 показывает элегическое «я» в обществе супруги во время посещения фалисского празднества Юноны. Подробное описание ритуала доказывает, что здесь мы сталкиваемся с этиологической поэзией, посвященной римскому культу. Овидий сознательно заявляет о себе как о последователе Проперция, который уже с начала второй книги представляется нам как римский Каллимах. В последней книге Проперций показывает себя с двух сторон: с одной, это любовный поэт, с другой – римский этиологический поэт. Обе темы искусно переплетены друг с другом. В самом конце слово у Проперция получает римская матрона Корнелия<sup>2</sup>. Незадолго до окончания сборника «Любовных элегий» Овидий намекает, что и он ощущает в себе призвание римского

---

<sup>2</sup> *Neumeister K.* Die Überwindung der elegischen Liebe bei Propert. Frankfurt, 1983.

этиологического поэта и – отважное новшество! – вводит в любовную элегию фигуру собственной жены. Возможно, Овидий начал «Фасты» для того, чтобы исполнить унаследованную от Проперция задачу систематически довести до конца римскую этиологическую поэзию. Из автобиографии Овидия выходит, что он рассматривал римскую элегию как постройку, которую – совместно и последовательно – должны воздвигать несколько поколений. Таким образом, позволительно думать, что он после скромного дебюта в «Любовных элегиях» (3, 13) сначала выжидал, осуществит ли еще Проперций дальнейшие работы по римской этиологии; и только тогда обратился к «Фастам», когда стало совершенно очевидно, что Проперций не мог или не желал осуществить в дальнейшем этот проект. Потому не представляется совсем нелепой мысль рассматривать «Фасты» как посмертный дар Проперцию – поэзия и дружба, несомненно, были более сильными побудительными мотивами для творчества Овидия, нежели политика и государственная религия.

#### 6. Эпос.

Овидий – как Пушкин, Ариост и Байрон – прирожденный рассказчик. «Имел он песен дивный дар / И голос, шуму вод подобный». В отличие от остальных элегиков, отклоняющих занятия эпической поэзией и ссылающихся при этом на более скромный масштаб своего «каллимаховского» таланта, Овидий чувствует в себе силы справиться и с более высокими жанрами (*Amores* 2, 1, 12); в 1, 1, 2 становится ясно, что материал и форма соответствуют друг другу. Правда, Овидий знает о силе напева (2, 1, 22), хотя в 2, 1 он во всеуслышание отказывается от героической поэзии. В 2, 18 он обращается к Макру, который пишет *Antehomerica*. В то время как в иных случаях элегические поэты дистанцируются от эпоса или же пытаются превзойти его на свой лад (например, Проперций в 2, 1, 14 говорит об «Илиадах» своей любовной связи с Кинфией), Овидий не произносит радикального отказа от занятия более возвышенными жанрами.

Прибавим, что он в некоторых пьесах «Любовных элегий» уже заявил о себе как о повествователе, будь то в субъективно-эротическом контексте (1, 5)<sup>3</sup> или в мифологическом (3, 6 и 3, 10), подтверждая подробными рассказами, что боги тоже подвержены любви. Эта тематика делает переход к «Метаморфозам» совсем легким – там влюбчивость богов станет одной из главных тем.

---

<sup>3</sup> Об этой элегии см. мою работу «Große römische Dichter». Т. 3. Heidelberg, 2013. S. 189–197.

Прекращение работы Овидия над любовной элегией не было неожиданностью. Уже начиная с первых любовных элегий он показывает, что готов трансцендировать жанр. Ссылка на свой «талант» (*ingenium*) выдает в нем, правда, типичного элегического поэта (ср. также Проперция 3, 2, 25 сл.), но, в отличие от иных поэтов, Овидий изначально сознает, что его дарование выбивается за рамки любовной элегии. Его первенец – не только завершение латинской любовной элегии, но и ее преодоление.

#### 7. Язык и стиль.

Отказываюсь распространяться о языке и стиле, о мнимой простоте, создающей правдоподобие. Скажу только, что в этой области можно открыть глубокое сходство между Пушкиным и Овидием.

В отличие от Проперция Овидий избегает тяжелых оборотов речи. Его ясное построение фразы и стиха сочетает тибуллову приятность и проперциеву энергию. В определенном смысле «непритязательный стиль» его элегии можно понимать как исполнение программы, которую он разрабатывает для сочинения любовных писем. «*Sit tibi credibilis sermo consuetaque verba*» (*Ars* 1, 467), («пусть твоя речь вызывает доверие, а слова избирай привычные»). И еще: «Кто, кроме сумасшедшего, станет декламировать в присутствии нежной девушки?» (*Ars* 1, 465; ср. также 2, 507). «Декламировать» здесь – техническое обозначение для произнесения риторической учебной речи. При правильном употреблении риторический элемент не должен обнаруживаться сам по себе: он действует скрытно («*ars adeo latet arte sua*», *Met.* 10, 252). В таком случае он придает поэтическому тексту «мощь» (*nervos*); напротив, «блеск» (*nitor*) является специфическим даром поэзии (*Pont.* 2, 5, 70).

#### 8. Поэтическое самосознание: игра с не-элегической поэтикой.

Как элегический поэт Овидий продолжает основанную Галлом традицию элегии, добывающейся любви<sup>4</sup>, т.е. элегии, пытающейся смягчить сердце возлюбленной. Как и предшественники, он ощущает, что ранен Амуром, и его источники вдохновения – боги любви и девушка; однако наряду с тем уже в самой первой элегии сборника рамка подчеркнута литературная: поэт представляется в первую очередь не как любящий, но как пишущий. В тот миг, когда он хочет обработать возвышенную героическую тему в эпических стихах, Амур похищает у него стопу во всех четных стихах, так что сам собой появляется элегический метр. Автор

<sup>4</sup> *Stroh W.* Die römische Liebeselegie als werbende Dichtung. Amsterdam, 1971.

становится любовным элегиком произвольно, еще до того, как он вообще нашел девушку (в конце стихотворения Амуру придется в срочном порядке наверстать забытый удар стрелой). Основополагающий «субъективно-эротический» характер римской элегии как жанра (по меньшей мере, как фикции) предполагает личную унию поэта и элегического возлюбленного – эту аксиому исследователи не всегда принимают во внимание в должной степени. Между подчеркиваемой<sup>5</sup> (в рамках поэтической фикции) «реальностью» любовного опыта и тем неоспоримым фактом, что Овидий вывел Коринну в люди (как бы опубликовал, обнародовал ее) в форме книги, существует диалектическая взаимосвязь, которая и обыгрывается. К концу сборника (3, 12) Овидий жалуется на то, что Коринна для него утрачена. Благодаря его стихам другие обратили внимание на ее достоинства и отобрали ее у поэта, присвоив себе. Литературное творчество Овидия (таков здесь его тезис) неожиданно оказывает ретроспективное воздействие на его «реальную» жизненную ситуацию. Чтобы предотвратить это нежелательное последствие, Овидий отступает на новый, отдаленный рубеж, расположенный за передним планом специфически элегической поэтики: это поэзия как мифотворчество (мифопея) и откровенная фикция. Это известно по иным областям – из поэтики эпоса и драмы. Аргументативная задача данного стихотворения заключается в том, чтобы доказать: поэтов нельзя принимать за свидетелей исторических событий (3, 12, 19 и 41 сл.). И в качестве доказательств приводятся многочисленные мифы, чья недостоверность совершенно очевидна. Из этого поэт выводит, что читатели не должны были верить его похвалам Коринне (3, 12, 43 сл.). Тогда поэт (в духе любовной элегии отождествляемый с любовником) не потерял бы возлюбленную.

Таким образом, Овидий указывает на то, что есть и иные поэтики, нежели та, которой пользуется римская любовная элегия. Основная ситуация поэта (предпосылка его литературного творчества как такового) не ограничена элегическим жанром. Хотя Коринна играет роль инициатора в элегии 3, 12, начальные стихотворения о ней молчат. Универсальная мифотворческая сила поэта заявит о себе в позднейших произведениях (например, в «Метаморфозах»)<sup>6</sup>. Это присутствие как бы «мета-уровня»

---

<sup>5</sup> Разумеется, элегическое «я» у Овидия (как у Тибулла) приобретает черты идеального типа: *Kraus W. Zur Idealität des Ich und der Situation in der römischen Elegie // Ideen und Formen. Festschrift H. Friedrich, Frankfurt, 1965. S. 153–163.*

<sup>6</sup> Некоторая трагическая ирония заключается в том, что угрожающий ответный удар поэзии по бытию автора (как можно будет наблюдать позднее на примере его изгнания) уже в «Любовных элегиях» оказывается одной из основных тем.

поэтического самопонимания характерно для «Любовных элегий» и в иных случаях. Так, каллимаховская топка «вежливого отказа» (*recusatio*)<sup>7</sup> обрабатывается весьма своеобразно: речь идет не о том, чтобы отказаться от занятия возвышенными предметами под предлогом «скромного масштаба» своего дарования, с чем мы сталкиваемся в прологе к каллимаховским «Легендам о происхождении» (*A'itia*) или в шестой эклоге Вергилия. Нет, Овидий не ставит свой светильник под спуд: он сознает вполне величие своего дарования и свою способность овладеть высокими предметами и литературными жанрами, и он даже открыто заявляет об этом читателям – «et satis oris erat» (*Amores* 2, 1, 12): эта задача ему по плечу, и у него достаточно широкий размах. Перед поэтом изначально открыты все пути. В начале третьей книги (3, 1) поэт стоит – как некогда Геркулес между добродетелью и пороком – на распутье между элегией и трагедией; уже в последний раз Овидий сохраняет верность элегии, прежде чем обратиться к более высокому жанру. В прощании с жанром также подчеркивается сугубо литературная мотивировка. Следующий шаг в сторону от элегии сделан в 3, 12. Ссылка на мифотворческие способности поэта вводит «инородную» поэтику в рамки римской любовной элегии: «пережитому на собственном опыте» противопоставится сверхличный, фантастический мир мифологии. Однако в рамках «*Amores*» эта поэтика уже не является новшеством: в начале второй книги автор держит в руке даже Юпитера и его молнию (2, 1, 15–18). Эта идея не так уж далека от слов Макробия (5, 1, 18–2, 2), приравнивающего Вергилия к творящей природе, даже к божеству. Сам Овидий пишет: «Некоторые полагают, что божество живет в нас» (*Am.* 3, 9, 18: «sunt etiam qui nos numen habere putent»)<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> *Wimmel W.* Kallimachos in Rom. Wiesbaden, 1960.

<sup>8</sup> Даже позднейшее провозглашение независимости поэта и апелляция к собственному дарованию в противовес политическому централизму (с чем мы сталкиваемся в стихах, написанных в изгнании (*Trist.* 3, 7) уже подготовлены в «Любовных элегиях»: «И притом были ж и Фивы, Троя и подвиги Цезаря. Нет! Коринна была единственной, кто воспламенил мой талант» (*Amores* 3, 12, 15 сл.). Начиная с «Одиссеи» (1, 346 сл.), поэты доказывают свою самостоятельность только свободным выбором предмета. Автономия поэта – в том виде, как он переживает ее в изгнании под внешним гнетом и какие он ей дает формулировки – как личный опыт подготовлена уже в «Любовных элегиях». В «Посланиях с Понта» (4, 8, 55: «di quoque carminibus, si fas est dicere, fiunt» – «И боги также возникают благодаря поэзии, если дозволено так сказать») Овидий, не менее гордый и свободный, нежели Гораций в четвертой книге од, которая пользуется незаслуженным презрением как «придворная поэзия», будет указывать на «теогоническую» силу своей поэзии. Проперций в заключительной пьесе второй книги (2, 34) открыто говорит о силе своей поэзии, но Овидий сделает еще один шаг: он отчуждает и кодирует эту мысль.



Об исключительной преданности жанру элегии нет и речи, дистанцирование входит в его намерения изначально. Поэт, сделавший Коринну достоянием публики и потерявший ее, отброшен к проблеме собственного дарования и задумывается о его возможностях. Анафорическое «pos» (3, 12, 21–23) и повторные формы первого лица множественного числа (3, 12, 23–31) в какой-то мере можно воспринимать как гимн силе поэзии, имеющей власть создать новую реальность *sui iuris*.

На переднем плане в элегии 3, 12 поэт демонстрирует намерение преуменьшить достоверность поэзии, на более глубоком уровне она показывает, что реальность, созданная поэтами, следует своим собственным законам. То, что Овидий считает их действующими, он докажет решением написать «Метаморфозы». Контраст между поверхностными и глубинными структурами вызывает в читателе ощущение «парения» и как бы упразднения силы тяжести. Отчасти этим объясняется таинственное ощущение «легкости», свойственной поэзии Овидия и роднящей ее с искусством Пушкина и Моцарта (что легкость – *leggerezza* – одно из высочайших качеств литературы, показал Italo Calvino<sup>9</sup> на примере Овидия).

#### 9. Овидий – сатирик?

Можно было бы сказать много об отношении Овидия к римскому обществу. Но приведу лишь два смелых пассажа: «Сейчас и вправду золотые времена: за золото можно купить что угодно» (*Ars* 2, 277 сл.). Овидий даже критикует обожествление смертных, включая современных владык: традиционная жалоба на то, что человек, не зная меры, предпринимает дерзкие и опасные морские путешествия, дополняется следующим: «Насколько это тебе возможно, [человек], ты прикасаешься и к небу: храмы имеют Квирин, Вакх, Геркулес и с недавних пор Цезарь» (*Amores* 3, 8, 51 сл.).

Очерк римского общества в «Любовных элегиях» набросан смелыми штрихами. В лице Овидия погиб великий сатирик. Наблюдающий за людьми и не связанный предрассудками, Овидий иногда напоминает французских моралистов раннего Нового времени.

10. Эпилог: «Любовные элегии» Овидия как корень его творчества в целом.

Сам поэт выпустил «Любовные элегии» вторым изданием; еще в старости он чувствовал, что это произведение особенно тесно связано со всей его жизнью. Он называет себя не поэтом «Метаморфоз» и не автором «Героид», но «играющим в нежные

---

<sup>9</sup> Italo Calvino. «Leggerezza» // *Lezioni americane*. Milano: Mondadori, 2000. Гл. 1.

любовные стихи» («*tenerorum lusor Amorum*»). Это произведение делает его одним из трех классиков римской любовной элегии. Оно представляет собой особый случай в том отношении, что Овидий изначально не стал посвящать себя исключительно одному какому-либо литературному жанру. Первенец открыл ему – как мы увидели – пути в самых различных направлениях. Однако как бы ни расширялся его литературный и духовный кругозор, как бы ни выигрывал его образ любви и женской души в красочности, зрелости и глубине, он никогда не отрицал, что ступил на поприще как эротический и элегический поэт. Любовная элегия не смогла сковать его талант надолго, но она оказалась точкой опоры, исходным пунктом свободного развития, позволившим поэту в эпоху все более и более недоверчивую ко всему индивидуальному создать новые литературные жанры (такие, как «Послания героинь» и «Скорбные элегии») и сохранить даже и в конвенциональных жанрах, таких, как эпос и дидактическая поэзия, неслыханную меру духовной независимости.

Знаменательно и то, что в «*Amores*» подготавливаются почти все произведения (и проекты) Овидия – за исключением сочинений, посвященных теме ссылки («*Tristia*» и «*Epistulae ex Ponto*»). Этот факт указывает на то, что изгнание не является намеренным литературным вымыслом поэта (как предполагают некоторые), а совсем неожиданным, фактическим событием. Это может быть новый, дополнительный аргумент, подтверждающий важные исследования Александра Подосинова<sup>10</sup> по реальности изгнания поэта.

---

<sup>10</sup> Podossinov A. Ovids Dichtungen als Quelle für die Geschichte des Schwarzmeergebiets. Konstanz: Universitätsverlag, 1987.

# СУДЕБНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

*С.М. Шахрай*

135 лет назад, 28 ноября 1880 г., знаменитый юрист Анатолий Федорович Кони в своем докладе Юридическому обществу при Императорском Санкт-Петербургском университете сказал знаменательные слова: «Происхождение и развитие судебной реформы в России представляет и всегда будет представлять огромный интерес. Этот интерес будет существовать не для одного историка. Он существует и для юриста... Юрист найдет в истории судебной реформы широкую и блистательную картину коренного изменения форм и условий отправления правосудия, встретится с *законодательной* работой, которая по своей цельности и значению достойна глубокого изучения» [2: 201].

Теперь это утверждение можно было бы перефразировать следующим образом: 150 лет, прошедшие с начала Великой Судебной реформы, показали, что этот феномен представляет сегодня огромный интерес не только для юриста или историка. Он важен для экономиста, культуролога, социопсихолога, а самое главное – для всех, кто занимается вопросами государственного управления. Несмотря на 150 лет, прошедшие с начала Судебной реформы, весь этот исторический и юридический опыт остается удивительно актуальным по отношению к проблемам сегодняшнего дня в области совершенствования системы государственного и экономического управления. А в каких-то моментах этот опыт является даже провидческим. Особенно хотелось бы обратить внимание на одно парадоксальное обстоятельство.

Почему Судебная реформа Александра II, которую многие современники и потомки называли «чужеродным растением на российской почве», оказалась в итоге удивительно жизнеспособной? Почему она раз за разом, как птица феникс, восставала из пепла, несмотря на многочисленные и вполне успешные попытки контрреформ? Почему идеи этой реформы, которые по своей природе являются глубоко либеральными, оказались восприняты не только элитами, но и широкими слоями населения? Почему даже сегодня, когда мы рассуждаем о путях совершенствования современной судебной системы, мы снова обращаемся за образцом, за моделью желаемого будущего к идеям и принципам, заложенным более полутора веков назад?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проанализировать историю Судебной реформы 1864 г. в самом широком

контексте общественно-политического, социально-экономического, культурного развития нашей страны конца XIX – начала XXI в. С одной стороны, такой подход помогает расширить представления о том, как повлияли на траекторию общественного развития России Великие реформы конца XIX в. А с другой стороны, он позволяет вычленил полезный опыт, который может быть учтен в работе по совершенствованию судебной системы и государственного управления в целом. Причем, как представляется, погружение в исторический контекст делает параллели с современностью даже более яркими и очевидными. Живая фактура всегда убедительнее, чем экспертные увещания.

Комплексный анализ показывает, что Судебная реформа 1864 г. имеет не только историческое и правовое, но и цивилизационное значение для России. Реформа не просто заложила в железобетонной машине царского самодержавия «первый элемент» абсолютно новой политической системы, основанной на разделении властей. Она выполнила более сложную задачу – радикальным образом изменила настроения масс, поскольку смогла подарить всем слоям общества надежду на лучшее будущее, на возможность справедливости посредством суда «скорого, правого, милостивого и равного для всех». Не случайно, определяя сущность подлинного правосудия, еще древнеримские юристы отмечали, что оно «должно быть свободным, ибо нет ничего более несправедливого, чем продажное правосудие; полным, ибо правосудие не должно останавливаться на полпути; скорым, ибо промедление есть вид отказа» [3: 141–142].

Несмотря на довольно быстро наступившую реакцию, Судебная реформа 1864 г. не была эпизодической реформаторской удачей, успешным управленческим экспериментом, а тем более – «счастливой исторической случайностью». Она была подготовлена целой чередой предшествующих событий, начиная с середины XVIII в., и при этом по сей день продолжает оказывать самое непосредственное влияние на общественно-политическую систему современной России.

Благодаря Судебной реформе 1864 г. Российская империя к началу XX столетия располагала одной из наиболее совершенных и глубоко разработанных систем судоустройства и судопроизводства в мире.

И этот успех был абсолютно закономерен.

Судебная реформа 1864 г. не была «вещью в себе», она стала логическим завершением медленно, но верно идущих перемен, связанных, помимо прочего, с изменением системы взаимоотношений между самодержавием и дворянством. С некоторой долей

допущения эти перемены можно считать **элементами** демократизации общественного устройства.

Как известно, возникновение юридически закрепленных демократических институтов в нашей стране специалисты относят, как минимум, ко второй половине XVIII столетия, когда вышел указ Петра III от 18 февраля (1 марта) 1762 г. «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». Основные положения этого «Манифеста» были затем подтверждены Екатериной II в ее знаменитой «Жалованной грамоте дворянству» от 21 апреля 1785 г. Согласно этому акту, все потомственные дворяне-землевладельцы организовывались в дворянские собрания, которые, наряду с корпоративно-сословным управлением, осуществляли также и судебную власть на местах.

Очевидно, что новая судебная система создавалась отнюдь не на пустом месте: александровские судебные преобразования опирались на традицию и социальный опыт трех поколений представителей дворянского класса, участвовавших в сословных демократических процедурах.

В результате единообразная и внутренне сбалансированная система сословных судов с четко разграниченными компетенциями достаточно органично встроилась в бюрократическую иерархию (хотя по этому вопросу существуют и противоположные мнения и оценки, возникшие в охранительной литературе XIX в. и настойчиво повторяющиеся в том или ином контексте до сих пор), в самую ткань самодержавного государства, сохраняя при этом институциональную и организационную независимость от царской власти.

Эту особенность очень тонко чувствовал уже упоминавшийся А.Ф. Кони, который в своей знаменитой цитате сравнивал новый суд – суд присяжных – с дорогим и полезным растением, для которого российская почва оказалась вполне пригодна. Другое дело, что «пока растение не пустит глубоких корней и не распустится во всей своей силе, необходимо... охранять его от непогоды, защищать от дурных внешних влияний, окопать и оградить таким образом, чтобы не было поводов и возможности срезать с него кору или обламывать его ветки» [2: 201].

В этом смысле Судебная реформа 1864 г. отвечала общему вектору политической эволюции царской России. Более того, она отвечала общему вектору политической эволюции, которую монархическая власть переживала во всем мире. Этот вектор заключался в движении от абсолютной монархии к монархии конституционной.

Необходимо подчеркнуть, что Судебная реформа 1864 г. по своей сути была реформой конституционной.

Для того чтобы в эпоху перемен и серьезных социальных трансформаций сохранить самодержавие, правительство Александра II попыталось «откупиться» «небольшим» элементом конституции – введением относительно независимой судебной власти и суда присяжных.

Однако эффект от нововведения оказался сродни настоящей революции, потому что в недрах абсолютизма был заложен один из краеугольных камней абсолютно новой политической системы, основанной на принципе разделения властей. Возможно, именно эту грядущую смерть абсолютизма предчувствовали противники реформы, главным аргументом которых было несоответствие новой судебной организации государственному строю империи.

Характерно, что конституционная монархия в России началась со становления не парламента, а именно судебной ветви власти, которая возникла на сорок лет раньше законодательной.

Тот факт, что демократические судебные органы существенным образом опередили в своем развитии парламентские институты, оказался исключительно позитивным для нашей страны, поскольку это обстоятельство создавало необходимую для появления подлинной представительной власти социальную и политическую среду, и, условно говоря, особую юридическую атмосферу.

Вплотив в себе такие ключевые принципы, как презумпция невиновности, предварительное расследование по уголовным делам, гласность, устность, состязательность судопроизводства, гарантии прав обвиняемого на защиту и обязательное участие в процессе адвоката, суд присяжных, всестороннее, объективное исследование и оценку доказательств по внутреннему убеждению судьи, а также кассационный и апелляционный порядок обжалования приговоров, александровская реформа сыграла роль сильнейшей инъекции, навсегда «привившей» идею демократического судопроизводства в самый генотип российской государственности.

Попутно необходимо отметить, что хотя презумпция невиновности прямо и не закреплялась, но подразумевалась – право не свидетельствовать против себя, запрет судьям вырывать признание, оправдание, если недостаточно доказательств и т.п.

Таким образом, именно с Судебной реформы 1864 г. в России зародилась конституционная монархия (конституционализм как практика) и даже были заложены основы для будущего парламентаризма.

В этом состоит российская специфика, которая проявилась и на современном этапе истории, в середине 1990-х, когда главным источником благоприятных правовых условий для становления новой российской государственности и новой российской эконо-

мики стал отнюдь не парламент, а Конституционный суд Российской Федерации.

Вечный запрос на справедливость и милосердность государственного управления поставил и перед постсоветской Россией необходимость построения справедливого правового государства с демократической и современной судебной системой. Без свободы нет справедливости, а справедливость невозможна без права.

История в 1991–1993 гг. подсказала и показала, что двигаться в этом направлении возможно, только опираясь на опыт и потенциал той Великой Судебной реформы. Идеи реформы нашли свое отражение в Конституции. И вновь особую роль сыграла судебная власть, на этот раз в лице Конституционного суда, который стал, по сути, локомотивом и «юридической лабораторией» конституционных преобразований.

Такое почти буквальное повторение истории – это уже **не случайность, а подлинная закономерность и своего рода подсказка для действующих политиков.**

Что имеется в виду?

Как сама Судебная реформа 1864 г., так и последующие события предоставляют огромное количество фактов, которые доказывают, что судебная система является той самой «активной энергетической точкой», правильное воздействие на которую гарантированно приводит к оздоровлению и нормализации всей общественно-политической и экономической жизни. Сравнительный анализ показывает наличие прямой зависимости между повышением качества судебной власти и благоприятными переменами во власти представительной. Эффективная работа судов ведет не только к совершенствованию и активизации законодательной деятельности, но также обеспечивает ее настройку на реальные потребности государства, общества и человека, включая потребности развития экономики.

В качестве подтверждения этого тезиса можно привести пример из недавнего прошлого. Во второй половине 1990-х годов Государственная Дума, избранная на самом пике либерализации законодательства о партиях, оказалась политически расколотой, а потому – почти неработоспособной. В результате в течение многих лет не принимались самые необходимые законы в области государственного устройства, федерализма, избирательного права, защиты прав и свобод граждан, создания благоприятных условий для новой экономики, регулирования вопросов приватизации, банковской сферы и так далее.

На протяжении ряда лет после вступления в силу новой российской Конституции оппозиционная по своему составу Государствен-

ная Дума тормозила принятие большого числа федеральных законов, абсолютно необходимых для создания институтов рыночной экономики и преодоления кризиса. Политические турбулентности «эпохи перемен» и целый комплекс взаимно усиливающих друг друга социально-экономических проблем затягивали процесс реализации конституционной модели экономики на практике, делая его внутренне противоречивым и прерывистым.

В качестве доказательства можно привести несколько фактов.

Известный сюжет – приватизация. Это одна из самых болезненных экономических тем, споры по поводу которой идут до сих пор. Однако есть один «медицинский факт» – федеральный закон о приватизации депутаты смогли принять только в 1997 г. [7]. При том, что к этому времени не только давным-давно закончился этап массовой («ваучерной») приватизации (1992–1994), но и завершились все наиболее крупные залоговые аукционы (1995–1997).

Тогда же, в 1997 г., спустя целых три года после вступления в силу Конституции, был принят Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» – важнейшем институте реализации государственной экономической политики и становления конституционной модели экономики в России [10].

Федеральный закон о бюджетной классификации Российской Федерации был принят в 1996 г. [6]. И только спустя два года, когда фактически завершался сильнейший бюджетно-финансовый кризис, сотрясавший страну на протяжении всех 1990-х годов, были приняты Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации [1; 4]. А законодательство, обеспечивающее права и законные интересы инвесторов, появилось лишь в 1999 г. [8; 9].

Подобное промедление с созданием правовых основ новой экономики могло быть отнюдь не случайным, поскольку вело к растягиванию периода социально-экономических трудностей для населения. Возможно, что в действиях парламентской оппозиции была своя логика, надежда на то, что социальное недовольство поможет ей изменить соотношение политических сил в свою пользу и взять в свои руки «командные высоты» управления страной.

В таких условиях именно Конституционный суд, являясь частью судебной системы, не только взял на себя миссию своеобразного «принуждения» депутатов к должному законотворчеству, но также своими решениями непосредственно заполнял правовой пробел, который на тот момент уже серьезно тормозил становление новой российской государственности. Если специалисты внимательно проанализируют решения Конституционного суда того периода, то смогут увидеть, что подавляющая их часть прямо и непосредственно касается ключевых вопросов государственного



строительства, становления основ экономического строя и общественных отношений.

Конституционный суд последовательно разъяснял законодателям и всем органам власти равную важность защиты публичных и частных прав и интересов в экономической сфере, принципы социальной рыночной экономики, необходимость своевременного и согласованного развития системы нормативного правового регулирования экономических отношений. Анализ «экономических решений» Конституционного суда Российской Федерации, принятых в 1990-х годах, показывает, что значительную долю обращений составляли запросы граждан по налоговым спорам с государством. Как отмечал доктор юридических наук, профессор Гадис Абдуллаевич Гаджиев, именно дефицит правового регулирования, ущербное состояние российского налогового законодательства привели к тому, что основные конституционные принципы налогообложения в российской правовой системе и даже само определение понятия «налог», были в итоге сформулированы не законодателем, а Конституционным судом. Многие из них предопределили развитие российского налогового законодательства.

В качестве яркого примера можно привести принцип налогового централизма, обоснованный в Постановлении Конституционного суда от 21 марта 1997 г. по делу о проверке конституционности положений ст. 18 и 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», который впоследствии получил закрепление в Налоговом кодексе Российской Федерации [5].

Есть множество других примеров, демонстрирующих лидерскую роль Конституционного суда в стимулировании процессов строительства нового государства в нашей стране на рубеже XX–XXI вв. Особенно детально этот сюжет изучен применительно к вопросам реализации конституционной модели федеративных отношений.

По большому счету, не только Конституционный суд, но и судебная власть в целом находится ближе к «земле», к реальным потребностям общества. Она обеспечивает тем самым реальную «обратную связь» с законодателями и способна эффективно влиять на «тонкую настройку» права и политической системы в нашей стране.

В этом смысле, безусловно, актуальной представляется постановка вопроса о необходимости более глубокого анализа взаимосвязи между Судебной реформой и историей российского парламентаризма. Этот подход открывает широчайшее поле для научных исследований, в частности, требует особого внимания

изучение дореволюционной истории российского парламента, поскольку, несмотря на краткосрочность своего существования, первые Государственные Думы успели внести серьезный вклад в восстановление ряда институтов, принципов, норм Судебных уставов, наметили пути возврата к идеалам судебной реформы.

Возвращаясь к вопросу о закономерности Судебной реформы 1864 г., необходимо отметить, что реформа оказалась созвучна не только западным идеям Просвещения, но, прежде всего, глубинным российским культурным кодам, благодаря чему ее идеалы и принципы неоднократно восстанавливались после череды контрреформ, причем, фактически в первоизданном виде. Несомненно, этот удивительный феномен стал следствием того, что общечеловеческие стандарты правосудия, так емко выраженные в словах указа 20 ноября 1864 г. – «Суд скорый, правый, милостивый и равный для всех», – были востребованы всеми слоями российского общества.

На протяжении полутора веков идея русской Фемиды, провозглашенная в 1864 г., продолжала быть путеводной звездой на историческом горизонте нашей страны. Свидетельством тому – три попытки перезапуска судебной реформы, имевшие место в XX в.

Как известно, первая – и самая впечатляющая – контрреформа имела место в 1870–1890-х годах и носила отчасти вынужденный характер, поскольку была предпринята в ответ на мощное и скоординированное политическое давление непримиримой легальной и нелегальной антимоноархической оппозиции.

Тем не менее, эта контрреформа так и не смогла существенно изменить судебную систему, сложившуюся в результате александровских преобразований. Перезапуск судебной реформы, состоявшийся (пусть и дискретно, с перерывами) в 1904–1917 гг., включая восстановление в 1912 г. системы мировых судов, формирование современных регламентов судопроизводства и эффективного процессуального законодательства, базировался именно на «принципах 1864 года».

Однако трагические события начала XX в. и политические потрясения помешали этому процессу. Многие из намеченного оказались невыполненными. Например, анализ основных принципов функционирования начавшей формироваться в первое десятилетие XX в. *административной юстиции* дает основания предполагать, что, не случись октябрьского переворота 1917 г., ее значение для российской экономики поступательно бы росло. Возможно, по мере гипотетического роста и институционального развития российской экономики она стала бы прототипом современной арбитражной системы.

Но российская история пошла иным, как оказалось, разрушительным путем. В конце 1917 г. демократическая судебная система была почти мгновенно уничтожена. Эта трагическая история наглядно демонстрирует, насколько быстро даже самые лучшие, самые совершенные институты могут разрушиться от соприкосновения с безжалостной политической стихией, насколько легко суды становятся заложниками политического противостояния между властью и идеологически дезориентированными элитами.

Вторая попытка перезапуска судебной реформы последовала через 40 лет и пришлась на период политической либерализации 50–60-х годов прошлого столетия, одной из основных целей которой была ликвидация последствий тотального попрания правовой идеи в сталинскую эпоху.

Характерно, что важнейшие судебные преобразования конца 1950–1960-х годов прошлого века были синхронизированы по времени не только с политическими переменами, но также с прогрессивной экономической (так называемой «косыгинской») реформой 1965–1971 гг. В результате судебные преобразования внесли свой существенный вклад в феноменальный успех советской экономики времен «золотой» восьмой пятилетки.

Разумеется, что говорить о содержательной преемственности судебной квазиреформы того периода с эпохальными новациями 1864 г. можно лишь весьма условно. Однако, учитывая «эффект низкой базы» в виде многолетнего развала судебной системы, подмененной произволом партийных органов и спецслужб, «оттепельные» судебные преобразования под лозунгом «восстановления социалистической законности» имели огромное позитивное значение для судеб миллионов граждан СССР и разнообразных советских корпоративных структур, впервые за 40 лет получивших от власти понятные «правила игры» с репрессивным по своей сути государством.

Третья попытка перезапуска судебной реформы, оказавшаяся при всех своих недостатках наиболее удачной и многообещающей, связана уже с новой, постсоветской эпохой. И я горжусь, что мне пришлось принимать непосредственное участие в этой работе.

Как известно, «Концепция судебной реформы в РСФСР», одобренная постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г., провозгласила необходимость глубоких преобразований в сферах законодательного регулирования, кадрового и ресурсного обеспечения, организации судебной деятельности. В частности этот документ утвердил системную роль Конституционного суда. Кроме того, были поставлены такие задачи, как возрождение суда с участием присяжных заседателей и института мировых судей,

введение судебного контроля за правомерностью заключения под стражу, введение принципа несменяемости судей, пересмотр ведомственных показателей работы правоохранительных органов и судов и многое другое.

Эта концепция стала новой попыткой возвращения к идеалам Судебной реформы 1864 г., а ее ключевые идеи были зафиксированы в Конституции Российской Федерации 1993 г. и федеральном законодательстве о судебной системе.

Анализ современного положения дел показывает, что, несмотря на позитивные изменения, конституционная модель судебной системы на практике реализована процентов на 60, а идеалы Судебной реформы 1864 г. до сих пор не достигнуты, как минимум, по трем принципиальным основаниям.

И все эти основания связаны с механизмами обеспечения независимости и самостоятельности судов и судебной системы в целом.

Становление демократических институтов власти – длинный и сложный процесс. На настоящий момент удалось далеко не все из задуманного.

Можно перечислить несколько, образно говоря, до сих пор «невыученных уроков» Великой Судебной реформы.

Во-первых, речь идет о так называемой «независимой нарезке» судебных округов. Как известно, Судебная реформа 1864 г. сознательно «разводила» границы судебных округов с границами губерний. Этот подход обеспечивал независимость судов от губернских властей. В современной России этот принцип не действует – суды общей юрисдикции полностью вписаны в границы субъектов федерации.

Была, правда, попытка использовать принцип «разведения границ» при организации работы арбитражных судов. Это сработало. Арбитражные суды стали действовать более самостоятельно и независимо. Но сегодня Высший арбитражный суд объединен с Верховным судом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что пока идея судебных округов, не совпадающих с административными, остается лишь в «чертежах» юридической доктрины и резолюциях постановлений съездов судей.

Второй, пока еще не достигнутый идеал – это независимые судебные следователи, т.е. специальные судьи, непосредственно реализующие судебный контроль над предварительным следствием.

Такой институт возник в России в 1860 г. – за год до отмены крепостного права и за четыре года до начала александровской Судебной реформы – и просуществовал до конца 1920-х годов. Первоначально (до подписания судебных уставов) использовался

термин «следственный судья», в самих уставах он стал называться «судебный следователь».

Что представляли собой судебные следователи в царские времена?

В 1864 г. была введена сразу тысяча таких судебных следователей. Они были несменяемы, получали жалование 1000 руб. в месяц плюс 500 руб. на расходы, связанные с выполнением своих функций. По тем временам это огромные деньги. До 1864 г. судебный следователь назначался министром юстиции по представлению губернатора, а после 1864 г. судебного следователя назначал сам император по представлению министра юстиции. Судебные следователи действовали при окружном суде, при судебной палате. По сути это уровень нынешнего субъекта федерации.

Сегодня в России нет следователей, которые находились бы непосредственно в составе суда и были независимы от Прокуратуры и Следственного комитета.

Однако не так давно это оказалось на повестке дня. В конце прошлого года Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил Верховному Суду Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности создания института следственных судей. Возможно, это решение станет прологом воссоздания института судебных следователей. Миссия этой новой фигуры в судопроизводстве – не расследование, а контроль за следствием, защита суда от вовлечения в рассмотрение незаконных и необоснованных дел, а также профилактика злоупотреблений и ошибок при избрании меры пресечения.

Как считает судья Конституционного суда в отставке, известный ученый-юрист Тамара Георгиевна Морщакова, наличие следственных судей может эффективно ограничить эксцессы следствия, когда, например, следователь своим решением отклоняет материалы, которые могут свидетельствовать в пользу обвиняемого, по той причине, что они получены не при помощи следственных действий. А вот у следственного судьи нет заинтересованности в том, чтобы отвергать материалы защиты, и есть процедуры, чтобы признать их доказательствами.

Кроме того, Конституция Российской Федерации не ограничивает действие принципа состязательности судебного процесса только судебными стадиями. В Уголовно-процессуальном кодексе установлено право обвиняемых жаловаться судье на действия следователя. Сама норма предполагает наличие арбитра для разрешения конфликтов между стороной обвинения и защиты. Однако состязательности на стадии следствия как таковой достичь пока не удастся. Появление же следственного судьи изменит ситуацию.

Иными словами, речь идет о более высоком качестве судебного контроля за предварительным следствием. Вопросы статуса очень важны, потому что необходимо обеспечить реальную независимость следственных случаев, в том числе и от коррупционных соблазнов.

В любом случае история дает хороший пример, какими должны быть механизмы и решения для создания эффективной, работающей системы следственных судов. Такая система станет еще одной (весомой) гарантией независимости следователей, будет способствовать обеспечению принципа справедливого правосудия, а, значит, и повышению доверия к судебному механизму в целом.

И, наконец, третий урок – это важность создания атмосферы доверия общества и бизнеса к судам.

В сложные социально-экономические моменты, в чем бы ни заключались конкретные причины экономического замедления, на первый план всегда выдвигается необходимость бесперебойности работы институтов развития, которые могут функционировать только в атмосфере стабильности «правил игры» и доверия к судебной системе. Это обусловлено наличием прямой зависимости между качеством судебной власти, экономическим ростом и социальным развитием.

К сожалению, именно в этой части современной России можно поставить «двойку», особенно, если сравнивать сегодняшнее отношение общественности к судебной системе и ту обстановку, больше похожую на эйфорию, которая царила в стране после запуска Судебной реформы 1864 г.

Новый суд в 1864 г. стал не просто школой гражданственности, школой усвоения простыми людьми правовых понятий, юридических ценностей. Он давал людям надежду на справедливость и перемены к лучшему.

Если бы не судебная контрреформа, то драматический театр в столицах и губернских центрах окончательно разорился бы и умер. Потому что публика предпочитала ходить в суд, где разыгрывались подлинные человеческие драмы и трагедии, которые заканчивались, как правило, торжеством разума и справедливости. Как известно, на самые громкие процессы даже распространялись билеты, потому что залы не могли вместить всех желающих. Например, сохранился билет, который получил Федор Михайлович Достоевский, чтобы попасть на знаменитый процесс народницы-террористки Веры Засулич (1878 г.).

Общественный резонанс от начала Судебной реформы был настолько велик, что многие самые известные русские писатели

и художники того времени отразили это событие в сюжетах своих произведений.

В этом свете сегодня одной из наиболее сложных и актуальных прикладных задач для общественной науки и политической практики является именно поиск путей и механизмов для восстановления того уровня общественной поддержки, который имела наша судебная система в конце XIX в.

Одной из «родовых проблем» нашего правового сознания, вернее, его отсутствия, является противопоставление «суда по закону» и «суда по справедливости». Несмотря на то, что категория справедливости является одним из краеугольных камней права, в обычном сознании укоренены представления о существовании справедливости, которая выше закона.

Такое раздвоение имеет под собой вполне материальные, институциональные основания, поскольку судебная система, созданная по уставам Александра II, не действовала на уровне волости. Параллельно существовали две системы судопроизводства и две разные системы права. На уровне уездов, губерний и выше судили по закону, а в волостных судах – на основе обычая. Это принципиальный момент, поскольку в исторических работах нередко встречается фраза, что решения волостных судов выносились на основании общего права. С юридической точки зрения это ошибка. Речь должна идти об обычном праве.

Волостной суд (равно как и другие «народные суды») судил на основании именно обычая. Общее право в принципе не могло сформироваться в практике волостного суда именно вследствие важнейшей черты обычного права – его партикуляризма (в каждой деревне, ауле, станице и т.д. были свои правовые обычаи). Доказательством этому могут служить семь томов решений судов обычного права, изданных в 1873–1874 гг. («Труды Комиссии по преобразованию волостных судов»). Все они абсолютно разные. И, кстати, еще ждут своего исследователя – историка.

Таким образом, в конце XIX в. в России функционировали две параллельные системы судопроизводства (и это без учета некоторых национальных систем). Это не только мешало укоренению идей Судебной реформы 1864 г. в среде крестьянского населения, но и в каком-то смысле способствовало закреплению в общественном сознании представлений о существовании противоречий между законом и справедливостью.

В качестве итога можно следующим образом суммировать основные позиции.

1. Судебная реформа 1864 г. имеет не только процессуальное, но и конституционно-правовое и даже **цивилизационное** значение для России.

2. Судебная реформа 1864 г. органично вплетена в ткань всего исторического развития России. Она стала закономерным результатом процесса перемен, начавшихся в новое время, и продолжает оказывать существенное влияние на современное политическое развитие.

3. Конституционная монархия и парламентаризм в России начинались с Судебной реформы 1864 г.

4. Несмотря на первую волну контрреформ в начале XX столетия Россия располагала одной из наиболее совершенных и глубоко разработанных систем судоустройства и судопроизводства в мире.

5. Ни охранительная реакция самодержавия на антимонархический революционный террор, ни даже советские тоталитарные десятилетия не смогли убить идею эффективной и независимой судебной системы, формирующей в России предпосылки и среду для становления других демократических институтов власти.

6. Эффективное реформирование судебной системы гарантированно ведет к модернизации и повышению эффективности общественно-политического устройства.

7. Потенциал Судебной реформы 1864 г. еще не исчерпан. Анализ исторического опыта этих преобразований является крайне актуальным, поскольку такие результаты будут востребованы в деле совершенствования судебной власти в современной России.

8. Возвращение доверия к суду – ключевая и, как представляется, самая сложная на сегодняшний день задача. А принципиальный шаг, с которого могут начаться реальные позитивные изменения – это становление института следственных судей.

Как писал известный российский историк Василий Осипович Ключевский: «Ничто не может так сильно поколебать основания личной свободы, как дурно организованная следственная власть».

Вопрос о правильной организации предварительного следствия имеет не только гуманитарный, но и экономический аспект. Он имеет самое прямое отношение к нашему бизнесу, к людям, его ведущим.

Расширение объема уголовно-правовых запретов, которое выразилось в наполнении Уголовного кодекса большим числом составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности, привело к росту вовлеченности следственного аппарата в производство по таким делам.

Учитывая, что «цена вопроса» в таких делах (реальных или искусственно возбужденных) исчисляется подчас астрономическими суммами, следственный аппарат постоянно балансирует на



лезвии бритвы, поскольку речь идет о риске быть вовлеченным в реализацию чьих-то экономических интересов. И, к сожалению, есть масса фактов, когда этот риск становится явью.

Мы видим немало примеров, когда безосновательно, но, разумеется, не безвозмездно возбуждаются экономические дела, которые тянутся до тех пор, пока не будет разрушен чей-то бизнес. Впоследствии дела, как правило, закрываются, но бизнесмены уже оказываются разорены.

Есть случаи куда более печальные. Предприниматели незаконно привлекаются к ответственности, а суды выносят обвинительные приговоры, основанные на материалах, подготовленных следователями, имеющими свой интерес в деле. В результате ломается не только бизнес, но и судьбы людей.

Очевидно, что нужны железные гарантии от неправомерного использования следственной власти в сфере экономики.

С этой точки зрения, институт следственных судей – пусть и не стопроцентная гарантия, но серьезное препятствие для использования следствия и суда как инструмента грязной конкурентной борьбы.

Создание института следственных судей предполагает совершенно иную процедуру, когда гласно и состязательно будут приниматься решения о возбуждении дела, об аресте, о производстве обысков, а также о других действиях, затрагивающих конституционные права граждан, в том числе право на свободное занятие предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельностью (ст. 34 Конституции). В таких условиях у следователя не будет возможности единолично проворачивать «комбинации» по захвату или разрушению чужого бизнеса.

Не менее важно и другое – это реальный, а не декларативный путь к возвращению доверия бизнеса (и общества) к судебной власти и государственной власти вообще.

Доверие к институтам власти и суду важно во все времена, но сегодня – в особенности. Анализ экономической ситуации показал, что у нынешних чрезвычайно сложных экономических проблем выделяются три фактора: цена на нефть (вес этого фактора – 30%); санкции против России (вес этого фактора – 40–45%); недоверие бизнеса и общества к власти, к ее способности относительно быстро вывести страну из экономического кризиса (вес этого фактора – 20%). Все остальные факторы составляют 5–10%.

Однако цена на нефть и санкции почти не зависят от усилий самой России, поэтому только решительные меры по возвращению доверия бизнеса и общества к власти смогут существенно изменить ситуацию к лучшему.

В такой ситуации создание института следственных судей может оказаться очень эффективной мерой, реализованной в нужное время и в нужном месте.

В современных экономических условиях, в сегодняшней части политического (электорального) цикла у государства осталось не так много институциональных инструментов, которые не имеют коррозийных побочных эффектов для сложившейся системы государственного управления, но могут способствовать быстрому, а главное эффективно и кардинальному оздоровлению ситуации.

Оставив за скобками указанные выше сугубо правовые аспекты, можно отметить, что и экономические эффекты от возрождения института следственных судей также вполне очевидны.

Только укрепление института частной собственности, создание прозрачных и действенных механизмов ее легализации и главное – защиты от несправедливых посягательств не на словах, а на деле, может выступать для национального бизнеса аргументом в пользу инвестиций в реальный сектор, долгосрочных вложений внутри страны, а не вывоза капитала и защиты своего «экономического завтра» посредством использования зарубежных юрисдикций. Таким образом, это, по сути, может выступать и дополнительным стимулирующим правовым фактором в механизме деофшоризации.

Сужение возможностей для устранения конкурентов и перераспределения активов нерыночными (незаконными) методами всегда благотворно сказывается на развитии экономической конкуренции, а, значит, направлено на укрепление всей экономической системы.

Еще одним эффектом будет снижение нагрузки на бюджет, так как отпадает необходимость бюджетного финансирования части текущей и последующей контрольно-надзорной деятельности правоохранительных органов, осуществляемой системно неэффективно, с дублированием функций и под существенным «коррупционным навесом». Высвобождающиеся бюджетные средства могут быть перераспределены в рамках финансирования той же правоохранительной системы, но на более насущные для государства нужды.

До тех пор, пока не будут «выучены все уроки» и выполнены все «домашние задания» Великой Судебной реформы 1864 г., мы обречены наступать на одни и те же грабли, что в вопросах функционирования судебной системы, что в вопросах эффективности государственного и экономического управления в целом.

Между тем, суд – это то звено, потянув за которое, можно вытянуть всю цепь. Или, если пользоваться другими аналогиями,

суд – это активная акупунктурная точка, воздействие на которую гарантированно приведет к позитивным результатам для всего государственного организма и нашей экономики.

Широкое публичное обсуждение этих вопросов будет полезным не только для теории и практики, но и для изменения общественного мнения, для возвращения того доверия к суду и судебной системе, которое существовало в нашем обществе 150 лет назад.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.

2. *Кони А.Ф.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М., 1967.

3. Латинская юридическая фразеология /Сост. Б.С. Никифоров. М., 1979.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (первая часть) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 марта 1997 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”» // СЗ РФ. 1997. № 13. Ст. 1602.

6. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4030.

7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3595.

8. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1999. № 10. Ст. 1163.

9. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.

10. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; 1998. № 1. Ст. 1.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
В ЭПОХУ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

*В.В. Полонский*

На протяжении десятилетий проблематика Первой мировой войны по идеологическим причинам в нашей стране оказывалась на периферии научной мысли. Причем в применении к литературе этот аспект находился под особым подозрением. Уже в критике и литературоведении 1930-х годов данная тема оказалась обклеенной однозначными ярлыками и практически закрытой. Вышедшая в свет в 1938 г. монография О. Цехновицера [*Цехновицер*] на десятилетия установила публично обязательный диагноз военной русской словесности о Первой мировой как эстетически ущербному свидетельству империалистического угара кризисной буржуазной культуры. Значимых работ на эту тему практически не появлялось вплоть до 90-х годов XX в., когда в Хельсинки Беном Хеллманом была опубликована первая англоязычная монография по данному сюжету [*Hellman. 1995*]. Ей наследовала первая отечественная диссертация, посвященная этому вопросу и защищенная в середине 2000-х в ИМЛИ РАН А.И. Ивановым [*Иванов. 2005*]. 100-летие событий 14-го года со всей очевидностью поставило историко-филологическую науку перед необходимостью выхода на новый уровень в осмыслении проблемы «Русская литература и Первая мировая война». Прежде всего – введения в научный оборот большого корпуса неизвестных и мало известных источников, а также изучения военной русской словесности как сложной системы, инкорпорированной в разноаспектный историко-культурный контекст эпохи. На решение этих задач был направлен крупный междисциплинарный проект, реализованный коллективом ученых на базе Отдела русской литературы конца XIX – начала XX в. ИМЛИ РАН и поддержанный РГНФ в рамках целевого конкурса «Россия в Первой мировой войне». Основные результаты работы над данным проектом нашли свое отражение в двух коллективных трудах<sup>1</sup> и на специализированном интернет-ресурсе «Первая мировая

---

<sup>1</sup> Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: Политика и поэтика. Исследования и материалы. Отв. ред. В.В. Полонский. М., 2013 (далее – ПП-1); Политика и поэтика: Русская литература в историко-культурном контексте Первой мировой войны. Публикации, исследования, материалы / Отв. ред. В.В. Полонский. М., 2014 (далее – ПП-2).

война и русская литература»<sup>2</sup>. Настоящая статья представляет собой концептуально-иллюстративное обобщение итогов этой работы.

\* \* \*

В силу «литературоцентричного» характера русской культуры отечественная словесность эпохи Первой мировой войны обладает особым диагностическим потенциалом в перспективе выявления общих культурно-исторических закономерностей жизни России 1914–1918 гг.

На первом этапе войны – с августа 1914 г. до событий Великого отступления 1915 г. – патриотический подъем охватывает почти все литературные лагеря, прежде разделенные по политико-идеологическим и эстетическим критериям: либералов и неославянофилов, националистов и социалистов, символистов и акмеистов, футуристов и реалистов. Воспеванию «народного подвига» и «великих исторических задач» отдают дань такие разные литературные фигуры, как В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф. Сологуб, Вяч. И. Иванов, Г.В. Иванов, А.И. Куприн, Н.С. Гумилев, С.М. Городецкий, А.Н. Толстой, И. Северянин и др. Особое воодушевление испытывает Л.Н. Андреев. Идеологическим лейтмотивом становится констатация исцеления от главной и неизбывной болезни русской культуры послепетровского периода – раскола между образованным сословием и народом. С равным энтузиазмом война мыслится и как залог «имперского возрождения» (консерваторы и умеренные либералы), «вселенского дела» России (Вяч. Иванов), и как последняя «борьба демократии с цезаризмом и деспотией» (Л. Андреев) [Литературное наследство. Т. 72: 547], обязательное условие социальной революции, которой «быть не может в стране, не видавшей революции национальной», поскольку «с того времени как революция найдет слово “отечество”, найдет она и силу, и успех» (А.В. Амфитеатров, письмо Горькому от 11 августа 1914 г.) [Литературное наследство. Т. 95. 455].

Показательно, что записной «декадент», западник и бывший воспеватель революции 1905 г. Ф. Сологуб в конденсированном виде транслирует тот набор идеологических постулатов, под которыми еще вчера общественное мнение допускало лишь подписи ультраправых националистов, и которые в конце лета–осенью 1914 г., когда даже заправский либерал Петр Струве переключился с «Великой демократической России» на «Святую Русь», разделяет уже большинство пишущих в толстых журналах. Здесь и

---

<sup>2</sup> Режим доступа: <http://ruslitwwi.ru/>

провиденциальность войны как столкновения Востока и Запада, и спасение религиозной души России от векового германского пленения, и мн. др.: «Мы вышли в решительный бой с врагом очень сильным, и это – враг не случайный, наш роковой и надолго враг. Потому что Германия – совершенно другой, сравнительно с нами, мир. Против нашей восточной, мистической, религиозной души встала воплощенная в Германии механизованная душа, антихристианская, рационализованная по-машинному, душа без вещей ведений и прозрений, но с необычайною силою материализма, душа язычников Гёте, Канта, Ницше, и всех этих бесчисленных блестящих, но холодных умов. Так понятно, что пруссаки разрушают католические соборы! Их лютеранскому рассудительному чувству ничего не говорит таинственный сумрак древних храмов, пронизанный лучами мерцающих светочей, напоенный сладостным шепотом и плачем умиленных воздыханий и покаяний {...} Вот близится время, Россия, сказать миру твое новое слово. Сказать это слово чрезмерно трудно, потому что мы завалены целым Гималаем германской культуры, науки, философии, искусства, и освободиться от всего этого страшно трудно, не под силу одному поколению. Добровольно пошли мы в кабалу к немцу, и рано веровать привыкли мы, что нам без немца нет спасенья. Материя и сила, – вот что видит в мире германец, и совсем иное в мире видит наш мистический восток, от которого должен сиять миру свет спасения»<sup>3</sup>.

В первый год войны «пораженческие голоса» были практически не слышны. Обычно они уходили в частные документы. Так, 2 августа 1914 г. З. Гиппиус едко замечает в своем дневнике: «Всякие “гидры” теперь исчезли, и “революции”, и “жидовства”, одна осталась: Германия». А 28 апреля 1915 г. добавляет: «Москвичи осатанели от православного патриотизма. Вяч. Иванов, Эрн. Флоренский, Булгаков, Трубецкой и т.д., и т.д. О, Москва, непонятный и часто неожиданный город, где то восстание, то погром, то декадентство, то ура-патриотизм, – и все это даже вместе, все дико и близко связано общими корнями, как Герцен и Бакунин и – аксаковская славянофильщина» [Гиппиус. 1990: 102, 109].

Но в ситуации всеобщего воодушевления 1914 – начала 1915 г. те же З. Гиппиус и Д. Мережковский предпочитали публично высказывать собственную отстраненную от всеобщего патриотизма позицию не напрямую, изощренно обходя рогатки и общественной и официальной цензуры на страницах «своего» журнала «Голос

<sup>3</sup> Сологуб Ф. Мира не будет. 1914 // ПП-2. С. 33–34.

жизни»<sup>4</sup>, где скепсис в отношении «бравурной риторики» ведущих идеологов был прикрыт вполне конъюнктурными «провоенными» публикациями.

Попутно стоит заметить, что цензура в период войны<sup>5</sup> была во многом непоследовательной и, по всей видимости, не очень хорошо организованной. С одной стороны, вступление в силу 2 августа 1914 г. «Временного положения о военной цензуре» привело к прекращению легальной рабочей печати и временному закрытию кадетской газеты «Речь», редакция которой была исполнена вполне явственным патриотическим энтузиазмом, а также народнического журнала «Русское богатство» за серию статей А.В. Пешехонова, отнюдь не «пораженческих», но лишь содержащих предсказания о социальных катаклизмах в воюющих странах и призывы к некоторым необходимым именно для победы внутрироссийским гражданским реформам (см. [Пешехонов]). При этом характерно, что совершенно мимо цензуры и без всяких последствий прошла первая в России по-настоящему «пораженческая» публикация в популярнейших «Биржевых ведомостях». Здесь уже на десятый день войны была помещена статья В. Жаботинского «Пессимист и оптимист», суть которой автор передавал так: «все надежды на реформы режима, если “мы” выиграем, безнадежны, и все те, кто хочет победы, “должны осознавать”, что приносят этим в жертву все свои “прогрессивные мечты”»<sup>6</sup>. Цензурная практика была заметно ужесточена с начала 1915 г., когда число купированных строк в опубликованных текстах возрастает едва ли не впятеро, но последовательностью она опять же не отличалась, к тому же вынуждена была реагировать на нарастание скепсиса в общественных умонастроениях. В результате у вернувшегося из Парижа М. Волошина были все основания констатировать в 1916 г. в тех же «Биржевых ведомостях»: «...русское общественное мнение гораздо более терпимо к индивидуальным и парадоксальным взглядам на войну; мы имеем право не желать поголовного истребления всей германской расы; *русская военная цензура гораздо более милостива, чем французская, которая не только ограничивает, но устанавливает тон и меру того, как следует мыслить*» («Франция и война», курсив мой. – В.П.) (цит. по: [Волошин: 540]).

Первое и в сущности единственное крупное литературное периодическое издание с «пораженческой» позицией – горьковский

---

<sup>4</sup> См. подробно: *Козьменко М.В.* Полузабытый «Голос жизни» – «пораженческий еженедельник» // ПП-1. С. 476–503.

<sup>5</sup> См. подробно: *Гужва Д.Г.* Военная цензура русской периодической печати в годы Первой мировой войны // ПП-1. С. 524–537.

<sup>6</sup> Цит. по: *Кацис Л.Ф.* Первая мировая война в репортажах В. Жаботинского // ПП-1. С. 447.

журнал «Летопись» (см. подр. [Епанчин])<sup>7</sup> – появилось лишь в конце 1915 г., когда после перехода к позиционной войне патриотическая волна быстро пошла на убыль. Хотя все же по цензурным причинам пацифистская позиция издателей также находила себе здесь лишь косвенное выражение, довольствуясь апологией «разума» и «планетарных ценностей» в пику «империалистическому хищничеству» и «милитаристскому капитализму».

Для открытой литературной печати первых военных лет характерно противопоставление скорее не «патриотов» и «пораженцев», а сторонников активного вовлечения писателей в гущу событий («ангажированности») и тех, кто из опасения девальвации смыслов вследствие патриотического угара настаивал на «молчании» художников в «годину гнева Божиего». Горячая дискуссия разгорелась вокруг выступлений З. Гиппиус. Настаивая на том, что «злободневных произведений <настоящего> искусства быть не может» («В наши времена»)<sup>8</sup>, она еще в августе 1914-го в стихах обратилась с призывом:

Поэты, не пишите слишком рано,  
Победа еще в руке Господней.  
Сегодня еще дымятся раны,  
Никакие слова не нужны сегодня.

В часы неоправданного страданья  
И нерешенной битвы  
Нужно целомудрие молчанья  
И, может быть, тихие молитвы.

«Тише»

Л. Андреев выступил с ответом Гиппиус в статье «Пусть не молчат поэты», содержащей страстные призывы к участию искусства в том, что мы можем сегодня назвать «экзистенциализацией» войны, глубинном освоении ее духовного опыта всей полнотой человеческой психики: «Вот магия искусства: описание выстрела сорокадвухмиллиметровой пушки может быть слышнее, чем сам выстрел (...) Главное заключается в том, чтобы заставить услышать войну, сосредоточить на ней и ее вопросах не только чисто внешнее внимание, но и внутренне глубоко ею заинтересовать, потрясти и взволновать. Пусть больно, пусть даже противно, но зато и полезно, и даже необходимо»<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> См. также: *Третьякова С.Н.* Военная тема на страницах журнала «Летопись» // ПП-1. С. 514–523.

<sup>8</sup> Цит. по: *Антон Крайний (Гиппиус З.Н.).* В наши времена // Голос жизни. 1914. № 4 // ПП-2. С. 637.

<sup>9</sup> См. также: *Иванов А.И.* Первая мировая война в публицистике и прозе Леонида Андреева // ПП-1. С. 169–179.



Известных русских литераторов непосредственный фронтовой опыт коснулся все же в меньшей мере, чем их собратьев, прежде всего, в Германии и во Франции. Признанные писатели по возрасту в основном уже не могли быть мобилизованы, а большинство молодых поэтов (Велимир Хлебников, Игорь Северянин, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Сергей Есенин и др.) по разным причинам не подлежали военному призыву. Кто-то – как Блок с августа 1916 по март 1917 г. – проходил службу в прифронтовой полосе, кто-то – в тылу, как Маяковский, с осени 1915 г. приписанный к петроградской автошколе. Собственно на передовой служили немногие: Н. Гумилев, Н. Асеев, К. Большаков, С. Бобров, С. Третьяков, В. Шершеневич, Б. Лифшиц, Н. Тихонов, В. Катаев, М. Зощенко и некоторые др. Едва ли не единственным из них литературно значимые отражения собственной фронтовой биографии дал Гумилев. Но характерно, что в количественном отношении они не велики: помещенные в «Биржевых ведомостях» «Записки кавалериста» и лишь четыре стихотворения в сборнике «Колчан»<sup>10</sup>. Крупные поэтические книги, целиком посвященные войне, публиковали только те ведущие поэты, кто не имел прямого фронтового опыта – как Ф. Сологуб («Война») [*Сологуб*] или С. Городецкий («Четырнадцатый год») [*Городецкий*]. И характерно, что, исполненные условной громогласной риторики, они отнюдь не относятся к числу лучшего из написанного и этими большими художниками, и о войне в целом в русской литературе.

Более обширное наследие оставили писатели – фронтовые корреспонденты ведущих газет: А.Н. Толстой, В. Муйжель, И. Ясинский и др. Особое место в этом ряду занимает В. Брюсов. За восемь месяцев 1914–1915 гг. он опубликовал 90 военных корреспонденций в газетах «Русские ведомости» и «Голос», где впервые в России описал применение танков и фронтовых авиационных бомбометаний, первым в мировой журналистике использовал как документальный материал окопные личные письма вражеских солдат. В очерках о штабс-капитане Гурдове он занялся реабилитацией ошельмованного предшествующей литературой русского офицера<sup>11</sup>.

С началом войны впервые литературно-издательская и культурно-организационная деятельность становится важнейшим фактором идеологической консолидации общества. Практически все

---

<sup>10</sup> Детальную разработку данной темы см.: *Степанов Е.В.* Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914–1918. М., 2014.

<sup>11</sup> Полную републикацию корпуса данных корреспонденций с сопроводительным критическим аппаратом см.: ПП-2. С. 242–578. См. также: *Даниэлян Э.С.* В. Брюсов – военный корреспондент // ПП-1. С. 559–567; *Мурзо Г.В.* В. Брюсов – военный корреспондент ярославского «Голоса» // ПП-1. С. 567–578.

крупнейшие писатели активно участвуют в многочисленных благотворительных начинаниях «в помощь фронту и тылу». Появляются десятки откликающихся на злобу дня сборников, антологий и альманахов с актуальными названиями: «Война»<sup>12</sup>, «Военный сборник»<sup>13</sup>, «В помощь пленным русским воинам»<sup>14</sup>, «Современная война в русской поэзии»<sup>15</sup>, «Война в русской лирике»<sup>16</sup>, «В эти дни»<sup>17</sup>, «Мы помним Польшу»<sup>18</sup>, «Книга короля Альберта»<sup>19</sup> и мн. др. Уже в первые месяцы войны выходят сотни дешевых брошюр «для народа», в подготовке которых участвуют в том числе и ведущие писатели (серии «Война 1914 года», «Народная война», «Вторая Отечественная война» и даже «Великая Отечественная война» и т.п.). Впервые рынок идеологизированной литературы и периодики начинает системно учитывать гендерно-возрастную адресацию и проблематику: появляются издания, специализирующиеся на женской и детской темах именно в условиях войны (журналы «Женская жизнь», «Женщина и война», сборник «Дети и война»<sup>20</sup>, военные разделы во всех 18 издающихся в России детских журналах и т.п.)<sup>21</sup>. Возникает феномен массовых пропагандистских лубочных изданий, в подготовке которых активно участвуют и «эстетствующие» литераторы первого ряда, вырабатывающие в это время «кенотический» тип культурного поведения – вплоть до опытов стилизации «народных» фронтовых писем, как в случае с «составленной» (но на самом деле – сочиненной!) З.Н. Гиппиус книжкой «Как мы воинам писали и что они нам отвечали» (М., 1915). Захваченность общества войной иллюстрирует и статистика названий поэтических книг – формы, наиболее консервативной с точки зрения реакции на актуальный политический контекст: из авторских 512 книг стихов, вышедших в 1914 г., 78 содержат отсылки к войне в своем именовании, из 441 книги 1915 г. таких уже 122<sup>22</sup>.

<sup>12</sup> Война. Литературно-художественный альманах. М., 1914.

<sup>13</sup> Военный сборник. Пг., 1914.

<sup>14</sup> В помощь пленным русским воинам. М., 1916.

<sup>15</sup> Современная война в русской поэзии. Пг., 1915.

<sup>16</sup> Война в русской лирике. М., 1915.

<sup>17</sup> В эти дни. Литературно-художественный альманах. М., 1915.

<sup>18</sup> Мы помним Польшу. Пг., 1915.

<sup>19</sup> Книга короля Альберта. М., 1915.

<sup>20</sup> Дети и война. Сб. статей. Киев, 1915.

<sup>21</sup> Подробно см.: Хеллман Б. Мобилизация детей: военная тематика в журналах для детей и юношества периода Первой мировой войны // ПП-2. С. 745–757; Симонова О.А. Военная проза для женщин (анализ беллетристики массовых журналов 1914–1916 годов) // ПП-2. С. 758–763.

<sup>22</sup> Подробно см.: Орлицкий Ю.Б. Первая мировая война в названиях русских поэтических книг // ПП-1. С. 288–295.

Практически с первых дней войны в литературе формируется единый набор идеологических констант, символических концептов и публицистико-историсофских топосов осмысления происходящего. Причем это сопровождается переводом дискурса в сакральный регистр, прочитыванием событий с их попутным проецированием на библейские прорабы.

Вот некоторые элементы этого набора топосов и констант.

– Противостояние с попутными эсхатологическими аллюзиями *германизма* как обездушенного неоязыческого механицизма духоносной христианской органике *славянства* (вариант, учитывающий наличие союзников: «староевропейскому» христианскому миру);

– «Тевтонские зверства» с попутной демонизацией противника (разрушение Реймского собора, Лувена, резня в Калише и т.п.);

– «Жертвенная Сербия»;

– «Героическая Бельгия». Здесь важнейшая для русской литературы века – пьеса Л. Андреева «Король, закон и свобода», посвященная королю Альберту. В данном случае примечательна хронология событий. Военная кампания в Бельгии в основном завершилась в сентябре 1914 г.: 26 сентября был захвачен Антверпен. Но уже к 25 октября – в абсолютно рекордные сроки! – если верить дошедшим документам, выходит первый в мире кинофильм на бельгийско-военную тему: картина режиссера П. Чардынина по сценарию Л. Андреева и его брата Павла, в основу которого положена пьеса «Король, закон и свобода», на киностудии А. Ханжонкова<sup>23</sup>.

– «Иудино предательство Болгарии». Здесь примечательно схождение таких разных авторов, как Ф. Сологуб и Л. Андреев, в символическом применении библейских аналогий к факту вступления этой страны в войну на стороне центральных держав: «Если бы перед вами нечестивый Иуда опять взял сребреники, чтобы вновь предать Учителя, то разве не жалость к неразумному должна пронзить сердце ваше? (...) Ничего не достигнет Болгария, если и бросится на измученную Сербию» (Ф. Сологуб, «Жаль Болгарию») <sup>24</sup>; «Скорее же, в самые уста целуй брата, Болгария. Ты помнишь, как это делается? Двенадцать апостолов было у Иисуса, но только один поцеловал его в уста (...) Но если ты забыла, если ты

---

<sup>23</sup> Описание и фрагмент фильма см. на тематическом интернет-ресурсе проекта. Режим доступа: <http://ruslitwwi.ru/materials/video/01149-Korol-zakon-i-svoboda.html>

<sup>24</sup> Цит. по: ПП-2. С. 46.

плохо помнишь Евангелие, спроси у Вильгельма Гогенцоллерна: он весьма начитан в Священном Писании и еще недавно с глубоким знанием дела в самые уста поцеловал невинную Бельгию... до сих пор еще горит этот поцелуй Иуды» (Л. Андреев, «Торгующим в храме»)<sup>25</sup>.

– «Воскресение жертвенно разъятой Польши». Этот – едва ли не самый частотный из национальных – топос был инспирирован переносом в символическую историософию содержания Воззвания Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича от 1 (14 августа) 1914 г., где полякам было обещано объединение разъятой между тремя воюющими государствами страны под юрисдикцией российской империи с предоставлением свобод «в вере, в языке, в самоуправлении». Уже в первом поэтическом тексте на эту тему – стихотворении Брюсова «Польше» (1 августа 1914) такой перенос происходит благодаря сочетанию аллюзий на стихотворение Тютчева «Как дочь родную на закланье...» с его обетованием феникса возрождения «общей свободы» русских и поляков и на основополагающую для польского национально-религиозного мессионизма третью часть «Дзядов» Мицкевича, где Польша уподобляется чающему воскрешения четверодневному Лазарю:

Опять родного нам народа  
Мы стали братьями, – и вот  
Та «наша общая свобода,  
Как феникс», правит свой полет.

А ты, народ скорбей и веры,  
Подъявший вместе с нами брань,  
Услышь у гробовой пещеры  
Священный возглас: «Лазарь, встань!»

– «Нынешняя война – последняя, пролог вечного мира». Вариант этого топоса, рожденный внутри символистского жизне- и мифотворческого мироощущения: «Война должна принести тотальное Преображение человека и вселенной». «Цель этого всенародного подвига была намечена определенно и явственно: преобразование», – прокламирует Ф. Сологуб в статье «Держание до конца»<sup>26</sup>. Поэтический парафраз этой прокламации даст опять же Брюсов, один из создателей концептуального тезауруса Первой мировой в русской культуре, в стихотворении «Последняя война»:

---

<sup>25</sup> Цит. по: ПП-2. С. 592.

<sup>26</sup> Цит. по: ПП-2. С. 25.

Так! слишком долго мы коснели  
И длили Валтасаров пир!  
Пусть, пусть из огненной купели  
Преображенным выйдет мир!

Пусть падает в провал кровавый  
Строенье шаткое веков, –  
В неверном озареньи славы  
Грядущий мир да будет нов!

Дискуссии, как правило, возникают лишь по поводу семантических дериватов этих топосов и констант. Так, разгорались споры о справедливости важнейшего в публицистической культурософии эпохи тезиса В. Эрна из доклада «От Канта к Круппу» о том, что «внутренняя транскрипция германского духа в философии Канта закономерно и фатально сходится с внешней транскрипцией того же самого германского духа в орудиях Круппа»<sup>27</sup>. Сологуб и Розанов его принимали, Вяч. Иванов и Брюсов – отвергали, считая «демонический тевтонский милитаризм» после 1870 г. изменой глубинным постулатам гуманистической немецкой культуры Гёте, Новалиса и Шеллинга. В Религиозно-философском обществе могли дискутировать – как, например, на заседании от 26 октября 1914 г. – и о том, искушением (А. Мейер, доклад «Религиозный смысл мессионизма») или ценностью (Д. Мережковский, доклад «О религиозной лжи национализма») является польский национальный мессионизм в современных условиях<sup>28</sup>. Но, как и в прочих случаях, никто не ставил под сомнение сам топос «воскресенья жертвенно разъятой Польши».

Вступление 2 ноября 1914 г. в войну Турции на стороне центральных держав послужило катализатором переживавшей с августа подъем панславистской литературной риторики и соответствующей историософии (завоевание Константинополя, проливов, объединение славян под русским началом и т.п.). Это опять же объединяет вчерашних оппонентов: деятелей Московского Религиозно-философского общества памяти В. Соловьева, авторов либеральной «Русской мысли», символистов В. Брюсова и Ф. Сологуба и др. А Ф. Зелинским, Вяч. Ивановым и иными русскими «эллинистами» предсказывается наступление эпохи «славянского Возрождения» – наследующего романо-германскому Ренессансу XIV–XVI вв.

---

<sup>27</sup> Доклад, сделанный 6 октября 1914 г. на заседании Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева. Цит. по: Эрн В. Меч и Крест: Статьи о современных событиях. М., 1915. С. 21.

<sup>28</sup> См.: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). История в материалах и документах. Т. 3. 1914–1917. М., 2009. С. 7–32.

Благодаря текущим политическим событиям и ожиданиям скорейшего решения Россией славянского вопроса разлом между реальным и идеальным в осмыслении судеб славянства литературной публицистике может представляться преодоленным: современникам порой кажется, что через эмпирические фронтовые сводки со страниц газет проговаривает себя сама трансценденция славянской идеи. Именно такого контекста восприятия требует максима В. Эрн, вынесенная им в заглавие брошюры 1915 г. «Время славянофильствует»: «Мое главное положение: *время славянофильствует*, означает, прежде всего, что славянофильствует время, а не люди, славянофильствуют события, а не писатели, славянофильствует сама внезапно заговорившая жизнь, а не “серая теория” каких-нибудь отвлеченных построений и рассуждений (...) Своим положением я хочу сказать, что каково бы ни было массовое сознание образованных русских людей, мы фактически вступаем в славянофильский эон нашей истории; он же самым тесным образом связан с судьбами всего мира» [Эрн. 1915а: 5–6].

Показательна та смена идеологических оценок в атмосфере «славянофильствующего времени», какую демонстрирует В.В. Розанов. Так, еще в 1908 г. со страниц «Нового времени» он называет «безумием» желание сторонников присоединения России к англо-французской оси «ставить на карту вековой мир с Германией» и призывает к осторожности «до смущения», поскольку «в последние годы есть что-то не расположенное к нам в самой (...) Судьбе» [Розанов. 1908].

Но по прошествии шести лет писатель полностью смещает все акценты и выворачивает наизнанку былые смыслы собственной публицистики, описывая в книге «Война 1914 года и русское возрождение» общенациональный патриотический подъем в мотивном ряду пасхальной радости и превращая топос попираемого и низвергаемого «германизма» в антиматерию таинства жертвенной евхаристии славянства: «Дрожит напряжением русская грудь и готовится вступить в пасхальную “красную” годину исторических судеб своих, дабы подвигом и неизбежною кровью купить спасение тех остатков братских народов, одна половина которых лежит мертвыми костями под тевтонским и мадьярским племенем, а за другую, еще живую половину наших братьев, теперь пойдет последний спор и окончательная борьба» [Розанов. 2000: 255].

Причем панславистская публицистика методично опиралась на исторические прецеденты – Крымскую кампанию, Русско-турецкие войны 1828–1829 и 1877–1878 гг., Русско-японскую войну 1904–1905 гг. – и их отражение в русской литературе и общественной мысли. Прежде всего – в наследии классиков славянофильства,

Ф.И. Тютчева, «Дневнике писателя за 1877 год» Ф.М. Достоевского с его почвенной апологией русского имперского панславизма и полемикой по этому поводу с Л.Н. Толстым. В военной лирике на славянскую тему важнейший элемент поэтики – устойчивые аллюзии на узкий набор классических прецедентных текстов «имперского» смыслового круга: «Клеветникам России» и «Олегов щит» Пушкина, «На взятие Варшавы» и «Олегов щит» Тютчева, «Спор» Лермонтова, «Дракон» В. Соловьева и др.<sup>29</sup> При этом прецедентная модель, как правило, в военном тексте перекодируется в сторону большей смысловой одномерности и клиширования.

Историософские модели, сформированные русской культурой XIX в. и недавнего прошлого, под влиянием военно-политической ситуации вообще претерпевали характерные трансформации в литературе. Так, идеи «панмонголизма», «китайской опасности», идущие от В. Соловьева, отразились в художественно-поэтическом наделении не только турок (азиатов), но и немцев чертами «гуннов», «восточных орд», «европейских азиатов». Антигерманская риторика русских поэтов-патриотов во многом воспроизводит «антимонголизм» ходовой литературной стилистики эпохи Русско-японской войны. И в своем прямом виде идеи «панмонгольской опасности» продолжают подспудно существовать в сознании художников. Характерное тому свидетельство – черновая редакция самого известного «военного» стихотворения А. Блока «Петроградское небо мутилось дождем...», где «немецкой тяжести» как более «страшная» противопоставлена «восходящая тихо с Востока заря» [Блок. 1997: 543]. В ситуации 1916 г. рефлекс «панмонголизма» ощутимы и в геополитическом прожектерстве русских символистов: размышляя об устройении мира после войны, Ф. Сологуб в статье «Мировая громада» [Сологуб. 1915b] и Вяч. Иванов в работе «Россия, Англия и Азия» [Иванов. 1917: 24–30] настаивают на будущем англо-русском союзе как стене, «которую Европа может противопоставить желтой опасности» [Иванов. 1917: 27], одновременно начав осторожную «христианизацию» Индии, Китая и Японии.

С переходом к позиционному противостоянию во второй половине 1915 г. ситуация с освещением войны в литературе довольно сильно меняется. Сказывается эффект усталости и разочарований. Число военных материалов на страницах литературных изданий сокращается на две трети. Из периодики практически уходит художественная литература на военную тему. Начинается ревизия

---

<sup>29</sup> См. по этому вопросу: *Магомедова Д.М.* Цитатный слой в массовой поэзии Первой мировой войны (К проблеме прецедентных текстов) // ПП-2. С. 764–770.

былого энтузиазма. Сформированные им устойчивая риторика и стилистика, облекающие политические топоры в выспренние славянизмы и одический декорум, серьезной критикой все более подчеркнута характеризуются как опасная для искусства система пошлых клише, «непристойное пустозвонство примитивного патриотизма» [*Ожигов*]. До революционного порога подъем литературного интереса к войне был обусловлен лишь двумя фронтовыми событиями: захватом русскими войсками под командованием Н. Юденича в феврале-марте 1916 г. Трапезунда и Эрзерума и объявлением Германией неограниченной подводной войны. Стихотворениями «Разговор» и «Рыбье празднество» на них отозвался В. Брюсов. По следам турецких событий и на фоне нарастающего скепсиса по отношению к союзникам была организована поездка шести русских писателей – в том числе А.Н. Толстого и К.И. Чуковского – в Англию, где их принял король. Причем Чуковский удостоился личной благодарности Георга V за книгу «Заговорили молчавшие» (Пг., 1916) – об английских солдатских письмах с фронта. По итогам поездки был опубликован ряд авторских сборников публицистики и газетных очерков<sup>30</sup>.

Показательно, что Брусиловский прорыв лета 1916-го остался в стороне от внимания художественной литературы. Возможно, это было свидетельством уже сформировавшегося недоверия к сообщениям о победах (характерно, что во время Великой Отечественной войны реабилитация Первой мировой в советской литературе начнется с изображения именно генерала Брусилова: драма «Генерал Брусилов» И. Сельвинского, романы «Брусиловский прорыв» С. Сергеева-Ценского, «Брусилов» Ю. Слезкина, «1916 год» Л. Успенского).

Нельзя не сказать и о таком феномене литературной жизни этих лет, как взгляд на войну русских писателей, переживавших ее в Европе: М. Волошина, П. Виноградова, Н. Минского, Б. Савинкова, И. Эренбурга, А. Яценко. Особое место среди них занимает Андрей Белый. Его очерки для «Биржевых ведомостей» 1916 г.<sup>31</sup>, помимо прочего, интересны тем, что в них отражен уникальный и парадоксалистский опыт переживания войны русским писателем, устремленным к слиянию своего индивидуального «я» с «народной душой», пропитанным при этом германской культурной традицией и штейнеровской «духовной наукой», антропософией, в немецкоязычном окружении на нейтральном кусочке земли, в швейцарском

---

<sup>30</sup> Подробно см.: *Толстая Е.* «Вы будете глазами и ушами вашего народа»: Визит русских писателей в Англию в феврале 1916 года // ПП-2. С. 784–801.

<sup>31</sup> Полностью републикованы с научно-критическим аппаратом в: ПП-2. С. 174–240.



Дорнахе, наполненном «гремящей тишиной» – фоновым гулом с развернувшихся в нескольких километрах фронтов.

Германofil Белый определяет позитивное задание, которое ставят реалии войны перед славянским культурным сознанием: не мифологизировать штампы, а – воспользовавшись практическими нуждами момента – понять, как он выражается, «тыл», истинную духовную подноготную врага, в котором то, что русским представляется полюсами, многообразием противоположных начал, в сущности глубоко цельно и гармонически спаянно: «Не изучали мы конкретного немца, это он с нами борется, разрушает соборы, и это он – философствует, философствует в дни войны, и читает в траншеях: Заратустру, Библию, Фауста, мобилизует промышленность – он, ставит Гоголевскую “Женитьбу” и понимает Шекспира, удушает коварно нас газами, и восторженно присягает заветам... Новалиса: теперь, он, в эти дни!» (статья «Современные немцы»)<sup>32</sup>.

Природа подобной цельности, по Белому, для русских до сих пор «шарада». И он подводит к выводу о глубинном параллелизме этой шарадной загадочности и «духовных ликов» между *германским* и *славянским*. И в годы войны, работая над отделкой антропософского храма Гетеанум в Дорнахе, осознает сугубую символическую промыслительность того, что в деревянных резных архитравах малого купола здания, аллегорически изображавших разные национальные культуры, германская часть находилась по соседству со славянской. Поэт-мифотворец видел в этом указание на сущность собственной духовной миссии среди катастрофического пожара.

Особая страница истории русской литературы 1914–1918 гг. – реакция на войну русских футуристов. Здесь прежде всего примечательно то, что они не пошли по стопам основателя движения итальянца Т. Маринетти и его присных, которые свою эстетическую и вполне политическую программу основывали на пафосе милитаризма и тотального разрушения. «Да здравствует война – только она может очистить мир. Да здравствует вооружение, любовь к Родине, разрушительная сила анархизма, высокие Идеалы уничтожения всего и вся!» – непосредственных аналогов этим словам из итальянского «Первого манифеста футуризма»<sup>33</sup> в стане русских будетлян не звучало. Маяковский откликнулся на начало войны стихотворениями «Война объявлена» и «Мама и убитый

---

<sup>32</sup> Цит. по: ПП-2. С. 196.

<sup>33</sup> Цит. по: Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы. М., 1986. С. 160.

немцами вечер», где эмоциональная взвинченность и радикальная экспрессивность приемов крещендо подводят к мысли о вывихнутом мировой бойней мире, но напрочь отсутствуют устойчивые штампы бравурной лирики. В сентябре-ноябре 1914-го как художник и автор текстов-подписей Маяковский наряду с Малевичем принял участие в подготовке серии пропагандистских патриотических плакатов и открыток в издательстве «Сегодняшний лубок»<sup>34</sup>. Но уже с 1915 г. он все более отчетливо склоняется к «пацифизму». На политический милитаризм итальянских футуристов русские будетляне ответили «филологической экспансией», направив свой разрушительно-обновляющий напор в сферу пересотворения языка. «Пересмотр арсенала старых слов и словотворчество – вот военные задачи поэтов», – провозглашает Маяковский уже в статье 1914 г. «Война и язык» [*Маяковский*: 328]. И этому завету останется верен вплоть до революции, которая в сознании поэта заменит войну в качестве «атмосферной» предпосылки филологического экспериментаторства.

Революция 1917 г. обусловила крайнюю радикальность, тотальность ощущения кризисности и значительно более подчеркнутую потребность отечественной литературы в переводе языка описания окружающего из плана истории в план апокалиптики. В России она во многом заслонила собой и растворила в себе войну – и этим объясняются особые сложности в выявлении непосредственного субстрата Первой мировой в отечественной культуре эпохи.

Но именно на революционном пороге становятся особенно очевидны поэтико-жанровые сдвиги в русской литературе, рожденные как раз войной. Сам организм литературы и искусства претерпевает характерные трансформации. Дрейфует жанровая система, выдвигая вперед документальные и квазидокументальные формы, повышая роль эго-высказывания, синтетических документально-фикциональных сочинений, прикладных художественных начинаний, низовых, демократических транскрипций «высокой словесности». Эпизируется лирика – и начинается путь к возрождению поэмы (в литературе «серебряного века» отошедшей все же на вторые позиции, уступившей место новым циклическим образованиям и строгим строфическим лирическим формам). Процесс, который утвердится в правах только в пореволюционные годы, но корни его, конечно, в военной литературе.

---

<sup>34</sup> Подробно см.: *Терехина В.Н.* Военный лубок Маяковского и Малевича // ПП-2. С. 827–834.

Русской прозе война дает мощный импульс движения к мозаичности, калейдоскопичности, коллажности синтетической книги с размытой жанровой идентификацией как форме передачи смыслового излома, нестыковки, антитетичности, несшиваемости в пределах устоявшейся понятийной логики противоположных проявлений человеческого духа, разных личин войны.

Все это отзовется позднее и в коллажности западного романа эпохи «между двух войн», и в собственно русских орнаментальных изводах авангардной прозы образца, к примеру, Б. Пильняка на тему революционного эсхатологизма – прозы, наследующей линии А. Белого.

Уже на рубеже 1910–1920-х годов война все явственнее воспринимается как прорыв вовне глубинных тенденций авангардистской дегуманизации, как событие, которое сформировало новую культурную парадигму, «модерную» «картину мира», в которой кубизм выделялся неизбежным художественным аналогом газовых атак Ипра, футуризм – эстетическим толчком к формированию большевистской и фашистской риторик, а трагический опыт «маленького человека в траншее» перед лицом массовой технологии смерти открывал широкие пути к экспрессионизму и экзистенциализму в искусстве и философии.

В общем и целом картина освоения военной темы русской литературой оказывается крайне противоречивой и парадоксальной. С одной стороны, патриотический подъем первых военных месяцев сформировал набор устойчивых образов, клише и стереотипных стилистических решений, которые окажутся особо востребованными в годы Великой Отечественной. Но с другой – то, что по прошествии четверти века будет по-настоящему животворным для литературы, сумевшей сочленить общую идею и язык массового подъема с правдой простого человека в окопах, в годы Первой мировой порой не преодолеvalo сугубо риторических границ: патриотическая браваурная лирика 1914 г. тех же Брюсова, Сологуба или Городецкого, повторим – отнюдь не вершинное достижение этих больших художников. Однако там, где военный опыт не ограничивался внешними идеологическими декларациями, а уходил вглубь, определяя пути трагического осмысления реальности на уровне надрывного мирочувствия и рожденного им стиля, тогда, когда, по выражению В. Маяковского, литератор писал не столько «о войне», сколько «войною» [Маяковский: 309], переживая по слову И. Эренбурга, «новый быт и новый уют на Лобном месте» [Эренбург: 7], русская словесность оказывалась способной на истинные художественные обретения.

## ЛИТЕРАТУРА

- Андреев Л.* Пусть не молчат поэты // Биржевые ведомости. 1915. 18 окт.
- Блок А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 3. М., 1997. С. 543.
- Военный сборник. Пг., 1914.
- Война в русской лирике. М., 1915.
- Война. Литературно-художественный альманах. М., 1914.
- Волошин М.* Собр. соч. Т. 6 (1). 1908. С. 540.
- В помощь пленным русским воинам. М., 1916.
- В эти дни. Литературно-художественный альманах. М., 1915.
- Гиппиус З.Н.* Петербургские дневники. 1914–1919. Нью-Йорк, 1990. С. 102, 109.
- Городецкий С.* Четырнадцатый год. Пг., 1915.
- Дети и война. Сб. статей. Киев, 1915.
- Епанчин Ю.Л.* М. Горький и журнал «Летопись» в годы Первой мировой войны // Освободительное движение в России. Вып. 19. Саратов, 2001.
- Иванов А.И.* Первая мировая война и русская литература 1914–1918 гг.: Этические и эстетические аспекты. Дисс. ... д. ф. н. М., 2005.
- Иванов А.И.* Первая мировая война и русская литература 1914–1918 гг. Тамбов, 2005.
- Иванов Вяч. И.* Родное и вселенское. М., 1917. С. 24–30.
- Книга короля Альберта. М., 1915.
- Литературное наследство. Т. 72: Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., 1965, С. 547.
- Литературное наследство. Т. 95: Горький и русская журналистика начала XX века: Неизданная переписка. М., 1988. С. 455.
- Маяковский В.* Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 1. М., 1955. С. 328.
- Мы помним Польшу. Пг., 1915.
- Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы. М., 1986. С. 158–162.
- Ожигов А.* На бранной лире // Современный мир. 1915. № 8.
- Пешехонов А.В.* На очередные темы. Вероятное и возможное // Русское богатство. 1914. № 8.
- Пешехонов А.В.* Единая Россия // Русское богатство. 1914. № 9 и др.
- Политика и поэтика: Русская литература в историко-культурном контексте Первой мировой войны. Публикации, исследования, материалы / Отв. ред. В.В. Полонский. М., 2014.
- Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). История в материалах и документах. Т. 3. 1914–1917. М., 2009. С. 7–32.
- Розанов В.* Сила национальности // Новое время. 1908. 7 июля. № 11608.
- Розанов В.В.* Последние листья. М., 2000. С. 255.
- Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: Политика и поэтика. Исследования и материалы / Отв. ред. В.В. Полонский. М., 2013.

Современная война в русской поэзии. Пг., 1915а.

*Сологуб Ф.* Война. Стихи. Пг., 1915.

*Сологуб Ф.* Мировая громада // Биржевые ведомости. 1915b. 28 янв. Утр. вып. С. 3.

*Степанов Е.В.* Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914–1918. М., 2014.

*Цехновицер О.В.* Литература и мировая война 1914–1918. М., 1938.

*Эренбург И.* Лик войны. Берлин, 1923. С. 7.

*Эри В.* Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия. М., 1915а. С. 5–6.

*Эри В.* Меч и Крест: Статьи о современных событиях. М., 1915b. С. 21.

*Hellman B.* The Poets of Hope and Despair. The Russian symbolists in War and Revolution (1914–1918). Helsinki, 1995.

Интернет-ресурс «Первая мировая война и русская литература»  
<http://ruslitwwi.ru/>

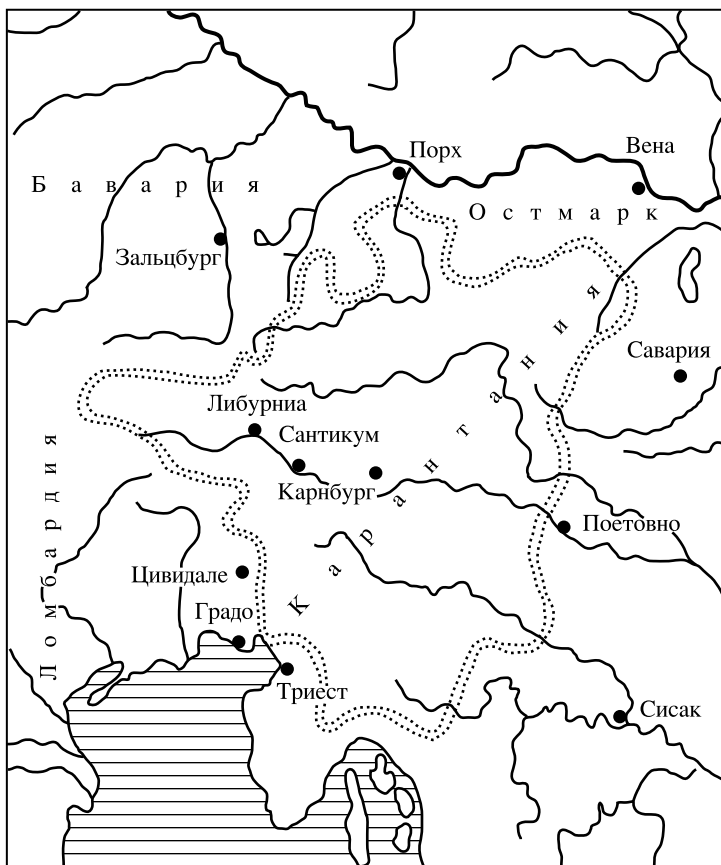
ТРАНСАЛЬПИЙСКИЙ ДИАЛЕКТ ПРАСЛАВЯНСКОГО  
И РЕТСКОЕ (ТИРРЕНСКОЕ) НАСЕЛЕНИЕ  
ДРЕВНЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ  
(К публикации данных о геноме альпийского  
«ледяного человека»)

Вяч.Вс. Иванов

**I. Ранняя территория контактов славянских диалектов с вульгарной латынью и раннероманской речью. Фонологические, грамматические (морфологические) и лексические архаизмы протословенского.**

Разыскания многих лингвистов, в свое время подытоженные Лером-Сплавинским, привели к заключению о наличии ряда заимствований из латинского (скорее всего из вульгарной латыни) в праславянском. Некоторые из этих заимствований упоминаются в учебниках, но из их наличия обычно не делают никаких выводов. Напомним основные результаты. К ним относится вулгарно-латинское происхождение древнего славянского мифологического образа и обряда *Коляда* и его названия (о разных взглядах на его происхождение см. [Толстая. 2005, 2012; Страхов. 2003]). Вулгарно-латинское название острой приправы *охусотина* с характерным для заимствований сдвигом значений и функции (от названия детали изысканной пищи богатых патрициев к психофизиологическому термину, допустимому в сакральном тексте) сказалось в старославянском *оскомина*, употребленном в библейском изречении (см. подробно [Ivanov. 1997]). Праславянское название тополя отражено в др.-русск. *тополь* м., собир. *тополите*, церк.-слав. *тополь* ж. (др.-греч. λεύκη), укр. *тополя*, болг. *топола*, серб. и хорв. *топола*, словенск. *topóla* /диалект. *topu* [Spinozzi Monai, 2009: 609], чешск. *topol* м., словацк. *topol'* м., польск. *topola*, *topol* ж., в.-луж., н.-луж. *topól*. В.А. Дыбо обратил мое внимание на давно предположенную его связь с лат. *pōpulus* ж. «тополь» (гипотетическая диссимилиация  $p - p > t - p$ ). Как ранее отмечалось в стандартных этимологических словарях, эта этимология вероятна при допущении ср.-лат. *rapulus*, ср. др.-в.-нем. *rapilboum*, ср.-в.-нем. *rapel* «тополь» (трудность, однако, состоит в том, что восточная и центральная части территории романских языков имеют форму \*rǫbr(u)lus: рум. *plor*, алб. *pler*, ит. *piorro*).

Широкое распространение вульгарной латыни по территории бывшей Римской империи делает возможным приурочение заимствований к разным областям. Но продолжение на протяжении



Карта 1. Карантания.

многих последующих веков славяно-романских контактов, выявленных еще Шухардтом и Бодуэном де Куртенэ [Spinozzi Monai. 2009; Altmann. 2013], позволяет предпочесть ареал Тироля-Карантании (карта 1) как наиболее вероятный.

Некоторые следы архаизма протословенского диалекта этого ареала видны в старейших памятниках (Фрейзингские фрагменты, в дальнейшем сокращенно Фр.).

К фонологическим архаизмам можно отнести:

1. Сохранение носовых гласных фонем.

Фр.: *vuensih* ‘*veštichъ* / *größer* [GLpl.]’, *malomogoncka* ‘*malomogošta* / *krank, schwach*’, *sunt* ‘*sotъ/ sind*’.

2. Праслов. *\*tj > t’~k’*

Фр.: *choku chošt/ will*’, *imoki* ‘*imošti* / *habend* [I pl.]’.

3. Праслов. *\*stj / skj / ske, i > šć*

Фр. *crisken / cristen; 'krištenъ/ getauft',  
este 'ešte / noch'*

4. Отсутствие протетического \*j в начале слова, см. выше *este*.

5. Архаизм трансальпийского диалекта: сохранение \*dl.

Древнейшее состояние праславянской эпохи отражено в недавно изученных [Ivanov. 2006] альпийских славянских (карантанских) топонимах типа *Tscharniedling* (Вост. Тироль) <\*čьrnidlo; в.-лужицк. *čornid'o* 'черная краска, чернила' при изменении \*dl-> -l-: ст.-слав. ^ЧРЬНИЛО "μελαν" (Супрасл.), македон. *црнило* «черный цвет, чернота», ст.-укр. закарпатск. *чернило* «чернило»; карант. *Matschiedl / Močidlo* <\*močidlo; польск. *moczydło* «болото < мокрое место», при изменении \*-dl-> -gl-: псковское *мочигло* «болото» в двух псковских грамотах XIV–XV вв., ср. словен. *močile* и вероятный след заимствования из исчезнувшего славянского паннонского диалекта в венгер. *moczolya*; из раннеславянского балканского греч. *Μουτσίλα* (возможно связано с румынск. *Mocirlă*); \*jedla «ель»: карант. *Jedl, Edlitz, Pojedl / Pogedl* <\*Pojedl'je, ср. тип *Полесье*; *Edlnz* <\*Jedl'nica; др.-польск. *iedl* «пихта», др.-прусск. \*dl: *addle* «Tanne»; вост.-балтийск. лит. *egle, agle*, гидроним *Agluonà*, сев.-зап. славянск.: сев.-лехитск. *jegla, jagla, leglija* «пихта», псковск. *егль* «ель»; при изменении \*-dl-> -l-: словен. *jěl* «ель». Литовско-латышское изменение совпадает с древнепрусским диалектом Эльбингского словаря в отношении и.-е. суффикса *Nomina Instrumenti* \*-tl-/\*-dhl-> балт. /\*-dl-) >-kl-. Сохранение \*-tl-/-dl- имеет место в карантанском, полабском, верхнелужицком (нижнелужицкий частично утратил архаичные формы), чешском и польских южных диалектах и силезском (как и в современном литературном польском языке), тогда как в словацком и словенском диалекты с сохранением групп \*-tl-/-dl- противопоставляются инновационным, в которых осуществляется замена групп фонемой \*-l-. Поскольку в словацком в диалектах продолжаются частично словенские изоглоссы с этим фонетическим изменением, можно было бы думать, что эволюция началась до разделения словацкого от словенского ареалов.

К морфологическим архаизмам относятся:

6. Сохранение древнего суффикса -г- в именах родства: *bratrъ* «брат» (Фр. *bratra, bratria*);

7. Продуктивность суффиксов -nik- и -iće.

8. Сложения с конечным *vs, ...ves (vas)* <\*vьсь <\*wei/-o-s (позднеобщиндоевропейское название социальной группы наименьшего типа).



9. Древние основы с именным суффиксом possessивных атрибутов *-\*s-* (в редких случаях с соответствиями в хеттском, т.е. остаток от основообразования индо-хеттского времени).

10. Сохранение форм двойственного числа (в свое время исследованных Теньером).

11. Семантические архаизмы:

Позднеиндоевропейское *\*rā<\*reH-* в значении «хранить (слово, клятву)» (как в хеттском и тохарском), а не «пасти скот»: Фр. *ese-roti Choije ih nepaset=ieже-роти кихъ же ихъ не па-семь* [Иванов. 2007].

## II. Из словаря протословенских-германских соответствий в предполагаемых заимствованиях.

Опираясь главным образом на разыскания Поля [Pohl. 2006, 2007 и др.] можно обратить внимание на следующие лексемы:

*byrdo* ‘(скалистая) гора, возвышенность, гребень’: Ruhn (перевал) [r i r n], на границе между Верхней Австрией и Штейермарком.

(1146 Pirdine, 1265 mons Pirn) < *\*byrdina*; 1239 mons Pyrdo, в Вост. Тироле Birnig < *\*byrdь-nikъ* [Pohl. 2006; Spinuzzi Monai: 507]. В части славянских диалектов совпало по значению («бревно, возвышение, отмель, грядка» по Фасмеру) с рифмующейся основой русск. *гряда*.

*chyša* ‘хижина, дом’ → нем. Keusche. Исходная германская форма *\*hūsa-* (нем. Haus) по Дульзону из енисейского («чум»), что объяснимо ранними связями еще до переселения народов. Из прагерманского заимствовано славянское слово, отраженное в словенском hiša. Вторичное заимствование из трансальпийского праславянского в немецкий было древним судя по производному нем. диалект. Kaušlar «живущий в *\*käusche* > Keusche- маленькой деревенской хижине». Параллельные диалектные формы khaiksn, Kaixen (Salzburg, Верхняя Австрия) показывают такое же развитие, как Крахе < krošnja (см. ниже).

*čьльнь* ‘лодка’ → нем. Zille, Zülle (только в восточных диалектах).

*dьбрь* ‘каньон, ущелье’, заимствовано в восточно-тирольский диалект как Daber/ Daba, распространенная часть вост. и ю.-вост.-тирольских названий: (Вост. Тироль) Daberaln, -spitz, Daberaln, -kees, -kögele, Daberkees, -lenke, Dabernigalm, Dabernig < *\*dьбрь-*

*никъ* ‘живущий в каньоне или ущелье’), Dabernitzkees, -kogel (< *\*dьбрьnica*); Dobratsch / Dobrač (1447 Dobritz < *\*dobračъ*), Döbernitzen (1374), Debernitz < *\*dьбрьnica*), Döbriach (с 1369); Tibria < *\*dьбрьjachъ*, Dobrein (1243); Tobryn < *\*dьбрьina*, Tobergaben, Tober, 1240 / Dobre, 1332.

**gazy** (м. р.) и **gazy** (ж. р.) (словенск. gaz, м. и ж. р.) ‘проход, тропа, вытоптанная по снегу’, pregazy ‘переход’ (ю.-слав. слово предполагаемого субстратного характера): Pyhrgas (1650); Pürgas, 1669/1762; Pir- / Pyrgas; Pyhrgasgatterl, заимствовано в германский до метатезы плавных < \*per-gazy. Wigasnitz, славянск. Vijasce или Vi-gasce, диалект. Vigazice.

**glazy** ‘камень, скала’: Graslitzen (1524 Glasitzen, 1713-17; Clasitzen, Gläsitzen) < \*glazica, Glosbach.

**gorica** ‘пригорок, возвышенность’, уменьшительное к gora, в южной части Нижней Австрии: Görtschach; Gortsach, Gerzkopf (Steiermark – Göritz), Goeritz, Goertz, Görtschach, Goritschach, словенск. Goriče [*Spinozzi Monai*: 531].

**gričь** ‘холм, возвышенность’ (древнее ю.-слав. производное от gora: Gritsch (Вост. Тироль), Gritschbühel, Gritschenberg (1341 Gritschenperg), Gritschenhöhe (ок. 1600 Gritschenberg, Gritsch).

**južina** ‘обед’ → нем. Jause «легкая закуска» (ср. [*Spinozzi Monai*: 538]).

**koper** ‘укроп, огуречная трава, (также) ромашки, корень медвежий’ → нем. Koper (в Каринтии обозначение укропа), в Вост. Тироле обозначает и другие растения, похожие на укроп: Göpritz ‘Madaun (*Ligusticum mutellina*)’.

**\*krosno, \*krosna** «мешок заплечный (типа рюкзака) из дерева, но иногда и вязаный короб» > словенск. krošnja, откуда Kraxe (Krächse), чешск. Krosna.

**kyselica** ‘кислое, кислица, кисель’ → нем. диалект. Gaislitz: geislaz, -liz (м. р.) и geislazn (ж. р.) ‘кушанье из овсяной муки’ (ср. [*Spinozzi Monai*: 541]), в средневерхненемецком gîs(e)litz(e) (м. и ж. р.), слово упомянуто в тексте из монастыря Св. Флориана в Линце в XII в. н.э.

**moĳa** ‘мука’ (см. также **\*tălkŭnă**) → нем. Munggen (и Talggen). Распространенный вид обычной пищи из муки (овсяной) [*Spinozzi Monai*, 2009: 557]

**oblica** ‘(жареная или вареная) репа’ (словенск. диалект.) → нем. диалект. Oblitzen «белая репа» (в верхней Каринтии и Вост. Тироле).

**pograd(ь)** ‘выступ на стене’ (сохранилось в словенском) → нем. Pograte (ж. р.) «место для простой постели; приподнятая полка»

**predělъ** ‘водораздел, горный проход, перевал’ в названиях мест Predl, Predlitz, Predil, Brettl, Predel; Pretal, Pretalsattel, -berg (Predal). Слово также обозначало границу, пять раз – границу Карантании.

**\*p(r)etro** (ср.р.), **\*p(r)etra** (ж. р.) ‘сооружение на лыжах’ (на досках) → нем. P(r)änter, Gerpäter; словенск. petre (ж. р. мн. ч.)

«устройство для хранения сена или соломы в сараях», диалект. каринт. *peter* «верхняя часть пола сарая» (м. р.).

\**sosna* «сосна» в названиях местностей и областей *Zosen*, ср. замок *Zossenegg*.

*stodorь* «каменистая почва, скалистая гора», отсюда топонимы альпийских местностей:

*Stoder(tal)* (1467); *Stador*, *Stoderzinken*, *Stadurz*, *Staducz*.

\**strąkь* (м. р.), \**strąka* (ж. р.) «стручок» → нем. *Strankerl* (точнее *Strängelein* из формы мн. ч.) «зеленая фасоль, характерная для флоры и еды Каринтии», современ. словенск. *strok*. Судя по отражению носового очень раннее заимствование.

\**tǎlkünä* <\**talkno*> \**tlakno* (польск. *łokno*, ср. русск. *толокно* «толченая овсяная мука, каша из этой муки»: *толочь* ). Нем. диалект. (Австрия, Каринтия, Вост. Тироль) *Tǎlgnn*. Заимствовано из славянского до метатезы плавных *tlak-/tlok-/tolok-*.

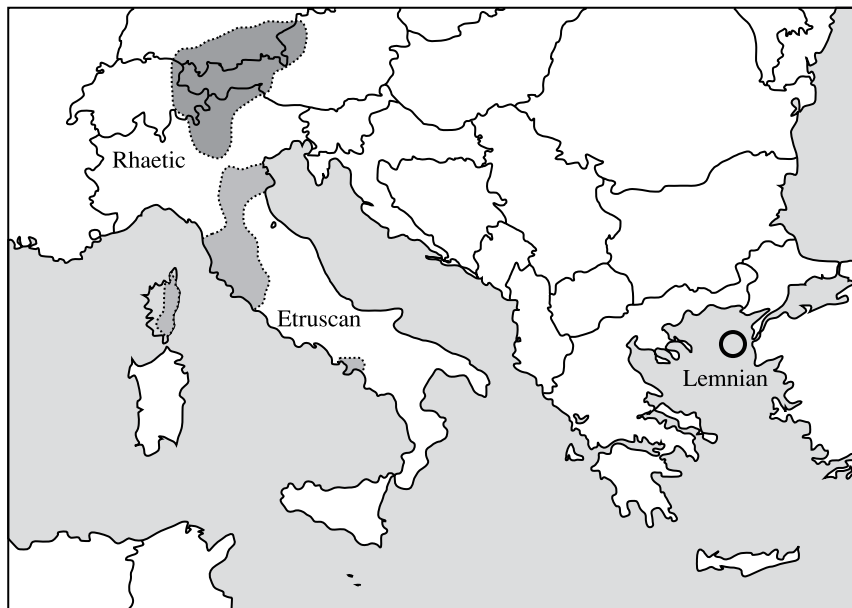
\**top-e-nic-a* «подогретая, топленая» → нем. диалект. (вост. Тироль), *Toranitz* «сухая вкусная лепешка» (к основе \**topel*, *topiti*), словацк. *Torenica*

### III. Древнее альпийское население.

В свете намечающихся в настоящее время контактов сравнительного языкознания и молекулярной генетики для сравнения с лингвистическими выводами о более поздней эпохе следует сопоставить генетические гипотезы о древнем альпийском населении. Исключительный интерес представляет сравнительное изучение генома тирольского «ледяного человека» (см. вклейку), погибшего в Альпах около 5300 лет назад (т.е. в период, соответствующий по лингвистической шкале поздним этапам распада праиндоевропейского после отделения предков хеттского и лувийского).

В недавнее время опубликованы результаты подробного изучения генома этого человека. Удалось восстановить значительную часть генома и сравнить его с генетическими особенностями других частей древней Европы (см. вклейку).

Предполагается, что наибольшую близость обнаруживают гаплограммы, характеризующие современных жителей Сардинии и Корсики. Поскольку предполагается исконное родство этих последних (и части обитателей Корсики, входящих в ту же генетическую группу) с древним трансальпийским населением [*Keller et al.*, 2012], кажется возможным сопоставление с аналогичными данными о тирренских языках этих же мест Европы, в том числе об альпийском ретском языке, считающемся родственным сардинскому субстратному, скорее всего, неиндоевропейскому. Генетики, изучавшие «ледяной» геном, полагают, что он относится к посленеолитическому земледельческому населению, представленному



Карта 2. Тирренские языки.

в это время и несколько позднее в Болгарии и в Швеции [Sikora et al., 2012] и существенно отличному от современного населения континентальной Европы. Но непереносимость лактозы у взрослого, отраженная в геноме «ледяного человека», могла бы указывать и на то, что с древними носителями неолитического скотоводства он непосредственно генетически не был связан; близость к ближневосточным данным, предполагаемая у этрусков и этрусского языка, по отношению к сопоставляемым с ними собственно тирренцам и тирренским диалектам не выявлена.

Сходство части признаков генома ледяного человека с генетическими особенностями обитателей Сардинии представляет интерес в свете гипотезы о вероятности тирренского субстрата как исходного языка дописьменной истории острова. Возможно принятие такого древнего расселения тирренцев, при котором они занимали существенную часть северного Средиземноморья (см. карту 2).

Соположение приводимых лингвистических и генетических данных допускает постановку вопроса: возможны ли следы тирренского субстрата в праславянском?

Ретское *Peruni*-e-s может быть формой родительного падежа имени существительного *Peruni*-. Ср. хеттск. *perun-* ‘скала’, праслав. *Perun* / \**perūni*> *Перунь* при \**perk(w)un-i-* в (кельтск.)-герм.-балтийском [название грозы, лесистой горы, посвященной

богу Грозы [*Иванов, Топоров*]. Ответ на многие вопросы, при этом возникающие, в большой степени зависит от хронологии субстрата. Ретский субстрат мог сказаться через усвоенный альпийскими славянами язык населения IV–VII вв. н.э.? Этот язык мог быть либо (западно-?)индоевропейским, либо тирренским, предположительно сближаемым с этрусским (но столь поздние следы ретского неизвестны).

#### ЛИТЕРАТУРА

*Иванов Вяч.Вс.* Из индоевропейской обрядовой терминологии («Хранить слово») // Сб.ст. памяти В.Н. Топорова. М., 2007.

*Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Исследования в области славянских древностей. М.: Наука, 1974.

*Страхов А.Б.* Ночь перед Рождеством: Народное христианство и рождественская обрядность на Западе и у славян. Кембридж (Массачусетс): Cambridge-Mass, 2003.

*Толстая С.М.* Аспекты, критерии и признаки славянской культурной общности // Заједничко у словенском фолклору: Зборник радова / Учредник Љубинко Раденковић. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2012. С. 17–32.

*Толстая С.М.* Полесский народный календарь. М., 2005.

*Altmann G.* Bemerkungen zur Wissenschaftsgeschichte der quantitativen Linguistik: Baudouin de Courtenay und Hugo Schuchardt // Issues in Quantitative Linguistics 3 / *Köhler R.; Altmann G.* (eds.). Lüdenscheid: Ram-Verlag-Studies in Quantitative Linguistics, 13]. 2013. 54–65.

*Ivanov V.V.* A neglected Early Romance borrowing in Slavic: Vulgar Latin oxycomina: Slavic oskomina. Die Welt der Slaven. XLII. 1997. Heft 1. P. 86–110.

*Ivanov V.V.* // Harvard Ukanian Studies. Vol. 28. M. Flier-Festschrift. Harvard, 2006.

*Keller A., Graefen A., Ball M.* et al. New insights into the Tyrolean Ice-man's origin and phenotype as inferred by whole-genome sequencing // Nature Communications 3. Article number: 698. 28 February. 2012.

*Pohl H.* Die Familiennamen auf *-nig(g)* in Kärnten und Osttirol (und einigen Nachbarregionen) // Zeitschrift für Namenforschung Surnames. Journal of Name Studies. N 1(1). 2006.

*Pohl H.* Slowenisches Erbe in Kärnten und Österreich: ein Überblick, 2007.

*Pohl H.* Sprachen und Sprachinseln im südalpinen Raum – ein Überblick. Abgerufen am 7. Juli. 2007.

*Spinuzzi Monai L.* Baudouin de Courtenay, Jan. Glossario del dialetti di Torre. Consozio Universitario del Friule, 2009.

*Reindl D.* The Fate of German (Post) Velars in Slovenian Loanwords // Studies in Slavic Linguistics and Accentology in Honor of Ronald F. Feldstein / Ed. Miriam Shrager.: Slavica Publishers. 2015. P. 209–240.

## НОРМЫ ПРОИЗНОШЕНИЯ В ЖИВОЙ РЕЧИ И СЛОВАРЯХ<sup>1</sup>

М.Л. Каленчук

Как известно, существуют два разных подхода к описанию произносительных норм – *дескриптивный* и *прескриптивный*. Традиции лексикографического описания языковых фактов различны в разных странах. Так, американская традиция сознательно останавливается на дескриптивном подходе, считая любой другой антинаучным, а российская носит ярко прескриптивный характер.

При *дескриптивном*, т.е. описательном подходе, лингвисты стремятся зафиксировать реальное многообразие произносительных вариантов, сосуществующих в звучащей речи, не давая им оценку и не соотнося между собой ни по каким основаниям. Дескриптивный подход фокусируется на фактах живой речи. На дескриптивном этапе сбора орфоэпического материала по сути «закидывается сеть», в которую должно попасть как можно больше вариантов произнесения конкретных слов и словоформ.

Но при этом возникает серьезная проблема – чья речь, каких именно носителей русского языка становится объектом орфоэпической «охоты»? Удивительно, но ответить на этот – социолингвистический – вопрос в наше время чрезвычайно сложно. Принято считать, что орфоэпия занимается нормализацией литературного произношения, носителями которого являются образованные, культурные люди, носители московского варианта литературного произношения, поскольку именно московское произношение положено в основу общенационального произносительного стандарта. Еще несколько десятилетий назад можно было легко сформулировать социолингвистические параметры, которым должны были отвечать информанты: они должны быть москвичами не в первом поколении, иметь высшее образование, быть носителями русского литературного языка, не иметь диалектных и просторечных следов в произношении и некоторые другие [*Фонетика*]. Но в силу различных экстралингвистических причин в наше время указанные критерии не позволяют уверенно отнести человека к «субъекту нормы» [*Шмелев*]. Поэтому приходится условно пользоваться весьма расплывчатым определением «образованный человек», понимая, что образованность не обязательно коррелирует

---

<sup>1</sup> Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-04-00378 «Активные процессы в просодической системе русского языка на современном этапе его развития»

с использованием именно нормированной формы литературного языка.

Рассмотрим несколько примеров, демонстрирующих результаты получения орфоэпического материала на дескриптивном этапе. В звучащей речи образованных людей удалось зафиксировать следующие варианты произношения (отметим, что большинство из этих вариантов вообще не отмечаются авторитетными орфоэпическими словарями русского языка):

**английский:**

*англ[ий]ский, англ[ú]ский; англи́й[с']кий, англи́й[с]кий; англи́йс[кэ]й, англи́с[к'и°]й;*

**вообще:**

*в[эап]щэ́, в[ап]щэ́, в[а]щэ́;*

**имидж:**

*и́ми[тш], и́ми[ч'], и́ми[дж];*

**Евангелие:**

*[йи°]ва́нгелие, [и°]ва́нгелие; Ева́[н']гелие, Ева́[н]гелие; Ева́нге[л'и°]е, Ева́нге[л']е;*

**путешествовать:**

*путешэ́с[тв]овать, путешэ́с[т]овать;*

**санкт-петербургский:**

*са[нкт]-петербу́ргский, са[нк]-петербу́ргский, са[н]-петербу́ргский; санкт-петербу́[ркс]кий, санкт-петербу́[рс]кий; санкт-петербу́рс[кэ]й, санкт-петербу́рс[к'и°]й.*

Далее наступает очередь *прескриптивного* этапа, на котором необходимо принять решение – рекомендовать или запретить конкретные произносительные варианты. Для принятия подобного решения требуется в первую очередь соотнести между собой варианты хронологически, по степени употребительности, по сферам употребления и пр.

С точки зрения хронологической соотнесенности возможны следующие ситуации:

- варианты произношения могут быть синхронно равноправными (*абба́т – а[бб]а́т и а[б]а́т; вы́мпел – вы́[м']пел и вы́[м]пел; ба́ржа и баржа́;*

- варианты произношения, будучи различными по степени современности, могут соотноситься на хронологической шкале по-разному:

- 1) современный и относящийся к старшей норме, т.е. вариант достаточно широко употребляемый, но имеющий тенденцию к постепенному вытеснению из системы (*втерéть – [ф]терéть и старш. [ф']терéть; ина́че и старш. и́наче;*

2) современный и устарелый, т.е. старомосковский вариант произношения, ограниченно употребляющийся в синхронном срезе и обладающий явным оттенком архаичности (*проти́вник* – *проти́*[в]ник и устарелое *проти́*[в']ник; *гна́лся* и устарелое *гнал-ся*);

3) современный и полностью устаревший старомосковский вариант, т.е. вариант, который был актуален на предыдущих этапах развития звуковой системы, но уже не функционирующий в живой речи; такого рода вариант может встретиться в художественной литературе или на сцене классического театра при стилизации старого произношения (*жара́* – *ж*[а³]ра́ и уже не употребляющийся в живой речи вариант *ж*[ы³]ра́; *зе́рало* – *зе́*[р]кало и не употребляющийся в живой речи вариант *зе́*[р']кало; *библиоте́ка* и не употребляющийся в живой речи вариант *библио́тека*);

4) современный вариант и вариант, относящийся к младшей норме, т.е. недавно появившийся в языке, новизна которого еще ощущается (*отдели́ть* – *о*[д']дели́ть и младш. *о*[д]дели́ть; *зва́ло* и младш. *звало́*).

Варианты произношения, будучи синхронно равноправными, могут различаться по степени употребительности – более частотные варианты (*бе*[сс]ловесный; *в*[ы]ра́чивать; *творо́г*) и менее часто употребляющиеся, хотя и вполне литературные – (*бе*[с]ловесный; *в*[э]ра́чивать; *творо́г*).

Орфоэпические варианты могут распределяться по разным сферам употребления, например:

*общенародные* и *профессиональные* (*афа́зия*, у медиков *афа́зия*; *и́скра*, в технической речи *искра́*);

*общенародные* и *фольклорные* (*молоде́ц* и *молодец*; *серебро́* и *серебро*);

*слова в свободном значении* и *компоненты фразеологизмов* (*кала́*[ч']ный, но с *суконным рылом* в *кала́*[ш]ный ряд; *воро́та*, но *пришла беда, отворяй ворота́*) и др.

Итак, процедура принятия прескриптивного решения – рекомендовать вариант/не рекомендовать вариант – после тщательного дескриптивного сбора орфоэпической информации должна проходить в несколько этапов:

1) необходимо распределить все многообразие зафиксированных в речи образованных людей вариантов произношения, приписав им соответствующую характеристику по степени современности, частоте использования, сферам употребления и пр.;

2) сравнить полученные факты с рекомендациями авторитетных словарей и научных описаний;



3) принять решение о нормативной квалификации каждого конкретного варианта произношения.

При сравнении данных, зафиксированных в живой речи, и кодификационных решений, рекомендованных авторитетными словарями, оказывается, что между первыми и вторыми достаточно часто наблюдаются серьезные несоответствия. В связи с этим приходится говорить о сосуществовании двух типов норм – нормах **эксплицитных** и **имплицитных** (термин Э. Марклунд-Шараповой) или в другой терминологии – нормах кодифицированных и узуальных.

**Эксплицитные** или **кодифицированные нормы** – нормы, зафиксированные в словарях и справочниках, официально закрепленные и пропагандируемые.

**Имплицитные** или **узуальные нормы** – предпочтения в выборе варианта произношения в речи образованных носителей языка [Marklund Sharapova, 2000; Пожарицкая, 2004; Шмелев, 2004; Ukiah, 2000].

Приведу несколько примеров на сегментном и суперсегментном материале, демонстрирующих противоречия между кодифицированными и узуальными нормами произношения. Многие авторитетные словари рекомендуют в качестве основных варианты *на́лил, пе́ренял, посе́лит, помест́ится*, расценивая произношение *нали́л, переня́л, посе́лит, помест́ится* как менее предпочтительное и снабжая эти варианты пометами *допустимое* или *разговорное*. В то же время по данным социолингвистических исследований *нали́л* произносят 92,5%, *переня́л* 88,8% информантов (по данным Э. Марклунд-Шараповой); *посе́лит* произносят 88,7%, а *поме́стится* 87% (по данным Н. Юкайя).

Слово *шоссе*, по данным ОС, следует произносить как *ш[a]ссé*, в качестве допустимого разрешен и вариант *ш[o]ссé*. В экспериментах же были зафиксированы следующие варианты произношения этого слова – *ш[ы<sup>э</sup>]ссе*, *ш[э]ссе*, *ш[o]ссе*, *ш[a]ссе*. При этом из 241 зафиксированного в телевизионной речи употребления этого слова было произнесено *ш[ы]ссé* 12%, *ш[э]ссé* 19%, *ш[o]ссé* 0%, *ш[a]ссé* 69%.

Явно, что между реально существующими звуковыми вариантами в живой речи информантов, чьей орфоэпической компетенции, несомненно, можно доверять, и рекомендациями словарей существует серьезный разрыв, что является не только лингвистической, но и социальной проблемой.

Какие основания для придания нормативного статуса тому или иному варианту принимают во внимание авторы словарей?

В литературе называются следующие (оставляю за пределами внимания явно не соответствующие реальности соображения, например, что кодифицировать надо тот вариант, который ближе к написанию):

- соответствие внутреннему языковому закону или тенденции;
- соответствие культурно-исторической традиции;
- распространенность варианта;
- общественное одобрение и признание варианта нормативным.

В тех случаях, когда вариант произношения удовлетворяет всем выдвинутым критериям, проблемы при принятии кодификационного решения нет, узуальный вариант получает законную нормативную характеристику.

В тех же ситуациях, когда одни из критериев принятия решения противоречат другому или другим, нет разработанного или хотя бы серьезно обсуждаемого алгоритма действий кодификатора, рассмотрим различные возникающие сценарии.

1. Распространенность варианта противоречит внутреннему языковому закону или тенденции. Как писал А.А. Шахматов, «Главный и единственный авторитет в языке – это обычай, употребление» [Шахматов: 30].

Например, появившееся в последнее время и достаточно широко распространившееся произношение твердых [р] и [м] перед постфиксами *-те* и *-ся*: *прове[р]те* вместо *прове[р']те*, *познако[м]ся* вместо *познако[м']ся*. Твердые согласные в данном случае являются реализацией мягких фонем (это доказывается сильной по твердости-мягкости позицией конца слова – *прове[р']*, *познако[м']*), что противоречит фонетическому закону, согласно которому мягкие фонемы могут реализовываться только мягкими звуками, а твердые фонемы и твердыми, и мягкими вариантами.

Другой пример – регулярно фиксируемое в младшей норме произношение заимствованных слов со звонким согласным на конце – *ими[дж]*, *на[б]*, *бло[г]* и др., что противоречит очень устойчивому закону о невозможности употребления звонких согласных на конце слова перед паузой.

2. Распространенность варианта противоречит культурно-исторической традиции. Многие лингвисты говорили о необходимости соблюдать культурно-историческую традицию, рекомендуя тот или иной вариант произношения. Так, М.В. Панов считал соблюдение культурно-исторической традиции главнейшим аргументом при принятии решения о рекомендации того или ино-

го произношения наряду с соблюдением внутреннего языкового закона [Панов: 203]. А что именно имеется в виду в подобных случаях? Несмотря на общепринятость понятия *культурно-историческая традиция*, его смысл по отношению к языку неясен. Как представляется, любой факт языка является результатом культурно-исторической традиции, а любое языковое изменение ведет к нарушению этой традиции.

Например, в слове *жюри* по традиционной норме допускалось произношение только с мягким первым звуком – [ж'ур'и́]. В наше время распространилось произношение [жур'и́], которое категорически запрещается всеми словарями и пособиями по культуре речи, несмотря на то, что это изменение поддержано фонологически и широко распространено в речи (орфоэпический эксперимент показал, что 88% образованных людей произносят [жур'и́]). В связи с этим попытки запретить новый вариант произношения на основании необходимости соблюдать традицию обречены на провал.

### 3. Распространенность варианта при соответствии внутреннему языковому закону или тенденции, но при отсутствии общественного одобрения.

Можно привести множество примеров, когда какой-либо новый вариант произношения широко распространен, полностью соответствует внутренней языковой тенденции, а общество этот вариант отвергает: «...решающее значение в этом случае имеют не столько рекомендации специалистов – авторов словарей, сколько реакция социума – негативное отношение к одному из вариантов. А реакции членов социума характеризуются тем, что некоторые нарушения нормативности не замечаются вовсе, а те, которые фиксируются, вызывают обычно преувеличенно бурную отрицательную реакцию» [Пожарицкая].

Примером такого рода «неадекватной» реакции общественного мнения является вопрос о месте ударения в формах глагола *звонить*, которым многие приписывают роль «лакмусовой бумажки» при определении степени владения культурой речи. В современном русском языке существует тенденция перехода глаголов на *-ить* от акцентного типа В к акцентному типу С, происходит замена неподвижного ударения на окончании подвижным ударением. В связи с тем, что процесс замены неподвижного ударения на подвижное начался для разных слов в разное время и проходил с разной скоростью, анализируемый участок системы устроен крайне сложно, что проявляется в противоречивости лексикографических рекомендаций. При этом одни глаголы на *-ить* уже завершили процесс акцентологического изменения

(*дружить, катить*), в других процесс далек от завершения, что проявляется в сосуществовании акцентных дублетов, между которыми могут быть как равноправные, так и неравноправные отношения. Так, например, ОС как равноправные варианты предлагает *сóлит* и *солит*, *дóбит* и *дойт*; неравноправные с пометой «доп.» – новые варианты *мíрит*, *посéлит*, *помéстит*; с пометой «не рек.» – новые варианты *глушит*, *мóрит*, *звóнит*; с пометой «неправ.» – *вклю́чит*. Каким образом авторы словаря принимают решение о том или ином нормативном статусе варианта, понимая что происходящее у нас на глазах изменение места ударения в рассматриваемой группе слов отвечает закономерной языковой тенденции, а не является случайностью? С.К. Пожарицкая, обсуждая сложившуюся кодификационную практику, пишет: «На вопрос, почему говорить *солит* – это хорошо, *мирит* – не вполне хорошо, *звóнит* – плохо, а *вклю́чит* – категорически нельзя, никакого аргументированного ответа не существует. Эти пометы даются только на основании интуиции эксперта» [Пожарицкая]. С этим можно не согласиться. Существует такой инструмент получения информации как статистически представительное социолингвистическое обследование, которое позволяет зафиксировать, на каком именно этапе движения от неподвижного ударения к подвижному находится каждый конкретный глагол на *-ить*. При этом оказывается, что «борьба за правильное литературное произношение часто превращается в попытки затормозить этот процесс, и изредка это удается: так, например, ударение на основе в личных формах глагола *звонить* (*звóнишь, звóнит, звóним, звóните, звóнят*)» в настоящее время благодаря усилиям радетелей чистоты русского языка приобрело одиозный характер как показатель неинтеллигентности, плохого владения русским языком» [Пожарицкая].

Представляется, что в подобных случаях при условии широкого распространения нового варианта и его соответствия тенденции языкового развития кодификатор должен игнорировать искусственно сформированное мнение социума, пользуясь возможностью влиять через словари на это мнение.

В заключение необходимо еще раз сказать о том, что только два основания – соответствие внутреннему языковому закону или тенденции и распространенность варианта в речи образованных людей – необходимо принимать во внимание, кодифицируя узуальные нормы произношения. Нормативные рекомендации в словарях должны опираться на реальную речевую практику образованных людей, а не на представления авторов о том, что правильно и что неправильно в звучащей речи.

## ЛИТЕРАТУРА

Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы (ОС) / Под ред. Р.И. Аванесова. М., 1983 и последующие изд.

*Панов М.В.* Современный русский язык. Фонетика, М., 1979.

*Пожарицкая С.К.* Язык и речь: Проблемы и решения. Сб. науч. трудов к юбилею проф. Л.В. Златоустовой. М., 2004.

Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры. Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование / Под ред. М.В. Панова, М., 1968.

*Шахматов А.А.* Несколько слов по поводу записки И.Х. Пахмана // План нового Академического словаря с точки зрения иноязычного. Записка И.Х. Пахмана. Сб. ОРЯС ИАН LXVII (1). М., 1899.

*Шмелев А.Д.* Проблема кодификации в сфере орфоэпии: Личный вкус или объективные данные // Культура русской звучащей речи: Традиции и современность, М., 2004

*Marklund Sharapova E.* Implicit and Explicit Norm in Contemporary Russian Verbal Stress. Uppsala, 2000.

*Ukiah N.* Mobile stress in the four-part paradigms of modern Russian verbs and adjectives // Russian Linguistics. 2000. N 24.

# «ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС» И КОМПАРАТИВИСТИКА XXI в.

*Т.И. Вендина*

Современную ситуацию в лингвистике отличает многообразие научных направлений, концепций, теорий в стремлении познать язык не только «в самом себе и для себя», но и как средство понимания человека и того мира, в котором он существует.

В этом многообразии научных направлений компаративистика занимает особое место. Вся история развития этого направления в языкознании свидетельствует о том, что сравнительно-историческое языкознание, и в частности, славистика переживает сегодня новый этап в своем развитии. Об этом ярче всего свидетельствуют такие крупные славистические проекты, как «Этимологический словарь славянских языков» (под ред. О.Н. Трубачева), «Словарь праславянского языка» («Słownik prasłowiański» под ред. Ф. Славского) и «Общеславянский лингвистический атлас». Эти проекты относятся к числу «долгосрочных», однако, несмотря на свою незавершенность, они позволили читателю прикоснуться к «живому» праславянскому слову и в необозримой его реализации почувствовать дыхание времени.

«Общеславянский лингвистический атлас» является во многом детищем компаративистики XIX–XX вв. Вдохновленная идеей родства языков, компаративистика XIX в. была сосредоточена на разработке методов определения этого родства. Именно компаративистике XIX в. мы обязаны открытием принципов сравнительно-исторического языкознания. Скрупулезное изучение фонетики корня и флексии позволило сделать более достоверной лингвистическую реконструкцию праязыка. Благодаря лингвистическим реконструкциям компаративистов XIX в. сформировалось четкое представление о звуковом составе и морфологической структуре праславянского языка. Сравнительно-историческое языкознание поднялось на новую ступень развития.

Компаративистика XX в., критически освоившая опыт диахронической лингвистики предшествующего поколения, оказалась перед фактом ограниченности знаний, касающихся пространственной проекции многих праславянских явлений. Уже в начале XX в. стало очевидно, что эмпирические наблюдения над их историей имеют атомарный характер. Необходимы были обширные исследования всех славянских языков с целью систематизации и интерпретации этих явлений в пространственно-временном аспекте. Именно поэтому на I Международном съезде

славистов в 1929 г. в Праге крупнейший компаративист XX в. А. Мейе выступил с докладом «Projet d'un Atlas Linguistique Slave», в котором поставил вопрос о необходимости создания «Общеславянского лингвистического атласа» для изучения генетических проблем славянских языков методами лингвистической географии.

Так родилась идея создания «Общеславянского лингвистического атласа». Однако в тот период «еще недостаточно ясно осознавалось различие между лингвогеографическим изучением каждого славянского языка, с одной стороны, и «Общеславянским лингвистическим атласом» – с другой. Кроме того, общая политическая обстановка 30-х годов в Европе не благоприятствовала проведению столь обширного международного начинания, поэтому оно не получило своего развития» [Аванесов: 5]. И только лишь спустя 13 лет после окончания Второй мировой войны, в 1958 г. на IV Международном съезде славистов этот проект вновь стал предметом обсуждения. Признав создание Атласа одной из важнейших задач славянского языкознания, съезд рассмотрел организационные формы осуществления этого проекта.

Началась разработка Вопросника Атласа, его Программы, а позже и экспедиционная работа по сбору материала в полевых условиях на всей территории Славии (в 853 населенных пунктах, расположенных во всех славянских странах, а также в Германии, Австрии, Албании, Венгрии, Румынии, Турции и Греции).

Программа Атласа предусматривает решение двух качественно разных задач – сравнительно-исторического и синхронно-типологического изучения славянских диалектов.

Первая – традиционная область славянского языкознания – «охватывает такие вопросы, как образование славянского языкового единства и последующее его диалектное членение, решение вопроса о первоначальной территории, занимаемой славянами, контакты славянских языков с языками неславянских народов – с германцами, балтийцами, кельтами, фракийцами, иранцами, финно-уграми, тюрками, греками, романцами... и т.д.» [Общеславянский лингвистический атлас: 28–30].

Другая задача Атласа, также не менее важная и к тому же в значительной степени новая, – задача синхронно-типологическая. Решение этой задачи предполагает типологическое изучение славянских диалектов путем создания карт, которые в соответствии с Программой Атласа должны репрезентировать фрагменты языковых систем славянских языков с целью выявления их сходств и различий.

Таким образом, Атлас явился грандиозным лингвогеографическим проектом сравнительно-исторического языкознания

XX в., аналога которому славистика не знает. Благодаря «Общеславянскому лингвистическому атласу» славистика вышла за рамки национальных филологий и, преодолевая атомарность и поверхностность отдельных славистических штудий, обратилась к изучению праславянских явлений в общеславянском масштабе.

Работа над созданием «Общеславянского лингвистического атласа» продолжается уже более 50 лет. Несмотря на то что процесс создания Атласа растянулся во времени и при этом знал разные коллизии, его коллективу удалось опубликовать восемь томов фонетико-грамматической серии – «Рефлексы \*ě» (Београд 1988), «Рефлексы \*e» (Москва 1990), «Рефлексы \*o» (Warszawa 1990), «Рефлексы \*ьг, \*ьг, \*ьл, \*ьл» (Warszawa 1994), «Рефлексы \*ь, \*ь. Вторичные гласные» (Скопје 2003), «Рефлексы \*ь, \*ь» (Загреб 2006), «Рефлексы \*o» (Москва 2008), «Рефлексы \*e» (Москва 2010) и восемь томов лексико-словообразовательной серии («Животный мир» (Москва 1988), «Животноводство» (Warszawa 2000), «Растительный мир» (Мінск 2000), «Профессии и общественная жизнь» (Warszawa 2003), «Домашнее хозяйство и приготовление пищи» (Москва 2007), «Человек» (Kraków, 2009), «Сельское хозяйство» (Братислава 2012), «Народные обычаи» (Москва 2015), и это при том, что в 80-х годах публикацию Атласа пришлось «заморозить», так как в процессе работы возникли сложности экстралингвистического характера, преодолеть которые удалось практически только спустя двадцать пять лет.

В настоящее время во всех странах-участницах этого международного проекта ведется работа по подготовке к печати очередных томов Атласа лексико-словообразовательной серии («Степени родства», «Пути сообщения, транспорт», «Человек, его личные черты и свойства», «Гигиена и медицина», «Рельеф», «Метеорология и измерение времени» и др.) и фонетико-грамматической серии («Рефлексы \*a», «Рефлексы \*i, \*y, \*u», «Рефлексы \*tort, tert, tolt, telt», «Местоимения», «Существительные» и др.).

Оценивая предварительные итоги проделанной работы, следует отметить, что Атлас предоставил исследователям богатейший диалектный материал, который является главным итогом международного проекта. Публикация Атласа доказала, что реконструкция системы праславянского языка, решение вопроса о его диалектной дифференциации и локализации прародины славян невозможно без изучения современного славянского диалектного континуума методами лингвогеографии.

Вместе с тем работа над Атласом высветила некоторые проблемы современной компаративистики, которые требуют своего решения.



**1. Проблема интерпретации ареалов.** Как известно, задача любого атласа состоит в том, чтобы дать представление об общей картине распространения изучаемых явлений с целью выявления изоглосс и определения их топографической и лингвистической значимости. «Лингвогеограф интересуется прежде всего современное состояние явлений, место, которое они занимают в наши дни, и взаимоотношения их в пространстве. Только после подробного географического их исследования и на основе этого исследования лингвогеограф считает себя вправе обратиться к их истории» [Теньер: 118].

Однако задача исследователя заключается не только в том, чтобы локализовать диалектные материалы в географическом пространстве, но и в том, чтобы их интерпретировать. А для этого необходимо заставить «заговорить» пространство, научиться «читать» и понимать язык карты.

Однако в отечественной лингвистической географии (как, впрочем, и в зарубежной) еще довольно плохо проработаны методологические основы приемов и принципов научного осмысления картографических данных в ареальном аспекте, а тем более методика чтения карт разного типа. Возможно, именно поэтому материалы атласов еще довольно медленно вводятся в научный оборот.

Следует признать, что лингвистическая карта действительно трудна для восприятия, причем не только для неподготовленного читателя, но и для специалиста, так как это довольно «специфический текст, несущий слишком большой объем разноплановых языковых сведений, зачастую не только не известных ранее из других источников информации, но и противоречащих устоявшимся языковедческим стереотипам и постулатам» [Гриценко: 86].

Карты Атласа с развернутой на них экспозицией лексико-словообразовательных и фонетико-грамматических явлений являются сложными как в структурно-типологическом отношении, так и по своим хронотопическим характеристикам. Эксплицированный на них материал в хронологическом плане оказывается чрезвычайно разнородным, так как изоглоссы межславянских соответствий проецируются в разновременные плоскости. Поэтому перед читателем предстает довольно сложная ареалогическая картина связей и отношений славянских языков. Несмотря на то, что в основу Вопросника Атласа был положен принцип диахронического тождества общеславянских корней и лексем, на его картах наряду с праславянскими оказались и лексемы более позднего образования, являющиеся свидетельством собственной истории славянских языков и их диалектных контактов. Поэтому истинная картина связей и отношений славянских языков периода прасла-

вянской эпохи оказалась во многом затемнена более поздними временными напластованиями.

Для осмысления этой картины простое суммирование выявленных изоглосс мало что дает. Межславянские ареальные связи невозможно рассматривать только в одной плоскости – статистических соответствий, ибо они не укладываются в какой-либо один ареальный сценарий, кроме того, происходит отождествление разных по времени изоглосс, которые отличаются друг от друга и по своей древности, и по устойчивости, и по количеству и употребительности охватываемых ими слов, и по своему значению для разных уровней языка. Для понимания истинного характера ареальных связей славянских языков необходимо научиться «читать» карту.

Особенно остро встает эта проблема при хронологической интерпретации лексических изоглосс. Что касается фонетики, то здесь само фонетическое явление, его история указывает на время его возникновения (например, явление непоследовательности палатализаций заднеязычных согласных, сохранение фонологической индивидуальности \*ě или слоговых сонантов, судьба сочетаний \*tort, \*tert, \*tolt, \*telt и т.д.). При решении же вопроса о хронологической стратификации лексического материала возникают определенные трудности, поскольку «в лексике более чем в какой-либо иной области языка, имеют значение междиалектные контакты, в результате чего может явиться экспансия одних лексем и утрата других» [Клепикова, Попова: 106].

Встает вопрос: какие критерии являются надежными, необходимыми и достаточными при хронологической интерпретации материала, представленного на карте? Можно ли вообще найти такие критерии или вслед за Н.С. Трубецким<sup>1</sup> повторяя, что «каждое слово распространяется в своих собственных границах», следует признать, что оно имеет и свою собственную топографическую историю. А потому от поисков таких критериев следует отказаться.

К сожалению, мы должны признать, что компаративистика XXI в. пока не располагает надежными критериями для хронологического расслоения языкового материала.

Сформулированные когда-то основателем «неолингвистической» школы М. Бартоли «закономерности соотношения типов ареалов и хронологии самих явлений на материале романских языков имеют скорее индикативный характер, т.е. они лишь ука-

---

<sup>1</sup> «Всякое отдельно взятое слово, которое обнаруживает какое-то звуковое изменение, распространяется в своих собственных границах и поэтому границы географического распространения звуковых изменений никогда не могут быть установлены надежно и точно» [Трубецкой: 32].

зывают на *возможность* истолкования явления, например, как архаического, если оно зафиксировано в изолированных, периферийных или в значительных по территории областях» [Клепикова. 2008: 363]. Трудности диахронической интерпретации фактов порождены, в частности, тем, что информация о временной стратификации представлена на картах в «закодированном» виде. Поэтому на современном уровне развития компаративистики приходится использовать далеко не совершенные трактовки ареальных ситуаций, предложенные неолингвистикой.

В этом отношении Атлас, несомненно, явится теоретическим полигоном компаративистики XXI в. для апробации идей и методов лингвистической географии, в частности, разработки общей теории ареалов.

**2. Проблема типологии ареалов.** Карты Атласа заставляют обратиться к поискам закономерностей в организации лингвистического пространства Славии с целью разработки типологии ареалов. Это позволит соотнести генетический и ареальный критерий и установить относительную хронологию ареальных структур.

Так, в частности, среди множества лексических ареалов, представленных на картах Атласа, отчетливо просматривается несколько групп:

первую группу ареалов образуют слова, которые восходят к периоду праславянской языковой общности (это ареалы общеславянских лексем или слов, которые распространены в трех славянских языковых группах);

вторая группа ареалов детерминруется факторами пространственно-генетическими (они во многом порождены явлением интерференции славянских диалектов, их образуют ареально ограниченные диалектизмы, восходящие часто к эпохе самостоятельного развития славянских языков);

существование третьей группы ареалов определяются факторами ареально-типологическими, связанными с независимым и/или параллельным развитием того или иного языкового явления;

наконец, четвертая группа ареалов связана с формированием этно-политического самосознания, стремлением через язык выразить свою культурно-национальную специфику (это ареалы так называемой эксклюзивной лексики).

Все это подтверждает тезис о том, что ареалы – это пространственно-временные образования, ибо время – лишь одна из форм существования материи, тогда как другой ее формой является пространство. Поэтому разные временные фазы находят соответствие в своих пространственных структурах. Задача заключается в том, чтобы провести «лингвистические раскопки» terra Slavia и заставить заговорить пространство. А для этого необходимо про-

должать поиски закономерностей организации лингвистического пространства, так как именно пространство является центральным понятием для всего комплекса проблем, связанных с диалектной интерпретацией карты.

**3. Проблема фонетической субституции единиц праславянского языка.** Как уже отмечалось выше, Атлас имеет прежде всего сравнительно-историческую направленность, поскольку в основе его лежит генетический принцип установления диахронического тождества слов и морфем, реконструируемых для позднего праславянского периода. Эта диахроническая направленность Атласа особенно хорошо прослеживается в его фонетико-грамматической серии, где отчетливо видна дифференциация славянских диалектов в зависимости от исторического развития праславянских континуантов.

Давая представление о шкале возможных и допустимых перемещений в исторической эволюции праславянских фонем, карты этой серии впервые предоставили возможность исторического прочтения лингвистического ландшафта Славии, продемонстрировав эффективность синтеза сравнительно-исторического и лингвогеографического методов исследования.

Публикация фонетических томов Атласа позволила критически оценить высказанные ранее гипотезы о фонетической субституции некоторых праславянских единиц в позднепраславянском и современных славянских языках. Так, например, материалы первого фонетического тома «Рефлексы \*ě» дали возможность ответить на два принципиально важных вопроса, а именно: 1) какова была фонетическая природа \*ě, в частности его линейный характер (являлся ли он дифтонгом или был монофтонгом) и 2) что представлял собой \*ě в артикуляционном отношении (если это был дифтонг, то каковы были его компоненты, если монофтонг, то каково было его качество). Как известно, эти вопросы неоднократно обсуждались в славистике и имели разные решения, поскольку фонетическая субституция \*ě связывалась то с долгим открытым e:, то с долгим закрытым e:, то с широким открытым гласным переднего ряда типа 'ä, коррелирующим с гласным непереднего ряда нижнего подъема a, то с дифтонгами либо закрытого типа ie, либо открытого типа ia, ea, eä (подробнее см.: Вендина. 1998: 130). Такое многообразие точек зрения объясняется как сложностью самого предмета исследования (вызывавшего у ряда ученых даже скептическое отношение к возможности решения проблемы реконструкции фонетического качества \*ě), так и недостатком материала, необходимого для всестороннего анализа. Публикация первого тома Атласа «Рефлексы \*ě» позволила прояснить некоторые моменты, и

прежде всего выявить в деталях весь спектр рефлексов \*ě во всем их диалектном разнообразии.

На фоне синхронных и ареальных показателей Атласа более убедительной представляется эволюционная диалектальная теория \*ě, когда в качестве исходной для одних диалектов признается широкая открытая артикуляция типа ea (ea, eä, 'ä), а для других узкая закрытая типа e с последующим преобразованием их либо в сторону дальнейшего сужения (ср. модель ea > e > ie > i (ije), характерную для многих сербских, хорватских, словенских, а также, возможно, и некоторых севернорусских говоров, или e > ie > i – для украинских и некоторых севернорусских говоров, ea > e – для македонских, северо-восточных штокавских и западноболгарских), либо в сторону расширения (ср. модель ea > 'a > 'a, которая характерна для ряда восточноболгарских и македонских говоров или модель e > e – для многих русских говоров), (подробнее см. [Вендина. 1998: 136]).

Таким образом, сам материал Атласа говорит о том, что фонетическая система праславянского языка была чрезвычайно сложной и при этом диалектно дифференцированной. Включение в систему доказательств фактора пространства позволяет не только определить фонетическую сущность праславянской единицы, но и является убедительным свидетельством отсутствия единого в фонетическом (как, впрочем, и в лексическом) отношении «праславянского наречия» [Meйe: 1], из которого традиционно выводились все славянские языки.

Это лишь частный пример исследования фонетической системы праславянского языка. Впереди огромный материал, связанный с лингвогеографическим изучением фонетических процессов, протекавших в праславянскую эпоху (все славянские палатализации, судьба сочетаний групп согласных с j, история развития сочетаний \*tort, \*tolt, \*tert, \*telt и т.д.). Все эти проблемы потребуют своего осмысления в свете новых данных «Общеславянского лингвистического атласа».

**4. Проблема интерпретации некоторых фонетических явлений.** Фонетические тома Атласа, посвященные рефлексам редуцированных («Рефлексы \*ь, \*ь», Загреб 2006, «Рефлексы \*ь, \*ь. Вторичные гласные», Скопје 2003, «Рефлексы \*ьг, \*ьг, \*ьл, \*ьл», Warszawa 1994), заставляют по-новому взглянуть и на проблему, которая в славистике казалась давно уже решенной, а именно на отенку их «сильной» и «слабой» позиции. Карты ОЛА показывают, что в восточнославянских диалектах «правило Гавлика» в так называемой «слабой» позиции перед слогом с гласным полного образования не работает, поскольку в этой позиции прослеживается вокализация «слабых» редуцированных (см., например, кар-

ты \**drъva*, \**stьklo*, \**tъxa*, \**krъvanъ*, \**krъstjenъ*, \**xrъbьtъ*, \**trъbuxa*, \**grъmitъ*, \**blъxa*, \**glъtalъ*, \**jablъko*, \**slъza*, \**klъnetъ* и др.).

Материалы Атласа говорят о том, что традиционно принятые аргументы при объяснении этого фонетического явления теряют свою объяснительную силу, как только в систему доказательств включается фактор пространства. Ярким примером может служить вокализация редуцированных в форме \**тоxa*, которая засвидетельствована практически повсеместно в западно- и восточнославянских диалектах, а также в словенских и в некоторых сербских говорах. Такой ареал рефлексации редуцированного \*ъ в слабой позиции подрывает традиционную точку зрения о влиянии морфологической аналогии, ибо морфологическая аналогия, проявляющаяся, как правило, индивидуально, вряд ли могла стимулировать изменение фонетического облика слова на таком обширном языковом пространстве. В противном случае это означало бы признание морфологической аналогии таким необъяснимым феноменом, который распространяется на огромной территории и на большой временной протяженности (ибо известно, что падение редуцированных в разных языках шло в разное время), что едва ли правомерно. Таким образом, материалы Атласа говорят о возможности фонетического обоснования развития редуцированных в данной праформе.

**5. Проблема типологии фонетических процессов.** Не менее важным для компаративистики XXI в. является и другой аспект фонетико-грамматической серии Атласа – синхронно-типологический, который высвечивает проблемы типологии фонетических процессов. Во всех томах фонетико-грамматической серии ОЛА содержатся типологические карты, репрезентирующие фрагменты языковой системы. Типологические карты посвящены исследованию таких, например, вопросов, как влияние консонантного окружения, вокального количества и ударения на рефлексацию праславянских гласных. В большинстве сравнительно-исторических исследований эта информация отсутствует или носит эпизодический характер. Между тем карты Атласа продемонстрировали, как важен учет этих параметров при изучении фонетической системы праславянского языка, поскольку наличие или отсутствие влияния фонетического контекста может являться причиной возникновения древнейших диалектных различий.

Эти карты позволяют обратиться к изучению проблемы диахронической типологии фонетических процессов, повлиявших на развитие фонетической системы праславянского языка, поскольку здесь прослеживаются определенные закономерности, связанные с действием двух факторов – просодических (ударение, количество, тон) и позиционных (граница слова, качество предшествующего и

последующего согласного, а также качество гласного следующего слога). Главными из них, как показывают карты Атласа, являются ударение (а точнее безударность), количество и мягкость соседнего согласного.

Вся эта информация является чрезвычайно важной для сравнительно-исторического языкознания и она, несомненно, будет использована компаративистами XXI в. при написании новой сравнительной грамматики славянских языков.

Сопоставительный анализ этих структурно-типологических карт ОЛА позволит в будущем «нащупать» механизм развития многих праславянских вокалов и выявить внутренние связи сходных по своим результатам рефлексаций (например, \**ě* и \**ę*), что в конечном итоге позволит создать типологию фонетико-фонологических систем славянских диалектов.

**6. Проблема релевантности лексических данных.** Не менее важной для компаративистики XXI в. является и лексико-словообразовательная серия Атласа. Выход в свет восьми томов этой серии заставляет по-иному взглянуть на проблему релевантности данных лексики и словообразования для изучения вопроса о диалектном членении праславянского языка.

Напомню, что в сравнительно-историческом языкознании еще со времен младограмматиков довольно прочно укоренилось скептическое отношение к фактам лексики и словообразования как к фактам, которые в силу своей мозаичности и повышенной языковой проницаемости не позволяют провести ареальную классификацию того или иного диалектного континуума. Каждое слово, согласно этой точке зрения, живет в диалекте «своей жизнью» и «распространяется в своих собственных границах», порождая пестроту и дробность диалектного ландшафта. Возник даже образ «путешествующего слова» (Л. Гоша), которое, подобно страннику, останавливается там, где ему захочется. Отсюда делался вывод, что распространение слова в значительной степени зависит от случайности. Именно этим объясняется отсутствие должного внимания к изучению лексического уровня праславянского языка методами лингвогеографии (примечательно, что, выступая в поддержку идеи А. Мейе о создании «Общеславянского лингвистического атласа», И.А. Бодуэн де Куртенэ в своем докладе «Изоглоссы в славянском языковом мире» говорил лишь о фонетических изоглоссах).

В суждениях Р. Раска, К. Бругмана, А. Мейе, Н.С. Трубецкого и др. ученых, на первый взгляд, есть известная доля истины. Пронизывая всю толщу языка, фонетические различия охватывают огромное количество слов (в отличие от лексических, наблюдающихся лишь в отдельных словах, реже – в группе слов), и в

этом смысле они достаточно рельефно обнажают различия между языками.

Однако, не вдаваясь в вопрос о том, насколько продуктивна языковая (пусть даже и абстрактная) модель, не насыщенная лексически, мы должны признать, что все эти аргументы, строго говоря, не выдерживают серьезной критики. Открытость и подвижность словарного состава языка, в том числе и праславянского, является довольно относительной, если учесть и другой важный экзистенциальный принцип любой лексической системы, а именно ее консерватизм, который и позволяет языку выполнять коммуникативную и эпистемическую функции. Это сочетание в лексической системе языка двух прямо противоположных тенденций – динамики и консерватизма – является следствием общего механизма эволюции словарного состава любого языка, основанного на кумулятивном принципе. Именно этот принцип позволяет сохранять лексическую систему языка во времени в значительно большей степени, чем фонетическую или морфологическую<sup>2</sup>. И это прекрасно доказали карты «Общеславянского лингвистического атласа», продемонстрировавшие хорошую степень сохранности праславянского лексического элемента во всех диалектах славянских языков.

Поэтому на современном этапе славистических исследований, когда в значительной степени исчерпаны возможности внутренней реконструкции на фонетическом и морфологическом уровнях, все большее значение приобретают данные лексики. «География слова, территориальное распределение лексем, отражающее взаимоотношения носителей диалектов в разные исторические эпохи, расширяет и углубляет картину ареальных связей, полученную при изучении грамматических и фонетических изоглосс» [Куркина. 1992: 26]. Более того, именно данные лексики дают более дифференцированный и количественно богатый материал для изучения межславянских языковых связей. Материалы Атласа убедительно доказали, что оперирование многочисленными лексическими

---

<sup>2</sup> Ср. в связи с этим следующие рассуждения А.Ф. Журавлева: «Лексический состав языка в силу кумулятивного принципа его формирования и меньшей значимости системных факторов в его организации, не подвержен таким большим потрясениям в своей эволюции, как грамматика и особенно фонетика. Изменения в фонетической системе языка часто носят характер цепной реакции, которая охватывает всю систему и изменяет принципы, обеспечивающие ее статическое равновесие, весьма радикальным образом. Лавинные фонетические процессы в славянских языках являют собой классический пример: действие закона открытого слога или падение редуцированных приводили к переменам в фонетической организации языка, которые нельзя оценить иначе как катастрофические» [Журавлев: 26].



изоглоссами, в количественном отношении во много раз превосходящими фонетические, дает исследователю возможность быть более объективным в восстановлении сложной картины истории схождения и расхождений славянских языков. Поэтому сегодня лексический материал не только не игнорируется в сравнительно-исторических штудиях, но и активно привлекается как полноценный критерий, представляющий самостоятельный интерес для этих исследований.

Опубликованные материалы Атласа убедительно говорят о том, что распространение того или иного слова происходит не в его собственных границах, а определяется закономерностями, позволяющими говорить о типологии ареалов. Более того, между типом ареала, его локализацией в пространстве и временем образования существует определенная связь, так как один и тот же тип ареала может иметь разную интерпретацию в плане его хронологической отнесенности в разных пространственных контекстах (подробнее см. [Вендина. 2015]).

**7. Проблема создания лексического фонда праславянского языка.** Публикация томов лексико-словообразовательной серии Атласа дает основания для нового взгляда и на проблему лексического фонда праславянского языка. Известно, что праславянская «словарная коллекция» довольно долгое время создавалась в отрыве от ее лингвогеографической проекции: «достаточно было фиксации какой-либо лексемы в двух из трех ныне существующих групп славянских языков, чтобы, при отсутствии показателей поздней инновации, отнести ее к общему праславянскому лексическому фонду» [Толстой: 111]. В связи с отсутствием достоверных материалов и надежных сведений по древним лексическим изоглоссам лексический состав праславянского языка воспринимался не дифференцированно.

С выходом в свет «Общеславянского лингвистического атласа» ситуация в корне изменилась. Каждый лексико-словообразовательный том Атласа содержит в себе целую серию древних лексических диалектизмов, имеющих нередко эксклюзивные сепаратные связи. Наличие этих изоглосс придает Атласу статус особо ценного источника сравнительно-исторических и этимологических штудий. В отличие от праславянских этимологических словарей он позволяет выявить пространственную локализацию межъязыковых схождений и, что самое главное, оценить их с ареальной точки зрения, так как эти схождения могут иметь разный характер – очаговый или системный, т.е. они могут охватывать значительные ареалы, отражая сложные отношения между двумя и/или более диалектами. В этом смысле Атлас обогатил славистику не только новым, четко стратифицированным материалом,

позволяющим с высокой степенью достоверности создать фонд праславянских лексических единиц, но и предоставил исследователям еще одну уникальную возможность, ранее совершенно нереальную – рассмотреть те или иные диалекты в общеславянском контексте, став бесценным источником для изучения истории формирования современных славянских языков и диалектов.

Однако здесь возникает проблема генезиса, диахронического измерения выявленных сходств и различий славянских языков, поскольку при интерпретации лексических изоглосс необходимо выяснить, какие из корреспонденций являются следствием генетического тождества на праславянском уровне, а какие сложились в разных славянских языках параллельно, независимо друг от друга.

Перед компаративистикой XXI в. со всей неизбежностью встанет задача разработки генетических и ареальных критериев для установления относительной хронологии обнаруженных ареалов.

**8. Проблема типологии мотивационных признаков.** Карты Атласа содержат уникальный материал и для решения проблемы типологии мотивационных признаков, о чем свидетельствуют его мотивационные карты. Пока удельный вес этих карт в Атласе сравнительно невелик, однако число их в каждом томе увеличивается. Ценность их определяется тем, что, эксплицируя внутреннюю форму того или иного слова, они позволяют выявить некоторые типологические универсалии в принципах номинации. Кроме того, они дают возможность увидеть мотивационный признак в пространстве языка той или иной культуры и поэтому являются, по сути дела, лингвогеографической проекцией языка этой культуры. Так, например, в шестом томе Атласа «Домашнее хозяйство и приготовление пищи» находится мотивационная карта, посвященная названию 'первого куска хлеба, отрезанного от буханки, горбушки'. На этой карте наряду с пространственным и процессуальным мотивационным признаком (ср. *kraj-ъc-ъ*, *kraj-ъč-e*, *kraj-išč-e*, *kraj-ъk-a*, *kraj-ik-ъ*, *kraj-ik-a*, *kraj-ъč-ik-ъ* или *kroj-ъ*, *sъ-kroj-ъk-ъ*; *pri-lěp-ъk-a*, *sъ-lěp-ъk-ъ*; *rqb-ъ*, *rqb-ъč-e*; *na-čēt-ъk-ъ*, *na-čin-ъk-ъ*, *ob-ber-ъk-a*) представлен антропоморфный признак (ср. лексемы *g□b-ux-a*, *g□b-uš-a*, *g□b-uš-ъk-a*, *g□b-uš-ъk-ъ*, *g□b-ъk-ъ* и др., распространенные главным образом в русских и частично украинских и белорусских диалектах; или лексемы *peť-ъk-a*, *peť-ič-ъk-a* и др., характерные в основном для периферийных македонских, южнопольских и чешских диалектов; лексему *lъb-ъk-ъ*, отмеченную только в украинских диалектах; лексемы *jan-ъk-ъ*, *jan-ъk-o* и др., встречающиеся в словацких и изредка в чешских диалектах). Все эти названия говорят о том, что хлеб в языках этих культурных традиций воспринимается как живое существо, имею-

щее свои «части тела». На это косвенно указывает и другая карта Атласа – ‘подходит, растет’ (о тесте), которая свидетельствует о том, что тесто практически во всех славянских диалектах уподобляется живому существу. Это существо живет (ср. лексемы *ži-v-e-tb*, *za-ži-v-e-tb*, *vy-ži-v-e-tb* – севернорусские диалекты), движется (ср. лексемы *xod-e-tb*, *xod-i-tb*, *podъ-xod-i-tb*, *възъ-xod-i-tb*, *vy-xod-i-tb do-xod-i-tb*, *възъ-xod-j-e-tb*, *възъ-xad-j-i-tb*, *podъ-xod-j-i-tb*, *vy-xad-j-i-va-je-tb* и др. – восточнославянские, словенские и частично чешские диалекты; или *възъ-jьd-e-tb*, *podъ-jьd-e-tb*, *nadъ-jьd-e-tb* и др. – македонские, частично южнорусские, болгарские и сербские диалекты; *dvig-a-je-tb se*, *qъz-dvig-ne-tb se*, *dviž-e-tb se*, *na-dviž-e-tb se* и др. – лужицкие, хорватские и словенские диалекты), растет (ср. лексемы *qъst-e-tb*, *qъst-ne-tb*, *na-qъst-a-je-tb*, *pod-qъst-a-je-tb* и др. – польские, западноукраинские, сербские и македонские диалекты) и даже работает (ср. *qъb-i-tb* и др. – кашубские диалекты).

Разработка типологии мотивационных признаков, выявление устойчивых моделей мотивации открывает большие перспективы в определении языковых универсалий и картографической проекции языка духовной культуры славян. Работа в этом направлении позволит пополнить праславянскую «словарную коллекцию» и выявить дифференциацию славянских диалектов на глубинном, мотивационном уровне. Территориальное распределение мотивационных моделей, характерных для разных исторических эпох, может быть использовано в качестве полноценного критерия при решении этногенетических проблем славянских языков. Расширение практики мотивационной картографии «позволит отвлечься от формальных различий между языками и сосредоточиться на сходных или одинаковых идеологических и культурных представлениях для исследования “мотивационного метаязыка”, общего для всех языков мира» [Донадзе: 107]. Следует отметить, что именно на этом направлении международный коллектив «Лингвистического атласа Европы» достиг наиболее заметных результатов.

**9. Проблемы славянской диалектологии.** Обосновывая идею создания Общеславянского лингвистического атласа, А. Мейе в своем докладе предлагал рассматривать славянские диалекты в аспекте единого языка, т.е. речь шла не об атласе различных славянских языков, а об атласе единого славянского языкового континуума в его противопоставлении романским и германским языкам. А это значит, что публикация ОЛА требует осмысления термина *Slavia* с позиций славянской диалектологии. Закономерно встает проблема релевантности диалектных признаков, которые должны быть положены в основу классификации славянских диалектов с целью выявления междиалектных сходств и различий. Опубликованные фонетические тома Атласа говорят о том, что в их число

должны входить такие признаки, как аканье и оканье, еканье и иканье (в связи с судьбой \*ě), палатальности/палатализованности согласных и др. Рассмотренные в общеславянском контексте, эти признаки должны пролить свет на ряд нерешенных проблем сравнительно-исторического языкознания, и в частности, на проблему происхождения аканья, которая, как известно, до сих пор не имеет своего окончательного решения.

Лексико-словообразовательная серия атласа поможет выявить лексико-семантические противопоставленные и непротивопоставленные диалектные различия, которые позволят говорить о дифференциации славянских диалектов в синхронно-типологическом плане (ср., например, следующие карты, на которых выявляется четкое разделение Славии по линии север–юг: т. 1 «Животный мир», карта 30 ‘ящерица’: север //ašč-er- (//ašč-er-ъ, //ašč-er-ic-a, //ašč-er-ъk-a) ~ юг gušč-er- (gušč-er-ъ, gušč-er-ic-a, gušč-er-ъk-a); т. 2 «Животноводство», карта 4 ‘некастрированный самец овцы’: север *baran-ъ* ~ юг *ov-ъn-ъ*; т. 3 «Растительный мир», карта 6 ‘тень под деревом’: север *těn-ъ* ~ юг *xold-ъ*; карта 11 ‘лес’: север *lěs-ъ* ~ юг *sum-a*; карта 17 ‘сосна’: север *sos-ъn-j-a* ~ юг *bor-ъ*; т. 9 «Человек», карта 76 ‘слово’: север *slov-o* ~ юг *besěd-a* (слн.), *dum-a* (блг., мак.), *rěč-ь* (хрв., серб.), *sъ-bor-ъ* (мак.); т. 10 «Народные обычаи» карта 7 ‘счастье’: север *sъ-čest-ъj-e* ~ юг *sъ-rět-j-a*, *sъ-rět-j-a*; карта 19 ‘курит’: север *kur-i-ть* ~ юг *puš-i-ть* и т.д.).

Материалы «Общеславянского лингвистического атласа» могут и должны стать базой для создания исторической диалектологии славянских языков, что в свою очередь позволит усилить общеславянский фон при написании исторических грамматик отдельных славянских языков.

Сравнение материалов карт лексико-словообразовательной и фонетико-грамматической серии Атласа дает возможность «реально представить» общую картину механизма эволюции славянских диалектов. Она свидетельствует о том, что в лексических и фонетических системах славянских языков процессы их дивергенции носили разный характер: если на фонетических картах мы можем довольно часто наблюдать четкое диалектное размежевание, своеобразные «разломы» на диалектном ландшафте terra Slavia (см., например, карты фонетических томов ОЛА, посвященных рефлексам носовых), то на лексических картах таких резких обрывов изоглосс не прослеживается, скорее здесь отражен процесс медленного разрушения праславянского единства, при котором следы прежней близости языков не только не утрачиваются, а, напротив, довольно долго сохраняются (хотя нередко и лишь в виде осколков). И эта разная картина эволюции славянских языков на

фонетическом и лексическом уровне порождена кумулятивным принципом развития лексического состава каждого языка, когда новое не устраняет старое, а прекрасно «сосуществует» с ним, усложняя эту систему во времени и в пространстве.

**10. Проблема этногенеза.** Как уже отмечалось выше, одной из важнейших задач Атласа является задача определения прародины славян.

Следует, однако, признать, что Атлас пока не может дать ответ на этот вопрос. Решение его затруднено рядом обстоятельств. Прежде всего – незавершенностью работы. В настоящее время в национальных комиссиях «Общеславянского лингвистического атласа» ведется работа над подготовкой к печати таких важных в лексическом отношении томов Атласа, как «Степени родства», «Транспорт и пути сообщения», «Народная техника», «Строительство», «Одежда и обувь», «Гигиена и медицина», «Личные черты человека», «Метеорология и измерение времени», «Рельеф местности», «Горное овцеводство» и др. Все это делает какие-либо предположения и выводы по данной проблеме преждевременными и не вполне корректными.

Затрудняет решение этой проблемы и отсутствие четкой методологии пространственно-временной интерпретации лексических изоглосс. Между тем наличие такой методологии позволит соотнести материал, представленный на картах, с различными гипотезами славянской прародины (висло-одерской, дунайской, среднеднепровской, прикарпатской, припятской и др.) и перевести дискуссию о славянской прародине из плана абстракции в план конкретного сравнительного анализа лексем, имеющих праславянское происхождение. Фактов для этого накопилось уже достаточно.

Определенные трудности создает и фрагментарность Вопросника «Общеславянского лингвистического атласа», практическое отсутствие в нем семантических вопросов, между тем как именно значение слова является важным диагностирующим признаком при определении его праславянского статуса (см. в связи с этим размышления Ф. Славского в предисловии к «Словарю праславянского языка» («Słownik prasłowiański», с. 8)).

Пока же можно сказать, что материалы Атласа позволили выявить ареалы с высокой концентрацией праславянских лексем, имеющих общеславянский характер распространения: это прежде всего чешские (особенно ляхские говоры, в частности, п. 203), словацкие, лужицкие (особенно п. 234, 236) диалекты, юг польских (особенно говоры Силезии, в частности п. 288 и 308), словенские и прилегающие к ним хорватские, кайкавские и чакавские говоры;

сербские (особенно зетско-сеникские, косовско-ресавские и при-зренско-тимокские говоры); македонские и юго-западные болгарские; а также юго-западные украинские. Территория этих говоров покрыта практически полностью лексемами, имеющими общеславянское распространение, но с локальными ограничениями.

И хотя современные диалектные отношения, характеризующие славянские языки, не имеют четкой экспликации на плоскости праславянского, однако представляется, что выявление этих соответствий возможно путем синтеза сравнительно-исторического метода с методами лингвистической географии.

Карты Атласа не подтверждают традиционной точки зрения о существовании единого в лексическом отношении праславянского языка. Благодаря этим материалам «на смену представлению о первоначально бездиалектном праславянском языке приходит учение о диалектно сложном древнем языке славян с сильно развитым диалектным словарем» [Трубачев: 236]. Поэтому механизм его развития сегодня переосмысливается: «прямолинейные схематичные построения в духе теории родословного древа уступают место более сложным представлениям о процессе развития, вытекающим из положения о динамичности праславянского языка, незамкнутости, проницаемости занимаемой им территории» [Куркина. 1985: 61].

Материалы Атласа не подтверждают и гипотезы о том, что распад праславянского языка происходил сначала на юго-восточную и западную группы, а потом первая из них разделилась на южную и восточную группы, что привело к образованию трех славянских языковых групп. Напротив, они недвусмысленно говорят о «сложных и длительных процессах дивергентного и конвергентного развития славянской языковой семьи, начиная с праславянской эпохи, инициированных, в частности, интенсивными миграциями древних славян (а позднее – отдельных славянских этносов). Отсюда – существование, с одной стороны, диалектной дифференциации уже в праславянском, а с другой – «вторичных» сближений как на уровне прадиалектов, так и в дальнейшем – между отдельными славянскими языками в целом или некоторыми диалектами различных языков» [Клепикова. 2005: 62]. Прерывистые изоглоссы, связывающие разные славянские диалекты на всем пространстве terra Slavica, являются отражением более сложных диалектных отношений, чем существующее сегодня в славистике представление.

Думается, что создание «Общеславянского лингвистического атласа», накопление изоглосс самого разного характера со временем даст возможность ответить на вопрос, ЧТО в диалектной

структуре современных славянских языков является продолжением праславянского наследия, а ЧТО сложилось позднее, в эпоху миграций, под влиянием факторов культурно-исторического характера.

Во всяком случае, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что если раньше при решении проблемы этногенеза славян привлекались разрозненные факты (а иногда лишь интуиция ученого), то с созданием Атласа она получает твердые основы и достаточно убедительную аргументацию.

Итак, компаративистика XXI в., критически осваивая опыт диахронической лингвистики XIX–XX вв., постепенно совершенствует различные методы исследования. Продолжая традиции науки о языке, уходящей своими корнями в глубокую древность, она ставит перед исследователями новые задачи, связанные с осмыслением полученных данных.

Как показало время, современная компаративистика является матрицей будущего. Об этом свидетельствует четко прослеживаемая тенденция к расширению ее границ, осознание того факта, что для адекватного познания языка и, в частности, решения генетических проблем славянских языков необходимы выходы в другие области гуманитарного знания и прежде всего в лингвистическую географию.

Благодаря этому прорыву в лингвистическую географию произошло укрупнение компаративистских исследований, расширилась сама их парадигма, так как предметом изучения стала не просто структура слова, его этимология, но и его ареал, и время возникновения. Пространственный дискурс вместе с описанием структуры и функции языковых единиц в синхронии и диахронии создали своеобразное гносеологическое триединство компаративистики XXI в., исследующей язык в трех измерениях – структуры, пространства и времени. Поэтому для ее успешного развития следует начать «лингвистические раскопки», прочесть и интерпретировать данные «Общеславянского лингвистического атласа». Зафиксированную на картах жизнь языка «необходимо проследить во всех ее предшествующих фазах, чтобы понять, как и на какой основе сложилось нынешнее положение вещей» [Йорган: 229].

Информация, содержащаяся на картах «Общеславянского лингвистического атласа», явится, бесспорно, прочным фундаментом для новых сравнительно-исторических и синхронно-типологических штудий, которые в будущем будут иметь своим итогом полноценную реконструкцию той языковой модели, с преобразованием которой связано существование семьи славянских языков.

## ЛИТЕРАТУРА

*Аванесов Р.И.* Общеславянский лингвистический атлас (1958–1978). Итоги и перспективы // VIII Междунар. съезд славистов. Славянское языкознание. Докл. сов. делегации. М., 1978.

*Вендина Т.И.* Общеславянский лингвистический атлас и лингвистическая география // XII Междунар. съезд славистов. Славянское языкознание. Докл. российской делегации. М., 1998.

*Вендина Т.И.* Типология лексических ареалов Славии. М.; СПб., 2015.

*Гриценко П.Е.* Об интерпретации лингвистических карт // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 2001–2002. М., 2004.

*Донадзе Н.З.* Новые перспективы в лингвогеографии – Лингвистический атлас Европы // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 2001–2002. М., 2004.

*Журавлев А.Ф.* Лексико-статистическое моделирование системы славянского языкового родства. М., 1994.

*Йорган Й.* Романское языкознание М., 1971.

*Клепикова Г.П., Попова Т.В.* О значении данных лингвистической географии для решения некоторых вопросов истории болгарского языка // Вопр. языкознания. 1968. № 6.

*Клепикова Г.П.* Типы ареалов, репрезентирующих македонско-севернославянские параллели // Ареална лингвистика. Теории и методи. Скопје, 2005.

*Клепикова Г.П.* Очерки карпатской диалектологии: Предисловие. Введение // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 13. Славянские диалекты в ситуации языкового контакта (в прошлом и настоящем). М., 2008.

*Куркина Л.В.* Праславянские диалектные истоки южнославянской языковой группы // Вопр. языкознания. 1985. № 4.

*Куркина Л.В.* Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики. Ljubljana, 1992.

*Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951.

Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск. 2-е изд. М., 1994.

*Теньер Л.* О диалектологическом атласе русского языка // Вопр. языкознания. 1966. № 5.

*Толстой Н.И.* О некоторых возможностях лексико-семантической реконструкции праславянских диалектов // Избранные труды. Т. I. М., 1997.

*Трубачев О.Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // Славянское языкознание. IX Междунар. съезд славистов. Докл. сов. делегации. М., 1983.

*Трубецкой Н.С.* Фонология и лингвистическая география // Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. М., 1987.



## АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ

*Н.Н. Крадин*

На протяжении многих столетий личность Чингисхана и его деяния приковывают к себе внимание. Монголы создали одну из самых крупных империй в мировой истории. Их походы и главное последствия завоеваний оказали огромное влияние на историю человечества. Многих ученых, мыслителей и просто интересующуюся публику волнует классический вопрос истории империи Чингисхана – как и почему из небольшого, мало кому известного народа возникла огромная мировая империя, которая повергла в ужас и разрушение многие соседние народы, а потом почти также стремительно это огромное государство исчезло с авансены мировой истории. Существует беспредельно огромное количество работ о средневековой истории монголов – научных монографий и статей, научно-популярных книг, художественных сочинений. Если набрать на сайте крупнейшего книжного интернет-магазина «Амазон» слово «монголы», то высвечивается более 4,5 тысяч книг только на английском! Можно себе представить, сколько публикаций издается на других языках. Для того чтобы обобщить всю мировую историографию по данному вопросу, пришлось бы написать не один толстый том.

В настоящей статье анализируются работы зарубежных авторов в основном на английском языке. В настоящее время английский язык стал в науке фактическим «лингва франка». Возможно, в естественных науках наиболее значимые научные идеи сейчас обязательно публикуются на английском. В гуманитарных науках это далеко не так. В монголоведении, например, существуют сильные научные школы в Китае, России, Японии, ряде стран Европы. Огромное количество работ публикуется на монгольском языке. Увы, в век бурного прогресса научных знаний и все более узкой специализации отдельных направлений все труднее и труднее держать в поле зрения многочисленные работы авторов разных стран (про тезисы – «бич божий» отечественной науки – говорить просто не приходится).

Тем не менее на английском языке опубликовано много очень важных и принципиально значимых исследований в рассматриваемой области. В этой работе будут рассмотрены основные тенденции западноевропейского и американского монголоведения в области изучения империи Чингисхана и его наследников за последние несколько десятилетий. Поскольку по данной проблематике написано громадное количество книг и бесчисленное множество статей на самых разных языках, этот обзор не может охватить все сколько-

нибудь значимые работы. К счастью, имеется ряд историографических исследований, в которых в той или иной степени суммированы основные достижения западного монголоведения<sup>1</sup>. В этих работах можно найти всю основную литературу по данной теме. Это дает возможность уделить внимание только некоторым, наиболее важным, с моей точки зрения, вопросам, таким как введение в научный оборот новых и изучение уже известных письменных источников, причины создания Монгольской империи и особенности ее устройства, включая право и религию, политика монголов в завоеванных странах, роль монголов в глобальных средневековых процессах, оценка монгольской эпохи современными исследователями.

#### ОБЩИЕ И ОБЗОРНЫЕ РАБОТЫ

В самом широком смысле, все исследования, касающиеся избранной темы, можно разделить на несколько групп в зависимости от жанра произведения и его задач, научных интересов и квалификации автора – обзорные работы, научно-популярные сочинения, академические монографии, сборники, доклады конференций и журнальные статьи, посвященные тем или иным конкретно-историческим аспектам истории монголов. Первая группа публикаций, о которых пойдет речь, это книги обзорного плана, либо произведения, написанные для студентов или популярного читателя. Из подобных работ второй половины XX в. следует указать книги Б. Шпулера, Э. Филиппса, П. Брента, Л. Хартога, М. Хоанга, Ж.-П. Ру и ряд подобных им работ<sup>2</sup>. В большинстве своем, это доб-

<sup>1</sup> *Allsen T.* The Mongols in East Asia, Twelfth-Fourteenth Centuries: A Preliminary Bibliography of Book and Articles in Western Languages. Philadelphia, 1976; *Гольман М.И.* Изучение истории Монголии на Западе. М., 1988; *Sinor D.* Notes on Inner Asian bibliography IV. History of the Mongols in the 13<sup>th</sup> century // *Journal of Asian History.* 1989. Vol. 23. N 1; *Jackson P.* The Mongol Empire. 1986–1999 // *Journal of Medieval History.* Vol. 26. 2000. N 2; *Buell P.D.* Age of Mongolian Empire: A Bibliographical Essay // *The Silk Road.* 2003. Vol. 1. N 1; *Kim Hodong.* The Unity of the Mongol Empire and Continental Exchanges over Eurasia // *Journal of Central Eurasian Studies.* Vol. 1. 2009; *Крадин Н.Н.* Империя Чингисхана в новых западных исследованиях // *Вопр. истории.* 2010. № 5; *Biran M.* The Mongol Empire in World History: The State of the Field // *History Compass.* Vol. 11. 2013.

<sup>2</sup> *Spuler B.* Geschichte der Mongolen nach östlichen und europäischen Zeugnissen des 13. und 14. Jahrhunderts. Zürich, 1968; *Philips E.D.* The Mongols. London, 1969; *Saunders J.J.* The History of the Mongol Conquest. New York, 1971; 2<sup>nd</sup> ed. 2001; *Brent P.* Genghis Khan. N.Y., 1976; *Hoang M.* Gengis-khan. Paris, 1988; *de Hartog L.* Genghis Khan: Conqueror of the World. London 1989; *Roux J.-P.* Histoire de l'empire Mongol. Paris, 1993; *Idem.* Genghis Khan and the Mongol Empire. New York, 2003; *Хоанг М.* Чингисхан. Ростов н/Дон, 1997; *Lane G.* Genghis Khan and Mongol rule. Westport. CT. 2004; *Ру Ж.-П.* История империи монголов. Улан-Удэ, 2006 и др.

ротные повествования, основанные на пересказах трех главных источников по истории основателя монгольской империи – «Тайной истории», «Истории династии Юань» и «Сборника» Рашид ад-Дина. Подобные сочинения обычно подробно описывают предысторию монгольских племен, процесс объединения кочевников Чингис-ханом, историю войн и походов, характер политики в завоеванных странах, отношения с Европой, исламскими государствами.

Из всех книг, возможно, наилучшей научной биографией Чингис-хана на европейских языках является книга П. Рачневского. В первых трех главах автор подробно и тщательно излагает историю жизни основателя Монгольской империи от его рождения до смерти. В четвертой части дана оценка его личности и деятельности. В последней пятой главе разбирается структура Монгольской империи, право, религиозная политика и другие вопросы. Английское издание дополнено и переработано новыми данными<sup>3</sup>.

На английском языке, возможно, наиболее часто упоминаемой книгой по рассматриваемой теме является монография Д. Моргана «Монголы». В этой работе последовательно излагаются ключевые моменты монгольской истории от возвышения Чингис-хана до изгнания монголов из Китая. Особенный интерес представляет четвертая глава книги, в которой рассмотрены военная организация, институты управления, коммуникации и система поборов в монгольском обществе. Важным является обращение автора к ближневосточным источникам по истории завоеваний монголов.

Совсем недавно было выпущено в свет новое издание книги Моргана. Это репринтное воспроизведение первоначального текста, дополненного еще одной главой (фактически послесловием), в которой изложены современные взгляды автора в связи с публикациями, появившимися после 1985 г.<sup>4</sup> Необходимо также упомянуть популярную работу о повседневной жизни средневековых монголов<sup>5</sup>. Большое значение имеет монография о Чингис-хане М. Биран<sup>6</sup>. Эта книга существенно дополняет имеющиеся труды, поскольку представляет собой взгляд на монголов из мусульманского мира, переоценку монгольского влияния на Ближний Восток. Большое внимание уделено анализу образа Чингис-хана в различных религиозных и идеологических системах цивилизаций Востока. Возможно, самая последняя из работ подобного типа

---

<sup>3</sup> *Ratchnevsky P.* Cinggis-khan: Sein Leben und Wirken. Wiesbaden, 1983; *Idem.* Genghis Khan, His Life and Legacy. Oxford, Cambridge, 1991.

<sup>4</sup> *Morgan D.* The Mongols. New York, 1986; 2<sup>nd</sup> ed. Malden, 2007.

<sup>5</sup> *Lane G.* Daily Life in the Mongol Empire. Westport, 2006.

<sup>6</sup> *Biran M.* Chinggis Khan. Oxford, 2007.

была написана Т. Мзем<sup>7</sup>. В его работе дается широкий взгляд на монгольскую историю через призму процессов глобальных обменов в Евразии.

Следующая группа исследований – это обзорные работы по истории номадов Внутренней (Центральной) Азии. Подобные труды выполнены в том же ключе, что и хорошо известные довоенные книги Мак-Говерна и Р. Груссе. Здесь широкими мазками дана общая динамика политической истории степных империй от истоков господства кочевников (хунну) до их заката в период манчжурской династии Цин<sup>8</sup>. Большое внимание уделено завоеваниям Чингисхана и монгольским государствам в Старом Свете. К числу этих работ следует отнести и шестой том «Кембриджской истории Китая», к написанию которой были привлечены наиболее авторитетные на Западе специалисты в этой области (к сожалению «Кембриджская история Внутренней Азии», опубликованная в 1990 г., заканчивается на чжурчжэнях). В книге шесть из девяти глав посвящены монгольскому периоду. В четвертой–седьмой главах последовательно рассматриваются периоды становления и расцвета монгольской империи при первых ханах (Т. Олсон), формирования собственно Юаньской империи при Хубилае (М. Россابي) и после него (Сяо Цицин), время кризиса и гибели династии (Дж. Дардесс). Две главы посвящены институтам управления (Э. Эндикот-Вест) и китайскому населению (Ф. Моут) в период династии Юань<sup>9</sup>.

Особый жанр представляет большое количество книг обзорного или популярного профиля. Они написаны для широкого круга читателей, хотя многие из этих работ представляют достаточно серьезные сводки по средневековой истории монголов<sup>10</sup>. Большой объем информации по средневековой монгольской истории послужил стимулом создания обзорных энциклопедических работ

---

<sup>7</sup> *May T.* The Mongol Conquests in World History. London, 2011.

<sup>8</sup> *Kwanten L.* Imperial nomads: A History of Central Asia, 500–1500. Philadelphia, 1979; *Roux J.-P.* L'Asie Centrale. Histoire et Civilizations. Paris, 1997; *Christian D.* A history of Russia, Central Asia and Mongolia. Vol. 1. Inner Eurasia from prehistory to the Mongol empire. Oxford, 1998.

<sup>9</sup> The Cambridge History of China. Volume 6. Alien Regimes and Border States. 907–1368 / Ed. by H. Franke, D. Twitchett. Cambridge, 1994.

<sup>10</sup> Die Mongolen. Beiträge zu ihren Geschichte und Kultur / Hrsg. M. Weiers u.a. Darmstadt, 1986; Die Mongolen und ihre Weltreich / Hrsg. A. Eggebrecht. Mainz, 1989; Empires beyond the Great Wall: The Heritage of Genghis Khan / Ed. by A. Kessler. Los Angeles, 1993; *Marshall R.* Storm from the east: From Genghis Khan to Khubilai Khan. London, 1993; Die Mongolen in Asien und Europa / Hrsg. S. Conermann, J. Kubster. Frankfurt am Main, 1997; *Weiers M.* Geschichte der Mongolen. Stuttgart, 2004; Dschingis Khan und seine Erben: Das Weltreich der Mongolen / Hrsg. C. Müller. München, 2005; *Rossabi M.* Mongols: A Very Short Introduction. Oxford; New York, 2012.

о монгольской империи. Благодаря самоотверженным усилиям П. Белла и К. Атвуда значительный пласт информации суммирован и систематизирован, что открывает перспективы для создания обобщающих работ в данной области<sup>11</sup>.

В преддверии 2006 г., когда отмечался 800-летний юбилей создания империи Чингис-хана и позднее произошел всплеск публикации различной специальной и популярной литературы, посвященной истории монголов. Было опубликовано просто бесчисленное количество книг на эту тему. Многие из них, в том числе и написанные профессиональными исследователями, переведены на русский язык. Приходится с сожалением констатировать, что желание сэкономить на научном редактировании снижает качество публикуемой продукции. В переводных работах нередко изъят справочный аппарат, отсутствуют квалифицированные комментарии, да и качество переводов иногда оставляет желать лучшего. На исторической карте появляются доселе никому не известные народы. Хунну превращаются в ксионгов, чжурчжэни в рузгенов и т.п. В этой связи, при использовании переводной литературы, выпущенной в последние десятилетия, следует быть достаточно осторожным.

Своего рода бестселлером о Чингис-хане стала книга Дж. Уезерфорда. Она побила все рекорды продаж в Америке, недавно ее перевели на русский язык<sup>12</sup>. Автор, безусловно, талантливый беллетрист (в свое время много шума вызвал его политантропологический памфлет о кухне американской политической машины – «Племена на холме»). Главная идея работы – показать глобальный характер изменений, который оказали монгольские завоевания, начиная от расовой и религиозной терпимости, заканчивая введением бумажных денег и Ренессансом. Однако в работе много неточностей и ошибок<sup>13</sup>.

#### ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА

Монгольская империя была многонациональным государством, включавшим самые разные народы Старого Света. Это создает большие трудности для серьезной источниковедческой

---

<sup>11</sup> *Buell P.* Historical Dictionary of the Mongolian World Empire. Lanham; Oxford, 2003; *Atwood C.* The Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire. New York, 2004.

<sup>12</sup> *Weatherford J.* Genghis Khan and the Making of the Modern World. New York, 2004; *Уэзерфорд Дж.* Чингисхан и рождение современного мира. М., 2005.

<sup>13</sup> После этого он написал еще один популярный бестселлер: *Weatherford J.* The Secret History of the Mongol Queens: How the Daughters of Genghis Khan Rescued His Empire. New York, 2011.

подготовки, поскольку основные тексты по средневековой истории монголов написаны на старомонгольском, китайском, персидском, арабском, а также латинском, русском, армянском, греческом, корейском, сирийском, тибетском и других языках. Обычно исследователь имеет источниковедческую подготовку в одной или максимум двух областях (китайский, монгольский, персидский) и это в немалой степени определяет его источниковедческий взгляд на монгольскую историю.

Главным источником по истории монголов считается анонимная «Монголын нууц товчоо» («Тайная история монголов» или «Сокровенное сказание»). Этот источник уже многие десятилетия привлекает внимание исследователей разных стран. Существует множество переводов данного источника на различные языки. Количество статей и книг, посвященных этому произведению, не поддается исчислению. Тем не менее, памятник продолжает приковывать внимание исследователей. В 1980-е годы был переиздан перевод Ф. Кливза<sup>14</sup>. В начале XXI столетия известный монголовед и синолог Ургуне Онон опубликовал свой перевод на английский язык<sup>15</sup>. Несколько позднее вышел в свет давно ожидаемый перевод «Тайной истории» И. де Рахевильца. Во введении к источнику подробно рассмотрена история изучения и переводов летописи, время создания текста и его авторство, жанр, соотношение с другими памятниками. Книга снабжена подробнейшими полуротаторными комментариями. В работе учтены практически все сколько-нибудь значимые работы в области монголистики<sup>16</sup>. Это, несомненно, выдающееся событие в истории монголоведа-ния начала миллениума.

Другой важный источник по средневековой истории – китайская летопись «Юань ши» («История династии Юань»). История изучения данного памятника была заложена Н.Я. Бичуриным, который в 1829 г. опубликовал первые четыре главы (цзюаня) источника, посвященные Чингис-хану и его ближайшим приемникам, переведенные на русский язык. Впоследствии многие выдающиеся исследователи переводили те или иные разделы летописи (П. Пельо, Л. Амбис, Э. Хэниш, Г. Франке, Г. Шурманн, Н.Ц. Мункуев, П. Рачневский и др.). В последней трети XX в. имеющиеся

---

<sup>14</sup> The Secret History of the Mongols / Transl. by F.Cleaves. Cambridge, Mass., 1982.

<sup>15</sup> The Secret History of the Mongols. The Life and Times of Chinggis Khan / Transl. by U. Onon. Curzon, 2001.

<sup>16</sup> *de Rachewiltz I.* The Secret History of the Mongols. A Mongolian Epic Chronicle of the Thirteenth Century / Transl. with a historical and philological commentary by I. de Rachewiltz. Vol. 1–2. Leiden, Boston, 2004; Vol. 3. Leiden; Boston, 2013.

переводы дополнились переводом первых цзюаней на немецкий язык<sup>17</sup>, а также обстоятельным описанием военных институтов юаньской империи, выполненным Сяо Цицином, с приложением переводов 98–99 цзюаней летописи<sup>18</sup>.

Из других китайских источников были переведены трактаты «Мэн-да бэй-лу» («Полное описание монголо-татар») и «Хэй да ши люэ» (Краткие сведения о черных татарах)<sup>19</sup>. Это хорошее дополнение к переводам этих источников Н.Ц. Мункуева<sup>20</sup>. Заслуживает внимания также введение в научный оборот Чан Хокальмом еще одного источника – биографического повествования одного из китайских чиновников, в котором описываются последние годы существования чжурчжэньского государства<sup>21</sup>.

Третий главный источник по истории ранних монголов – «Джами ат-Таварих» («Сборник летописей»), написанный между 1309–1311 гг. под руководством Рашид ад-Дина, который был визирем в период правления Газан-хана. Длительное время этот труд был доступен для исследователей, незнакомых с первоисточником, только в переводе на русский язык. Дж. Бойл сделал неполный перевод его на английский язык<sup>22</sup>, но только относительно недавно У.Тэкстон перевел этот капитальный труд на английский полностью<sup>23</sup>.

Среди других источников следует отметить «Тарих-и джахангушай» («История завоевателя мира») Ала ад-дина Ата-Мелик Джувеини. Несмотря на то, что Джувеини не был современником походов Чингис-хана, его труд также считается важным сочинением

---

<sup>17</sup> *Abramowski W.* Die chinesische Annalen von Ögödei und Güyük. Übersetzung des 2. Kapitels des Yüan-Shi // Zentralasiatische Studien des Seminars für Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens der Universität Bonn. 1976. Bd. 10; *Idem.* Die chinesische Annalen des Mönke. Übersetzung des 3. Kapitels des Yüan-Shi // Zentralasiatische Studien des Seminars für Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens der Universität Bonn. 1989. Bd. 13.

<sup>18</sup> Hsiao Ch'i-ch'ing. The Military Establishment of the Yüan Dynasty. Cambridge, Mass., 1978.

<sup>19</sup> *Haenisch E., Yao Ts'ung-wu, Olbricht P., Pinks E.* Meng-ta pei-lu und Hei-ta shih-lüeh: chinesische Gesandten-berichte über die frühen Mongolen 1221 and 1237 (Asiatische Forschungen 56). Wiesbaden, 1980.

<sup>20</sup> *Пэн Да-я, Сюй Тун.* Краткие сведения о черных татарах // Проблемы востоковедения. 1960. № 5 (пер. Линь Кюн-и и Н.Ц. Мункуева); Мэн-да бэй-лу («Полное описание монголо-татар») / Пер., комм. Н.Ц. Мункуева. М., 1975.

<sup>21</sup> *Chan Hok-alm.* The fall of the Jurchen Chin: Wang E's memoir on Ts'ai-chou under the Mongol siege (1233–1234). Stuttgart, 1993.

<sup>22</sup> *The Successors of Genghiz Khan / Transl. from the Persian of Rashid al-Din by J.A. Boyle.* New York, 1971.

<sup>23</sup> *Rashid al-Din.* Jami'u't-tawarikh (Compendium of Chronicles) / Transl. W.M. Thackston. Vol. 1–3. Cambridge, Mass, 1998–1999.

ем по истории монгольской эпохи. В 1997 г. был переиздан перевод Дж. Бойла с новым предисловием Д. Моргана<sup>24</sup>.

Еще несколько важных источников были переведены в рассматриваемые десятилетия на европейские языки. Среди них энциклопедия Ибн-Абу-Надида, который оставил ряд ценных сведений о событиях 1258 г., когда Багдад был взят войсками Халагу<sup>25</sup>, корпус данных из армянских источников о монголах<sup>26</sup>, перевод многотомного сочинения о путешествиях Ибн-Батуты<sup>27</sup>, многоязычный терминологический словарь под редакцией П. Голдена<sup>28</sup>, трактаты о лекарствах и диете монгольского времени<sup>29</sup> и др.

Особого внимания заслуживают средневековые европейские источники – записки европейских путешественников и посланников к монгольским ханам<sup>30</sup>. Самые известные из них – сочинения Дж. Плано Карпини, Гильома Рубрука и Марко Поло. В них содержатся уникальные по своей детальности сведения о всех сторонах жизни монголов XIII в. Эти произведения неоднократно издавались и переиздавались, в том числе и в последние десятилетия<sup>31</sup>. Среди них особо следует выделить новый перевод сочинения Рубрука, выполненный П. Джексоном с введением и комментариями Джексона и Моргана<sup>32</sup>.

В целом, круг главных источников по истории империи Чингис-хана достаточно давно очерчен. Однако далеко не весь корпус данных введен в научный оборот. В последние десятилетия евро-

---

<sup>24</sup> Genghis Khan. The history of the World-Conqueror by ‘Ala ad-Din ‘Ata-Malik Juvaini / Transl. by J.A. Boyle. Manchester, 1997.

<sup>25</sup> *Djebli M.* Les invasions mongoles en Orient vecues par un savant medieval arabe. Paris, 1995.

<sup>26</sup> *Bedrosian R.* Kirakos Gandzakets’i’s history of the Armenians. New York, 1986.

<sup>27</sup> The Travels of Ibn Battuta, A.D. 1325–1354 / Transl. by H. Gibb, Vol. 1–5. Cambridge: 1958–2000.

<sup>28</sup> The King’s Dictionary: The Rasulid Hexaglot, Fourteenth-Century Vocabularies in Arabic, Persian, Turkic, Greek, Armenian and Mongol / P.B. Golden, ed., Leiden, 2000.

<sup>29</sup> *Hu Szu-hui.* A Soup for the Qan: Chinese Dietary Medicine of the Mongol Era As Seen in Hu Sihui’s Yinshan Zhengyao / Tr. P.D. Buell, E.N. Anderson. London, 2000.

<sup>30</sup> *de Rachewiltz I.* Papal Envoys to the Great Khanes. Stanford, 1972.

<sup>31</sup> Marco Polo. The Travels. Vol. 1–2 / Ed. and transl. H. Yule, H. Cordier. New York, 1992; The Travels of Marco Polo / Transl. of M. Komroff. New York, 2001; The Vinland Map and the Tartar Relation / Ed. by G. Painter et al. New haven; London, 1995; Plano Carpini G. The story of the Mongols whom we call the Tartars / Transl. by E. Hildinger. Boston, 1996; etc.

<sup>32</sup> The Mission of Friar William of Rubruck: His journey to the court of the Great Khan Möngke, 1253–1255 / Transl. by P. Jackson with introduction, notes and appendices by P. Jackson, D. Morgan. London, 1990.



пейское монголоведение дополнилось новыми переводами источников, а также продолжалась кропотливая работа по уточнению и дополнению уже имеющихся переводов на европейские языки. Необходимо продолжение этой работы и, в первую очередь, нужна кропотливая работа по введению в научный оборот династийных источников на китайском языке.

#### ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИМПЕРИИ И ЗАВОЕВАНИЙ МОНГОЛОВ

Монгольские завоевания нередко оцениваются в историографии терминами природных катаклизмов – шторм, ураган, буря и т.д. Практически во всех упомянутых выше обзорных работах, а также исследованиях по военному делу монголов дается подробное описание хода монгольских завоеваний. Кроме того, имеется еще ряд работ, специально посвященных тем или иным сюжетам, связанным с монгольским завоеванием в Азии и Европе<sup>33</sup>. Военные успехи монголов обычно объясняют разными причинами: слабость соседей, вследствие внутренних кризисов, способность родо-племенного общества мобилизовать большие массы людей для ведения войны, строгая дисциплина и хорошая военная организация, особенности вооружения и материально-технические возможности кочевников – большое количество лошадей, мобильность, отлаженная связь и т.д.

Практически во всех работах, посвященных завоеваниям Чингис-хана, этим вопросам уделено определенное количество страниц или даже глав. Однако специальных работ, посвященных вооружению и военному делу монголов, на самом деле не так много. Из них особенно следует выделить научно-популярный бестселлер Дж. Чамберса «Дьявольские всадники», в котором последовательно разобрано военное искусство монголов. Автор также отмечает, что ключ к успеху находился также в тщательном планировании войны и высокой выучке монгольских воинов<sup>34</sup>. В другой, недавно вышедшей книге Т. Мэя подробно рассмотрены все стороны, связанные с завоеваниями и военным делом монго-

---

<sup>33</sup> *Allsen T.* Prelude to the Western Campaigns: Mongol Military Operations in the Volga-Ural Region, 1217–1237 // *Archivum Eurasiae Medii Aevi*. Vol. 3. 1983; *Buell P.* Early Mongols expansion in Western Siberia and Turkestan (1207–1219): A reconstruction // *Central Asiatic Journal*. Vol. 36. 1992. N 1–2; *Zimony I.* The Volga Bulgars between wind and water (1220–1236) // *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*. Vol. 46. 1992/1993. P. 347–355; *Chan Hok-alm.* The fall of the Jurchen Chin; *Kennedy H.* Mongols, Huns and Vikings. Nomads at War. New York, 2002; etc.

<sup>34</sup> *Chambers J.* The devil's horsemen: The Mongol invasion of Europe. 2<sup>nd</sup> ed. London, 1988.

лов. Автор подробно разбирает порядок формирования и рекрутирования воинских подразделений, вооружение и способы тренировки, тактические приемы и стратегию войны, разведку, обман и хитрость, пропаганду и психологическое давление на противника<sup>35</sup>. Из этого ряда выбиваются оригинальные работы Дж. Смита, в которых он пытается показать, что монголы представляли собой не высоко обученную армию, а народ-войско. Главная причина их военных успехов заключается в количественном преобладании над противником<sup>36</sup>. Тот факт, что остановить монгольские армии удалось египетским мамлюкам, объясняет повышенный интерес к истории их противостояния<sup>37</sup>.

Не менее интригующий вопрос – причина образования империи Чингис-хана. Американский антрополог Дж. Флетчер со ссылкой на работы китайского историка Сяо Цицина полагал, что все теории, объяснявшие причины образования империй кочевников и их нашествия на Китай и другие земледельческие страны, могут быть сведены к семи следующим: 1) жадная и хищническая природа степняков; 2) климатические изменения; 3) перенаселение степи; 4) нежелание земледельцев торговать с кочевниками; 5) необходимость дополнительных источников существования; 6) потребность в создании надплеменного объединения кочевников; 7) психология кочевников – с одной стороны, стремление кочевников ощущать себя равными земледельцам и, с другой стороны, вера кочевников в данное им Небом – Тэнгри божественное предназначение покорить весь Мир<sup>38</sup>.

В той или иной степени, все перечисленные теории встречались в литературе нескольких последних десятилетий. Остановимся на некоторых, наиболее важных исследованиях. Говоря о внутренних причинах, необходимо вспомнить концепцию, согласно

---

<sup>35</sup> *May T.* The training of an Inner Asian nomad army in the pre-modern period // *Journal of military history*. Vol. 70. 2006. N 3. P. 617–636; *Idem.* The Mongol Art of War: Chinggis Khan and the Mongol Military System. Yardley, 2007; *Idem.* Genghis Khan's Secrets of Success // *Military History*. Vol. 24. 2007. N 5.

<sup>36</sup> *Smith M.Jr.* Mongol Manpower and Persian Population // *Journal of the Economic and Social History of the Orient*. Vol. 18. 1975. N 3. P. 271–299; *Idem.* Ayn Jalut: Mamluk Success or Mongol Failure? // *Harvard Journal of Asiatic Studies*. Vol. 44. 1984. N 2. P. 307–345.

<sup>37</sup> *Amitai-Preiss R.* Mongols and Mamluks. The Mamluk-Ikhanid war. 1260–1281. Cambridge, 1995.

<sup>38</sup> *Fletcher J.* The Mongols: ecological and social perspectives // *Harvard Journal of Asiatic Studies*, 1986. Vol. 46. № 1. P. 32–33; Эта работа была опубликована уже после безвременной кончины автора, но ее значимость для монголистики настолько высока, что мы решились на ее переиздание на русском языке: *Флетчер Дж.* Средневековые монголы: Экологические и социальные перспективы // *Монгольская империя и кочевой мир*. Вып. 1. Улан-Удэ, 2004.

которой обстоятельства возвышения монголов лежат в природе самого кочевого общества. Среди сторонников такого подхода, несомненно, выделяется Л. Крэдер, в течение многих лет отстаивавший мнение, что номады кочевники могли самостоятельно создавать рудиментарную государственность, их общество делилось на классы знати и народа («белая» и «черная» кость). Власть степных предводителей основывалась на клановой системе, генеалогической близости претендента к линии правителя, способностей степной аристократии контролировать внешнюю торговлю. Поскольку стратификация в обществе кочевников основывается на родословных связях, трудно отделить политические и родовые отношения. Такое государство, по мнению автора, можно было бы назвать родовым. Для кочевой государственности характерны слабая роль денег, отсутствие городов, существование вассалитета<sup>39</sup>. В работах 1970-х годов Крэдер стал еще больше уделять внимания значению внутренних факторов, сближаясь с позициями марксистских ученых<sup>40</sup>.

В исследованиях последних десятилетий наиболее последовательным защитником теории автономного развития номадов является Н. Ди Космо. Он считает, что кочевники всегда были в той или иной форме знакомы с земледелием<sup>41</sup>. В то же самое время появление кочевых держав было бы неверно рассматривать как «эволюционный» процесс. Это, скорее, процесс постепенного кумулятивного накопления политического опыта. Отправной точкой является структурный кризис внутри племенного общества. Кризис мог быть вызван различными экономическими, политическими и иными причинами. Первым шагом по выходу из кризиса является *милитаризация*, следствием которой является создание военно-иерархической структуры степного общества. Милитаризация параллельно дополняется появлением харизматического лидера и его *сакральной* легитимизации в качестве правителя. Все это приводит к концентрации им власти, а затем посредством организации *экспансии* и получения доходов создаются условия для создания государственности<sup>42</sup>.

Все вышеизложенное не вызывает возражений. История прихода к власти Чингис-хана вполне вписывается в такой вариант

---

<sup>39</sup> Krader L. Formation of the State. Englewood Cliffs, 1968. P. 83–103.

<sup>40</sup> Krader L. The Origin of the State among the Nomads of Asia // The Early State. The Hague, 1978; *Idem*. Pastoral Production and Society. Cambridge, 1979.

<sup>41</sup> Di Cosmo N. State Formation and Periodization in Inner Asian History // Journal of World History. 1999. Vol. 10. N 1. P. 12. Note 38.

<sup>42</sup> *Ibid*. P.15–26. Di Cosmo N. Ancient China and its Enemies: The Rise of Nomadic Power in East Asian History. Cambridge, 2002. P.167–196.

событий. Вопрос только в том, почему результат обязательно предполагал милитаризацию, но не интенсификацию экономики. Значит, потенциал внутреннего развития был все-таки ограничен. Как очень точно заметил по этому поводу Дж. Флетчер, кочевникам «с экологической точки зрения не требовалось общественной организации выше уровня племени. Всякий, претендующий на место надплеменного вождя, должен был заставить подчиняться себе высокоомобильное население, которое могло просто откочевать, проигнорировав, тем самым, претензии на власть. Племенные вожди не горели желанием потерять свою автономность, так чтобы властелин всей кочевой федерации мог править или облагать налогами их племена. В отличие от аграрных обществ, которые могли копить богатство и хранить его, степное общество покоилось на богатстве, состоящим из скота, которому были необходимы обширные пастбища и которое нельзя было концентрировать в едином центре власти. По этой же причине надплеменной правитель не мог содержать постоянную армию, которая была бы в его полном распоряжении»<sup>43</sup>.

Ряд исследователей развивали тезис о преемственности степных империй кочевников, отмечая при этом сходство основных черт политической организации (крылья, десятичная система), системы наследования, власти и идеологии (тителатура, обряд инаугурации, культ Тенгри) между хунну, тюрками и монголами. Эта концепция, в частности, подробно обосновывалась в работах известного турецкого историка Зеки Велиди Тогана<sup>44</sup>. Позднее схожие положения высказывались другими зарубежными учеными<sup>45</sup>, а также в отечественной историографии (особенно В.В. Трепавловым). В последние годы за концепцию преемственности высказался Д. Роджерс. Он считает, что через данный механизм можно объяснить динамику политических институтов в степях Монголии<sup>46</sup>.

Среди внешних факторов нередко упоминается природно-географическая среда. При этом необходимо иметь в виду, что современные палеогеографические данные не подтверждают жесткой корреляции глобальных периодов усыхания/увлажнения степи с временами упадка/расцвета кочевых империй. Г. Дженкинс по-

---

<sup>43</sup> *Fletcher J.* Op. Cit. P. 14.

<sup>44</sup> *Togan Z.V.* Cengiz Han. Istanbul, 1967.

<sup>45</sup> Подробнее см.: *Трепавлов В.В.* Традиции государственности в кочевых империях (очерк историографии) // *Mongolica: К 750-летию “Сокровенного сказания”*. М., 1993.

<sup>46</sup> *Rogers D.* The Contingencies of State Formation in Eastern Inner Asia // *Asian Perspectives*, 2007. Vol. 46. N 2; *Роджерс Д.* Причины формирования государств в восточной Внутренней Азии // *Монгольская империя и кочевой мир*. Вып. 3. Улан-Удэ, 2008.

лагает, что климат в это время существенно ухудшился. По его мнению, на 1175–1260 гг. на территории Монголии отмечается резкое понижение температуры. Это могло стать причиной объединения монголов<sup>47</sup>. Однако, по другим данным, период между 1120–1280 гг. пришелся на так называемый средневековый максимум среднегодовой температуры и солнечной активности<sup>48</sup>. По мнению А.М. Хазанова, начиная с VIII в. численность монголов стала резко увеличиваться. Это привело к тому, что к концу XII в. возникла кризисная ситуация вследствие нарушения экологического баланса между ресурсами и количеством скота и численностью населения. Неудивительно, что монголы были очень заинтересованы в получении у соседних народов не только продуктов питания, но и животных.<sup>49</sup>

Однако более важным было значение окружающего мира для обществ кочевников. Эти идеи восходят к концепции внешней границы О. Латтимаора. Впоследствии они были развиты А.М. Хазановым и С. Жагчидом, согласно которым ограниченность скотоводческого хозяйства предполагала необходимость установления тесных контактов с оседло-городскими обществами<sup>50</sup>. Кочевники могли получать недостающую продукцию земледельческого хозяйства и ремесла как посредством торговли и обмена, так и путем войны и грабежей. Для осуществления этих целей кочевники создавали большие степные империи. Позднее идеи об опосредованности степного политогенеза связями с земледельческим миром были развиты на материале древних и средневековых кочевников евразийских степей Т. Барфилдом, Дж. Флетчером и П. Голденом<sup>51</sup>.

---

<sup>47</sup> *Jenkins G.* A Note on Climatic Cycles and the Rise of Chinggis Khan // *Central Asiatic Journal*. Vol. 18. N 4. P. 217–226.

<sup>48</sup> *Turchin P., Hall T.* Spatial Synchrony Among and Within World-Systems: Insights From Theoretical Ecology // *Journal of World-System Research*. Vol. IX. 2003. N 1. P.50.

<sup>49</sup> *Khazanov A.M.* The Origin of Genghis Khan's State: An Anthropological Approach // *Etnografija Polska*. 1980. Vol. 24. N 1. P. 29–39; *Хазанов А.М.* Кочевники и внешний мир. Алматы, 2002. С. 371–372.

<sup>50</sup> *Khazanov A.M.* Nomads and the Outside World. Cambridge, 1984; 2<sup>nd</sup> ed. Madison, WI, 1994; *Хазанов А.М.* Кочевники и внешний мир. 3-е изд. Алматы, 2000; *Крадин Н.Н.* Рец. на: *Хазанов А.М.* Кочевники и внешний мир // *Восток*. 2004. № 1. С. 192–194; *Jagchid S., Symons V.J.* Peace, War and Trade along the Great Wall. Bloomington, 1989.

<sup>51</sup> *Barfield T.* The Hsiung-nu Imperial Confederacy: Organization and Foreign Policy // *Journal of Asian Studies*. 1981. Vol. XLI. N 1; *Fletcher J.* Op. Cit.; *Golden P.B.* An Introduction to the History of the Turkic Peoples: Ethnogenesis and State Formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East. Wiesbaden, 1992; *Idem.* Ethnicity and State Formation in Pre-Çinggisid Turkic Eurasia. Bloomington: IN, 2001.

В другой книге Жагчида, написанной совместно с П. Хайером, последовательно рассмотрены основные стороны культуры монголов – скотоводческая экономика, семейно-родственные отношения, социально-политическая структура, религия, искусство, письменность<sup>52</sup>. Важное значение для понимания природы монгольского общества имеет изучение социальной терминологии, которая содержится в «Монголын нууц товчоо».<sup>53</sup> К проблеме повседневной жизни монголов обратился также Дж. Лэйн<sup>54</sup>.

Большой интерес представляет книга Т. Барфилда «Опасная граница»<sup>55</sup>, в которой он суммировал взгляды предшественников и, отвергая диффузионистские интерпретации заимствования номадами государства у земледельцев, показал, что степень централизации степного общества была прямо связана с уровнем политической интеграции оседлого земледельческого общества. Империя Хань и держава Хунну появились в течение одного десятилетия. Тюркский каганат возник как раз в то время, когда Китай был объединен под властью династий Суй, а затем Тан. Когда в Китае начинались смуты и экономический кризис, система дистанционной эксплуатации кочевников переставала работать и имперская конфедерация разваливалась на отдельные племена до тех пор, пока не восстанавливались мир и порядок на юге. Концепция была критически воспринята китаистами по причине отсутствия у автора соответствующей лингвистической подготовки<sup>56</sup>.

---

<sup>52</sup> *Jagchid S., Hyer P. Mongolian Culture and Society. Boudler, 1979.*

<sup>53</sup> *Hesse K. Zur Selbstkonzeption der sozialen Stratifikation der Mongolen in der Genealogie der Geheimen Geschichte (Mongqol-un ni'uca tobča'an) // Central Asiatic Journal. Vol. 29. 1985. N 1–2.*

<sup>54</sup> *Lane G. Daily life in the Mongol empire. London, 2006. etc.*

<sup>55</sup> *Barfield T.J. The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China. Cambridge 1989; etc.; 2<sup>nd</sup> ed. 1992; Барфилд Т. Мир кочевников скотоводов // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М., 2002.*

<sup>56</sup> *Dunnell R. Review of: Barfield T. The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China (1989) // The Journal of Asian Studies. 1991. Vol. 50. N 1–2; Wright D. Wealth and War in Sino-nomadic Relations // The Tsing Hua Journal of Chinese Studies. N.s. Vol. 25. 1995. N 3. В продолжение данной полемики следует заметить, что этот спор имеет давнюю историю. Достаточно напомнить полемические выпады В.В. Бартольда против Г.Г. Грумм-Гржимайло еще на заре XX в. или позднее критику работ Л.Н. Гумилева со стороны советских востоковедов. Несомненно, хорошее владение китайским языком было бы полезно для специалиста в области кочевников Внутренней Азии. Однако в силу существующего разделения наук это очень трудно. По той же причине востоковеды, как правило, имеют менее глубокие знания в области археологии и этнографии. В идеале было бы хорошо иметь исследователей с одинаково высокой подготовкой в области языков, этнографии и археологии. Даже среди самих историков, занимающихся изучением средневековых монголов, фактически присутствует специализация в зависимости от языков, которыми они владеют (см. *Jackson P. The Mongol Empire. P. 190, etc.*).*

Однако глубокие этнографические знания и серьезный теоретический анализ делают эту работу одним из наиболее важных кочевниковедческих исследований последней четверти XX столетия.

Империя Чингис-хана не вписывается в красивую схему Барфилда, поскольку ее создание пришлось не на период подъема чжурчжэньской династии Цзинь, а на годы кризиса. Сам Барфилд интерпретировал данное обстоятельство следующим образом: «Победа Чингис-хана демонстрирует, что модель, которую мы представили, является вероятностной, а не детерминистской»<sup>57</sup>. «Чем больше я изучал истоки Монгольской империи, тем больше у меня складывалось мнение, что Чингис-хан играл более великую персональную роль, чем любой другой лидер в Монголии до или после. Я готов зайти дальше, утверждая, что если бы Чингис-хан был бы уничтожен или убит до 1206 г., в Монголии не появилась бы такая мировая кочевая империя... Когда большой дуб возвышается на земле, легко забыть, что он начинал свое существование желудем, желудем который могла съесть любая белка. И когда родился Чингис-хан, было очень мало желудей, но много голодных белок. Так как больше внимания обычно уделяется великим монгольским завоеваниям после 1206 г., обычно недооценивают, какими значительными были приход Чингис-хана к власти, объединение Монголии и создание могущественной империи»<sup>58</sup>. Впрочем, такой подход разделяется далеко не всеми. И. Тоган полагает, что если бы Чингис-хана не было, на его месте оказался бы какой-то другой вождь из татар, керейтов, найманов и др.<sup>59</sup>

#### ПРИРОДА МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ

В наши дни интерес к истории монголов отчасти был спровоцирован важной круглой датой – в 2006 г. исполнилось 800 лет с момента провозглашения империи Чингис-хана. В связи с этим только за несколько первых лет уже нового тысячелетия появилось большое количество переизданий работ прошлых лет, активизировались научные исследования в данной области, были проведены несколько конференций в разных странах мира, опубликованы их материалы, тема привлекла внимание журналистов и литераторов,

---

<sup>57</sup> *Barfield T.J.* The Perilous Frontier. P. 15; *Idem.* Something New Under the Sun: The Mongol Empire's Innovations in Steppe Political Organization and Military Strategy // *Chinggis Khaan and Contemporary Era.* Ulaanbaatar, 2003.

<sup>58</sup> *Барфилд Т.* Монгольская модель кочевой империи // *Монгольская империя и кочевой мир.* Вып. 1. Улан-Удэ, 2004. С. 268.

<sup>59</sup> *Togan I.* Flexibility and limitation in Steppe Formations: The Kerait Khanate and Chinggis Khan. Leiden, 1998.

занимающихся популяризацией науки<sup>60</sup>. В 2006 г. в Улан-Баторе состоялся IX конгресс монголоведов, главным направлением которого избрана тема: “Монгольская государственность: прошлое и настоящее”.

Данная тематика не была особенно популярной для англоязычной литературы. Однако в последние десятилетия в англоязычной литературе она стала активно обсуждаться. Выходец из Монголии Б.-О. Болд в книге «Монгольское кочевое общество» попытался пересмотреть взгляд на монгольское общество указанной эпохи как феодальное, совершенно справедливо указывая, что расширительное толкование феодализма от Атлантики до Пасифики делает это понятие бессмысленным. Автор совершенно справедливо пишет, что война была для кочевников жизненно важным способом получения продукции земледелия и ремесла (напрямую через грабеж или дань или опосредованно через требование открыть пограничные рынки), в отличие от войн в земледельческих обществах, которые велись не ради выживания, а с другими целями. По этой причине автор предлагает именовать государства кочевников «агрессивными». Однако Болд полемизирует в основном с монгольскими и советскими учеными эпохи господства марксизма. С современными исследованиями российских авторов, выполненными в иной методологической парадигме, автор не знаком. Вне его внимания оказались и теоретические работы современных западных кочевниковедов<sup>61</sup>.

Однако наибольшую полемику в последние годы вызвала работа Д. Снита «Безголовое государство»<sup>62</sup>. Стержневая идея книги – отсутствие родо-племенной организации в обществах монгольских кочевников. Автор не обнаружил этой организации в ходе собственных полевых этнографических исследований у современных монголов и полагает, что подобной системы не существовало и в средние века. Более того, Снит считает, что термины «род» и «племя» – это выдумка политически ангажированных этнографов XIX и XX вв. При этом для критики используется странный способ: создается заведомо гротескная примитивистская модель, а потом она убедительно свергается с пьедестала (в этом Снис продолжает «печальную» традицию некоторых других работ). И это выглядит для читателя очень убедительно. Автор упорно пытается доказать,

---

<sup>60</sup> Груссэ Р. Чингисхан: Покоритель Вселенной. М., 2000; Чингисхан и судьбы народов Евразии. Улан-Удэ, 2003; Chinggis Khaan and Contemporary Era. Ulaanbaatar, 2003; Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004; Храпачевский Р.П. Военная держава Чингисхана. М., 2005 и др.

<sup>61</sup> Bold B.-O. Mongolian nomadic society: A Reconstruction of the “Medieval” History of Mongolia. New York etc.: Curson, 2001.

<sup>62</sup> Sneath D. The Headless State: Aristocratic Orders, Kinship Society, and the Misrepresentation of Nomadic Inner Asia. New York, 2007.



что антропологи специально придумали термины «род», «племя» и «вождество», чтобы доказать примитивность, отсталость кочевых народов евразийских степей. Что же предлагает Снит взамен обветшалых теорий предшественников? Он вводит термины «аристократическое общество» и «безголовое государство» (headless state). Правда, при этом он обходится без особой аргументации и обещает раскрыть эти понятия в будущем.

Книге Снита в англоязычных изданиях было посвящено несколько критических рецензий, написанных авторитетными специалистами в области кочевниковедения<sup>63</sup>. Во всех отзывах содержатся примерно одинаковые замечания: карикатурный образ «колониального» антрополога прошлого в книге Снита, чрезмерно искаженное понимание дефиниции «племени», антиисторизм взглядов на древние и средневековые кочевые общества, отсутствие реального описания так называемого «аристократического порядка», абсурдность применения к кочевым империям термина «безголовое государство».

Действительно, более неудачный термин трудно было бы изобрести. Можно дискутировать относительно того, можно ли считать кочевые империи государством или нет, но считать степные державы лишенными единоначалия, т.е. головы – это нонсенс. Снит пытается сконструировать альтернативную концепцию «аристократического общества» у кочевников. В реальности получается, что для него нет разницы между средневековыми аристократами Европы и Внутренней Азии. Это шаг назад, который много лет ранее совершили советские марксисты 1930-х годов, подгоняя номадов под модель феодального способа производства. Тогда из-за стремления выявить общие универсалии исторического процесса были нивелированы особенности различных типов раннесредневековых обществ<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Среди рецензентов П. Голден (Journal of Asian Studies. Vol. 68. 2009. N 1. P. 293–296), Т. Барфилд (Comparative Studies in Society and History. 2009. N 4. P. 942–943), А.М. Хазанов (Social evolution and History. 2010. N 2. P. 206–208). На отзыв П. Голдена Снит откликнулся полемическим откликом (Journal of Asian Studies. Vol. 69. 2010. N 2. P. 658–660), на который Голден ответил аргументированным ответом (Там же. P. 660–663). Журнал «Ab Imperio» (2009. № 4. P. 80–175) посвятил специальную подборку статей для обсуждения концепции Д. Снита, включая и нашу критическую статью. *Kradin N.N., Skrynnikova T.D.* «Stateless Head»: Notes on Revisionism in the Studies of Nomadic Societies // Ab Imperio. 2009. № 4. См. также: *Kradin N.N.* Review on the «The Headless State: Aristocratic Orders, Kinship Society, and Misrepresentations of Nomadic Inner Asia» by D. Sneath (New York, 2007) // Asian Perspectives. Vol. 51. 2012. N. 1.

<sup>64</sup> Подробнее см.: *Крадин Н.Н.* Кочевые общества. Владивосток, 1992; *Он же.* Кочевники Евразии. Алматы, 2007.

Созданная монголами империя представляла собой уникальный опыт соединения традиционных степных механизмов управления и административных институтов оседло-городских обществ. В книге К. Хессе показана динамика политических институтов монгольского общества<sup>65</sup>. Однако одно из наиболее крупных исследований по этой теме – монография Т. Олсона «Монгольский империализм». Блестящее владение китайскими и персидскими источниками, хорошее знание нескольких европейских языков и основной литературы дали возможность провести комплексное изучение формирования основных институтов монгольской империи и ее расцвета в период правления хагана Мункэ. Олсон последовательно показывает основные механизмы и инструменты централизации власти: создание системы личной зависимости правителей покоренных владений, проведения переписи, сбор дани и формирование налоговой системы, мобилизация трудовых ресурсов, формирование инфраструктуры империи (ямская служба, баскаки и т.д.)<sup>66</sup>.

По причине отсутствия бюрократического корпуса важное место в структуре управления монгольской империи играли дружинники (кешиктены). Их роль подробно рассмотрена в монографии Сяо Цицина. Положение дружинников основывалось на личностных связях с правителем и это сильно отличалось от традиционного китайского способа рекрутирования управленческого аппарата<sup>67</sup>. Впрочем, «иногда нукерские связи становились отчасти формализованными вследствие присвоения титулов, порожденных китайскими институтами, но эти титулы во многих случаях не представляют ничего большего, чем пустое слово»<sup>68</sup>. Следует также отметить книгу Г. Франке о сакрализации власти Чингис-хана. Работа интересна сопоставлением различных обра-

---

<sup>65</sup> Hesse K. Abstammung, Weiderrecht und Abgabe. Zum Problem der konsanguinal-politischen Organization der mongolen des 13. bis zum 17. Jahrhundert. Berlin, 1982.

<sup>66</sup> Allsen T. Mongol Imperialism: The policies of the Grand Qan Monke in China, Russia and the Islamic lands. 1251–1259. Berkeley; Los Angeles, 1987; *Idem*. Spiritual Geography and Political Legitimacy in the Eastern Steppe // Ideology and the Formation of Early States. Leiden, 1996; *Idem*. Technologies of Governance in the Mongolian Empire: A Geographic Overview // Imperial Statecraft: Political Forms and Techniques of Governance in Inner Asia, Six – Twentieth Centuries. Cambridge, 2006.

<sup>67</sup> Hsiao Ch'i-ch'ing. The Military Establishment of the Yüan Dynasty. Cambridge; Mass, 1978; см. также: Atwood Ch. Ulus Emirs, Keshig Elders, Signatures, and Marriage Partners: The Evolution of a Classic Mongol Institution // Imperial Statecraft: Political Forms and Techniques of Governance in Inner Asia, Six – Twentieth Centuries.

<sup>68</sup> Franke H. The Role of the state as a structural element in polyethnic societies // Foundation and Limits of State Power in China. London, 1981. P. 97.

зов основателя монгольской империи, сформированных в китайских, монгольских и буддистских источниках<sup>69</sup>.

Значительное место занимают труды, посвященные религиозным воззрениям монголов и идеологии их империи. При этом большее внимание уделялось традиционным шаманистским культам, концепции Вечного Неба<sup>70</sup>. Кроме того, есть работы о роли колдовства и предсказаниях астрологов<sup>71</sup>. Однако необходимо помнить, что Чингис-хан воспринимал Небо не как божественную данность, а как способ умножения своей личной силы. Предметом дискуссии стал также вопрос, когда монголы выработали мессианскую доктрину покорения Мира: в доимперский период, в процессе завоеваний или подобная идеология была характерна для степных империй всегда<sup>72</sup>. Определенный вклад был внесен в обсуждение вопроса о природе монгольской религиозной терпимости. Удалось установить, что это было обусловлено многими факторами: наличием у монголов представлений о Небесном мандате на завоевание мира, отсутствием стратегического интереса к мировым религиям, личными мотивами монгольских правителей, стремлением разобщить политические элиты различных вероисповеданий<sup>73</sup>. При этом, пока империя была объединена, монгольская

---

<sup>69</sup> Franke H. From Tribal Chieftain to Universal Emperor and God. The Legitimation of the Yuan Dynasty. München, 1978.

<sup>70</sup> de Rachewiltz I. Some Remarks on the Ideological Foundations of Chingis Khan's Empire // Papers on Far Eastern History. Vol. 7. 1973. P. 21–26; Sagaster K. Herrschaftsideologie und Friedensgedanke bei den Mongolen // Central Asiatic Journal. Vol. 17. 1973. P. 223–242; Golden P.B. Imperial Ideology and the Sources of Political Unity amongst the Pre-Cinggisid Nomads of Western Eurasia // Archivum Eurasiae Medii Aevi. Vol. II. 1982. P. 37–76; Roux J.-P. La religion des Turcs et des Mongols. Paris, 1984; Khazanov A.M. The spread of world religions in medieval nomadic societies of the Eurasian steppes // Nomadic diplomacy, destruction and religion from the Pacific to the Adriatic (Toronto Studies in Central and Inner Asia. Vol. 1). Toronto, 1994; Idem. Muhammad and Jengiz Khan Compared: The Religious Factor in World Empire Building // Comparative Studies in Society and History. 1993. Vol. 53. N 3; etc.

<sup>71</sup> Endicott-West E. Notes on shamanism, fortune-tellers and Yin-Yang practitioners and civil administration in Yuan China // The Mongol empire and its legacy. Leiden, 1999. P. 240–249.

<sup>72</sup> Beffa M.-L. Le concept de tänggäri, «ciel», dans l'Historie Secrete des Mongols // Etudes Mongoles et Siberiennes. Vol. 24. Paris, 1993; Smitt J.M., Jr. The Mongols and world-conquest // Mongolica: An international annual of Mongolian studies. 1995. Vol. 5. P. 206–214; Morgan D. The Mongols and the eastern Mediterranean // Latins and Greeks in the eastern Mediterranean after 1204. London, 1999; Amitai-Preiss R. Mongol imperial ideology and the Ilkhan war against the Mamluks // The Mongol empire and its legacy. P. 57–72; etc.

<sup>73</sup> Foltz R. Ecumenical mischief under the Mongols // Central Asiatic Journal. Vol. 43. 1999. N 1.

элита уверенно справлялась с многообразием религиозных воззрений подвластных народов. Лишь после ослабления монгольских государств мировые религии стали важным фактором политического господства на завоеванных территориях.

Дж. Флетчер во введении к своей знаменитой статье задавался вопросом, почему монголы приняли ислам, но не стали в завоеванных странах конфуцианцами, буддистами или христианами. Его главный вывод и сейчас не вызывает возражений: ислам – это религия воинов и торговцев, она более приемлема для кочевников<sup>74</sup>. В более поздних исследованиях проблема обращения монголов в ислам на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Золотой Орде исследована более подробно<sup>75</sup>. В то же самое время современные данные выявляют новые обстоятельства неприятия монголами христианства. Все более важное место занимает изучение роли буддизма для монголов, в том числе и в связи с последующей ламаизацией Халха-Монголии<sup>76</sup>. Есть мнение, что на выбор той или иной религии могло оказать влияние стремление монгольской элиты сформировать общую идентичность с завоеванным населением и/или подчеркнуть свою идеологическую независимость от других монгольских ханств<sup>77</sup>. Так или иначе, принятие монголами мировых религий способствовало развитию аккультурационных процессов сначала среди элиты, а затем и проникновению культурных заимствований из оседло-земледельческого мира в степную среду.

Серьезные достижения были сделаны в изучении монгольского средневекового права. Традиционно принято считать, что наиболее подробные сведения о составе Ясы Чингис-хана содержатся в трактате египетского писателя XV в. ал-Макризи. Именно у него черпали информацию о составе Ясы все интерпретаторы

---

<sup>74</sup> Флетчер Дж. Средневековые монголы: экологические и социальные перспективы. С. 212, 243–245.

<sup>75</sup> Vasary I. History and legend in Berke Khan's conversion to Islam // Aspects of Altaic Civilization III. Proceedings of the XXXth Permanent International Altaistic Conference / Ed. D. Sinor. Bloomington, IN, 1990; De Weese D. Islamization and Native Religion in the Golden Horde. University Park, PA, 1994; Amitai-Preiss R. Ghazan, Islam and Mongol tradition: A view from the Mamluk Sultanate // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. University of London. Vol. 59. 1996. N 1; Idem. Sufis and Shamans: some remarks on the Islamization of the Mongols in the Ilkhanate // Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol. 42. 1999. N 1.

<sup>76</sup> Мэй Т. Монголы и мировые религии в XIII веке // Монгольская империя и кочевой мир. Вып. 1; Коллмар-Пауленц К. Новый взгляд на религиозную идентичность монголов // Там же.

<sup>77</sup> Biran M. The Mongol Empire: The State of Research. P. 1025.

от П. де да Круа до В.Я. Рязановского и Г.В. Вернадского. Д. Айалон убедительно показал, что все сведения о Ясе вымысел автора. Ал-Макризи стремился опорочить правительство мамлюков и с этой целью пытался показать, что они включили монгольские юридические нормы в свои законы<sup>78</sup>. Выводы Айалона были также поддержаны и развиты Д. Морганом и Д. Эгль<sup>79</sup>.

И. де Рахевильц полагает, что Яса существовала как устный свод запретов и правил, в который было запрещено вносить изменения. Есть серьезные основания полагать, что текст Ясы был записан еще при его жизни. Однако Яса не представляла собой четко разработанного юридического кодекса, скорее это была компиляция различных установлений, правил и табу, установленных Чингис-ханом с некоторыми дополнениями в правление Угедея. Текст Ясы не сохранился, однако многие сюжеты известны в пересказе других средневековых источников. С течением времени значение Ясы упало вследствие разделения Монгольской империи на несколько самостоятельных частей, в которых определяющую роль имели местные юридические традиции<sup>80</sup>.

Ясой также занимался П. Рачневский. Он полагал, что при Чингис-хане так называемая Яса представляла собой совокупность записей различных изречений и распоряжений хана, высказанных по разным поводам и в течение длительного периода времени. Эти изречения нельзя считать юридическим документом систематического характера<sup>81</sup>. Рачневский также выполнил большую работу по введению в научный оборот юридических источников империи Юань из «Да Юань тунчжи» («Всеобщие законы великой династии Юань»)<sup>82</sup>.

---

<sup>78</sup> *Ayala D.* The Great Yasa of Chinggis khan. A Reexamination (Part's A, B. Ca, C2) // *Studia Islamica*. Vol. 33. 1971. P. 97–140; 1971. Vol. 34. P. 151–180; 1972. Vol. 36. P. 113–158; 1973. Vol. 38. P. 107–156.

<sup>79</sup> *Morgan D.* The «Great Yasa of Chingiz Khan and Mongol law in the Ilkhanate // *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London*. 1986. P. 163–176; *Idem.* The «Great Yasa of Chinggis Khan» Revisited // *Mongols, Turks, and Others: Eurasian Nomads and the Sedentary World*. Leiden; Boston, 2005; *Aigle D.* Le grand yasa de Gengis Khan, L'empire, la culture mongole et la charia // *Journal of the Economic and Social History of the Orient*. 2004. Vol. 47. N 1. P. 31–79; *Эль Д.* Великая яса Чингис-хана, монгольская империя и шариат // *Монгольская империя и кочевой мир*. Вып. 1.

<sup>80</sup> *de Rachewiltz I.* Some reflection on Činggis Qan's *Yasay* // *East Asian History*. Vol. 6. 1993. P. 91–104.

<sup>81</sup> *Ratchnevsky P.* Die Yasa (Jasaq) Cinggis-khans und ihre Problematik // *Schriften zur Geschichte und Kultur des alten Orients*. Bd. 5 (Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Volker). Berlin, 1974. S. 164–172; *Idem.* Cinggis-khan: Sein Leben und Wirken. S. 164–165.

<sup>82</sup> *Ratchnevsky P.* Un Code des Yuan. Vol. 1–4. Paris, 1937, 1972, 1977, 1985.

В последние два-три десятилетия активизировалась работа по изучению монгольских режимов в завоеванных обществах, а также отношениях монголов с соседними цивилизациями. Эта работа сопровождается введением в научный оборот новых источников на китайском, арабском и персидском языках.<sup>83</sup> Среди них, несомненно, особого внимания заслуживает история династии Юань. Из множества работ в этой области необходимо выделить фундаментальные исследования Г. Франке, посвященные различным аспектам политики монголов в Китае. Он акцентирует внимание на соотношении китайской номенклатурной терминологии и различных племенных наименований киданей, чжурчженей и монголов, формирование специальных институтов для усиления персональной власти правителей (например, кешиктенов у монголов) или контроля над завоеванными народами, наличие трайбалистских элементов и этнической дискриминации в пользу титульной нации в государственном аппарате, опыт использования дуальной системы управления отдельно для кочевников и земледельцев и т.д.<sup>84</sup> В начале 1990-х годов был опубликован сборник его работ, в который вошли многие ранее изданные труды<sup>85</sup>.

Следует также отметить роскошное собрание биографий государственных деятелей юаньской династии, составленное на основе данных исторических хроник<sup>86</sup>. Важное значение имеет также сводка данных Д. Фарквара по административным учреждениям империи Юань, а также книга об управлении монголами Китаем на местном уровне. В этих работах вводится в оборот большой пласт ранее неизвестных источников<sup>87</sup>. Заслуживает внимания и большая работа по изучению кодекса законов династии Юань<sup>88</sup>.

---

<sup>83</sup> The Mongol Empire and its Legacy / Ed. by R. Amitai-Press and D. Morgan. London etc., 1999; Mongols, Turks, and Others: Eurasian Nomads and the Sedentary World / Ed. by R. Amitai-Press and M. Biran. Leiden, 2005; Beyond the Legacy of Genghis Khan / Ed. by L. Komaroff. Leiden, 2006; etc.

<sup>84</sup> Franke H. From Tribal Chieftain to Universal Emperor and God.; *Idem*. The Role of the state as a structural element in polyethnic societies; etc.

<sup>85</sup> Franke H. China under Mongol Rule. Aldershot, 1994.

<sup>86</sup> In the Service of the Khan: Eminent Personalities of the early Mongol-Yuan Period (1200–1300) / Ed. by I. de Rachewiltz, Chan Hok-lam, Hsiao Ch'i-ch'ing, P.W. Geier. Wiesbaden, 1993. Хорошим источниковедческим дополнением к этой работе является труд Ф. Рыбацки: *Rybatzki V. Die Personennamen und Titel der Mittelmongolischen Dokumente: Eine lexikalische Untersuchung. Helsinki 2006.*

<sup>87</sup> *Endicott-West E. Mongolian Rule in China. Local Administration in the Yuan Dynasty. Cambridge, 1989; Farquar D. The government of China under Mongolian Rule. A reference guide. Stuttgart, 1990.*

<sup>88</sup> *Ch'en Heng-chao P. Chinese Legal Tradition under the Mongols, the Code of 1291 as Reconstructed. Princeton, N.J., 1979.*

Непревзойденным образцом исторической биографии остается книга М. Россابي о Хубилае. Автор использовал разнообразный круг источников, вследствие чего ему удалось преодолеть сухость китайских династийных хроник и нарисовать живой образ императора. В интерпретации Россابي Хубилай предстает не только как завоеватель, но и мудрый правитель, покровитель торговли, наук и искусств. Большое внимание уделено описанию процессов аккультурации номадов в Китае, выявлению ошибок монголов в управлении Поднебесной<sup>89</sup>.

Спорной остается оценка монгольского присутствия в Китае. Одни авторы склонны характеризовать правление Юаней как период ужесточения, в сравнении с автохтонными династиями. Даже расцвет китайской национальной культуры объясняется тем, что завоеватели неохотно привлекали конфуцианцев к управлению. По этой причине многие из представителей китайской интеллектуальной элиты обратились к литературе, искусству, наукам. По мнению других, ситуация не была столь однозначна. Несмотря на сокращение численности населения, успешно развивалась экономика, императоры покровительствовали литературе и живописи<sup>90</sup>.

Монголы в силу своей малочисленности не смогли противодействовать аккультурационным процессам. Армия теряла свою боеспособность из-за необходимости вести оседлый образ жизни. Воины активно брали в жены китайок, развивался бикультурализм. Численность монголов вместе с сэму в официальных учреждениях никогда не составляла более трети. Квоты поддерживались искусственно. Когда была реанимирована система экзаменов на должность, для монголов и сэму также были введены облегченные испытания. Некоторые китайцы в ответ овладевали языком завоевателей и принимали монгольские имена<sup>91</sup>.

В определенной степени итог изучения деятельности монголов на Ближнем Востоке был подведен в «Кембриджской истории Ирана»<sup>92</sup>. Однако в последние десятилетия были выполнены новые исследования. Большое внимание монгольским завоеваниям и их политике в Иране было уделено в книге Д. Моргана «Средневековая Персия»<sup>93</sup>. Исследования показывают более сложные оценки

<sup>89</sup> *Rossabi M. Khubilai Khan. His Life and Times. Berkeley etc., 1988.*

<sup>90</sup> *China under Mongol Rule / Ed. by J.D. Langlois. Princeton, 1981.*

<sup>91</sup> *Dardess J. Conquerors and Confucians: Aspects of Political Change in Late Yüan China. New York; London, 1973.*

<sup>92</sup> *The Cambridge History of Iran. Vol. 5. The Saljuq and Mongol periods / Ed. J.A. Boyle. Cambridge, 1968.* Не так давно вышла новая обобщающая книга – «Кембриджская история Внутренней Азии. Время Чингизидов».

<sup>93</sup> *Morgan D. Medieval Persia 1040–1797. London, 1988.*

монгольского завоевания. Несмотря на жестокость монголов в Средней Азии и на Ближнем Востоке, степень разрушительности их завоеваний оказалась несколько преувеличенной. Быстро восстановилась городская жизнь, торговля. Развивалось виноградарство, шелководство, ткачество. Наличие больших степных пространств позволило сохранить кочевой образ жизни. Завоеватели со временем приняли ислам, диванную систему управления и вписались в традиционную для этих регионов модель взаимоотношений «номады – земледельцы», а время правления ильханов некоторыми авторами расценивается как «персидский Ренессанс»<sup>94</sup>. Последнему периоду государства ильханов посвящена книга Ч. Мелвила<sup>95</sup>. Разноязычные источники позволили М. Биран дать превосходный анализ режиму Чагатаидов при внуке Чингис-хана Хайду – времени, когда улус стал фактически независимым от метрополии степной империи<sup>96</sup>.

Особое место занимает вопрос о монгольских завоеваниях на Руси. Ч. Гальперин убедительно показал, что политика монголов в древнерусских княжествах принципиально отличалась от их отношений с народами Средней Азии и Ближнего Востока. Монголы кочевали по левобережью Волги. Это позволяло ханам Золотой Орды контролировать ситуацию на Руси, не прибегая к необходимости размещения больших гарнизонов в покоренной стране. Поскольку основные геополитические интересы джучидов были сосредоточены вокруг так называемого северного шелкового пути (Хорезм, Поволжье, Причерноморье), их устраивала политика косвенного управления через институт ярлыков<sup>97</sup>.

Гораздо труднее было с осознанием факта политического господства монголов. В Китае они вписались в классическую схему смены династий вследствие нарушения предыдущим императором Мандата Неба, а в мусульманском мире – в традиционную исламскую модель государственности. В православной концепции

---

<sup>94</sup> *Lambton A.K.S. Continuity and Change in Medieval Persia: Aspects of Administrative, Economic and Social History. 11<sup>th</sup>–14<sup>th</sup> Century. New York; London, 1988; The Court of the Il-Khans, 1290–1340 / Eds. J. Raby, T. Fitzherbert. Oxford, 1996; L'Iran face à la domination mongole / Ed. D. Aigle. Tehran, 1997; Lane G. Early Mongol rule in thirteenth-century Iran: A Persian renaissance. London, 2003; Broadbridge A. Kingship and Ideology in the Islamic and Mongol Worlds. Cambridge, 2008.*

<sup>95</sup> *Melville Ch. The fall of Amir Chupan and the decline of the Ilkhanate. 1327–37. A decade of discord in Mongol Iran. Bloomington, IN, 1999.*

<sup>96</sup> *Biran M. Qaidu and the Rise of the Independent Mongol State in Central Asia. Richmond, 1997.*

<sup>97</sup> *Halperin Ch. Russia and the Mongol Empire in comparative perspective // Harvard Journal of Asiatic Studies. 1983. Vol. 43. N 1–2; Idem. Russia and the Golden Horde. Bloomington, 1985.*



Мироздания не нашлось места для обоснования подчинения славян «нехристям» монголам. Признавался факт военного поражения, но отрицалось завоевание и включение русских княжеств в состав Монгольской империи<sup>98</sup>. Косвенное отражение этого можно найти в нездоровом ажиотаже вокруг полемики о «татаро-монгольском иге» в современной российской историографии и даже в школьных и вузовских учебниках<sup>99</sup>. В других исследованиях прослеживается влияние монголов на Русь. Номады заложили основу для последующего возвышения Московского царства, которое выступало как преемник Золотой Орды. Можно проследить заимствование канцелярии, дипломатического и придворного этикета, ямской службы, некоторых административных и военных институтов. Русские князья использовали принципы военного строительства, стратегию и тактику степняков вплоть до появления огнестрельного оружия. В целом, монгольское влияние оказалось большим, чем воздействие кочевников на китайскую или мусульманскую культуру<sup>100</sup>.

Ряд работ посвящены монгольским походам в Европу и отношениям с Западом<sup>101</sup>. Особенное внимание заслуживает недавно вышедшая работа П. Джексона, основанная на широком комплексе разноязычных источников и вторичной литературы. В книге подробно рассматриваются монгольские походы на Запад, описание путешествий миссионеров в степь, представления европейцев о монголах и их империи<sup>102</sup>.

#### МОНГОЛЬСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ВЛИЯНИЕ МОНГОЛОВ НА ИСТОРИЮ

Большое внимание в исследованиях последней четверти XX в. и в начале миллениума было уделено оценке влияния монголов на исторический процесс. В 1989 г. Ж. Абу-Луход выпустила книгу

---

<sup>98</sup> *Halperin Ch.* Russia and the Golden Horde P. 65–74.

<sup>99</sup> *Halperin Ch.* Omissions of national memory: Russian historiography on the Golden Horde as Politics of Inclusion and Exclusion // *Ab Imperio*. 2004. N 3.

<sup>100</sup> *Halperin Ch.* The Tatar yoke. Columbus, OH, 1986; *Dewey H.W.* Russia's debt to the Mongols in suretyship and collective responsibility // *Comparative studies in society and history*. 1988. Vol. 30. N 2; *de Hartog L.* Russia and the Mongol yoke 1221–1502. London, 1996; *Ostrowski D.* Muscovy and the Mongols: Cross-cultural influences on the steppe frontier. 1304–1589. Cambridge, 1998.

<sup>101</sup> *Bezzola A.G.* Die Mongolen in abendländischer Sicht (1220–1270). Ein Beitrag zur Frage der Völkerbegegnungen. Bern; 1974; *Klopprogge A.* Ursprung und Ausprägung des abendländischen Mongolenbildes im 13. Jahrhundert. Ein Versuch zur Ideengeschichte des Mittelalters. Wiesbaden, 1993; *Ruotsala A.* The Crusaders and the Mongols. The Case of the First Crusade of Louis IX (1248–1254) // *Medieval History Writing and Crusading Ideology*. Helsinki, 2005; etc.

<sup>102</sup> *Jackson P.* The Mongols and the West. Harlow, 2005.

«До европейской гегемонии», в которой была сформулирована идея о появлении первой «мир-системы» в XIII в.<sup>103</sup>, задолго до того как складывается «мир-система» капитализма<sup>104</sup>. Значимость этой работы заключается в том, что Абу-Луход первой обосновала тезис о единстве мира до эпохи гегемонии культурных и торговых обменов. В течение короткого времени это сломало барьер между странами и цивилизациями и открыло путь мощи капитализма. По ее мнению, главный вклад монголов в мировую историю заключается в том, что они создали среду, благоприятную для развития потоков товаров и идей<sup>105</sup>. Позднее роль кочевников и особенно монголов стала подчеркиваться в других крупных исследованиях по теории мир-системного анализа<sup>106</sup>. Т. Холл недавно посвятил этой теме специальную обзорную работу<sup>107</sup>.

Постепенно в лексиконе исследователей закрепился термин *Pax Mongolica*. Если еще полвека назад Г. Франке сомневался в научности использования этого понятия<sup>108</sup>, то в настоящее время это уже не метафора, а устоявшаяся дефиниция<sup>109</sup>.

В работах исторического характера показана конкретная динамика контактов между разными частями Евразии в монгольскую эпоху. Многие из этих выводов уже стали хрестоматийными и вошли в учебную литературу<sup>110</sup>. При этом важно избавиться от западнцентристских стереотипов. Всем хорошо известно

---

<sup>103</sup> *Abu-Lughod J.* Before European hegemony: The World-System A. D. 1250–1350. New York, 1989.

<sup>104</sup> Подробнее о мир-системном подходе на рус. яз. см.: *Валлерстайн И.* Мир-системный анализ // *Время мира.* Вып. 1. Новосибирск, 1998; *Он же.* Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001; *Он же.* Мир-системный анализ: Введение. М., 2006.

<sup>105</sup> Справедливости ради, следует отметить, что схожие подходы были высказаны еще в 1963 г. У. Мак-Нилом. *McNeil W.* The Rise of the West. Chicago, 1963; рус. пер.: *Мак-Нил У.* Восхождение Запада: История человеческого сообщества. Киев; Москва, 2004.

<sup>106</sup> *Hall T.* The Role of Nomads in Core/Periphery Relations // *Core/Periphery Relations In Precapitalist Worlds.* Boulder, 1991; *Chase-Dunn Ch., Hall T.* Rise and Demise: Comparing World-Systems. Boulder, 1997.

<sup>107</sup> *Холл Т.* Монголы в мир-системной истории // *Монгольская империя и кочевой мир.* Вып. 1. Улан-Удэ, 2004; *Hall T.* Mongols in World-System History // *Social Evolution & History.* Vol. 4. 2005. N 2.

<sup>108</sup> *Franke H.* Sino-Western Contacts under the Mongol Empire // *Journal of the Royal Asiatic Society (Hong Kong Branch).* 1966. Vol. 6. P. 50.

<sup>109</sup> *Haase C.-P.* Von der 'Pax Mongolica' zum Timuridenreich // *Die Mongolen in Asien und Europa.* Frankfurt am Main, 1997. S. 139–160; *Ostrowski D.* Muscovy and the Mongols: Cross-cultural influences on the steppe frontier. 1304–1589. Cambridge, 1998. P. 131, 149; *Kim Hodong.* The Unity of the Mongol Empire and Continental Exchanges over Eurasia // *Journal of Central Eurasian Studies.* Volume 1. P. 15–16.

<sup>110</sup> *Rossabi M.* The Mongols and Global History. New York, 2010.

о поездках семьи Поло и папских посланников на Восток. Однако перемещения были двусторонними. Известны случаи посещения Европы выходцами из Внутренней Азии<sup>111</sup>. Даже несмотря на периодические конфликты между Чингизидами, торговцы и миссионеры достаточно легко перемещались по территории монгольских ханств и всегда могли найти покровительство со стороны властей и более или менее комфортные условия пребывания<sup>112</sup>.

Важный вклад в осмысление этих процессов внес Т. Олсон – один из наиболее авторитетных исследователей монгольской медиевистики последних нескольких десятилетий. В небольшой по объему, но весьма содержательной книге он показал, что не следует эти потоки рассматривать как улицу с односторонним движением. Китайские техники и инженеры сопровождали монгольские армии, вторгавшиеся в страны ислама. Значительные группы населения с территории империи Цзинь были переселены в Мерв и Тебриз для занятия ремеслом и сельским хозяйством. По приказанию Хулагу были построены буддистские храмы на территории Хорасана, Армении и Азербайджана. Археологическими исследованиями изучены остатки одного такого храма неподалеку от Мерва. Конструкция объединяет местные и дальневосточные строительные традиции. В среднеазиатских городах существовали китайские кварталы<sup>113</sup>.

Все это создавало возможности для расширения все новых и новых связей, формированию новых мод и вкусов. Однако не нужно забывать, что монголы не ставили своей целью создать сеть глобальных информационных коммуникаций. Они были одержимы идеей покорения мира и, следовательно, многие результаты их контактов с другими культурами и цивилизациями оказались непреднамеренными. Транзиты «высоких технологий» в большей степени были следствием деятельности политической воли правителей Монгольской империи, нежели чем внутреннего развития экономики и торговли. В результате сформировались обширные и постоянные сети культурных и технологических контактов между ремесленниками, инженерами, художниками и другими представителями интеллектуального труда разных народов и государств. Все это стало основой для плодотворного технологического и культурного обмена, способствовало претворению в жизнь новых

---

<sup>111</sup> *Rossabi M.* Voyager from Xanadu: Rabban Sauma and the First Journey from China to the West. Tokyo, 1992.

<sup>112</sup> *Kim Hodong.* The Unity of the Mongol Empire and Continental Exchanges over Eurasia. P. 30.

<sup>113</sup> *Allsen T.* Culture and Conquest in Mongol Eurasia. Cambridge, 2001.

возможностей и уникальных открытий, которым через несколько столетий было суждено перевернуть весь мир<sup>114</sup>.

В другой работе Т. Олсон показал, как создание монгольской державы способствовало развитию текстильной отрасли. Парча являлась важным предметом престижного потребления в кочевых обществах. С давних времен в культурном мире степняков маркерами высокого статуса выступали лошадь, пояс, оружие, парчовый халат и головной убор. Это обстоятельство стимулировало текстильное производство в Западной Азии и поступление тканей в Монголию и Китай<sup>115</sup>.

Монгольские завоевания способствовали началу масштабных миграционных процессов, новых культурных контактов, зарождению новых вкусов и моды, формированию космополитизма. Монгольские императоры были покровителями китайских искусств. Юаньский двор был центром сосредоточения культуры различных цивилизаций. Элементы китайской живописи и декоративного искусства вошли в среднеазиатское искусство, также как среднеазиатская парча попала на Дальний Восток<sup>116</sup>. Национальные кухни многих стран обогатились блюдами и кулинарными рецептами других народов. В Китае при династии Юань элита стала активным потребителем блюд из баранины, а рис был оттеснен на второй план<sup>117</sup>. Из Ближнего Востока лапша попала в Китай и Италию, где стала одним из основных национальных блюд<sup>118</sup>. Европейцы познакомились с технологией перегонки спирта, не говоря уже о таких принципиальных для Запада открытиях как

---

<sup>114</sup> Ibid. P. 27–28.

<sup>115</sup> *Allsen T. Commodity and Exchange in the Mongol Empire: a Cultural History of Islamic Textiles.* Cambridge, 1997.

<sup>116</sup> Timur and Princely Vision / Eds. T. Lentz, G. Lowry. Washington; D.C., 1989; *Weidner M. Yuan Dynasty Collection of Chinese Paintings // Central and Inner Asian Studies.* Vol. 2. 1988. P. 1–40; Vol. 3. 1989. P. 83–104; *Jing A. The Portraits of Kubilai Khan and Chabi Anige (1254–1306). A Nepal Artist at the Yuan Court // Artist Asiatique.* Vol. 54. 1994. P. 40–86; *Carswell J. Blue and White: Chinese Porcelain around the World.* Chicago, 2000.

<sup>117</sup> *Anderson E.N. Lamb, Rice, and Hegemonic Decline: The Mongol Empire in the Fourteenth Century // The Historical Evolution of World-Systems.* N.Y. etc., 2005.

<sup>118</sup> *Smith J.M., Jr. Mongol Campaign Rations: Milk, Marmots and Blood // Turks, Hungarians and Kipchaks. A Festschrift in Honor of T. Halasi-Kun.* Washington; D.C., 1984; *Idem. Dietary Decadence and Dynastic Decline in the Mongol Empire // Journal of Asian History.* Vol. 34. 2000. N 1; *Buell P. Food, Medicine and the Silk Road: The Mongol-era Exchanges // The Silk Road.* Vol. 5. 2007. N 1. P. 22–35; *Idem. Mongol Empire and Turkicization: The Evidence of Food and Foodways // The Mongol Empire and its Legacy.* P. 200–223; *Buell P., Anderson E. Perry Ch. A Soup for the Qan: Chinese Dietary Medicine of the Mongol Era as Seen in Hu Szu-hui's Yin-shan Cheng-yao.* London, 2000.

компас, порох и книгопечатание. Влияние монгольского мира прослеживается в военном деле<sup>119</sup> и даже в одежде. В Европе вошло в моду так называемое «татарское платье». Монголы стимулировали распространение медицинских идей по территории Евразии<sup>120</sup>. Они также оказали влияние на распространение различных религий, способствовали развитию картографии, изучению языков и составлению словарей<sup>121</sup>.

Наглядным воплощением смешения культур и народов стал Каракорум – столичный город Монгольской державы. Город стал активно строиться, начиная с 1235 г. Столица была разделена на несколько участков. В одной зоне располагались усадьбы аристократии и хаганский дворец, в другой – были расселены чжурчжэньские и китайские ремесленники, третья – была занята мусульманскими купцами. В городе существовало не менее четырех рынков, церкви и кумирни различных конфессий. В 1948–1949 гг. там проводил раскопки выдающийся советский археолог С.В. Киселев. В конце XX в. японские археологи сняли новый более точный план археологического памятника, уточнили территорию заселения в различные периоды существования города.<sup>122</sup> Начиная с 2000 г. на памятнике ведутся раскопки совместной германо-монгольской экспедицией<sup>123</sup>. Исследования велись двумя отрядами. Первый отряд под руководством Х.-Г. Хюттеля занимался изучением дворца, раскопанного С.В. Киселевым. Хюттель пришел к выводу, что данное сооружение было храмом, но не дворцом Угедей-хагана.

---

<sup>119</sup> *Allsen T.* The circulation of military technology in the Mongolian Empire // *Warfare in Inner Asian History (500–1800)*. Leiden, 2002.

<sup>120</sup> *Rall J.* Die vier grossen Medizinschulen der Mongolenzeit. Wiesbaden, 1970; *Medicine im mittelalterlichen Abendland / Hrsg. G. Baader, G. Keil.* Darmstadt, 1982; *Approaches to Traditional Chinese Medical Literature, Proceedings of an International Symposium.* London etc., 1989; *Anderson E.N.* Food and Health at the Mongol Court // *Opuscula Altaica. Essays Presented in Honor of H. Schwarz.* Bellingham, Wash., 1994 etc.

<sup>121</sup> *Larner J.* Marco Polo and the Discovery of the World. New Haven, 1999; *Allsen T.* Culture and Conquest. P. 103–104; *Гёкеньян Х.* Западные сообщения по истории Золотой Орды и Поволжья 1223–1556 // *Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой орды). От Калки до Астрахани. 1223–1556.* Казань, 2002. С. 96–97; *Biran M.* The Mongol Transformation: From the Steppe to Eurasian Empire // *Eurasian Transformations, Tenth to Thirteenth Centuries.* Leiden, 2004. P. 352; *Idem.* The Mongol Empire and inter-civilizational exchange // *The Cambridge World History.* Vol. 5. Expanding Webs of Exchange and Conflict. 500 CE – 1500 CE. Cambridge, 2015.

<sup>122</sup> *Kato Simpei.* Ancient City of Karakorum. Beijing, 1997; *Shiraishi N.* Chinggisu-kan no Kōkogaku [Archaeology of Chinggis Khan]. Tokyo, 2001.

<sup>123</sup> *Bonn Contributions to Asian Archaeology.* Vol 1. Qara Qorum City (Mongolia) I. Bonn, 2002; *Mongolian-German Karakorum Expedition: Vol. 1: Excavations in the Craftsman Quarter at the Main Road.* Bonn, 2010.

Дворец, по его мнению, должен был располагаться в районе современного монастыря Эрдэни-дзуу. Там при исследовании культурных отложений в районе стены храма были обнаружены остатки стены средневекового времени<sup>124</sup>. Кроме того, неподалеку от раскопок С.В. Киселева были обнаружены гончарные печи<sup>125</sup>. Второй отряд проводил исследования в районе перекрестка главных улиц. Была уточнена стратиграфия, обнаружены жилища с канами, большое количество самых разнообразных находок, которые свидетельствовали о смешении различных культурных стилей и традиций<sup>126</sup>. Все эти находки демонстрировались на специальной выставке, к которой был выпущен специальный каталог, снабженный статьями специалистов по археологии древней и средневековой Монголии (на выставке были представлены материалы и более раннего времени)<sup>127</sup>.

После монгольских завоеваний принципиальным образом изменилась геополитическая расстановка сил в Старом Свете. В восточной части исламского мира центр сместился от Багдада к Тебризу, в Средней Азии – от Баласагуна к Алмалыку, в Восточной Европе – от Киева к Сараю и затем к Москве, в Китае – от Кайфына к Пекину. Центральные позиции Москвы и Пекина остаются до сих пор. Монголы снова объединили весь Китай в единое государство и их административное деление сохраняется до сих пор. Более того, они заложили фундамент для создания китайской государственности в современных границах – включая Тибет, Синьцзян, Внутреннюю Монголию и Манчжурию. Сегодня китайская историография настойчиво подчеркивает многоэтничный характер юаньского общества как важнейший вклад в национальное строительство КНР<sup>128</sup>.

Сейчас стало понятно, что так называемая средневековая глобализация погубила мир-систему XIII–XIV вв. Монгольские завоевания привели к созданию крупномасштабной сети человеческих коммуникаций. Гонцы, воины, торговцы, дипломаты перемещались от одного конца этой сети к другому, связывали между собой Китай и Каракорум, Среднюю Азию и Ирак, торговые фактории

---

<sup>124</sup> *Hüttel H.-G.* Der Palast des Ögedei Khan – Die Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts im Palastbezirk von Karakorum // *Dschingis Khan und seine Erben: Das Weltreich der Mongolen.* München, 2005.

<sup>125</sup> *Franken C.* Die Brennöfen im Palastbezirk von Karakorum // *Ibid.*

<sup>126</sup> *Erdenbat U., Pohl E.* Aus Die Mitte der Hauptstadt – Die Ausgrabungen der Universität Bonn im Zentrum von Karakorum // *Ibid.*

<sup>127</sup> *Dschingis Khan und seine Erben: Das Weltreich der Mongolen / Hrsg. C. Müller.* München, 2005.

<sup>128</sup> *Biran M.* The Mongol Transformation. P. 354–355.

Причерноморья и католическую Европу. С эпидемиологической точки зрения, как показал У. Мак-Нил в книге «Чума и народы», это имело роковое последствие. В 1252 г. монголы столкнулись с чумой, источник которой находился, возможно, в Гималаях. Через Бирму бацилла попала в Южный Китай, но первоначально источник заражения удалось изолировать. Однако спустя столетие, начиная с 1331 г. очаг инфекции активизировался и болезнь стала стремительно распространяться.

Через 15 лет болезнь достигла территории Дешт-и-Кыпчака и Причерноморья. Из Кафы чума распространилась в Венецию, Геную, Константинополь, а также в другие портовые города Средиземноморья. Второй путь распространения болезни осуществлялся морем. Из Южного Китая чума достигла Ближнего Востока где-то между 1331 и 1356 гг.<sup>129</sup> Последствия были просто чудовищными. Города, которые являлись центрами международной торговли, за несколько лет потеряли 30–50% населения. В результате произошло перемещение торговых потоков. В Европе коммуникации переместились из Италии на Север, в бывшие периферийные зоны (Англия). Многие крупные экономические центры Среднего Востока так и не смогли восстановиться<sup>130</sup>.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЧИНГИС-ХАН И ЕГО ОЦЕНКА

В последние десятилетия фиксируется взлет интереса к личности Чингис-хана и истории средневековых монголов. Его имя помнят не только историки. Оно не сходит со страниц газет. Генетики объявили об открытии «гена Чингис-хана», который по их подсчетам присутствует примерно у 16 млн жителей Азии<sup>131</sup>. Имя создателя империи монголов постоянно эксплуатируется в политическом дискурсе. Для монголов империя Чингис-хана –

---

<sup>129</sup> *McNeill W.* Plagues and Peoples. New York, 1976; *Ell S.R.* Immunity as a Factor in the Epidemiology of Medieval Plague // *Reviews of Infectious Diseases*. Vol. 6. 1984. N 6; *Idem.* Plague and Leprosy in the Middle Ages: A Paradoxical Cross-Immunity // *International Journal of Leprosy and other Mycobacterial Diseases*. Vol. 55. 1987. N 2; *Gottfried R.S.* The Black Death, Natural and Human Disaster in Medieval Europe. New York, 1983; *McEvedy C.* The Bubonic Plague // *Scientific American*. Vol. 258. 1988. N 2; *Scott S., Duncan Ch.J.* Biology of Plagues: Evidence from Historical Populations. Cambridge, 2001.

<sup>130</sup> *Abu-Lughod J.* Restructuring the Premodern World-System // *Rewiev*. Vol. XIII. 1990. N 2; *Абу-Луход Ж.* Переструктурируя миросистему, предшествующую новому времени // *Время мира*. Вып. 2. Новосибирск, 2001.

<sup>131</sup> *Zerjal T., Yali Xue, Bertorelle G.* et al. The Genetic Legacy of the Mongols // *American Journal of Human Genetics*. Vol. 72. 2003. P. 717–721.

это мощный историко-идеологический потенциал для укрепления собственной национальной идентичности. Однако не только в Монголии, но и на постсоветском пространстве и даже в Китае (во Внутренней Монголии) его образ используется для схожих задач. Может даже дойти до курьеза, когда в связи с одними и теми же историческими событиями его имя может быть интерпретирован диаметрально противоположно. Примером этого является факт нападения США на Ирак, когда американскими масс-медиа проводились позитивные исторические параллели с взятием Багдада в 1258 г. и, наоборот, сравнение американских войск с полчищами Чингис-хана в иракских СМИ<sup>132</sup>.

Подобное внимание к личности Чингис-хана вызвано как исключительно конъюнктурными факторами (от всплеска активности в связи с 800-летним юбилеем создания его империи до экзотики ориентального туризма), так и постепенным ростом интереса к данной тематике на Западе. Если в XVII–XIX вв. Чингис-хан воспринимался исключительно как кровавый завоеватель и коварный восточный деспот, то с течением времени представления о нем и его деяниях постепенно изменяются. Это было обусловлено как переводом на европейские языки главных источников по истории средневековых монголов, так и переоценкой их деятельности в мировой истории.

Большой вклад в развенчание мифа о монголах как о диких разрушителях цивилизаций внесли последователи такого научного направления как евразийство. Впоследствии эти идеи были развиты в целой серии научных работ на Западе, особенно в период очищения от колониального наследия, когда «Ориентализм» Э. Саида стал библией целого поколения гуманитариев. Пришло время показать, что кочевники не являлись только безжалостными агрессорами. Их вклад в мировую историю оказался куда более многогранным, чем роль «санитаров истории». Эти важные публикации обсуждены в последнем разделе данной работы. Однако с сожалением можно констатировать, что маятник качнулся в другую сторону. Для многих, особенно для популяризаторов и дилетантов этот вклад перевешивает все другое. Весьма симптоматично, что газета «Вашингтон Пост» признала не Леонардо да Винчи или Христофора Колумба, а именно Чингис-хана человеком второго тысячелетия. В предисловии к русскому изданию своей книги о Хубилае М. Россаби посетовал, что ему стоило бы уделить «больше внимания неприглядным сторонам монгольского владычества». Когда он писал свою книгу, то видел важную задачу

---

<sup>132</sup> Lane G. Genghis Khan and Mongol rule. P. 81; Biran M. Chinggis Khan. P. 1.



в том, чтобы показать в противовес общепринятым установкам, что монголы не являлись дикими варварами. «Однако популяризаторы и дилетанты вышли далеко за пределы рамок, очерченных нашим сбалансированным подходом, и начали публиковать книги, выставяющие Чигис-хана демократом и основоположником современного мироустройства, а монголов – благодетелями и покровителями цивилизации»<sup>133</sup>. Именно об этом – исторической объективности и сбалансированной оценке деяний Чингис-хана и его последователей – необходимо не забывать профессиональным исследователям, берущимся за раскрытие по прежнему актуальной и востребованной научной темы.

---

<sup>133</sup> *Россаби М.* Золотой век империи монголов. СПб., 2009. С. 10–11.

# СИСТЕМА СТАЛИНСКОЙ ВЛАСТИ В НАУЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ. КОНЦЕПЦИИ И ИСТОЧНИКИ

*О.В. Хлевнюк*

Историография советского периода отечественной истории в последние двадцать лет развивается под воздействием так называемой «архивной революции», широкого, хотя и непоследовательного процесса открытия ранее секретных архивов. Это обстоятельство предопределило важную черту новейшей историографии. События, явления и характерные черты различных этапов советской истории, в том числе конца 1920 – начала 1950-х годов, изучаются преимущественно как исторические проблемы методами, присущими исторической науке. Пройдя известные всем этапы преобладания тоталитарной школы, расцвета ревизионизма и преодоления его крайностей на Западе, поиска новых концепций в постсоветской отечественной историографии [Кип, Литвин. 2009; Дэвид-Фокс: 20–44; Суну: 5–66], историки в разной мере сосредоточились на освоении документов, на изучении исторической конкретики. Процесс исторического познания приобрел должную логичность. Поискам ответа на вопрос «почему это было?» предшествует кропотливая реконструкция того, что и как происходило.

Двадцатилетний архивный этап историографии советского периода вполне выявил значение и возможности архивов. Историки преодолели комплекс архивных сверх ожиданий, в основном поняли, что можно и что нельзя найти в архивах. Последние два десятилетия были отмечены небывалым расцветом документальных публикаций, многие из которых имели принципиальное значение и способствовали как открытию архивов, так и развитию историографии<sup>1</sup>. Конечно, это документальный ренессанс имел определенные издержки. Во многом вынужденная трудоемкая подготовка огромного количества документальных изданий, как

---

<sup>1</sup> Трехтомный каталог документальных изданий до 2000 г. был составлен И.А. Кондаковой: Открытый архив. М., 1999; Открытый архив-2. М., 2005; Открытый архив-3. М., 2013. Важным примером является документальная серия по истории крестьянства и коллективизации, подготовленные под руководством В.П. Данилова: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Т. 1–5. М., 1999–2006; Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Т. 1–4. М., 1998–2013. Десятки томов вышли в сериях «Россия XX век» (фонд «Демократия») и «Документы советской истории». Электронные публикации важнейших документов можно найти на сайте Росархива «Документы советской эпохи».

оптимальный вариант быстрого освоения архивов, отвлекала силы и время от собственно исследовательских задач, реализуемых в виде статей и монографий.

Тем не менее, именно благодаря работе с источниками произошел окончательный переход историографии из состояния советологии, пропаганды и априорных схем в состояние собственно истории. Концептуальным отражением этого перехода, в числе прочего, можно считать широкое распространение и принятие понятия «сталинизм». Как известно, оно появилось как противовес давлению обобщающих конструкций, как инструмент исследования сталинского периода в советской истории, отделенного, пусть и не жесткой границей, от досталинского и послесталинского этапов [Stalinism: 1977]. Первоначально отвергнутое теми, кто рассматривал советскую историю как неразрывное целое, идеологически обусловленное движение без переходов, теперь понятие «сталинизм» вполне закрепилось в историографии [Медушевский]. Подчеркивая историческую специфику периода конца 1920 – начала 1950-х годов, оно вызывает возражения разве что по политическим причинам.

Не обходя вниманием общие предпосылки формирования сталинской системы (острые социальные противоречия старого режима, усугубленные мировой войной, революциями и гражданским противостоянием, императивы индустриального, мобилизационного развития), историки немало внимания уделяют конкретно-историческим особенностям развития СССР в 1920–1950-е годы. Фиксируя особенности определенного исторического этапа, концепция «сталинизма» позволяет подчеркнуть важнейшую черту советской модели социализма, а именно: тесную зависимость ее развития от личного фактора, персональных качеств лидеров, в данном случае Сталина. Изучая систему сталинской власти и эволюцию ее структур, историки пришли к важным выводам о процессе утверждения диктатуры и механизмах ее функционирования, о соотношении политических установок и социально-экономических императивов развития страны, о взаимодействии государства и общества.

**Этапы и методы утверждения власти Сталина.** Многие архивные документы рисуют достаточно подробную картину борьбы за власть между наследниками Ленина в 1920-е годы<sup>2</sup>. Можно

---

<sup>2</sup> Из последних документальных публикаций на эту тему см.: РКП(б). Внутривнутрипартийная борьба в двадцатые годы: Документы и материалы 1923 г. / Сост. В.П. Вилкова. М., 2004; Советское руководство. Переписка. 1928–1941 гг. / Сост. А.В. Квашонкин и др. М., 1999; Как ломали нэп. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. / Под ред. В.П. Данилова и др. Т. 1–5. М., 2000–2001.

только сожалеть, что интерес историков к этому периоду настолько ослаб, что эти документы остаются фактически невостребованными. И хотя новых специальных исследований о политической борьбе в высших эшелонах власти пока нет, уже сегодня можно предполагать, что архивы дадут много дополнительных аргументов тем историкам, которые считали, что победа Сталина не была предопределена изначально<sup>3</sup>. Сталин и его «фракция» прилагали значительные усилия для того, чтобы одержать эту победу, ставшую результатом как определенных организационных преимуществ, так и совпадения случайных факторов.

Не было автоматизма в переходе к единоличной диктатуре после того, как все оппозиции были разбиты. Документы позволяют охарактеризовать начало 1930-х годов в целом как период олигархического правления Политбюро, несмотря на явное усиление власти Сталина. Источниками политического влияния членов Политбюро были, с одной стороны, предреволюционные и революционные традиции руководства в большевистской партии, а с другой – роль, которую они играли в управлении страной. Каждый из членов Политбюро руководил ключевыми ведомствами. В силу этого он не только распоряжался значительными ресурсами и играл важную роль в принятии многочисленных оперативных решений, но формировал вокруг себя слой зависимых и лично преданных ему чиновников, как в центре, так и в регионах. Серьезные вторжения в сферу влияния члена Политбюро вождя или других членов Политбюро были возможны, но, как правило, сопровождались борьбой и скандалами. Сталин до определенного момента должен был всерьез считаться с наличием таких «вотчин» и прилагал большие усилия для согласования интересов и усмирения ведомственного эгоизма своих соратников<sup>4</sup>.

Как видно из документов, единоличная власть Сталина нарастала постепенно на протяжении первой половины 1930-х годов. Однако диктатором он стал в результате массовых чисток

---

<sup>3</sup> Этой традиции изначально следовали историки, обращавшиеся к проблемам внутрипартийной борьбы. Например, С. Коэн полагал, что Сталин победил в роли сторонника золотой середины, производившего выгодное впечатление на других администраторов своей прагматичностью, «спокойным тоном, тихим голосом» (*Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888–1938. М., 1988. С. 394–395*). Категорический тезис о неизбежности проигрыша оппозиционеров см.: *Скоркин К.В. Обречены проиграть. Власть и оппозиция 1922–1934. М., 2011.*

<sup>4</sup> Механизмы коллективного руководства Политбюро при сильном вождь-лидере проанализированы в работах: *The Nature of Stalin's Dictatorship: The Politburo. 1924–1953 / Rees E.A. (ed.). Basingstoke, 2004. Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010; Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 / Сост. О.В. Хлевнюк и др. М., 2001.*

номенклатурных работников в 1936–1938 гг., которые позволили полностью сломать систему коллективного руководства. Тезис о решающей роли массовых репрессий в утверждении единоличной диктатуры Сталина уже давно стал общепринятым в литературе, и новые документы полностью подтверждают его. Можно считать совершенно доказанным тот факт, что массовые репрессивные кампании в стране, в том числе репрессии против высших руководителей и номенклатурных чиновников в целом инициировались и контролировались Сталиным. Сталин, как известно, лично санкционировал расстрелы бывших номенклатурных работников, которых, как правило, формально осуждала военная коллегия Верховного суда [*Хаустов, Самуэльсон*]. Опираясь на карательные органы, Сталин уничтожил несколько членов Политбюро и полностью подчинил себе уцелевших соратников, постоянно угрожая расправой им и их близким. Более молодые лидеры, введенные в состав Политбюро по желанию Сталина, были воспитаны в духе новых политических традиций, ядро которых составляла личная преданность вождю. Процесс принятия важнейших политических решений в такой системе замыкался на Сталине. Политбюро как коллективный орган власти фактически не функционировало. Оно было заменено совещаниями Сталина с отдельными соратниками (комиссии Политбюро, руководящая «пятерка») [*Хлевнюк*. 1996]. На среднем уровне властной пирамиды были уничтожены значительное количество руководителей ведомств и подавляющее большинство региональных руководителей [*Central – Local Relations*. 2002; *Люшилин*. 2011; *Сушков*. 2013: 46–84 и др.]. Это, с одной стороны, означало, что ЦК ВКП(б), который состоял из этих чиновников, окончательно превратился в чисто декоративный придаток диктатуры. С другой стороны, члены Политбюро утратили свою политическую клиентуру, которая ранее была важной опорой их влияния.

Очевидно, что для утверждения и поддержания своей власти Сталин должен был опираться на определенный аппарат. Не будет, конечно, большим преувеличением считать, что таким аппаратом была вся система партийно-государственной власти в СССР, верно служившая вождю. Однако очевидно, что диктатор должен был иметь какой-то «свой» аппарат, достаточно сильный для повседневного контроля и подавления. Осознавая это, некоторые историки пытались искать такой специальный аппарат вне известных формальных структур власти (например, в системе специальных/секретных отделов [*Rosenfeldt*. 2009]).

Однако есть все основания полагать, что фактически личным карательным аппаратом Сталина были органы государственной

безопасности. Практика широкого использования ОГПУ в борьбе за власть в руководстве партии сложилась еще в 1920-е годы. В 1930–1950-е годы ОГПУ–НКВД–МГБ находились под непосредственным контролем и Сталина и периодически, как это было в 1936–1938 гг., использовались для кадровых чисток в партийном аппарате и других властных структурах (см. подробнее [Петров, Скоркин. 1999; Stalin's. Ferrer. 2003; Тепляков. 2008]). Вместе с тем для безусловного подчинения себе органов госбезопасности Сталин применял периодические чистки среди чекистов, опираясь на партийный аппарат. Взаимодействия этих двух ключевых опор системы – партийного аппарата и госбезопасности является одной из актуальных исследовательских проблем.

В целом процесс утверждения единоличной диктатуры трудно назвать естественным и органичным, вытекавшим исключительно из потребностей всеобщей мобилизации. Это был результат целенаправленной репрессивной политики лидера, нацеленного на укрепление личной власти и разрушение остатков традиций коллективного руководства. Последствия такого политического переворота с точки зрения объективных потребностей развития страны были негативными. Многие факты позволяют согласиться с точкой зрения британского историка А. Ноува, который считал сталинскую модель власти избыточно репрессивной, что порождало крайности, излишние даже с точки зрения законов диктатуры. Эксцессы сталинизма заходили столь далеко, что нередко не только не усиливали, но ослабляли систему [The Stalin Phenomenon, 1993: 24–29].

**Теории «слабого диктатора» и реальные ограничители диктатуры.** Исследования роли Сталина как диктатора до сих пор проводятся в поле, намеченном двумя крайними теориями. С одной стороны, тоталитарная модель исходила из того, что Сталин был абсолютным тоталитарным лидером, иначе рассыпалась вся конструкция тоталитаризма. С другой стороны, ряд историков по разным поводам высказывали сомнения в силе власти Сталина и писали даже об утрате им реальной власти в отдельные периоды (своеобразная версия теории «слабого диктатора»<sup>5</sup>). Широко известны заявления А. Авторханова об утрате Сталиным реальной

---

<sup>5</sup> Это понятие применяется рядом историков к гитлеровской диктатуре для того чтобы подчеркнуть слабое участие Гитлера в повседневном руководстве страной и активную роль различных партийно-государственных институтов фашистского рейха в формировании реальной политики. См. *Mommsen H. Cumulative radicalisation and progressive self-destruction as structural determinants of the Nazi dictatorship // Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison / Kershaw I., Lewin M. (ed.) Cambridge, 1997.*

власти в конце его жизни, результатом чего стало его физическое устранение в результате «заговора Берии» [Авторханов, 1976; Жуков. 2000.]. В современной российской публицистике различные варианты этой сенсации (правда, без ссылок на приоритет Авторханова) получили особенно широкое распространение.

Уже несколько десятилетий тиражируется теория американских «ревизионистов» о давлении, которое оказывали на Сталина руководители регионов, якобы требовавшие усиления террора и навязавшие Сталину этот курс взамен демократических реформ, которые намеревался провести сам вождь [Getty. 1985; The Anatomy of Terror. 2013; Жуков. 2003]. Такие построения, резонируя с определенными политическими тенденциями, получили широкое распространение в России, несмотря на критику со стороны профессиональных историков [Лавлова: 19–37; Чернявский: 155–164].

Пока можно утверждать, что подобные предположения о «слабости» Сталина не имеют под собой никаких документальных, а часто и просто логических оснований. До сих пор не известно ни одно решение принципиального характера, которое было бы принято вопреки воле Сталина. Вопрос о степени слабости Сталина как диктатора, очевидно, нужно решать не в категориях «заговоров» и «утраты власти», а в категориях функционирования самой диктатуры. В общем виде этот подход можно сформулировать так: в недрах сталинской диктатуры постоянно развивались процессы, отрицавшие неограниченную единоличную власть Сталина. Главным среди них нужно считать постоянное воспроизводство практик коллективного руководства. Судя по многим фактам, делегирование дополнительных полномочий и возвращение к конфигурации власти первой половины 1930-х годов произошло в годы войны [Горьков: 64–114; Сорокин: 5–33]. В послевоенный период наблюдалось переплетение двух тенденций. С одной стороны, воспроизводилась модель взаимоотношений Сталина с его ближайшим окружением, возникшая на волне террора в конце 1930-х годов. С другой стороны, распространялись структуры и процедуры коллективного руководства, стабилизировался корпус номенклатурных работников [Пихоя. 1998; Данилов, Пыжиков. 2001; ЦК ВПК(б), 2004].

Можно отметить несколько факторов, способствующих подспудной олигархизации. Соратники Сталина, хотя и утратили политическую самостоятельность, обладали определенной ведомственной автономностью при решении оперативных вопросов, входивших в сферу их ответственности. Причем эта тенденция усиливалась по мере того, как сам Сталин неизбежно сокращал свое участие в повседневном руководстве страной. Обратной

стороной ведомственной автономности было формирование клиентских сетей членов высшего руководства<sup>6</sup>. О существовании таких сетей свидетельствуют кадровые перемещения после смерти Сталина, когда каждый из членов высшего руководства старался расставить на ключевые посты своих людей и, соответственно, после опалы патрона (например, Л.П. Берии, Г.М. Маленкова) происходила новая кадровая чистка.

Признаком ограничений диктатуры и предпосылкой олигархизации власти можно считать формирование механизмов коллективного принятия решений в последние годы жизни Сталина. Из подлинных протоколов заседаний Политбюро, в частности, видно, что во время длительных периодов отсутствия Сталина в Москве в 1950–1952 гг. регулярно заседала руководящая группа Политбюро – «семерка» (Молотов, Микоян, Каганович, Маленков, Берия, Булганин, Хрущев). Судя по протокольным формулировкам, эта группа действовала как коллективный орган, используя традиционные для 1920 – начала 1930-х годов методы работы: обсуждение вопросов, создание комиссий для проработки той или иной проблемы и подготовки проектов решений [Хлевнюк, Горлицкий: 123–133]. Во время присутствия в Москве Сталина такие формулировки из протоколов Политбюро почти исчезали. Хотя решения «семерки» (пока трудно установить все или только наиболее важные) посылались на утверждение Сталину или обсуждались с ним по телефону, возвращение к некоторым процедурам коллективного руководства было важным опытом, сыгравшим свою роль после смерти Сталина.

Видимо, гораздо большее значение, чем заседания Политбюро, для стихийной консолидации соратников Сталина имели регулярные и частые заседания руководящих органов Совета Министров. Бюро Президиума Совета Министров, созданное в апреле 1950 г., персонально было практически таким же, как и руководящая группа Политбюро. В него входили Сталин, Булганин, Берия, Каганович, Маленков, Микоян, Молотов, Хрущев. Однако в отличие от заседаний руководящей группы Политбюро, которые в большинстве случаев проходили под руководством Сталина, Бюро Президиума Совета Министров всегда работало без Сталина<sup>7</sup>. При этом

---

<sup>6</sup> В литературе существует мнение, что в сталинский период отношения «патрон-клиенты» играли особую роль и были даже сильнее, чем после Сталина. *Fairbanks Jr., Charles H. Clientelism and the Roots of Post-Soviet Disorder // Transcaucasia, Nationalism, and Social Change / Suny R.G. (ed.) Ann Arbor, 1996. P. 347.*

<sup>7</sup> Хронику регулярных заседаний руководящих органов Совета Министров см.: Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945–1953 гг. / Сост. О.В. Хлевнюк и др. М. С. 438–564.



именно на правительственные органы падала основная тяжесть оперативного руководства страной.

Сразу же после смерти вождя его соратники, используя институты и практики коллективного руководства, обеспечили плавный переход власти. Проведенные же ими в сжатые сроки кардинальные реформы свидетельствовали о том, что важным элементом олигархизации при жизни Сталина были не только механизмы коллективного административного управления, но и выработка важнейших программных представлений политического характера [Лаврентий Берия. 1999; Иванова. 2011; Хлевнюк, Горлицкий: 150–191].

**Механизмы принятия и реализации решений.** Новые архивные материалы стали основой для распространения новых подходов в политической истории. Советская политика изучается не как набор институтов, а как реальная практика. Возрастает интерес не только к формальным, но также к неформальным структурам власти. Все это позволяет говорить о формировании «новой политической истории» (см. [Fitzpatrick: 27–56]).

Применительно к системе власти, сложившейся при Сталине, историки уделяли большое внимание таким методам, как реализация отдельных чрезвычайных акций (кампаний), включая операции ОГПУ–НКВД–МВД. Изучение этого феномена позволило лучше понять, каким образом при огромных размерах страны и сравнительной немногочисленности низового аппарата удавалось проводить в жизнь решения, принятые в центре. Составляя наиболее типичный метод управления страной, многочисленные кампании строились по общему многократно отработанному сценарию: выдвижение центром задач; мобилизация аппарата на выполнение этих задач чрезвычайными методами, не считаясь с последствиями и разрушительными результатами; доведение кампании до уровня кризиса, в высшей точке которого определялись пределы отступления – так называемые преодоления «перегибов»; проведение контркампании с целью стабилизации ситуации и закрепления результатов кампании. Такие методы приводили к уничтожению огромных материальных ресурсов и многочисленным человеческим жертвам, но были действенны с точки зрения логики функционирования сталинской системы. Они позволяли компенсировать слабость таких стимулов развития, как экономическая заинтересованность и социальная инициатива. Они держали в напряжении аппарат и обеспечивали высокий уровень мобилизационной централизации (см. [Красильников: 150–160]).

В рамках экономической истории были подготовлены важные работы об экономической политике сталинского периода. Обычные представления о жесткой централизации, директивном пла-

нировании и контроле над производителем в значительной степени подтверждены исследованиями. В частности, много сделано для изучения экономики принудительного труда, в которой в наиболее открытом виде проявлялись многие черты экономической системы мобилизационного типа. Определены ее количественные параметры, появилась возможность обсуждать ее качество и роль в советской индустриализации [Гулаг. 2005]. Вместе с тем отмечена значительная степень хаотичности и «бесплановости» плановой системы. Об этом, в частности, свидетельствовал феномен советской ведомственности, привлекающий большое внимание специалистов. Реконструкция механизмов реальной деятельности хозяйственных наркоматов, процедуры составления и согласования планов производства и распределения капитальных вложений позволяют утверждать, что ведомственность и межведомственные противоречия были одной из главных основ сталинской системы принятия решений [Kuromiya. 1988; Decision-Making. 1997; Грегори. 2006; Маркевич. 2005].

Конкуренция интересов противоречила принципам диктатуры, но была ее необходимой составляющей, в том числе позволяла сглаживать разрушительные последствия сверхцентрализации. Сам Сталин в этой системе выполнял две роли. С одной стороны, он выступал в качестве верховного арбитра в межведомственных спорах. С другой – в качестве инициатора принципиальных решений общего характера. Конечно, такое деление достаточно условно, так как нередко эти функции совпадали.

Как арбитр при решении ведомственных вопросов (ярче всего это проявлялось при распределении ресурсов, составлении планов и т.п.) Сталин выбирал для себя позицию защитника «общегосударственных интересов». Он всячески подчеркивал свою роль борца с ведомственным эгоизмом, который наносит вред государству [Сталин и Каганович: 54–57, 64–66, 79, 82–83, 87–88, 90]. Однако антиведомственная по форме позиция Сталина фактически была вполне ведомственной, так как почти всегда означала поддержку одних ведомств в их борьбе против других. Например, ограничивая претензии хозяйственных наркоматов на ресурсы, Сталин поддерживал позиции тех государственных структур, которые отвечали за состояние бюджета или выполняли функции контроля и согласования планов, – Госплан, Наркомат (Министерство) финансов. С другой стороны, являясь твердым приверженцем форсированного индустриального развития, он поощрял амбиции хозяйственных структур. В целом все это позволяет рассматривать Сталина в значительной мере как важного самостоятельного актора в системе советской ведомственности. Такая роль лидера была харак-

терна прежде всего для периодов коллективного, олигархического руководства. Однако она сохранялась, несколько модифицируясь, и при единоличной диктатуре. Это обеспечивало своеобразную преемственность между двумя этими моделями власти, создавало предпосылки как для трансформации коллективного руководства в диктатуру, так и для обратного движения.

Существовала значительная категория решений, которые не являлись следствием согласования ведомственных интересов или действия иных политико-управленческих механизмов, а появлялись в результате прямых указаний вождя. Особенно заметно это было в сфере карательной и внешней политики, в кадровых назначениях и аппаратных реорганизациях. Наиболее значимые инициативы Сталина, руководствуясь критерием их воздействия на развитие страны, можно разделить на две группы – меры позитивного (в рамках системы) и негативного характера. Инициативы преимущественно позитивного характера в большинстве случаев были ответом на кризисные явления, порождаемые сталинской же политикой. В качестве примера позитивных инициатив Сталина можно назвать резкое сокращение темпов индустриализации во второй пятилетке; инициирование отмены карточной системы и ограниченных хозрасчетных реформ в 1934–1936 гг. [Davies, Khlevnyuk, Weatcroft, 2014]; проведение обременительной для населения, но экономически целесообразной денежной реформы в послевоенный период; периодическое ограничение массовых репрессий и некоторое восстановление правовых институтов (см. [Соломон]); политику единых фронтов и сотрудничества с западными демократиями в предвоенный период (см. [Кен, Рупасов]) и т.д.

Определенное чередование негативных и относительно позитивных инициатив Сталина, давно замеченное историками и дававшее почву для различных предположений о борьбе в верхах партии за проведение той или иной политической линии, на самом деле было результатом специфического сталинского прагматизма, являвшегося важнейшим фактором развития страны в 1920-е – 1950-е годы.

Относительный прагматизм Сталина особенно часто фиксируется в исследованиях по советской внешней политике (см., напр., [Печатнов. 2006; Торкунов. 2000]). Вместе с тем сопоставление практик принятия внешне- и внутривнутриполитических решений позволяет говорить о том, что внутри страны и в международной сфере Сталин действовал по-разному. Сталинский прагматизм во внешней политике во многих случаях можно назвать просто прагматизмом, нацеленным на недопущение кризисов. Прагматизм Сталина по отношению к внутренним делам был куда более ограниченным

и может быть назван «кризисным прагматизмом». На крайне ограниченные и непоследовательные уступки он соглашался лишь после того, как пытался погасить кризисы при помощи массового кровопролития и доводил ситуацию до тех опасных пределов, которые угрожали основам режима.

Не преувеличивая глубину и последовательность сталинских преобразований позитивного характера, нужно признать, что они действительно были одним из важных факторов жизнеспособности системы, смягчая разрушительные последствия тех многочисленных решений, которые имели безусловно негативный, разрушительный характер. К их числу историки относят, прежде всего, массовые репрессивные акции сталинского государства. Новые архивные документы подтверждают, что их инициатором и организатором был именно Сталин [История сталинского Гулага. 2004; Лубянка. 2004].

Однако этот факт, признаваемый теперь большинством историков, породил новую дискуссию – о мотивах действий Сталина, о механизмах развертывания репрессий и степени их автономности после того, как центр давал массовым репрессивным акциям определяющий импульс.

Опираясь на многочисленные исследования, можно выделить два уровня причин и мотивов широкого применения террора как метода управления государством. С одной стороны, в литературе существует большое количество соображений, развивающих теорию «перманентной чистки», согласно которой постоянные репрессии были необходимым условием жизнеспособности советского, как и всякого другого подобного режима, методом своеобразной «социальной инженерии». При помощи репрессий решались такие задачи, как удержание в повиновении общества, подавление инакомыслия, социальная унификация, уничтожение старой партийной гвардии и выдвижение нового слоя управленцев, всецело преданных Сталину. Репрессивные кампании были достаточно действенным методом манипулирования общественным сознанием, когда на мифических врагов можно было списать провалы и преступления правящего режима. Репрессии являлись необходимым условием развития советской экономики, поскольку недостаток экономических стимулов компенсировался принуждением.

Вместе с тем массовые операции, проводившиеся в 1930-е – 1950-е годы, как правило, имели более конкретные цели и причины. Например, массовая операция ОГПУ в 1930 г. была составной частью коллективизации [Трагедия советской деревни: 163–167].

Аресты и депортации из вновь присоединенных территорий перед и после войны были нацелены на форсированную сове-

тизацию этих областей и стран. Наибольшие споры вызывают причины массовых операций 1937–1938 гг. На основе архивных исследований широкое распространение получила точка зрения, согласно которой эти акции мотивировались стремлением Сталина ликвидировать потенциальную «пятую колонну», укрепить государственный аппарат и личную власть, консолидировать общество в связи с нарастанием реальной военной опасности – эскалацией войны в Испании, активизацией Японии, возрастанием военной мощи Германии. Массовые операции 1937–1938 гг. планировались как военные действия против врага, не выступившего открыто, но готового сделать это в любой момент [*Kuromiya*. 2005: 86–101; *Ширер*. 2014].

Легкость, с которой в ходе массовых операций уничтожались сотни тысяч людей по приказу сверху, демонстрирует высокий, даже очень высокий уровень централизации системы. Многие из процессов, которые ранее казались полустихийными, плохо контролируемыми (коллективизация, репрессии 1937–1938 гг., послевоенные чистки и т.д.), благодаря документам предстали как сугубо централизованные плановые акции<sup>8</sup>.

Вместе с тем, обобщая имеющиеся исследования о системе власти и принятии решений при Сталине, важно отметить многочисленные пробелы. Лишь в некоторых случаях историкам удастся проследить логику действий высшего руководства страны, оценить качество решений и варианты инициатив, уровень информированности советских лидеров. Яркий пример таких историографических резервов представляет изучение системы высшего военно-политического руководства в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на значительный интерес к проблеме и многочисленные споры о роли Сталина как Верховного главнокомандующего, практически отсутствуют исследования, позволяющие оценить качество управления армией и его динамику, уровень эффективности отдельных операций и т.д.

Главная причина такого положения – недостаток адекватных источников. Отчасти это вызвано недоступностью ряда важных архивных фондов. Отчасти – характером документации высших эшелонов власти сталинского периода. Достаточно отметить почти

---

<sup>8</sup> В целом этим вопросам посвящена значительная литература. Одним из наиболее значительных является совместный проект германских, российских и украинских историков, результаты которого опубликованы в серии книг: *Юнге М., Биннер Р.* Как террор стал «большим»: Секретный приказ № 00447 и технология его исполнения. М., 2003; Сталинизм в советской провинции: 1937–1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447 / Ред. Б. Бонвеч и др. М., 2009; Массовые репрессии в Алтайском крае, 1937–1938 гг.: Приказ № 00447 / Сост. М. Юнге, Б. Бонвеч, Р. Биннер. М., 2010 и др.

полное отсутствие стенографических или протокольных записей заседаний, практику неформального устного решения ключевых вопросов. Существует также проблема вычленения тех документов, которые являлись актуальными для принятия решений, реально попадали в поле зрения высшего руководства, прежде всего Сталина.

**Социальные опоры режима.** Взаимодействие государства и общества, социальные опоры сталинского режима были и остаются традиционными темами сначала советологии, а затем историографии советского периода. На смену представлениям об атомизированном и подчиненном советском обществе в тоталитарной парадигме и обществе всеобщего энтузиазма и сплочения вокруг партии в советской идеологии пришло осознание сложности картины. Оно росло по мере открытия новых источников. Так, важнейшим приобретением последних десятилетий стали публикации информационных материалов ОГПУ–НКВД за 1920-е – начало 1930-х годов, в которых фиксировались массовые настроения и проявления активных выступлений против властей [«Сов. секретно». 2001–2013; Сов. деревня]. При должном критическом использовании этого источника он дает значительную информацию о положении в стране. В оборот вводятся и анализируются другие материалы такого рода – отчеты партийных органов, значительные комплексы писем, направляемых в различные учреждения и советским вождям, дневники (см., напр., [Общество и власть. 1998; Советская жизнь. 2003; Лившин. 2010]). Картина, представленная в документах, распадается на две контрастные части: с одной стороны – безусловная поддержка и одобрение, с другой – критические высказывания и даже массовые выступления против режима.

Как показывают многие факты, сталинская система утверждалась в результате ожесточенного противостояния государства и значительной части населения страны. Это было своеобразное продолжение или, по крайней мере, отголосок гражданской войны. Путь сталинской революции был скорее навязан стране, чем принят ею. Об этом позволяют судить такие события, как крестьянская война против коллективизации 1930 г., в которой принимало участие по официальным данным более 3 млн человек. Целые районы переходили под контроль повстанцев, они создавали свои органы власти и отряды и т.д. [Трагедия советской деревни: 804; Рязанская деревня. 1998; Виола. 2010].

Мы многое узнали о волнениях в городах, например о масштабных выступлениях ивановских рабочих весной 1932 г. Вызванные голодом, забастовки и демонстрации в ряде районов Ивановской области завершились захватом административных зданий, стычками с органами ОГПУ и т.д. [Rossman]. Документы

позволяют исследовать бунты и волнения в лагерях, которые начались задолго до известных больших восстаний в Гулаге, вспыхнувших после смерти Сталина [Козлов: 36–58].

Что касается массовых настроений, то принципиальное значение имеют, например, запрещенные результаты переписи населения 1937 г. Она показала, что среди граждан СССР в возрасте 16 лет и старше приверженцами религии объявили себя 57% (более 55 млн человек). И это при том, что часть верующих, опасаясь преследований, скрывали свои истинные убеждения [Жиромская, Киселев, Поляков: 98, 100]. Документы о массовых операциях 1937–1938 гг. опровергают распространенные представления о ведущей роли доносов в эскалации террора (см. [Голдман]).

Хотя доносы играли определенную роль, аресты производились на основе картотек НКВД, в которых велся учет так называемых «антисоветских элементов», сфабрикованных показаний во время следствия. Сотрудники НКВД практиковали также другие методы, обеспечивавшие (в отличие от доносов) массовость арестов. Они проводились на основании материалов отделов кадров и сельсоветов, при помощи облав и т.д.<sup>9</sup> В конце 1937 г. Ежов разослал в УНКВД краев и областей указание с требованием сообщить о заговорах, которые были вскрыты с помощью рабочих и колхозников. Результаты были разочаровывающими. Типичная шифровка пришла от начальника Омского УНКВД: «Случаев разоблачения по инициативе колхозников и рабочих шпионско-диверсионных троцкистско-бухаринских и иных организаций не было» [Хаустов, Самуэльсон: 278].

Несмотря на рост возможностей для изучения массовых настроений и советской повседневности, важно отметить значительные источниковые пробелы, касающиеся этих проблем. До сих пор закрыты информационные материалы госбезопасности и политических органов армии за военный и послевоенный периоды. Вызывает сомнения правомерность реконструкции стереотипов мышления и жизненных стратегий на основе немногочисленных дневников, которые вели преимущественно сравнительно молодые горожане [Hellbeck]. Важно учитывать, что подавляющее

---

<sup>9</sup> Подробный анализ состава следственных дел и материалов, на основании которых проводились аресты, приводится в статье сборника: Сталинизм в советской провинции: 1937–1938 гг. / Ред. Б. Бонвеч и др. М., 2009. См. также: Уйманов В.Н. Репрессии. Как это было... Западная Сибирь в конце 20-х – начале 50-х годов. Томск, 1995. С. 89; Попова С.М. Система доносительства в 30-е годы. (К проблеме создания базы данных на материалах Урала) // Клио. № 1. 1991. С. 71–72; «Включен в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937–1938 гг. / Под ред. О. Лейбович и др. М., 2009. С. 77; История сталинизма: Репрессированная провинция / Под ред. Е.В. Кодина и др. М., 2011. С. 186–187 и др.

большинство населения составляли крестьяне, находившиеся в гораздо худшем положении, чем жители городов.

Вместе с тем уже имеющиеся источники дают основания утверждать, что представления о всеобщем энтузиазме и поддержке далеки от действительности. Принуждение играло в системе, по крайней мере, ничуть не меньшую роль, чем пафос и воодушевление идеями. Конечно, это не означает, что необходимо исследовать исключительно протестные проявления и настроения. Социальная стабильность режима поддерживалась не только насилием, но также при помощи идеологического воздействия, формирования привилегированных слоев населения, заключения ограниченных компромиссов между государством и обществом. Многие из этих инициатив – идеологические повороты середины 1930-х годов и военного периода, уступки личным хозяйствам крестьян, обращение к национальным традициям и существенное смягчение ранее непримиримой политики в отношении верующих в предвоенный период и, особенно, в годы войны – достаточно подробно отражены в литературе [Зубкова. 1999; Бранденбергер. 2009; Фитцпатрик. 2001; Одинцов. 2014]. Плодотворным будет дальнейшее изучение на основании новых методов и источников таких социальных групп, как ударники, стахановцы, выдвиженцы, комсомольская молодежь, высшие слои интеллигенции.

Таким образом, историография сталинской системы власти сосредоточена вокруг нескольких ключевых проблемных блоков. Первый из них касается предпосылок и методов утверждения единоличного авторитаризма. Второй обращается к механизмам функционирования диктатуры, способам принятия и реализации решений. К третьему блоку можно отнести исследования роли Сталина в системе власти, его влияние на методы руководства и определение политического курса. Наконец, определенное внимание уделяется проблемам социальных опор режима, взаимодействию государства и общества.

Если не учитывать многообразную специфику отдельных периодов, в советское время условно можно выделить два типа устройства высшей власти – олигархию и единоличную диктатуру, которая существовала только при Сталине. Коренным различием между ними, которое в значительной мере предопределяло все другие различия, можно считать степень власти диктатора (лидера) над чиновничеством, прежде всего его высшим слоем. При олигархии, которая в советском политическом словаре определялась как «коллективное руководство», вождь-лидер, хотя и обладал значительной властью, был окружен достаточно влиятельными соратниками. Принятие принципиальных государ-



ственных решений в большой мере зависело от лидера, но осуществлялось коллективно. Значительную роль в политическом и административном процессе играло согласование интересов различных ведомств и группировок. Вокруг относительно влиятельных членов Политбюро формировались сети клиентов из чиновников среднего уровня (руководители регионов, ведомств), которые составляли костяк ЦК партии. Достаточно регулярно заседали формальные коллективные органы власти. Все это до некоторой степени ограничивало возможности лидера и служило основой относительной политической стабильности и предсказуемости.

Единоличная диктатура утверждалась в результате разрушения этих олигархических порядков. Ее основой была беспредельная власть диктатора над судьбами любого советского чиновника, включая высших руководителей – членов Политбюро. Соответственно менялся механизм принятия решений. Диктатор приобретал исключительное право определять направления политического курса и утверждать даже сравнительно второстепенные инициативы. Это могло ослаблять, хотя не отменяло полностью, межведомственную конкуренцию и систему согласования интересов различных звеньев партийно-государственной машины.

В общем, сложившаяся в СССР в 1920–1950-е годы система власти, вполне справедливо ассоциируемая с именем Сталина, в современной историографии предстает как жестко централизованная структура, главной опорой которой был разветвленный аппарат, ключевую роль в котором играли партийные комитеты и органы госбезопасности. Основными методами руководства, контроля и поддержания социальной стабильности в этой системе являлись интенсивный террор и принуждение к труду, активное идеологическое воздействие, а также позитивные стимулы – целенаправленное формирование привилегированных слоев населения, ограниченные уступки общественным настроениям и потребностям, чередование жесткой и сравнительно мягкой политической линии.

Вместе с тем даже после утверждения единовластия Сталина продолжали использоваться методы коллективного руководства, происходила своеобразная стихийная олигархизация высшей власти. Этот процесс был объективно обусловлен необходимостью повышения действенности системы. Практики коллективного руководства были одним из признаков относительной прагматичности сталинской политики, которая в разной степени проявлялась в разных сферах социально-экономической жизни страны и в международных делах. В недрах диктатуры историки постоянно наталкиваются на явления и тенденции, служившие целям ее отрицания и эволюционного преодоления. Это обстоятельство

способствовало быстрому демонтажу старой системы власти и созданию новой сразу же после смерти Сталина.

Несмотря на очевидную связь с авторитарными традициями в истории России и кровавыми событиями 1914–1920 гг., сталинская диктатура в новейших исследованиях не выглядит как неизбежный и органичный результат хода российской истории. Ее утверждение было результатом жестоких столкновений государства с большей частью общества, прежде всего с крестьянством, в конце 1920 – начале 1930-х годов, итогом массовых чисток партии и террора второй половины 1930-х годов.

Конкретные исследования сталинской системы власти позволили уточнить степень ее централизации. Можно считать вполне доказанным, что сам Сталин был не просто символом режима, но главным действующим лицом в принятии принципиальных решений и инициировании всех сколько-нибудь значительных государственных акций. До сих пор мы не знаем ни одного реального примера обратного.

Вывод о высокой степени централизации единоличной диктатуры неизбежно вызывает вопрос о роли Сталина в системе, которую называют его именем. По этому важному вопросу существуют по крайней мере три основные точки зрения. Приверженцы первой подчеркивают неизбежность и необходимость сталинской политики вследствие мобилизации и догоняющей модернизации. Сторонники второй, следуя в русле теории «слабого диктатора», утверждают, что Сталин не в полной мере контролировал ситуацию и не отвечал за многие даже значительные и масштабные события и акции. Наконец, длительную историографическую традицию имеет третья точка зрения о значительной самостоятельности Сталина как элемента сталинской системы. Она исходит из того, что форсированное развитие и задачи мобилизации могли осуществляться и на практике осуществлялись разными способами, а их выбор зависел от разных факторов, в том числе субъективных. Более того, принятые на вооружение методы могли либо ускорить, либо замедлить развитие страны, а также определяли цену преобразований.

Нетрудно заметить, что первые две концепции не предполагают развернутых исследований и объяснений формирования механизмов власти, поскольку исходят из предпосылки автоматической заданности действий высшего руководства либо императивами мобилизации, либо воздействием и «заговорами» номенклатуры. Гораздо больших усилий требует обоснование и развитие последней из перечисленных концепций. Она предполагает рассмотрение вариантов развития, механизмов и практик принятия решений, оценки их оптимальности/ошибочности. Постановка таких

вопросов тем более обоснована, что сам Сталин постоянно менял тактику руководства и фактически демонстрировал возможности иных вариантов политического курса даже в рамках собственной диктатуры. Модель скачка в годы первой пятилетки, породившая острый кризис, была заменена на относительно умеренную политику, которую часто называют «неонэпом». Волнообразный характер имели массовые репрессии. Наличие несталинских вариантов развития системы, в конце концов, вполне доказывают события, происходившие после смерти диктатора. Наследники Сталина в считанные месяцы без особого труда отказались от многих крайностей сталинизма. Это придало системе новое качество и импульс развития. Такие факты подкрепляют позицию тех исследователей, которые считают, что крайности и эксцессы сталинского курса ослабляли систему, тормозили развитие страны и приводили к массовым неоправданным жертвам.

#### ЛИТЕРАТУРА

*Авторханов А.* Загадка смерти Сталина. (Заговор Берия). Франкфурт, 1976.

*Бранденбергер Д.Л.* Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956). СПб., 2009.

*Виола Л.* Крестьянский бунт в эпоху Сталина. Коллективизация и культура крестьянского сопротивления. М., 2010.

*Голдман В.* Террор и демократия в эпоху Сталина: Социальная динамика репрессий. М., 2010.

*Горьков Ю.А.* Государственный Комитет Оборона постановляет (1941–1945). Цифры, документы. М., 2002. С. 64–114; Государственный комитет обороны СССР. Постановления и деятельность. 1941–1945 гг. / Ред. А.К. Сорокин и др. Т. 1. М., 2015. С. 5–33.

*Грегори П.* Политическая экономия сталинизма. М., 2006.

Гулаг. Экономика принудительного труда / Ред. П. Грегори, Л.М. Бо-родкин. 2005.

*Данилов А.А., Пыжиков А.В.* Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные годы. М., 2001.

*Дэвид-Фокс М.* Семь подходов к феномену советской системы // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период. Антология. Самара, 2001. С. 20–44.

*Жиромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А.* Полвека под грифом «секретно»: Всесоюзная перепись населения 1937 года. М., 1996. С. 98, 100.

*Жуков Ю.Н.* Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933–1937 гг. М., 2003.

*Жуков Ю.Н.* Тайны Кремля. Сталин, Молотов, Берия, Маленков. М., 2000.

*Зубкова Е.Ю.* Послевоенное советское общество: Политика и повседневность. 1945–1953. М., 1999.

*Иванова Г.М.* На пороге «государства всеобщего благосостояния». Социальная политика в СССР (середина 1950-х – начало 1970-х годов). М., 2011.

История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. Собрание документов: В 7 т. / Под ред. С.В. Мироненко, Н. Верт. Т. 1: Массовые репрессии в СССР. М., 2004.

*Кен О.Н., Рупасов А.И.* Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920–1930-х гг.). Проблемы. Документы. Опыт комментария. Ч. 1. 1928–1934. СПб., 2000.

*Кип Д., Литвин А.* Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография. М., 2009.

*Козлов В.А.* Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 – начало 1980-х годов). М., 2010. С. 36–58.

*Красильников С.А.* Социальная мобилизация как системная характеристика сталинского режима: Природа, формы, функции // История сталинизма: Итоги и проблемы изучения. Материалы междунар. науч. конф. М., 2011. С. 150–160.

Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы / Сост. В. Наумов, Ю.М. Сигачев, 1999.

*Лившин А.Я.* Настроения и политические эмоции в Советской России. 1917–1932 гг. М., 2010.

Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. 1937–1938 / Сост. В.Н. Хаустов и др. М., 2004.

*Люшилин Е.Л.* Красный олимп. Советско-партийное руководство Дальневосточного края в процессе социально-экономического развития региона. 1926–1938. Хабаровск, 2011.

*Маркевич А.М.* Советское планирование: Теория и практика в 1930-е годы // Экономическая история. Обзорение. Вып. 10. М., 2005.

*Медушевский А.* Сталинизм как модель. Обзорение издательского проекта «РОССПЭН» «История сталинизма» // Вестник Европы. 2011. № 30.

Общество и власть: 1930-е годы / Сост. С.В. Журавлев и др. М., 1998.

*Одинцов М.* Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма 1917–1953 гг. М., 2014.

*Павлова И.В.* 1937: Выборы как мистификация, террор как реальность // Вопр. истории. 2003. № 10. С. 19–37.

*Петров Н.В., Скоркин К.В.* Кто руководил НКВД. 1934–1941. М., 1999.

*Печатнов В.О.* Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х годах. М., 2006.

*Пихоя Р.Г.* Советский Союз: История власти. 1945–1991. М., 1998.

Рязанская деревня в 1929–1930 гг. Хроника головокружения / Сост. Л. Виола, С.В. Журавлев и др. М., 1998.

«Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.) / Под ред. Г.Н. Севастьянов и др. Т. 1–9. М., 2001–2013.

Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД / Под ред. Данилова В.П. и др. Т. 1–4.

Советская жизнь. 1945–1953 / Сост. Е.Ю. Зубкова и др. М., 2003.

Соломон П. Советская юстиция при Сталине. М., 1998.

Сталин и Каганович. Переписка / Сост. О.В. Хлевнюк и др. С. 54–57, 64–66, 79, 82–83, 87–88, 90.

Сушков А. Крах «империи товарища Кабакова»: Свердловское руководство в политических водоворотах 1937 года // Веси. 2013. № 6. С. 46–84 и др.

Тепляков А.Г. Машина террора: ОГПУ–НКВД Сибири в 1929–1941 гг. М., 2008.

Торкунов А.В. Загадочная война: Корейский конфликт 1950–1953 годов. М., 2000.

Трагедия советской деревни / Под ред. В.П. Данилова и др. Т. 2. С. 163–167, 804.

Фитцпатрик Ш. Сталинические крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: Деревня. М., 2001.

Хаустов В.Н., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии. 1936–1938 гг. М., 2009.

Хлевнюк О.В., Горлицкий Й. Холодный мир. Сталин и завершение сталинской диктатуры. М., 2011. С. 123–133, 150–191.

Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996.

ЦК ВКП(б) и региональные партийные комитеты. 1945–1953 / Сост. В.В. Денисов и др. М., 2004.

Чернявский Г.И. Новые фальсификации «большого террора» // Вопр. истории. 2009. № 12. С. 155–164.

Ширер Д.Р. Сталинский военный социализм. Репрессии и общественный порядок в Советском Союзе. 1924–1953. М., 2014.

Central-Local Relations in the Stalinist State. 1928–1941 / E.A. Rees (ed.). New York: Basingstoke, 2002.

Davies R.W., Khlevnyuk O., Weatcroft S. The Industrialisation of Soviet Russia Vol. 6: The Years of Progress: The Soviet Economy. 1934–1936. Basingstoke, 2014.

Decision-Making in the Stalinist Command Economy. 1932–1937 / E.A. Rees (ed.). London, 1997.

Fitzpatrick Sh. Politics as Practice. Thoughts on a New Soviet Political History // Kritika. 2004. Vol. 5. N 1. P. 27–56.

Getty J.A. Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938. Cambridge, 1985.

Hellbeck J. Revolution on My Mind. Writing a Diary under Stalin. Cambridge MA, 2006.

Kuromiya H. Accounting for the Great Terror // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas № 53. 2005. P. 86–101.

Kuromiya H. Stalinist Industrial Revolution. Politics and Workers, 1928–1932. Cambridge, 1988.

*Rosenfeldt N.E.* The «Special» World: Stalin's Power Apparatus and the Soviet System's Secret Structures of Communication. Vol. 1–2. Copenhagen, 2009.

*Rossman J.* Worker Resistance under Stalin: Class and Revolution on the Shop Floor. Cambridge MA, 2005.

Stalinism: Essays in Historical Interpretation / Tucker R. (ed.). New York, 1977.

Stalin's Terror. High Politics and Mass Repression in the Soviet Union / McLoughlin B., McDermott K. (eds). New York, Basingstoke, 2003.

*Suny R.G.* Reading Russia and the Soviet Union in the Twentieth Century: How the West Wrote its History of the USSR // The Cambridge History of Russia. Vol. III. The Twentieth Century / R.G. Suny (ed.). Cambridge, 2006. P. 5–66.

The Anatomy of Terror: Political Violence Under Stalin / J. Harris (ed.). Oxford, 2013.

The Stalin Phenomenon / Nove A. (ed.). New York, 1993. P. 24–29.

## BERUF РОССИЙСКОГО ГУМАНИТАРИЯ: ПРИЗВАНИЕ, ПРОФЕССИЯ, СЛУЖЕНИЕ

*П.Ю. Уваров*

Все началось с того, что академик Н.Н. Казанский пригласил меня выступить на первом заседании семинара «Гуманитарные чтения» со своего рода «установочным» докладом теоретического характера. Планка оказалась высока, тем более я никогда не претендовал на статус теоретика и специалиста по историографии. Но Николай Николаевич сослался на мою недавнюю книгу<sup>1</sup>, так что отказаться было нельзя. Я предложил высказаться по поводу существующего сегодня в нашей стране «социального заказа» на гуманитарное знание вообще и на историю в частности. Такая тема для меня была более понятной и выглядела актуальной. Однако мой собеседник вежливо, но твердо отказался: «Нет, хотелось бы что-то более глубокое». Казалось, куда уж глубже? Что может быть более важным, чем соотношение власти и общества с гуманитарной наукой или чем оценка своей социальной роли самими гуманитариями?

Однако если разобраться, об этом написано немало, сказано еще больше, и в главном все предсказуемо: гуманитарии себя ставят высоко, а вот оценивают их далеко не так, как им хотелось бы. Реже встречаются размышления о внутренних импульсах, побуждающих человека выбрать поприще ученого-гуманитария, несмотря на все чинимые препоны<sup>2</sup>. Какие требования они выдвигают при этом к себе и к коллегам, как уживается их человеческая природа с их научной деятельностью?

Нынешний вариант названия, как не трудно догадаться, отсылает к знаменитой лекции Макса Вебера «Wissenschaft als Beruf»,

---

<sup>1</sup> Уваров П.Ю. Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках. М., 2015.

<sup>2</sup> В прошлом году меня пригласили прочитать лекцию в уважаемой организации, готовящей кадры руководителей для сферы образования. Я рассказывал там про университеты, их рождение, развитие, их удивительную жизненную силу, их способность адаптироваться к новым условиям, способность выживать, даже если они лишались некоторых факультетов или радикально меняли свою структуру и устав. Слушали внимательно. Затем, когда настал черед вопросов, одна серьезная девушка спросила: «Скажите, а что же такое надо сделать, чтобы университет все-таки перестал существовать?». Чувствовался профессиональный интерес и некая озабоченность в этом вопросе будущего руководителя, и я произвольно ответил вопросом на вопрос: «А dustom посыпать не пробовали?». И действительно, чем только не пробовали, чего только не придумывали, а гуманитарии все не переводятся.

прочитанной студентам Мюнхенского университета сто лет назад, в 1917 г. Русский перевод этой статьи длиннее немецкого: «Наука как призвание и профессия»<sup>3</sup>, по тому же пути пошли и французы, во французском варианте статья называется «La science, profession et vocation»<sup>4</sup>.

Без лютеранского понимания «призвания» (*Beruf*) как мирской деятельности, угодной Богу, а следовательно, как нравственного долга, адекватный перевод этого слова затруднен. В католической традиции деятельность в миру ценилась, но все же считалось, что она несет в себе элемент суетности, тщеславия, уступая высшим целям христианской жизни. Так, во всяком случае, полагал сам Вебер<sup>5</sup> (не уверен, что с ним согласны католические авторы). О православном подходе к мирской деятельности Вебер, к сожалению (или к счастью), ничего не писал, но, надо полагать, что в его трактовке понятие *Beruf* оказалось бы для православных не менее чуждым, чем для католиков.

Лекцию Вебера любят сегодня задавать для чтения нашим студентам – она ясна, кратка, достаточно известна и, что немало важно, легко ищется в Интернете. В ней очень интересно и остроумно рассказано, чем наука отличается от искусства, теологии, преподавания, политики, от практической деятельности. С помощью Ницше Вебер расправляется с былой верой в то, что наука призвана обеспечить счастье людям или хотя бы объяснить мир. Неясно лишь одно – почему, собственно, люди занимаются наукой? Но, по-видимому, для Макса Вебера эта вещь была слишком *selbstverständlich*, поскольку он обращался к людям, уже сделавшим свой выбор, вступившим на эту стезю и не мыслящих себя без науки. Великий социолог не мог себе представить, что наступят времена, когда надо будет объяснять, зачем нужна наука. Во всяком случае, гуманитарная наука. При этом в тексте множество ценных замечаний, сделавших его бессмертным.

Без странного упоения, вызывающего улыбку у всякого постороннего человека, без страсти и убежденности в том, что «должны были пройти тысячелетия, прежде чем появился ты, и другие тысячелетия молчаливо ждут», удастся ли тебе твоя догадка, – без этого человек не имеет призвания к науке, и пусть он занимается чем-нибудь другим. Ибо для человека не имеет никакой цены то, что он не может делать со страстью.

---

<sup>3</sup> Вебер М. Наука как призвание и профессия / Пер. А.Ф. Филиппова, П.П. Гайденок // Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденок. М., 1990. С. 707–735.

<sup>4</sup> Weber M. La Science, profession et vocation suivi de Leçons wébériennes sur la science et la propagande / Traduction, essai par I. Kalinowski. Paris: Agon, 2005.

<sup>5</sup> Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 96–97.



Правда, для этого надо надеть шоры на глаза и сконцентрироваться на своем специальном предмете. Причем Вебер сразу же осаживает гордецов: было бы «академическим чванством» отказывать другим людям в праве на экстаз и вдохновение. Разве эти чувства не знакомы успешному коммерсанту? Без них он останется простым приказчиком в лавке.

Необходимость вдохновения роднит людей науки с людьми искусства<sup>6</sup>. Художнику в его творчестве дозволено почти все, а для ученого существует слишком много ограничений, переступать через которые нельзя без ущерба для научного статуса. Для немецкого «князя социологов» это слишком очевидно, и он на этом не останавливается, а указывает на иное, поистине экзистенциальное различие. Художник создает произведение, которому суждено стать непревзойденным, которое не устареет. Иначе самым посещаемым местом в музеях был бы отдел современного искусства. Ученый же знает, что сделанное им вскоре устареет, такова не просто судьба, но и смысл научной деятельности, отличающей ее от остальных элементов культуры.

Всякое совершенное исполнение замысла в науке означает новые «вопросы», оно по своему существу желает быть превзойденным. С этим должен смириться каждый, кто хочет служить науке. Научные работы могут, конечно, долго сохранять свое значение, доставляя «наслаждение» своими художественными качествами или оставаясь средством обучения научной работе. Но быть превзойденными в научном отношении – не только наша общая судьба, но и наша общая цель. Мы не можем работать, не питая надежды на то, что другие пойдут дальше нас. В принципе этот прогресс уходит в бесконечность.

И в этом трагизм. Как совместить экстаз творчества с признанием того, что твой шедевр утратит ценность и чем скорее, тем лучше? Вебер призывал с этим смириться как с правилами научной игры. Если же ты создал нечто, не поддающееся опровержению, то это уже не наука. Карл Поппер еще не выдвинул свой «принцип фальсифицируемости», но Вебер уже утешает им ученых<sup>7</sup>. Ученый может даже бравировать своей устареваемостью. Арон Яковлевич Гуревич в конце жизни любил повторять, что мечтает о том времени,

---

<sup>6</sup> И, кстати, мы часто говорим о том, что история является скорее искусством, чем наукой. И говорили об этом еще до «лингвистического поворота» и «пост-модернистского вызова», но только тогда, когда мы находимся «среди своих». На публике российские гуманитарии будут настаивать на научности своего знания. Как бы мы ни относились к Минобрнауки, оказаться в ведении Минкультуры мало кому хотелось бы.

<sup>7</sup> Кстати, и принцип «открытого общества», которому чужды табу и понимание «конечной цели» существования, вполне отчетливо озвучен Вебером в этой статье.

когда «придут молодые и наглые историки и спишут Гуревича в архив». Но говорил он так именно потому, что смена все не появлялась, и это повергало его в уныние. Российская папирология первой половины прошлого века, если я не ошибаюсь, осталась непревзойденной в отечественной науке, но эта перспектива вряд ли порадовала бы наших славных папирологов дореволюционной или довоенной поры. Так, от противного, мы видим, что лекарством от экзистенциального страха устаревания призвана служить научная преемственность, отсюда и постоянная жажда учеников.

Другим «средством от устаревания» является все та же безудержная специализация. Если твоя тема заужена до предела, ты забрался в непроходимые дебри, то тебя долго еще никто не превзойдет. Сработает принцип «неуловимого ковбоя Сэнди»: неуловимого отнюдь не потому, что его поймать никто не может, а потому что нет желающих этим заниматься.

И все равно, если опираться только на сказанное Максом Вебером, смириться с этой экзистенциальной драмой сложно даже для сильных духом. Ведь главным признается вдохновение, экстаз творчества, отрицание всех надличностных целей исследователя, интеллектуальное мужество мыслителя-одиночки, предельная честность перед самим собой. Причем все это будет работать, только если «каждый найдет своего демона и будет послушен этому демону, ткущему нить его жизни» – такова финальная фраза знаменитой лекции. Что еще есть в науке кроме сильного духом исследователя с его «демонами»? Ничего.

Надо помнить, что Вебер выступал перед поколением, которое не только переживало опыт войны, обрушившей всю социальную систему ценностей мирового духа, но и выросло на идеях Ницше. Поэтому и картина гуманитарного поиска получилась вполне ницшеанской<sup>8</sup>. В России же вскоре после лекции Вебера признаваться в приверженности идеям Ницше стало по техническим причинам не принято<sup>9</sup>.

Если понятие *Veruf* раскладывается на «призвание» и «профессию», то Вебер, конечно, больше говорит о первой составляющей, а о профессионализме упоминает лишь тогда, когда показывает отличие ученого от дилетанта. Наука обязана дилетанту многим, но ему не хватает постоянства упорного труда и владения

---

<sup>8</sup> Да и сам он признавал, что в долгу перед двумя мыслителями XIX в. – Ницше и Карлом Марксом.

<sup>9</sup> Ницшеанцы в нашей науке, конечно, не перевелись. Они выполняют важную критическую функцию в науке, демонстрируя завидное интеллектуальное мужество, готовы бросить вызов любым стереотипам. Правда, общаться с ними непросто. Но это уже оборотная сторона медали.

надежным методом, т.е. того, что отличает специалиста. Впрочем, и здесь Вебер лишь ссылается на авторитетное мнение. Необходимость специальных знаний и упорного труда представляется ему слишком банальной, чтобы останавливаться на этом особо.

У нас же положение иное. Когда мы хотим похвалить коллегу, мы можем сказать, что он – «историк от Бога», но все же более весомой похвалой будет: «профессионал высшей пробы» или «он – профессионал». И этого вполне достаточно.

В хвалебных речах западных ученых мне что-то не встречались подобные эпитеты, по-видимому, в силу их тавтологичности. Почему же для российских гуманитариев констатация профессионализма сама по себе является комплиментом? Одно из объяснений – в сегодняшнем дефиците этого качества, когда вокруг среда тотального непрофессионализма. Но, возможно, причины и более давние, кроющиеся в особенностях нашей культуры, которые характеризуют то как «литературоцентризм», то как особую духовность. Исторически у нас не было рутинного опыта схоластики с ее вниманием к логическим операциям и к терминам. Поэтому действия, естественные для средней руки западного интеллектуала, у нас почитались и почитаются редкостью. Может быть, отсюда повышенная требовательность российских гуманитариев конца XIX – начала XX в. к *акрибии* – скрупулезности, максимальной точности в публикациях и утверждениях. Это греческое слово, пришедшее к нам, по-видимому, из немецкого, получило чисто российскую широту применения. В неточностях видели отсутствие профессионализма. Такая «ловля блох» вселяла надежду, что можно будет отличить настоящую работу от ненастоящей. Несоблюдением акрибии настолько любили попрекать друг друга дореволюционные профессора, что великий научный бунтовщик Лев Платонович Карсавин взбунтовался против критиков, которые видят в рецензиях главную задачу опровергнуть акрибию автора в ущерб умственной работе<sup>10</sup>. Не поэтому ли Карсавин так и оставался *enfant terrible* для тех российских гуманитариев, которые пытались сохранить академическое лицо уже в советскую эпоху?<sup>11</sup> Но в этот период акрибия как официальный критерий профессионализма и научности стремительно

<sup>10</sup> Карсавин Л.П. *Философия истории*. СПб., 1993. С. 216–217.

<sup>11</sup> В 1931 г. В.П. Бузескул писал: «Оригинальность у Л.П. Карсавина не раз переходит в оригинальничанье, искусственность... Много утрировки, преувеличений, парадоксального, подчас небрежного или произвольного отношение к источникам, неверное толкование или неточный перевод текстов» (*Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и в начале XX в. / Под ред. И.В. Тункиной*. М., 2008. С. 222).

уступала место требованиям верности определенному философско-политическому учению. В изменившихся условиях ученой среде оставалось лишь тайком лелеять принцип профессионализма, понимаемый как обладание специальными навыками и специальными знаниями, желательно исчерпывающего характера. А последнее требование способствовало и без того ускоряющемуся процессу специализации знания. Макс Вебер, кстати, начинал свои рассуждения с необходимости для ученого концентрироваться на одном предмете, закрыв шорами глаза от всего остального. В нашей же стране в этой специализации виделась и своеобразная защита от идеологических директив. Это не всем нравилось. Когда А.Д. Люблинская критиковала за недобросовестные переводы книгу Б.Ф. Поршнева, удостоенную в 1949 г. Сталинской премии, то ее подвергли осуждению за то, что она говорит как палеограф, как источниковед, вместо того, чтобы высказываться по поводу концепции абсолютизма, сформулированной автором<sup>12</sup>.

В советских условиях скрупулезность негласно могла почитаться как профессиональная доблесть, требовавшая определенного мужества. Но сегодня отнюдь не все считают это абсолютной добродетелью. «Идеология профессионализма» в советское время санкционировала развитие более или менее деидеологизированных исследований, но предполагала отказ от постановки философских проблем, отмечает Н.Е. Копосов. «В какой-то мере это защита ученых от системы, но в еще большей степени – защита системы от ученых. По существу, эта идеология – одна из форм “самообмана недовольных”, что подчеркивается невысоким профессиональным уровнем большинства советских историков»<sup>13</sup>.

Статья Н.Е. Копосова впервые была опубликована в 1994 г. и вызвала тогда бурю эмоций<sup>14</sup>. Кому-то понравилась ее суровая честность, кто-то встал на защиту советских гуманитариев, категорически отвергая обвинения в непрофессионализме. Но как определить, кто прав в оценках?

Это тот самый больной вопрос, который волнует и Минобрнауки, и ВАК. Как отличить хорошую работу от плохой, как отличить

---

<sup>12</sup> См.: *Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н.* Наука «убеждать» или споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е – начало 50-х годов XX века). Тюмень, 2003. С. 155.

<sup>13</sup> *Копосов Н.Е.* Советская историография, марксизм и тоталитаризм // Копосов Н.Е. Хватит убивать кошек! М., 2005. С. 187, 192.

<sup>14</sup> Об этом говорят заголовки откликов на статью Н.Е. Копосова: *Ястребицкая А.Л.* Историография и история культуры; *Каплан А.Б.* У времени в плену; *Вжозек В.* Между смелостью и профессионализмом; *Оболенская С.В.* Совесть историка // *Одиссей.* Человек в истории. 1992. Историк и время. М., 1994. С. 69–78.

профессионала от имитатора, научный журнал от ненаучного? «Академические градусы», некогда призванные быть индикатором особого социального качества, давно перестали выполнять свою функцию<sup>15</sup>. Предпринимались и предпринимаются лихорадочные поиски универсального объективного показателя, который позволил бы, не думая, сразу же отводить ученому соответствующее место в научной иерархии. Но стоит выдвинуть какой-нибудь один критерий – количество статей, монография, книга, изданная за рубежом<sup>16</sup>, наличие защитившихся аспирантов, показатели системы «Антиплагиат», как тут же выясняется, что сам по себе он ничего не гарантирует. И тогда приходится иметь дело с такой эфемерной вещью, как научная репутация. Но и ее пытаются формализовать при помощи всевозможных индексов научного цитирования, которые, как показывает практика, годятся, если нужно закрыть финансирование «неактуального» научного направления, но не тогда, когда надо отличить ученого от халтурщика. Когда же обстоятельства требуют принять действительно важное решение (например, укомплектовать какой-нибудь совет квалифицированными и авторитетными специалистами), то власти в итоге обращаются к мнению вполне конкретных экспертов. Попытки опереться вместо экспертных оценок на массовые электронные опросы или использовать какие-то иные экзотическими процедуры вроде сбора «лайков» в Фейсбуке пока свою действенность не продемонстрировали.

Сказанное отнюдь не имеет целью пожаловаться на перипетии отношений российских гуманитариев с властями, тем более что это проблема не только российская. Важнее повторить расхожую истину: определить уровень профессионализма ученого можно только при помощи других ученых. Все наблюдаемые сегодня конвульсии свидетельствуют о критической слабости современного научного сообщества. Ведь суть профессии ученого состоит не только в том, чтобы познавать мир или удовлетворить свое любопытство и страсть к творчеству, но чтобы оценивать и быть оцениваемым.

Может ли гуманитарий реализовать свое призвание в полном одиночестве? Даже Диогену, поселившемуся в пифосе, нужна

---

<sup>15</sup> У Карела Чапека есть сказка про султана, отправившего в Европу посольство, чтобы найти доктора, способного вылечить его больную дочь. Послам объяснили, что настоящего ученого доктора можно отличить по буквам «др.», стоящим перед фамилией. И потому их выбор пал на дровосека («др. Овосека»), которому, конечно же, удалось вылечить дочь султана.

<sup>16</sup> Достаточно вспомнить эпопею с саарбрюкенским издательством AP Lambert Academic Publishing.

была публика, чтобы ее эпатировать, и софисты, чтобы посрамить их своим видом. Мыслителям-анахоретам тоже нужны были зрители, слушатели и читатели: например, отшельник-богослов Петр Дамиани был талантливым и страстным писателем и не менее страстным политическим деятелем. Конечно, часто бывали случаи, когда интеллектуал попадал в изоляцию не по своему желанию, но везде, где это было возможно, он продолжал писать книги, адресованные современникам и потомкам<sup>17</sup>, а где такой возможности не предоставлялось – мечтал высказать надуманное, выйдя на волю.

Гуманитарное знание всегда порождалось сетями социальных связей мыслителей и, в свою очередь, порождало такие сети. Об этом – объемная (1281 страница мелким шрифтом) книга Рэндола Коллинза «Социология философий»<sup>18</sup>. Эта работа вызвала бурю негодования у специалистов по истории философии, ведь автор – не философ и даже не историк науки, но социолог, который взялся судить о Платоне, Конфуции, Бхартрихари, Аль-Фараби, Чжу Си, Фоме Аквинском, Ито Дзинсае, Николае Кузанском, Спинозе, Фихте, Бергсоне, Кьеркегоре, Бакунине, Сартре и многих других (всего 2670 имен). Но он анализировал не особенности философских взглядов этих великих или не очень великих мыслителей, не их биографии, не судьбы их идей, а сети их личных связей. Эти связи были как вертикальными, соединяющими учителя с поколениями учеников, так и горизонтальными, связывавшими членов одной группы единомышленников, вступавших при этом в отношения соперничества и сотрудничества с другими подобными группами. При всей очевидной разности исторических контекстов, сети демонстрируют на удивление много общих характеристик: везде складываются определенные философские кружки и школы, имеющие некую организационную структуру, везде они вступают во взаимодействие с другими школами (оптимальным признается одновременное существование не менее трех школ и не более шести школ), причем взаимодействие это осуществляется в соответствии с определенными правилами (научными ритуалами). Между школами идет обмен культурным капиталом

---

<sup>17</sup> Бозицию удалось завершить «Утешение Философией» прежде, чем он был казнен. Приговоренный к смерти Сыма Цянь выбрал позор кастрации, чтобы выиграть время и закончить «Исторические записки». Фернан Бродель успел написать свое «Средиземноморье» в немецком лагере для военнопленных, Андрей Синявский в мордовском лагере написал «Прогулки с Пушкиным» и сумел передать текст на волю.

<sup>18</sup> Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения / Пер. Н.С. Розова, Ю.Б. Вертгейм. Новосибирск, 2002.

и эмоциональной энергией, представители школ формируют и уточняют свои интеллектуальные позиции. Они соперничают за общественное влияние, завоевывают интеллектуальные репутации, продолжительность которых зависит от того, насколько долго простирается интеллектуальная преемственность. Конечно, исторические и культурные контексты отличались друг от друга и порой разительно. Но определенные закономерности вполне очевидны: жизненный цикл школ подвержен чередованию трех этапов: основатели–продолжатели (подражатели)–эпигоны. Есть определенный срок продолжительности высокой репутации ученого, есть внутренняя иерархия философов в зависимости от их популярности. К сожалению, схема Коллинза оставляет очень мало статистических шансов «непризнанным гениям» на интеллектуальный реванш в виде признания потомков.

Несмотря на все различия научных сетей разных эпох и стран, общей является тенденция к усложнению интеллектуальной жизни. Философские школы достигают все более высокого уровня абстракции и рефлексии, но только при условии непрерывности спора во многих поколениях, т.е. при условии нормальной и слаженной работы инструментов научного сообщества. Общим же является наличие механизмов блокировки и саморазрушения философских сетей.

Вне зависимости от того, стоит ли соглашаться с Рэндалом Коллинзом, очевидно, что гуманитарное знание немислимо без коммуникации с единомышленниками, оппонентами, учениками и публикой. Наша наука носит сугубо конвенциональный характер. И дело даже не в том, что нам надо договариваться о значении терминов, иначе научного общения не получится. Только при функционирующем научном сообществе возможно выдвижение гипотез и достижение новых знаний.

Если я выдвигаю научную гипотезу, мне обязательно надо с ней выступить публично (устно и/или письменно) перед научной аудиторией. Меня будут критиковать, и тогда я либо сниму свою гипотезу, либо буду ее защищать. Где-то придется уступить, что-то переформулировать, усилить доказательную базу. Затем надо еще долго выступать с этой гипотезой, чем чаще, тем лучше. Наконец, в результате научного общения и взаимной корректировки позиций, при благоприятном исходе, моя гипотеза обретет более солидный статус. Она не станет истиной в последней инстанции, но получит шанс войти в число тех утверждений, с которыми можно не соглашаться, но которые нельзя игнорировать. Роль критерия истины отводится, увы, такому неопределенному понятию, как реакция научного сообщества. Но лучшего ничего пока не придумают.

мали<sup>19</sup>. Отныне, если мой коллега, занимающийся той же темой, будет делать вид, что моего высказывания не существует, и это сойдет ему с рук, значит, в научном сообществе что-то серьезно разладилось. Конечно, на практике так часто и происходит. Англосаксонские историки, например, не склонны цитировать, а порой не склонны замечать трудов коллег, пишущих на иных языках<sup>20</sup>. Европейские византинисты как-то очень быстро забыли не только русский язык, но и вообще достижения российских коллег<sup>21</sup>. Это еще можно попытаться объяснить языковым барьером, а также политическими или какими-то иными причинами. Но когда такое происходит внутри национального сообщества гуманитариев – дело совсем плохо<sup>22</sup>. Разрывая ткань дисциплинарного научного сообщества, мы лишаем себя возможности претендовать на научный статус нашего знания. Если ученый, отстаивая свою точку зрения, игнорирует принципиально важные для своей темы работы коллег, то чем он тогда лучше офтальмолога, раскрывшего тайны пирамид, или юмориста, нашедшего праотчину ариев под Челябинском?

Коммуникативный характер научного знания и структурообразующая роль научной репутации в жизни научного сообщества неразрывно связаны с агональным духом, присущим любому гуманитария.

Вспомним Абеяра, стоящего у истоков той западной модели интеллектуализма, наследниками которой мы являемся. При виде прославленного магистра он не мог удержаться, чтобы не вызвать его на ученое ристалище. Если верить его «Истории моих бедствий», то диспуты неизменно венчались победой Абеяра, плодя завистников. Правда, современные ему источники

---

<sup>19</sup> Попытки заменить мнение сообщества указаниями директивных органов и судебными постановлениями не вызвали энтузиазма ученых.

<sup>20</sup> Это не может быть объяснено плохим знанием европейских языков. Французских авторов редко цитируют американцы, занимающиеся историей Франции. Я могу это констатировать применительно к истории Религиозных войн, но то же наблюдается и в других областях. См., напр.: *Broers M., Englund S., Rowe M., Jourdan A. Napoléon et l'Europe. Annales historiques de la Révolution française.* 354. 2008. P. 131–153.

<sup>21</sup> *Медведев И.П.* Некоторые размышления о судьбах русского византиноведения // Исторические записки. Вып. 3 (121). М.: Наука, 2000.

<sup>22</sup> Как член Экспертного совета ВАК по истории я могу констатировать, что таких работ появляется все больше. Помимо прочего, такая практика умалчивания лишает коллег «радости взаимного цитирования», необходимого для приращения индекса Хирша. Ради его увеличения хитроумные коллеги вступают в самые настоящие картельные сговоры, искусственно завышая тем самым свои показатели.



говорят, что он далеко не всегда выходил победителем из таких баталий. По мере укрепления университетской структуры диспуты становятся основой интеллектуальной жизни. Впрочем, не менее важную роль играют диспуты в жизни буддистских монастырей<sup>23</sup>.

Агональный характер нашей науки никуда не делся, его сегодня принято маскировать. Но он по-прежнему является атрибутом деятельности ученого не в меньшей степени, чем желание испытать экстаз и творческое вдохновение научного поиска, о котором писал Вебер. Как мы помним, он указал и на важную проблему осознания неизбежного устаревания собственных достижений. Но не меньшим психологическим испытанием является для ученого необходимость признания успеха своего коллеги, занимающегося той же темой. Какую сложную гамму чувств испытывает гуманист, берущий в руки новую книгу своего друга-соперника, какие скрытые страсти кипят в его душе, когда он рассуждает о ней в курилке своего института или берется писать соответствующую рецензию! Хотя, ревность является общей чертой любой творческой деятельности.

Вообще об этой, психологической, стороне антропологии научного сообщества можно писать очень много. Ведь повседневно ученый решает массу этических проблем – как сочетать научную строгость и объективность с человеческими чувствами по отношению к герою научной оценки или, что не менее важно, к людям, которые стоят за ним? Как убедить себя и окружающих в оригинальности собственных выводов? Что такое оригинальность вообще, и как меняется ее критерий?<sup>24</sup> Как продемонстрировать публике, что ты затратил много усилий в работе над данной темой? Что такое честь историка и как ее сохранить? Вебер писал о признании неизбежности устаревания своих собственных достижений, а как сочетать почтение к учителю с осознанием того, что его концепции устарели?

Или – другая проблема. О гендерном аспекте творчества гуманиста сегодня пишут много, пишут и о «телесности ученого», но мало – о возрасте (ageing) исследователя. А ведь сколько здесь тем для размышления: до какого возраста, в каких странах и в каких дисциплинах ученый продолжает считаться «молодым»? Как ученый осознает свое взросление (старение), как он относится к своим же трудам, написанным не один десяток лет назад? В ка-

---

<sup>23</sup> *Базаров А.А.* Институт философского диспута в тибетском буддизме. СПб.: Наука, 1998.

<sup>24</sup> *Савицкий Е.Е.* Критерии новизны в историографии 1990-х годов (На примере «нового медиевализма»): Дис. ... канд. ист. наук. М., 2006.

ком возрасте (в каких дисциплинах и в каких регионах) наступает «пик формы», вернее – в каком возрасте сообщество ожидает от своего коллеги наступление этого пика?

Эти и другие вопросы теснейшим образом связаны с понятием профессии-призвания ученого, с тем, что определяется его личным интересом, и с тем, что приписывается ему профессиональной средой.

Но есть еще один, третий аспект деятельности гуманитария, оставленный Вебером без внимания. Я назвал его «служением».

Да, мы работаем ради счастья творческого поиска, и при этом нам важны репутация, мнение коллег, наличие учеников. Мы по разным причинам приходим в науку, у кого-то был силен момент эскапизма, бегства от действительности, у кого-то какие-то романтические представления о данной стезе, иногда самым привлекательным оказывается чей-то личный пример.

Но мы все, или, может быть, большинство из нас, еще и служим Делу.

У каждого, наверное, есть личное понимание своей миссии, но существуют и аргументы, специально приспособленные «для внешнего употребления» – для публики, для властей. В советское (точнее – в позднесоветское) время я мог бы без особого труда объяснить в случае необходимости, почему изучение западноевропейского Средневековья является исключительно важной задачей для претворения в жизнь решений XXVI съезда КПСС, выполнения Продовольственной программы или даже строительства коммунизма. Думаю, что с подобной задачей мог легко справиться искусствовед, специалист по индуизму, структурной лингвистике или по этнологии народов Океании.

Советская система научила нас иметь набор подобных «внешних» легитимирующих аргументов, и набор этот в целом работал, несмотря на периодически повторяющиеся попытки властей бороться с неактуальными направлениями и с «мелкотемьем».

Сегодня о наличии таких общепринятых аргументов у гуманитариев я не слышал. Может быть, просто по неосведомленности. Коллеги, особенно те, кто помладше, в ответ на мой вопрос обычно недоуменно пожимают плечами. Разве на Западе кто-нибудь должен объяснять, зачем нужна медиевистика или классическая филология? На это хочется ответить, что и на Западе не все так просто. Мне неоднократно приходилось подписывать какие-то петиции от лица «международной научной общественности» с протестами против закрытия центра эпиграфики или византиноведения то в Соединенном Королевстве, то в Германии.

Однажды я даже помогал участникам акции в защиту «Принцессы Клевской»<sup>25</sup>.

Но речь идет не только о том, что российский гуманитарий в советское время привык отстаивать право на существование своего ремесла. Возможно, мы имеем дело с двумя исторически различными подходами к гуманитарному знанию.

В самом конце XIX в. американский экономист, философ и социолог Торстейн Веблен с ригористических позиций подверг американское общество социальному анализу в работе «Теория праздного класса»<sup>26</sup>. Критикуя группу финансовой элиты и противопоставляя ее предпринимателям и рабочим, занятым в производстве, Веблен генетически связывал американскую паразитическую группу богачей с европейским «праздным классом». В свое время этот класс, противостоящий массе трудящихся, включал в себя воинов и жрецов-священников. Воины, подчеркивая свой статус, культивировали показное расточительное потребление, охоту и турниры и презрение к производительной деятельности. Американские нувориши, претендуя на господство в демократическом обществе, копировали модель поведения аристократов. Черты этой культуры праздности Веблен видел не только в организации сафари, спортивных состязаниях (вот он – агональный дух), немисливо элегантных, но непрактичных костюмах и дорогих сигарах, но также и в культивировании гуманитарного классического образования. «Настоящий джентльмен» не должен учиться на инженера или строителя, это унижает его. Его удел – изучение древних языков, археология, философия, театр – все, что не позволило бы заподозрить его в занятиях практической деятельностью. При всей неожиданности подобной критики западного общества я могу вспомнить в этой связи заметную тенденцию к аристократизации некоторых привилегированных коллегий позднего Средневековья. В ту пору все настойчивее звучали сравнения ученых магистров с рыцарями, некогда аскетичные дормитории, рефектории и библиотеки становились

---

<sup>25</sup> В 2006 г. Николя Саркози, тогда еще кандидат в президенты Франции, заявил, что только идиот или садист мог вставить произведение XVII в. «Принцесса Клевская» в программу экзаменов для будущих администраторов. Когда Саркози стал президентом и затеял реформу образования, французские гуманитарии организовали акцию в защиту «Принцессы Клевской» – в феврале 2009 г. на площади перед Пантеоном они устроили непрерывную читку этого произведения на всех языках мира. Тогда меня просили достать русский перевод «Принцессы». Надо сказать, что это послужило прекрасной рекламой классическому роману, чьи тиражи выросли в десятки раз.

<sup>26</sup> Веблен Т. Теория праздного класса /Под ред. В.В. Мотылева. М., 1984.

все более роскошными. Студенты носили шпаги, обзаводились гербами, а на докторских защитах в пиренейских университетах устраивались турниры и бои быков.

Но ведь Веблен, упомянув о двух фракциях «праздного класса» – воинах и жрецах, претендующих на обладание сакральным знанием, о последних писал значительно меньше. Но изначально университеты мыслились как детище церкви, и университетские философы-клирики уподобляли свою *Alma mater* стражу на башне Христианского мира, претендуя на исключительно важную миссию хранителя законов божественных, естественных и человеческих. Это призвание университетов никуда не исчезло и в Новое время, во всяком случае – университетов «континентальных», как говорят англичане. Через германские университеты (протестантские, но также и католические, находившиеся в землях австрийских Габсбургов) эти идеи были восприняты и российскими университетами, удивительно быстро начавшими претендовать на особое место в обществе и на выполнение особо важной миссии<sup>27</sup>. Все это наложило на хорошо известные представления российской интеллигенции второй половины XIX – начала XX в. о своем особом долге перед народом. Как бы то ни было, для российского гуманитария заниматься своим делом значило еще и нести свет знания, помогать обществу, сколь бы высокопарными ни казались эти слова.

Ученый должен заниматься чем-то важным, пусть даже и в своей узкоспециальной теме. Отличие двух подходов, унаследованных от двух разных фракций вебленовского «праздного класса», стало очевидным в ту пору, когда в начале 90-х годов появилась возможность подавать на гранты западных фондов. Как обосновать важность своего проекта в глазах западных грантодателей? В начале 1994 г. я подал исследовательский проект во французский фонд Дидро и пошел его подписывать к тогдашнему заместителю директора нашего института М.М. Наринскому. Михаил Матвеевич проект подписал не глядя, но сказал: «Знаете, если там написано, что Вы хотите заниматься какой-нибудь важной проблемой, вроде формирования французского рабочего класса в период Второй империи, то гранта Вам не видать. А вот если что-нибудь про запахи Парижа, тогда шансы велики...».

Эта фраза очень хорошо легла на понимание гуманитарной науки как занятия, достойного джентльмена. И с тех пор я часто ее вспоминал.

---

<sup>27</sup> Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов / Под ред. Е.А. Вишленковой, И.М. Савельевой. М., 2013.

Может ли гуманитарная наука, призванная давать радость творчества, быть сопряжена с тяжким многолетним трудом? Конечно, может, ведь джентльмен, охотящийся на тигров или китов, готов терпеть лишения и даже рисковать жизнью.

И все же мне трудно отказаться от восприятия собственной деятельности как от определенного рода служения. Только та наука, которая приносит творческую радость и функционирует по строгим законам научного сообщества, сможет быть полезной своей стране, да и всему человечеству. Иначе придется уступить место крикливым шарлатанам.

«Нельзя, однако, отрицать, что любая наука всегда будет казаться нам неполноценной, если она рано или поздно не поможет нам жить лучше. Как же не испытать этого чувства с особой силой в отношении истории, чье назначение, казалось бы, тем паче состоит в том, чтобы работать на пользу человеку, раз ее предмет – это человек и его действия?»<sup>28</sup>.

Марк Блок задал этот вопрос, приглашая историков-профессионалов к размышлениям на эту тему. К этому приглашению стоит прислушаться.

---

<sup>28</sup> Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Под ред. А.Я. Гуревича. М.: Наука, 1973. С. 14.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АПСС – Большое академическое собрание сочинений А.С. Пушкина
- ВАК – Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации
- ДВО РАН – Дальневосточное отделение Российской академии наук
- ДСМ-метод – метод автоматического порождения гипотез
- ГИХЛ – издательство «Художественная литература»
- ИАИ – Историко-архивный институт РГГУ
- ИВГИ – Институт высших гуманитарных исследований РГГУ
- ИВКА – Институт восточных культур и античности РГГУ
- ИФИ – Институт филологии и истории РГГУ
- ИМЛИ РАН – Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук
- МГБ – Министерство государственной безопасности СССР
- МГИАИ – Московский государственный историко-архивный институт
- МГУ – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- НЛО – журнал «Новое литературное обозрение»
- НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР
- НПЛ – Новгородская первая летопись
- ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление при Совете Народных Комиссаров СССР
- ОИФН РАН – Отделение историко-филологических наук Российской академии наук
- ОЛА – Общеславянский лингвистический атлас
- ОРЯС ИАН – сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук
- ОС – Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы
- РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет

РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд

РО ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом)

УНКВД – Управление народного комиссариата внутренних дел

ЭНИ – электронные научные издания

NEO – личностный опросник (авторы теста Пол Т. Коста-младший (Paul T. Costa) и Роберт Маккрей (Robert R. McCrae))

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

*Алпатов Владимир Михайлович* – член-корреспондент РАН, директор Института языкознания РАН.

*фон Альбрехт Михаэль* – профессор Гейдельбергского университета (Германия), доктор *honoris causa*.

*Андреев Михаил Леонидович* – доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

*Бужилова Александра Петровна* – член-корреспондент РАН, директор НИИ и Музея антропологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН.

*Бутовская Марина Львовна* – доктор исторических наук, зав. сектором кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.

*Вендина Татьяна Ивановна* – доктор филологических наук, зав. центром ареальной лингвистики Института славяноведения РАН.

*Виrolайнен Мария Наумовна* – доктор филологических наук, зав. отделом пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

*Водолазкин Евгений Германович* – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

*Гиппиус Алексей Алексеевич* – член-корреспондент РАН, профессор факультета филологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

*Иванов Вячеслав Всеволодович* – академик РАН, руководитель Центра балтославянских исследований, главный научный сотрудник отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН.

*Казанский Николай Николаевич* – академик РАН, директор Института лингвистических исследований РАН.



*Каленчук Мария Леонидовна* – доктор филологических наук, зам. директора Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

*Крадин Николай Николаевич* – член-корреспондент РАН, зав. центром политической антропологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, зав. кафедрой всеобщей истории, археологии и антропологии Дальневосточного федерального университета.

*Молдован Александр Михайлович* – академик РАН, заместитель академика-секретаря ОИФН РАН, директор Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

*Орехов Борис Валерьевич* – кандидат филологических наук, доцент Школы лингвистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

*Перцов Николай Викторович* – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

*Пивовар Ефим Иосифович* – член-корреспондент РАН, ректор Российского государственного гуманитарного университета.

*Плунгян Владимир Александрович* – член-корреспондент РАН, зам. директора русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

*Полонский Вадим Владимирович* – доктор филологических наук, директор Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

*Седов Владимир Валентинович* – член-корреспондент РАН, зав. кафедрой истории отечественного искусства Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН.

*Султанов Казбек Камилевич* – доктор филологических наук, зав. отделом литератур народов России и СНГ Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

*Топорков Андрей Львович* – член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

*Уваров Павел Юрьевич* – член-корреспондент РАН, зав. отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН.

*Хлевнюк Олег Витальевич* – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный специалист Государственного архива Российской Федерации.

*Черниговская Татьяна Владимировна* – доктор филологических наук, доктор биологических наук, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

*Шайтанов Игорь Олегович* – доктор филологических наук, зав. кафедрой сравнительной истории литератур Российского государственного гуманитарного университета.

*Шахрай Сергей Михайлович* – доктор юридических наук, проректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, декан факультета «Высшая школа государственного аудита» Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## Часть 1

### НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОИФН РАН «СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ» (23 марта 2015 г.)

---

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>А.М. Молдован</i>                                                                           |  |
| Современная филология и русистика .....                                                        |  |
| <i>В.М. Алтатов</i>                                                                            |  |
| Новые тенденции развития лингвистики в России.....                                             |  |
| <i>М.Л. Андреев</i>                                                                            |  |
| Зарубежная литература: что и зачем изучаем?.....                                               |  |
| <i>А.Л. Топорков</i>                                                                           |  |
| Фольклористика в междисциплинарном диалоге .....                                               |  |
| <i>К.К. Султанов</i>                                                                           |  |
| Этнокультурная парадигма и цивилизационный подход в изучении<br>литератур народов России ..... |  |
| <i>И.О. Шайтанов</i>                                                                           |  |
| Филология – «смерть дисциплины»?.....                                                          |  |
| <i>М.Н. Виролайнен</i>                                                                         |  |
| «Цель поэзии – поэзия» (о некоторых особенностях русского Золо-<br>того века) .....            |  |
| <i>Е.Г. Водолазкин</i>                                                                         |  |
| Средневековая поэтика и современная литература.....                                            |  |

---

## Часть 2

### НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОИФН РАН «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В НОВЕЙШИХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» (15 декабря 2015 г.)

---

|                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>М.Л. Бутовская, А.П. Бужилова</i>                                                                         |  |
| Морфо-психологические комплексы как эволюционно стабильные<br>стратегии человека в прошлом и настоящем ..... |  |

*Е.И. Пивовар*

Междисциплинарные подходы в современном гуманитарном знании и образовании (опыт РГГУ) .....

*В.А. Плунгян*

О перспективах современной корпусной лингвистики.....

*Н.П. Казанский*

Проблемы создания филологического корпуса .....

*Б.В. Орехов*

О перспективах филологического корпуса.....

*Н.В. Перцов*

К проблеме создания факсимильно-транскрипционного корпуса рукописей Пушкина .....

*Т.В. Черниговская*

Фуэте, фонема, формула, фотон: языки мозга и культуры .....

*А.А. Гиппиус, Вл.В. Седов*

Находки в Георгиевском соборе Юрьева монастыря: новые фрески и новые надписи.....

---

### Часть 3

#### АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

---

*М. фон Альбрехт*

Любовные элегии Овидия и их отношения к остальным его произведениям .....

*С.М. Шахрай*

Судебная реформа в России: история и современность .....

*В.В. Полонский*

Русская литература в эпоху Первой мировой войны: историко-культурный контекст

*Вяч.Вс. Иванов*

Трансальпийский диалект праславянского и ретское (тирренское) население древней Центральной Европы (к публикации данных о геноме альпийского «ледяного человека») .....

*М.Л. Каленчук*

Нормы произношения в живой речи и словарях .....

*Т.И. Вендина*

«Общеславянский лингвистический атлас» и компаративистика XXI в.

*Н.Н. Крадин*

Актуальные проблемы истории Монгольской империи .....

*О.В. Хлевнюк*

Система сталинской власти в научной историографии. Концепции  
и источники .....

*П.Ю. Уваров*

*Veruf* российского гуманитария: призвание, профессия, служение

Список сокращений .....

Сведения об авторах .....

Научное издание

**ТРУДЫ ОТДЕЛЕНИЯ  
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ  
НАУК РАН**

**2015**

*Утверждено к печати  
Бюро Отделения  
историко-филологических наук  
Российской академии наук*

Художник *В.Ю. Яковлев*  
Художественный редактор *З.Б. Павлюк*  
Корректоры *А.Б. Васильев, Р.В. Молоканова, Е.Л. Сысоева*

Иллюстрации воспроизведены в соответствии  
с представленными архивными оригиналами

Подписано к печати  
Формат  $60 \times 90 \frac{1}{16}$ . Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная  
Усл.печ.л. 23,5. Усл. кр.-отг. . Уч.-изд.л.  
Тираж экз. Тип. зак.

ФГУП «Академиздатцентр «Наука»  
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail: [secret@naukaran.ru](mailto:secret@naukaran.ru)  
[www.naukaran.ru](http://www.naukaran.ru)

ФГУП «Академиздатцентр «Наука»  
(Типография «Наука»)  
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ISBN 978-5-02-039211-3



9 785020 392113